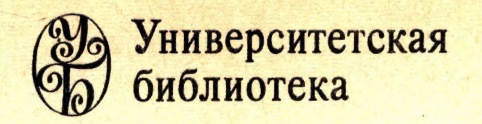
АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ




МГУ



Издательство Московского университета
1978

АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ

Собрание текстов, статьи,
комментарии и общая редакция
проф. А. А. Тахо-Годи

Издательство Московского университета
1978

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Рецензент:
доктор филологических наук О. С. Широков

Античные риторики. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., Изд-во Моск. ун-та, 1978.

с. 352.

Предлагаемое издание включает в себя античные риторические трактаты, часть которых впервые публикуется на русском языке.

А $\frac{70202-064}{077(02)-78}$ 113—77

АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ СТИЛЯ В ИХ ИСТОРИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Античные теории стиля, если мы хотим понять их во всей смысловой содержательности, а не только формально, необходимо изучать в их историко-эстетической специфике. Это, в свою очередь, означает, что искусство художественного слова в наиболее обобщенном и выразительном виде неразрывно связано с принципами античного понимания искусства и всей эстетики вообще, основанными на представлении с высшей красоте как совершенном, живом, материальном теле.

Поэтому на вопрос о том, что прекраснее всего для искусства и эстетики античности, необходимо ответить только одно: прекраснее всего живое и одушевленное тело космоса, который организуется универсальной безличной силой, но организуется ею в предельно обобщенном виде. Прекраснее всего космос видимого нами звездного неба и Земли, покоящейся в центре, со всеми свойственными этому космосу правильными и вечными закономерностями, круговоротом вещества в природе, а вместе с тем и с таким же круговоротом душ[1].

Даже Платон не пошел в античности дальше красоты самого обыкновенного чувственного космоса и только нашел нужным объяснить его трансцендентно существующими идеями. Поэтому на вопрос о том, что прекраснее всего с точки зрения Платона, мы должны ответить: прекраснее всего мир идей; но этот последний есть не что иное, как предельное обобщение все той же космической жизни. Следовательно, если рассматривать чувственный космос как максимально упорядоченное целое по законам идей, то и этот космос тоже является максимально возможной материальной красотой; и все то, что внутри этого космоса, прекрасно в меру своего приближения к совершенству и цельности самого космоса[2].

Аристотель нашел необходимым приблизить платоновские идеи вещей к самим вещам и потому сделать их имманентными этим вещам.

[1] О связи античного понимания прекрасного с мифологией, законами родового и рабовладельческого общества см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.

[2] См. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969; он же. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974.

Это дало ему возможность говорить о явлениях красоты более реалистическим образом, используя все известные тогда методы эмпирического наблюдения. Тем не менее и Аристотель, вероятно, в противоречии со своей критикой Платона, тоже учил о надкосмическом Нусе-Уме, являющемся формой всех форм и мыслящем только самого же себя, так что здесь в самой яркой форме выражена диалектика совпадения субъекта и объекта. Интересно, что это совпадение созерцающего и созерцаемого в Нусе как раз и объявлено у Аристотеля бытием наиболее блаженным и наиболее прекрасным[3].

Телесность античного искусства и эстетики, дающая о себе знать даже у самых крайних античных идеалистов и возникшая из античного стихийного материализма, несомненно, была чужда чисто духовным идеалам, поскольку даже и боги наделялись телом (правда, особенно тонким и разреженным или, как говорили древние, эфирным телом). Это ограничивало собою проявление человеческих возможностей в сфере искусства и эстетики, поскольку очеловеченной здесь оставалась все же только одна природа, хотя она мыслилась уже и в самом человеке. Но человек вовсе не есть только природа, и потому искания не природной, но чисто духовной индивидуальности привели античную теорию прекрасного к упадку и переходу в область уже средневекового спиритуализма, как только появилась для этого соответствующая социально-историческая почва.

И тем не менее, эта телесно зримая красота выдвинула в античности такие, всегда главенствующие в ее теориях искусства категории, как мера и размеренность, симметрия, ритм и гармония. Гармоническое равновесие всех элементов живого и одушевленного человеческого тела, или, другими словами, античная скульптура, осталось навсегда, по крайней мере, одним из образцов наивысшей человеческой красоты, хотя в дальнейшем возникало и много других, уже не столь телесных образцов.

Так как тело характеризуется, в основном, пространственно-временной структурой, а преимущественно пространственно-временное понимание человека, полноценного в духовном отношении, является формализмом, то удивительным характером, который нельзя объяснить никаким другим способом, отличается и все античное искусствознание. Сразу понятно, почему столь совершенное античное искусство удовлетворялось зачастую столь формалистическими теориями, как теории разных областей искусствознания, риторики и стилей.

Для этих античных теорий имеет значение не искусство само по себе, а только мастерство, и при этом мастерство фактического ремесла, куда античность относила медицину, политику, плотничье дело и т. д. Для понятия искусства в греческом языке не было даже специального термина; но для искусства и ремесла был один и тот же термин — technē.

[3] См. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика, М., 1975.

Античное искусствознание переполнено трактатами, поражающими своим формализмом и отсутствием живого анализа живых произведений искусства. Это тоже есть результат слишком телесного, то есть слишком пространственно-временного и слишком формалистического отношения к предмету искусства. Поэтому и античная эстетика даже не оформилась в специальную науку, а навсегда осталась только учением о самом же бытии или, точнее, теорией завершительных и выразительных сторон самого же бытия.

Весьма характерно для античности также учение об искусстве как о подражании. Почему, в самом деле, подражание толковалось здесь как основа всякого искусства? Исключительно только потому, что искусство не признавалось самостоятельной областью человеческого творчества или вообще какого-нибудь самостоятельного бытия. Самостоятельное и абсолютное бытие было выражено в совершенном и прекрасном космосе. Большей красоты и большей самостоятельности бытия нельзя было и придумать. Ясно поэтому, что, если художник творил, он должен был подражать величию, равномерным и вечным движениям космоса. Идеалисты говорили о существовании идей над космосом, но в таком случае искусство тоже оставалось подражанием, хотя и в специфическом смысле слова. О подражании природе или человеческой жизни стало возможным говорить в античности только тогда, когда эта природа и эта жизнь начали трактоваться как нечто самостоятельное. В значительной мере это мы находим уже у Платона и Аристотеля, но в окончательном виде эта идея сформировалась только в век эллинизма. И все равно античная теория искусства, в том или другом смысле, не в силах была выйти за пределы учения о подражании. Здесь мы находим полную противоположность европейскому романтизму, который в качестве основы всякого искусства признавал не подражание каким-нибудь готовым образцам, но, наоборот, фантастическое творчество образов, не имеющих ничего общего с эмпирическими наблюдениями идеального или материального мира.

Категории меры, симметрии, ритма и гармонии базируются на постоянном и весьма интенсивном использовании учения о числе и основанных на нем числовых структур. Число и различные числовые структуры лежат в основе бытия не только для тысячелетнего пифагореизма и не только для тысячелетнего античного платонизма. В метафизике Аристотеля и в его рассуждениях об искусстве слова вопрос о целом и его частях занимает одно из первых мест. Атомы Левкиппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция тоже являются не чем иным, как пространственно-числовыми телами. А когда поздние платоники исследовали космос в его последнем единстве, то это последнее основание всякого бытия и познания они иначе и не могли назвать, как просто Единым, употребляя, следовательно, для своего максимально мистического бытия самый обыкновенный арифметический термин. И это особенно заметно в сравнении со средневековым монотеизмом, где в последней основе бытия лежит не Единое, но чисто личностный Абсолют со своим опреде-

ленным именем и биографией, то есть тем, что обычно называется «священной историей». Никакой такой «священной истории» не может быть для платонического и неоплатонического Единого, которое в конце концов является только максимально сконцентрированным единством и обожествлением сил природы. Итак, структурно-числовой характер античного представления о красоте не подлежит никакому сомнению.

Наконец, поскольку античная красота, по крайней мере в своем классическом виде, обязательно предполагала и наличие нравственного идеала и поскольку сами философы часто незаметно для самих себя переходили от эстетического понимания своей терминологии к этическому ее пониманию и обратно, постольку у исследователей всегда имелся соблазн предполагать полное неразличение у древних этих двух пониманий действительности. Тем не менее, воспринимая свою красоту не только созерцательно, древние, конечно, по большей части объединяли эстетический идеал и идеал моральный. Но это нисколько не значит, что эстетический подход к действительности у древних был всегда тождествен с подходом моралистическим. Обязательное совмещение созерцательности и утилитаризма было для них лишь результатом, но никак не принципиальным отождествлением этих двух точек зрения на действительность. Если выйти за пределы классики и привести материалы архаики и декаданса, то примеров самого резкого расхождения эстетики и этики будет сколько угодно.

Временем Платона и Аристотеля в истории греческой культуры заканчивается период классики. Начиная со второй половины IV в. до н. э., то есть приблизительно с Александра Македонского, зарождается существенно новая эпоха античной культуры, обычно называемая эллинизмом. Самый термин «эллинизм» является условным, и разные историки по-разному определяют его хронологические границы. Мы будем считать ранним эллинизмом время от второй половины IV в. до н. э. до конца I в. н. э., а поздним эллинизмом весь последующий период античной культуры, когда стал господствовать Рим, завоевавший все страны от Испании до Индии. Падение в V в. Западной Римской империи (476 г. н. э.) нужно считать концом всей рабовладельческой античности вообще, после чего начинается формирование феодализма и на его основе — средневековой культуры.

Экономической основой классического рабовладельческого полиса явилась мелкая собственность на средства производства. Классический рабовладельческий полис отличался партикуляризмом, всегда был миниатюрных размеров, имел сравнительно небольшое число рабов, так что граждане не только принимали прямое и непосредственное участие в своей государственно-городской жизни, но и знали друг друга в лицо.

Развитие производительных сил рано или поздно должно было взорвать изнутри этот классический полис. Ранний эллинизм становится эпохой великих завоеваний — сначала Александра Македонского, а потом Рима — и возникновения огромных многонациональных государств

военно-монархического типа, среди которых Греция оказалась всего лишь глухой провинцией.

Чтобы понять культуру и искусство эллинизма как результат отражения его социальной жизни, необходимо прежде всего принять во внимание то новое положение, которое занял индивидуум в этом новом обществе. Первое, что бросается в глаза,— отсутствие той простоты и непосредственности, которыми так богата греческая классика. Гражданин классического полиса все имел под руками. Придя на площадь своего города, он становился политическим деятелем, принимая участие в решении важных дел города. Придя на поле, он либо работал сам как крестьянин, либо организовывал труд рабов, выступая в роли их непосредственного руководителя. В случае войны он становился либо начальником, либо воином, но в том и другом случае обязательно непосредственным участником победы или поражения.

Эта непосредственность греческой классики гибнет в период эллинизма в связи с выступлением на социально-историческую арену инициативы и собственности нового типа. Под влиянием совершенно новых условий в этот период формируется индивидуум с весьма дифференцированной и весьма изощренной субъективной психикой. Возникает изысканная культура субъективных чувств, настроений и размышлений человека, стремящегося уйти в глубину самоанализа и самолюбования. Непосредственное участие в жизни природы и общества осталось далеко позади, общественная жизнь заменяется исполнением приказов властителя. Природа же и люди воспринимаются в эпоху эллинизма сквозь призму той или иной дифференцированной способности духа, будь то рассудок, область чувств и настроений или область чувственных восприятий. Это обстоятельство побуждало исследователей квалифицировать порой эллинистические искусство и литературу как нечто не только искусственное, но и безыдейное, аполитичное, далекое от героических идеалов классики.

И действительно, простой, отчетливый и строгий стиль классики сменился здесь множеством отдельных стилей, возникших в результате его распада. В эпоху классики форма и содержание были слиты в одно целое. В эллинистическом же искусстве появляется специальный культ формы, оторванной от содержания, склонность к рассудочности, нарочитой искусственности и т. д. С другой стороны, отрыв формы от содержания приводил к распространению бытовизма, эмпирического описательства. В поэзии, например, культура чувств и настроений в изоляции от объективного дела порождала чувствительность и слащавость, жеманство и напыщенность, манерность и резонерство и т. д. Искусству и литературе эллинизма свойственны тонкая риторика, фантастика, изысканная эротика, всякого рода умственная и эмоциональная эквилибристика.

Для понимания особенностей человека эллинистической эпохи необходимо отметить еще одну ее черту. Как ни была развита социально-экономическая система эллинизма, она все же была ограничена только

непосредственными потребительскими интересами. Добытые в недрах этого общества излишки жизненных ресурсов либо проедались и пропивались, либо превращались в художественные и религиозные ценности, либо накапливались в виде неподвижных богатств, большею частью совершенно не имевших никакого ни производственного, ни вообще экономического смысла. Этот потребительский характер экономической жизни нового типа существенно ограничивал развитие и общества, и отдельных личностей и резко отличался от возникшей много позже буржуазно-капиталистической формации: он привнес в жизнь каждой отдельной личности ту внутреннюю пассивность, которой так отличается эллинистическая культура, несмотря на свой внешний блеск.

Культура эллинизма могла считаться прогрессивной, пока шла речь о выходе за пределы маленького классического полиса и об организации многонациональных государственных объединений. Ранний эллинизм отличается некоторыми чертами просветительства, что отражается в эстетике трех новых философских школ: эпикурейцев, стоиков и скептиков. В дальнейшем, в эпоху позднего эллинизма, когда возник вопрос о создании новых духовных и культурных ценностей, стало очевидно, что эта новая культурная эпоха, оказавшаяся в силу социально-политических факторов под влиянием субъективизма и психологизма, была способна лишь реставрировать старые идеалы.

Начиная с I в. н. э. тенденция реставрации постепенно захватывает всю литературу. II в. н. э. так и получил название «второй софистики», поскольку тогда реставрировались все идейные и стилистические достижения писателей древней Аттики. Огромное философское направление, занявшее последние четыре столетия античной философии (III—VI вв. н. э.), а именно неоплатонизм, пошло еще дальше. Оно было не чем иным, как философской реставрацией древней мифологии.

Классическое эллинство всегда расценивалось выше эллинизма спокойным величием, целомудренной простотой своей культуры и отсутствием в ней всякой пестроты, изощренного психологизма и субъективных прихотей. И это совершенно правильно. Тем не менее преуменьшать значение эллинизма невозможно. Не говоря уже о том, что период греческой классической эстетики длился всего какие-нибудь 200 лет, а эллинизм занял по меньшей мере около 800, он, по существу, был тем великим этапом античности, который благодаря своей культурно-исторической значимости никогда не умирал в памяти человечества.

Эллинизм пережил крушение маленькой республиканской Греции и республиканского Рима, создав такие великие и трагические символы этого крушения, как Демосфен и Цицерон. Однако и та империя, которая пришла на смену греческой и римской республикам, всегда поражала людей такими гигантсткими фигурами, как Александр Македонский или Цезарь и Август. Эллинизм был свидетелем завоевания всего мира от Испании до Индии и грандиозных императорских триумфов. До него человечество не знало столь грандиозных масштабов строительства, таких сложных форм общественной и личной жизни.

Эллинизм видел также и потрясавшие всю империю восстания рабов, нашествия полудиких варваров и, наконец, трагическое крушение мировой империи, создавшее почву для целого ряда новых, еще небывалых культур.

Конечно, наследие таких мыслителей-классиков, как Гераклит и Демокрит или Платон и Аристотель, стало вечной проблемой человеческого мышления, которая еще и в настоящее время решается с внутренней горячностью духа и крайним напряжением человеческой мысли. Но им едва ли уступает духовное развитие эллинистической мысли.

Логике эллинизма могли бы позавидовать Платон и Аристотель. Эллинизм создал риторику, которая легла в основу не только многих сотен речей, этих крупнейших произведений художественного творчества, но и множества риторических трактатов, разрабатывавших настоящую античную эстетику и подлинную античную теорию стилей. Необозримое количество риторических трактатов до сих пор не систематизировано и не осознано — до того вся эта риторика разнообразна, изощренна и глубока.

Родоначальниками риторики были еще классические софисты V в. до н. э., столь высоко ценившие слово и силу его убеждения. К риторике серьезно и глубоко относился Платон, являясь, однако, и в этом вопросе антиподом софистов. Известно также, что основы риторики как науки, неотделимой от логики и диалектики, к тому же наделенной особой динамической выразительностью и подходом к действительности возможного и вероятностного, заложил еще Аристотель. Один из его продолжателей — перипатетик Феофраст (IV—III вв. до н. э.) дал знаменитое учение о выборе слов и словосочетаний, тем самым наметив ряд важных стилистическо-эстетических проблем. Наконец, известны заслуги теоретиков стоической грамматики и логики.

Эллинистическая риторика в согласии с духом времени целиком погрузилась в анализ огромного числа стилистических явлений в языке. Ей приходилось иной раз отрываться от всякой живой и ораторской практики, погружаясь в чисто теоретические и часто формалистические изыскания. Она подвергла детальному изучению так называемое сочетание слов (Дионисий Галикарнасский, I в. до н. э.), дающее в результате периодичность и ритмичность речи. Та же эллинистическая риторика, исходя из качеств речи Феофраста, блестяще развила теорию стилей (Деметрий, I в. н. э.), важную для эстетических учений. Ритор Гермоген (II в. н. э.) завершает эту теорию стилей, отчасти возвращая ее в значительно обогащенном виде к старым феофрастовским качествам. Он становится авторитетом для всей поздней античности и Византии.

Если на первых порах в этих эллинистических трактатах мы находим чрезмерное увлечение риторизмом, гипертрофией чувственно субъективных приемов, а значит, и соответствующую оценку стиля речи, то на сочинениях Цицерона хорошо ощущается, как проблемы стиля получают напряженно-жизненный характер, не укладываясь в рамки общепринятых разделений и дефиниций, как, например, «азианство» и

«аттикизм». Недаром риторика Цицерона станет образцом для изучающих эстетику слова в эпоху Возрождения.

Ко всему этому следует прибавить и то, что деятели эллинизма постоянно переписывали и переиздавали всех классических авторов, составляли к ним многотомные комментарии, необходимые еще и теперь при изучении античной литературы, писали многочисленные музыкальные трактаты, многотомные словари и грамматические своды. И все это наследие в тысячи страниц дошло до нас не только в виде разрозненных фрагментов, но и целых томов и остается до сих пор безбрежным морем учености, необходимым не только для понимания античности. Ведь такая философская система, как неоплатонизм, была известна и сирийцам, и арабам, и народам Средней Азии, и мыслителям христианского средневековья, она процветала еще в эпоху Возрождения, в Англии XVIII в., нашла отражение во всем немецком идеализме.

Эпоха эллинизма, таким образом, создала множество самых разнообразных концепций эстетики, риторики, стилей, часто одна другой противоречащих, но всех возводимых к одной и той же социальной сущности и легко сопоставимых с недифференцированной простотой греческой классики.

Риторические тонкости и литературно-художественные жанры эпохи эллинизма неисчислимы, но вместе с тем их культуре была свойственна неослабевавшая тенденция подражать аттической классике. Философы позднего эллинизма любили находить красоту в экстазах, исключающих всякое логическое осмысление. Но, с другой стороны, именно они воспринимали и объясняли ум как нечто относящееся к области света и даже солнца, соединяя с этим по-аристотелевски чеканное понимание вещественных форм-эйдосов. Индивидуально имманентный космологизм возникает здесь не от природы (иначе это была бы суровая простота классики), но в результате напряженных усилий дифференцированного субъекта, создавая необозримое множество теорий искусства, риторики, стилей и языка. Этот напряженный субъективизм и лег в основу такого понимания природы и человека, которое после нескольких столетий господства средневекового спиритуализма получило название европейского Возрождения.

Настоящее издание включает в себя по преимуществу цельные трактаты античных авторов, никогда ранее не переводившиеся на русский язык (Дионисий Галикарнасский, Деметрий) или давно ставшие библиографической редкостью («Риторика» Аристотеля). Издание античных риторик осуществляется в связи с 2300-летием со дня смерти Аристотеля.

А. Ф. Лосев

АРИСТОТЕЛЬ

РИТОРИКА

Книга первая

1

Отношение риторики к диалектике.— Всеобщность риторики.— Возможность построить систему ораторского искусства? — Неудовлетворительность более ранних систем ораторского искусства.— Что должен доказывать оратор? — Закон должен по возможности все определять сам; причины этого.— Вопросы, подлежащие решению судьи.— Почему исследователи предпочитают говорить о речах судебных? — Отношение между силлогизмом и энтимемой.— Польза риторики, цель и область ее.

Риторика — искусство, соответствующее диалектике[1], так как обе 1354 a
они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди некоторым образом причастны обоим искусствам, так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять. В этих случаях одни поступают случайно, другие действуют согласно со своими способностями, развитыми привычкою. Так как возможны оба эти пути, то, очевидно, можно возвести их в систему, поскольку мы можем рассматривать, вследствие чего достигают цели как те люди, которые руководятся привычкой, так и те, которые действуют случайно, а что подобное исследование есть дело искусства, с этим, вероятно, согласится каждый. До сих пор те, которые строили системы риторики, выполнили лишь незначительную часть своей задачи, так как в этой области только доказательства обладают признаками, свойственными ораторскому искусству, а все остальное не что иное, как аксессуары (prosthēcai). Между тем авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть[2] доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьею делу, а к самому судье. Таким образом, если бы судопроизводство везде было поставлено так, как оно ныне поставлено в некоторых государствах, и преимущественно в тех, которые от-

личаются хорошим государственным устройством, эти теоретики не могли бы сказать ни слова. Все [одобряют такую постановку судопроизводства, но] одни полагают, что дело закона произнести это запрещение, другие же действительно пользуются таким законом, не позволяя говорить ничего не относящегося к делу (так это делается и в Ареопаге[3]). Такой порядок правилен, так как не следует, возбуждая в судье гнев, зависть и сострадание, смущать его: это значило бы то же, как если бы кто-нибудь искривил ту линейку, которой ему нужно пользоваться.

Кроме того, очевидно, что дело тяжущегося заключается не в чем другом, как в доказательстве самого факта: что он имеет или не имеет, имел или не имел место; что же касается вопросов, важен он или не важен, справедлив или не справедлив, то есть всего того, относительно чего не высказался законодатель, то об этом самому судье, конечно, следует иметь свое мнение, а не заимствовать его от тяжущихся.

Поэтому хорошо составленные законы главным образом должны, насколько возможно, все определять сами и оставлять как можно меньше произволу судей, во-первых, потому что легче найти одного или немногих, чем многих таких людей, которые имеют правильный образ
1354 b мыслей и способны издавать законы и изрекать приговоры. Кроме того, законы составляются людьми на основании долговременных размышлений, судебные же приговоры произносятся на скорую руку, так что трудно людям, отправляющим правосудие, хорошо различать справедливое и полезное.

Самая же главная причина заключается в том, что решение законодателя не относится к отдельным случаям, но касается будущего и имеет характер всеобщности, между тем как присяжные и судьи изрекают приговоры относительно настоящего, относительно отдельных случаев, с которыми часто находится в связи чувство любви или ненависти и сознание собственной пользы, так что они [судьи и присяжные] не могут с достаточной ясностью видеть истину: соображения своего собственного удовольствия и неудовольствия мешают правильному решению дела.

Итак, относительно всего прочего нужно предоставлять судье как можно меньше простора; что же касается вопросов, совершился ли известный факт или нет, совершится или нет, есть ли он в наличности или нет, то решение этих вопросов необходимо всецело предоставить судьям, так как законодатель не может предвидеть частных случаев.

Раз это так, очевидно, что те, которые [в своих рассуждениях] разбирают другие вопросы, например, вопрос о том, каково должно быть содержание предисловия, или повествования, или каждой из других частей [речи], касаются вопросов, не относящихся к делу, потому что [авторы этих сочинений] рассуждают в таком случае только о том, как бы привести судью в известное настроение, ничего не говоря о технических доказательствах, между тем как только таким путем можно сделаться способным к энтимемам. Вследствие всего этого, хотя и существует один и тот же метод для речей, обращаемых к народу, и для

речей судебного характера и хотя прекраснее и с государственной точки зрения выше первый род речей, чем речи, касающиеся сношений отдельных личностей между собой,— тем не менее исследователи ничего не говорят о первом роде речей, между тем как каждый из них пытается рассуждать о судебных речах.

Причина этому та, что в речах первого рода представляется менее полезным говорить вещи, не относящиеся к делу, а также и та, что первый род речей представляет менее простора для коварной софистики и имеет более общего интереса: здесь судья судит о делах, близко его касающихся, так что нужно только доказать, что дело именно таково, как говорит оратор. В судебных же речах этого недостаточно, но полезно еще расположить слушателя в свою пользу, потому что здесь решение судьи касается дел, ему чуждых, так что судьи, в сущности, 1355 a
не судят, но предоставляют дело самим тяжущимся, соблюдая при этом свою собственную выгоду и выслушивая пристрастно [показания тяжущихся].

Вследствие этого во многих государствах, как мы и раньше говорили, закон запрещает излагать не относящееся к делу, но там сами судьи в достаточной мере заботятся об этом.

Так как очевидно, что правильный метод касается способов убеждения, а способ убеждения есть некоторого рода доказательство (ибо мы тогда всего более в чем-нибудь убеждаемся, когда нам представляется, что что-либо доказано), риторическое же доказательство есть энтимема, и это, вообще говоря, есть самый важный из способов убеждения, и так как очевидно, что энтимема есть некоторого рода силлогизм[4] и что рассмотрение всякого рода силлогизмов относится к области диалектики — или в полном ее объеме или какой-нибудь ее части, то ясно, что тот, кто обладает наибольшей способностью понимать, из чего и как составляется силлогизм, тот может быть и наиболее способным к энтимемам, если он к знанию силлогизмов присоединит знание того, чего касаются энтимемы, и того, чем они отличаются от чисто логических силлогизмов, потому что с помощью одной и той же способности мы познаем истину и подобие истины. Вместе с тем люди от природы в достаточной мере способны к нахождению истины и по большей части находят ее; вследствие этого находчивым в деле отыскивания правдоподобного должен быть тот, кто так же находчив в деле отыскивания самой истины.

Итак, очевидно, что другие авторы говорят в своих системах о том, что не относится к делу; ясно также и то, почему они обращают внимание более на судебные речи.

Риторика полезна, потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, а если решения постановляются не должным образом, то истина и справедливость необходимо побеждаются своими противоположностями, что достойно порицания. Кроме того, если мы имеем даже самые точные знания, все-таки нелегко убеждать некоторых людей, говоря на основании этих знаний, потому что [оценить] речь, основанную на знании, есть дело образо-

вания, а здесь [перед толпою] это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем, как мы говорили это и в «Топике»[5] относительно обращения к толпе. Кроме того, необходимо уметь доказывать противоположное, так же как и в силлогизмах, не для того, чтобы действительно доказывать и то, и другое, потому что не должно доказывать что-нибудь дурное, но для того, чтобы знать, как это делается, а также, чтобы уметь опровергнуть, если кто-либо пользуется доказательствами несогласно с истиной.

Из остальных искусств ни одно не занимается выводами из противоположных посылок; только диалектика и риторика делают это, так как обе они в одинаковой степени имеют дело с противоположностями[6]. Эти противоположности по своей природе не одинаковы, но всегда истина и то, что лучше по своей природе, более поддаются умозаключениям и, так сказать, обладают большей силой убедительности.

Сверх того, если позорно не быть в состоянии помочь себе своим
1355 b телом, то не может не быть позорным бессилие помочь себе словом, так как пользование словом более свойственно человеческой природе, чем пользование телом[7]. Если же кто-либо скажет, что человек, несправедливо пользующийся подобной способностью слова, может сделать много вреда, то это замечание можно [до некоторой степени] одинаково отнести ко всем благам, исключая добродетели, и преимущественно к тем, которые наиболее полезны, как, например, к силе, здоровью, богатству, военачальству: человек, пользуясь этими благами как следует, может принести много пользы, несправедливо же [пользуясь ими], может сделать очень много вреда.

Итак, очевидно, что риторика не касается какого-нибудь отдельного класса предметов, но, как и диалектика, [имеет отношение ко всем областям], а также, что она полезна и что дело ее — не убеждать, но в каждом данном случае находить способы убеждения; то же можно заметить и относительно всех остальных искусств, ибо дело врачебного искусства, например, заключается не в том, чтобы делать всякого человека здоровым, но в том, чтобы, насколько возможно, приблизиться к этой цели, потому что вполне возможно хорошо лечить и таких людей, которые уже не могут выздороветь.

Кроме того, очевидно, что к области одного и того же искусства относится изучение как действительно убедительного, так и кажущегося убедительным, подобно тому, как к области диалектики относится изучение как действительного, так и кажущегося силлогизма: человек делается софистом не в силу какой-нибудь особенной способности, а в силу намерения, с которым он пользуется своим дарованием. Впрочем, здесь [в риторике] имя ритора будет даваться сообразно как со знанием, так и с намерением [которое побуждает человека говорить]. Там же [в логике] софистом называется человек по своим намерениям, а диалектиком — не по своим намерениям, а по своим способностям[8].

Теперь попытаемся говорить уже о самом методе,— каким образом и с помощью чего мы можем достигать поставленной цели. Итак, определив снова, как и в начале, что такое риторика, перейдем к дальнейшему изложению.

2

Место риторики среди других наук и искусств.— «Технические» (основанные на приемах риторики) и «нетехнические» (основанные на объективных данных) способы убеждения.— Три вида искусственных способов убеждения.— Риторика — отрасль диалектики и политики.— Пример и энтимема.— Анализ убедительного.— Вопросы, которыми занимается риторика.— Из чего выводятся энтимемы? — Определение вероятного.— Виды признаков.— Пример — риторическое наведение.— Общие места (topoi) *и частные энтимемы* (eidē).

Итак, определим риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. Это не составляет задачи какого-нибудь другого искусства, потому что каждая другая наука может поучать и убеждать только относительно того, что принадлежит к ее области, как, например, врачебное искусство — относительно того, что способствует здоровью или ведет к болезни, геометрия — относительно возможных между величинами изменений, арифметика — относительно чисел; точно так же и остальные искусства и науки; риторика же, по-видимому, способна находить способы убеждения относительно каждого данного предмета, потому-то мы и говорим, что она не касается какого-нибудь частного, определенного класса предметов.

Из способов убеждения одни бывают «нетехнические», другие же «технические». «Нетехническими» (atechnoi) я называю те способы убеждения, которые не нами изобретены, но существовали раньше [помимо нас]; сюда относятся: свидетели, показания, данные под пыткой, письменные договоры и т. п.; «техническими» же (entechnoi) [я называю] те, которые могут быть созданы нами с помощью метода и наших собственных средств, так что первыми из доказательств нужно только пользоваться, вторые же нужно [предварительно] найти.

Что касается способов убеждения, доставляемых речью, то их три вида: одни из них находятся в зависимости от характера говорящего, другие — от того или другого настроения слушателя, третьи — от самой речи. Эти последние заключаются в действительном или кажущемся доказывании.

[Доказательство достигается] с помощью нравственного характера [говорящего] в том случае, когда речь произносится так, что внушает доверие к человеку, ее произносящему, потому что вообще мы более и скорее верим людям хорошим, в тех же случаях, где нет ничего ясного и где есть место колебанию,— и подавно; и это должно быть не след-

ствием ранее сложившегося убеждения, что говорящий обладает известными нравственными качествами, но следствием самой речи, так как несправедливо думать, как это делают некоторые из людей, занимающихся этим предметом, что в искусстве заключается и честность оратора, как будто она представляет собою, так сказать, самые веские доказательства[9].

Доказательство находится в зависимости от самих слушателей, когда последние приходят в возбуждение под влиянием речи, потому что мы выносим различные решения под влиянием удовольствия и неудовольствия, любви или ненависти. Этих-то способов убеждения, повторяем, исключительно касаются нынешние теоретики словесного искусства. Каждого из этих способов в отдельности мы коснемся тогда, когда будем говорить о страстях[10].

Наконец, самая речь убеждает нас в том случае, когда оратор выводит действительную или кажущуюся истину из доводов, которые оказываются в наличности для каждого данного вопроса.

Поскольку доказательства осуществляются именно такими путями, то, очевидно, ими может пользоваться только человек, способный к умозаключениям и к исследованиям характеров, добродетелей и страстей — что такое каждая из страстей, какова она по своей природе и вследствие чего и каким образом появляется,— так что риторика оказывается как бы отраслью диалектики и той науки о нравах, которую справедливо назвать политикой[11]. Вследствие этого-то риторика и принимает вид политики и люди, считающие риторику своим достоянием, выдают себя за политиков, по причине ли невежества, или шарлатанства, или в силу других причин, свойственных человеческой природе. На самом деле, как мы говорили и в начале, риторика есть некоторая часть и подобие диалектики: и та, и другая не есть наука о какомнибудь определенном предмете, о том, какова его природа, но обе они — лишь методы для нахождения доказательств. Итак, мы, пожалуй, сказали достаточно о сущности этих наук и о их взаимных отношениях.

Что же касается способов доказывать действительным или кажу-
1356 b щимся образом, то как в диалектике есть наведение, силлогизм и кажущийся силлогизм, точно так же есть и здесь, потому что пример есть не что иное, как наведение, энтимема — силлогизм, кажущаяся энтимема — кажущийся силлогизм[12]. Я называю энтимемою риторический силлогизм, а примером — риторическое наведение: ведь и все ораторы излагают свои доводы, или приводя примеры, или строя энтимемы, и помимо этого не пользуются никакими способами доказательства.

Так что, если вообще необходимо доказать что бы то ни было путем или силлогизма, или наведения (а это очевидно для нас из «Аналитики»[13]), то каждый из этих способов доказательства непременно совпадет с каждым из вышеназванных.

Что же касается различия между примером и энтимемой, то оно очевидно из «Топики»[14], так как там ранее сказано о силлогизме и наведении: когда на основании многих подобных случаев выводится

заключение относительно наличности какого-нибудь факта, то такое заключение там называется наведением, здесь — примером. Если же из наличности какого-нибудь факта заключают, что всегда или по большей части следствием наличности этого факта бывает наличность другого, отличного от него факта, то такое заключение называется там силлогизмом, здесь же энтимемой.

Очевидно, что тот и другой род риторической аргументации имеет свои достоинства. Что мы говорили в «Методике»[15], то мы находим также и здесь: одни речи богаты примерами, другие — энтимемами; точно так же и из ораторов одни склонны к примерам, другие — к энтимемам. Речи, наполненные примерами, не менее убедительны, но более впечатления производят речи, богатые энтимемами. Мы будем позднее говорить о причине этого, а также и о способе, как нужно пользоваться каждым из этих двух родов доводов. Теперь же определим точнее самую их сущность.

Убедительное должно быть таковым для какого-нибудь известного лица, и притом один род убедительного непосредственно сам по себе убеждает и внушает доверие, а другой род достигает этого потому, что кажется доказанным через посредство убедительного первого рода; но ни одно искусство не рассматривает частных случаев: например, медицина рассуждает не о том, что здорово для Сократа или для Каллия[16], а о том, что здорово для человека таких-то свойств или для людей таких-то; такого рода вопросы входят в область искусства, частные же случаи бесчисленны и не доступны знанию. Поэтому и риторика не рассматривает того, что является правдоподобным для отдельного лица, например, для Сократа или Каллия, но имеет в виду то, что убедительно для всех людей, каковы они есть. Точно так же поступает и диалектика; это искусство не выводит заключений из чего попало (ведь и сумасшедшим кое-что кажется убедительным), но только из того, что нуждается в обсуждении; подобно этому и риторика имеет дело с вопросами, о которых обычно советуются.

1357 a

Она касается тех вопросов, о которых мы совещаемся, но относительно которых у нас нет строго определенных правил, и имеет в виду тех слушателей, которые не в состоянии охватывать сразу длинную нить рассуждений, ни выводить заключения издалека. Мы совещаемся относительно того, что, по-видимому, допускает возможность двоякого решения, потому что никто не совещается относительно тех вещей, которые не могут, не могли и в будущем не могут быть иными, раз мы их понимаем, как таковые,— не совещаемся потому, что это ни к чему не ведет.

Делать заключения и выводить следствия можно, во-первых, из того, что раньше было уже доказано силлогистическим путем, а во-вторых, из положений, не доказанных ранее путем силлогизма и нуждающихся поэтому в подобном доказательстве, так как иначе они не представляются правдоподобными; в первом случае рассуждения не удобопонятны вследствие своей длины, потому что судья ведь предпо-

лагается человеком заурядным, а во втором они не убедительны, потому что имеют своим исходным пунктом положения необщепризнанные или неправдоподобные. Таким образом, энтимема и пример необходимо должны быть: первая — силлогизмом, второй — наведением касательно чего-нибудь такого, что вообще может иметь и другой исход. И энтимема, и пример выводятся из немногих положений; часто их бывает меньше, чем при выведении первого силлогизма, потому что, если которое-нибудь из них общеизвестно, его не нужно приводить, так как его добавляет сам слушатель, например, для того, чтобы выразить мысль, что Дорией [17] победил в состязании, наградой за которое служит венок, достаточно сказать, что он победил на Олимпийских играх, а что наградой за победу служит венок, этого прибавлять не нужно, потому что все это знают.

Есть немного необходимых положений, из которых выводятся риторические силлогизмы, потому что большая часть вещей, которых касаются споры и рассуждения, могут быть и иными [сравнительно с тем, что они есть], так как люди рассуждают и размышляют о том, что бывает объектом их деятельности, а вся их деятельность именно такова: ничто в ней не имеет характера необходимости, а то, что случается и происходит по большей части, непременно должно быть выведено из других положений подобного рода, точно так же, как необходимое по своей природе должно быть выведено из необходимого (все это известно нам также из «Аналитики»[18]). Отсюда ясно, что из числа тех положений, из которых выводятся энтимемы, одни имеют характер необходимости, другие — и такова большая часть их — характер случайности; таким образом, энтимемы выводятся из вероятного или из признаков, так что каждое из этих двух понятий необходимо совпадает с каждым другим из них.

Вероятное то, что случается по большей части, и не просто то, что случается, как определяют некоторые, но то, что может случиться и иначе; оно так относится к тому, по отношению к чему оно вероятно,
1357 b как общее к частному.

Что касается признаков (sēmeia), то одни из них имеют значение общего по отношению к частному, другие — частного по отношению к общему; из них те, которые необходимо ведут к заключению, называются явными доказательствами (tecmēria); те же, которые не ведут необходимо к заключению, не имеют названия, которое соответствовало бы их отличительной черте.

Необходимо ведущими к заключению я называю те признаки, из которых образуется силлогизм. Отсюда-то подобный род признаков и называется явным доказательством (tecmērion), ибо когда люди думают, что сказанное ими может быть опровергнуто, тогда они полагают, что привели tecmērion, как нечто доказанное и поконченное, потому что в древнем языке tecmar и peras значат одно и то же[19].

Из признаков одни имеют значение частного по отношению к общему, как, например, если бы кто-нибудь назвал признаком того, что

мудрецы справедливы, то, что Сократ был мудр и справедлив. Это — признак, но он может быть опровергут, даже если сказанное справедливо, потому что он не может быть приведен к силлогизму. Другой род признаков, например, если кто-нибудь скажет, что такой-то человек болен, потому что у него лихорадка, или что такая-то женщина родила, потому что у нее есть молоко,— этот род признаков имеет характер необходимости. Из признаков один этот род есть tecmērion, потому что он один не может быть опровергнут, раз верна [посылка]. Признак, идущий от общего к частному, например, если кто-нибудь считает доказательством того, что такой-то человек страдает лихорадкой, тот факт, что этот человек часто дышит; это может быть опровергнуто, если даже верно это утверждение, потому что иногда приходится часто дышать человеку и не страдающему лихорадкой.

Итак, мы сказали, что такое вероятное, признак и примета, и чем они отличаются друг от друга; более же подробно мы разобрали вопрос как об этом, так и о том, по какой причине одни доказательства не выведены, а другие выведены по правилам силлогизма,— в «Аналитике»[20]. Мы сказали также, что пример есть наведение, и объяснили, чего касается это наведение: пример не обозначает ни отношения части к целому, ни целого к части, ни целого к целому, но части к части, подобного к подобному, когда оба данных случая подходят под одну и ту же категорию случаев, причем один из них более известен, чем другой; например [мы предполагаем], что Дионисий, прося себе вооруженной стражи, замышляет сделаться тираном, на том основании, что ранее этого Писистрат, замыслив сделаться тираном, потребовал себе стражу и, получив ее, сделался тираном; точно так же поступил Феаген Мегарский[21] и другие хорошо известные нам люди; все они в этом случае делаются примерами по отношению к Дионисию, о котором мы хорошенько не знаем, точно ли он просит себе стражу именно для этой цели. Все приведенные случаи подходят под то общее положение, что раз человек просит себе стражу, он замышляет сделаться тираном.

Мы сказали, таким образом, из чего составляются способы убеж- 1358 a
дения, кажущиеся аподиктическими[22]. Между энтимемами есть одно громадное различие, совершенно забываемое почти всеми исследователями, оно — то же, что и относительно диалектического метода силлогизмов; заключается оно в том, что одни из энтимем образуются согласно с риторическим, а также с диалектическим методом силлогизмов, другие же согласно с другими искусствами и возможностями (dynameis); из которых одни уже существуют в законченном виде, а другие еще не получили полной законченности. Вследствие этого люди, пользующиеся ими, сами незаметно для себя, пользуясь ими больше, чем следует, выходят из своей роли простых ораторов. Сказанное нами станет яснее, если мы подробнее разовьем нашу мысль. Я говорю, что силлогизмы диалектические и риторические касаются того, о чем мы говорим общими местами — топами (topoi); они общи для рассуждений о справедливости, о явлениях природы и о многих других, отличных один от

другого предметах; таков, например, топ большего и меньшего, потому что одинаково удобно на основании его построить силлогизм или энтимему как относительно справедливости и явлений природы, так и относительно какого бы то ни было другого предмета, хотя бы эти предметы и были совершенно различны по природе. Частными же я называю энтимемы, которые выведены из посылок, относящихся к отдельным родам и видам явлений; так, например, есть посылки физики, из которых нельзя вывести энтимему или силлогизм относительно этики, а в области этики есть другие посылки, из которых нельзя сделать никакого вывода для физики, точно так же и в области всех [других наук]. Те [энтимемы первого рода, то есть topoi] не сделают человека сведущим в области какой-нибудь частной науки, потому что они не касаются какого-нибудь определенного предмета. Что же касается энтимем второго рода, то чем лучше мы будем выбирать посылки, тем скорее незаметным образом мы образуем область науки, отличной от диалектики и риторики, и если мы дойдем до основных положений, то будем иметь перед собой уже не диалектику и риторику, а ту науку, основными положениями которой мы овладели. Большая часть энтимем выводится из этих частных специальных положений; из топов их выводится меньше.

Теперь точно так же, как и в «Топике»[23], нам нужно рассмотреть виды энтимем, а также топы, из которых их нужно выводить. Видами я называю посылки, свойственные каждому отдельному роду предметов, а топами — посылки, одинаково общие всем предметам.

Итак, поговорим сначала о видах. Предварительно же рассмотрим роды риторики, чтобы, определив число их, разобрать элементы и посылки каждого из них в отдельности.

3

Три элемента, из которых слагается речь.— Три рода слушателей.— Три рода риторических речей.— Предмет речей совещательных, судебных, эпидейктических[24]. Время, которое имеет в виду каждый из трех родов речи.— Цель каждого рода речи.— Необходимость знать посылки каждого рода речи.

Есть три вида риторики, потому что есть столько же родов слушателей. Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из пред-
1358 b мета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя). Слушатель необходимо бывает или простым зрителем, или судьей, и притом судьей или того, что уже совершилось, или же того, что может совершиться. Примером человека, рассуждающего о том, что имеет быть, может служить член народного собрания, а рассуждающего о том, что уже было,— член судилища; человек, обращающий внимание [только] на дарование [оратора], есть простой зритель. Таким образом, естественно является

три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидейктические. Дело речей совещательных — склонять или отклонять, потому что как люди, которым приходится совещаться в частной жизни, так и ораторы, произносящие речи публично, делают одно из двух [или склоняют, или отклоняют].

Что же касается судебных речей, то дело их — обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно одно что-нибудь из двух [или обвиняют, или оправдываются].

Дело эпидейктической речи — хвалить или порицать. Что касается времени, которое имеет в виду каждый из указанных родов речи, то человек, совещаясь, имеет в виду будущее: отклоняя от чего-нибудь или склоняя к чему-нибудь, он дает советы относительно будущего. Человек тяжущийся имеет дело с прошедшим временем, потому что всегда по поводу событий, уже совершившихся, один обвиняет, а другой защищается. Для эпидейктического оратора наиболее важным представляется настоящее время, потому что всякий произносит похвалу или хулу по поводу чего-нибудь существующего; впрочем, ораторы часто сверх того пользуются и другими временами, вспоминая прошедшее или строя предположения относительно будущего. У каждого из этих родов речей различная цель, и так как есть три рода речей, то существуют и три различные цели: у человека, дающего совет, цель — польза и вред: один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего; остальные соображения, как-то: справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное — здесь на втором плане.

Для тяжущихся целью служит справедливое и несправедливое, но и они присоединяют к этому другие соображения.

Для людей, произносящих хвалу или хулу, целью служит прекрасное и постыдное; но сюда также привносятся прочие соображения.

Доказательством того, что для каждого рода речей существует именно названная нами цель, служит то обстоятельство, что относительно остальных пунктов в некоторых случаях и не спорят; например, тяжущийся иногда не оспаривает того, что такой-то факт имел действительно место или что этот факт действительно причинил вред, но он никогда не согласится, что совершил несправедливое дело, потому что в таком случае не нужно было бы никакого суда.

Подобно этому и ораторы, подающие советы, в остальном часто делают уступки, но никогда не сознаются, что советуют бесполезное или отклоняют от полезного; например, они часто не обращают никакого внимания на то, что несправедливо порабощать себе соседей или таких людей, которые не сделали нам ничего дурного. Точно также и ораторы, произносящие хвалу или хулу, не смотрят на то, сделал ли этот человек что-нибудь полезное или вредное, но даже часто ставят 1359 a
ему в заслугу, что, презрев свою собственную пользу, он совершил что-нибудь прекрасное; например, восхваляют Ахилла за то, что он оказал помощь своему другу Патроклу, зная, что ему самому суждено при этом умереть[25], между тем как у него была полная возможность жить.

Для него подобная смерть представляется чем-то более прекрасным, а жизнь чем-то полезным.

Из сказанного очевидно, что прежде всего необходимо знать посылки каждого из указанных родов речей в отдельности, потому что доказательства, вероятности и признаки — посылки риторики. Ведь, вообще говоря, силлогизм составляется из посылок, а энтимема есть силлогизм, составленный из названных нами посылок. Так как не могло совершиться в прошедшем и не может совершиться в будущем что-нибудь невозможное, а [всегда совершается лишь] возможное и так как не могло совершиться в прошедшем что-нибудь не бывшее, точно так же, как не может быть в будущем совершено что-нибудь такое, чего не будет, то необходимо оратору, как подающему советы, так и произносящему судебные или эпидейктические речи, иметь наготове посылки о возможном и невозможном, о том, было ли что-нибудь или не было, будет или не будет.

Кроме того, так как все ораторы, как произносящие хвалу или хулу, так и уговаривающие или отговаривающие, а также и обвиняющие или оправдывающиеся, не только стремятся доказать что-нибудь, но и стараются показать великость или ничтожество добра или зла, прекрасного или постыдного, справедливого или несправедливого, рассматривая при этом предметы безотносительно сами по себе, или сопоставляя их один с другим. В виду всего этого очевидно, что нужно иметь наготове посылки как общего, так и частного характера относительно великости и ничтожества и относительно большего и меньшего, например, относительно того, что можно назвать большим или меньшим благом, или большим или меньшим преступлением, или более или менее справедливым деянием; точно так же и относительно остальных предметов.

Итак, мы сказали, относительно чего необходимо иметь наготове посылки. После этого следует разобрать [предмет] каждого из указанных [родов речи] в отдельности: чего касаются совещательные, эпидейктические и судебные речи.

4

О чем приходится говорить оратору в речах совещательных? — Подробное рассмотрение вопросов, с которыми имеют дело люди, не входит в область риторики.— Риторика заключает в себе элемент аналитический и элемент политический.— Пять пунктов, по поводу которых произносятся совещательные речи: финансы, война и мир, охрана страны, продовольствие страны, законодательство.— Оратор должен знать виды государственного устройства.

Итак, прежде всего нужно определить, относительно какого рода благ и зол совещается человек, так как [совещаться можно] не отно-

сительно всевозможных благ и зол, но лишь относительно тех, которые могут и быть и не быть. Что же касается того, что непременно есть или будет, или же не может, или не могло быть, о таких вещах не должно быть никакого совещания. Но [совещаются] также не о всем том, что может быть, потому что в числе благ, которые могут и быть, и не быть, есть и такие, которые являются в силу естественного хода вещей или случайно и о которых нет никакой пользы совещаться. Очевидно, что явления, относительно которых возможно совещание,— те, которые в силу своей природы зависят от нас и начало возникновения которых заключается в нас самих. Мы ведь до тех пор исследуем известные вещи, пока не определим, возможно или невозможно нам их сделать.

Здесь мы не должны задаваться целью подробно один за другим рассмотреть и распределить на виды те вопросы, с которыми люди обыкновенно имеют дело, точно так же мы не должны давать им определения, согласные с истиной, насколько это возможно,— не должны мы этого делать потому, что это относится к области не риторики, а другой более глубокой и истинной науки, да и теперь уже риторике дано гораздо больше задач, чем ей свойственно.

Справедливо, как мы и раньше заметили, что риторика состоит из науки аналитической и науки политической, касающейся нравов, и что она в одном отношении подобна диалектике, в другом — софистическим рассуждениям[26]. Если же мы захотим рассматривать диалектику и риторику не как способности, но как науки, то, сами этого не замечая, мы уничтожим их природу, так как, относясь к ним таким образом, мы переходим в область наук, которым подчинены известные предметы, а не одни рассуждения.

Однако скажем теперь о вопросах, которые полезно разделить на категории и которые имеют значение для политической науки.

То, о чем люди совещаются и по поводу чего высказывают свое мнение ораторы, сводится, можно сказать, к пяти главным пунктам; они следующие: финансы, война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и законодательство.

Тому, кто захотел бы давать советы относительно финансов, следует знать все статьи государственных доходов,— каковы они и сколько их, чтобы, если какая-нибудь из них забыта, присоединить ее [к доходам], и если какая-нибудь другая меньше, [чем могла бы быть], увеличить ее; кроме того, [необходимо знать также и] все расходы, чтобы в случае, если какая-нибудь статья расхода окажется бесполезной, уничтожить ее, а если какая-нибудь другая окажется более значительной, чем следует, уменьшить ее, так как люди становятся богаче не только путем прибавления к тому, что у них есть, но и путем сокращения расходов. Все эти сведения нужно черпать не из одного только опыта, касающегося местных дел: для того чтобы подавать советы относительно этого, необходимо знать и те изобретения, которые сделаны в этом отношении другими.

Что касается войны и мира, [то здесь необходимо] знать силу государства,— насколько она велика в настоящее время и насколько велика была прежде, в чем она теперь заключается и в каком отношении может быть увеличена. Кроме того, [необходимо знать], какие войны вело государство и как — и все это не только относительно своего собственного государства, но и относительно государств соседних. Следует также знать, с кем из соседей можно с вероятием ожидать войны, чтобы с более сильными сохранить мир, а что касается более слабых, то
1360 a чтобы всегда начало войны зависело от нас самих.

Необходимо также знать военные силы [противников], сходны они с нашими или не сходны, потому что и этим путем возможно как получить выгоду, так и понести ущерб. И для этого необходимо рассмотреть исход войн не только наших, но и чужих, ибо от одинаковых причин получаются одинаковые следствия.

Что касается охраны страны, то [необходимо] быть знакомым со способами охранения страны; [следует] также знать количество стражи и виды и места сторожевых пунктов; сведения эти невозможно иметь, не будучи хорошо знакомым со страной; [все это для того], чтобы усилить охрану, если где-нибудь она слишком слаба, и отменить ее там, где она бесполезна, чтобы тщательнее охранять важные пункты.

В вопросе о продовольствии страны [необходимо знать], какое потребление достаточно для государства и каковы продукты, производимые страной и ввозимые в нее, а также — в каких государствах нуждается страна для вывоза продуктов и в каких для ввоза, чтобы заключать с ними договоры и торговые соглашения, так как необходимо предостерегать граждан от столкновений с двумя категориями государств: с теми, которые могущественнее [нас], и с теми, которые [могут быть полезны] стране в вышеуказанном отношении.

Если для [сохранения] безопасности государства необходимо быть знакомым со всеми этими вопросами, то не менее важно также знать толк в законодательстве, потому что благополучие государства зависит от законов.

Необходимо, таким образом, знать, сколько есть видов государственного устройства, и что полезно для каждого из них, и какие обстоятельства, как вытекающие из самой природы данной формы государственного устройства, так и чуждые ее природе, могут способствовать гибели этой формы. Я говорю о гибели известной формы правления от свойств, в ней самой заключающихся, потому что, за исключением лучшей формы правления, все остальные погибают как от излишнего ослабления, так и от чрезмерного напряжения, как, например, демократия гибнет не только при чрезмерном ослаблении, когда она под конец переходит в олигархию[27], но и при чрезмерном напряжении, подобно тому как крючковатый и сплюснутый нос не только при смягчении этих свойств достигает умеренной величины, но и при чрезмерной крючковатости и сплюснутости принимает уже такую форму, которая не имеет даже вида носа.

По отношению к законодательству нужно не только понимать на основании наблюдений над прошлым, какая форма правления полезна, но также и знать формы правления в других государствах: для каких людей какая форма правления годится. Очевидно, таким образом, что для законодательства полезны описания земли, потому что из них можно познакомиться с законами [других] народов; для совещания же о делах государственных полезны творения историков. Но все это относится к области политики, а не риторики.

Вот главнейшие пункты, относительно которых должен быть сведущ тот, кто желает давать советы [в делах государственных]. Теперь мы 1360 b
изложим положения, на основании которых следует советовать то или отсоветовать другое как по вышеупомянутым, так и по всяким другим вопросам.

5

Счастье (eudaimonia) *как цель человеческой деятельности.— Четыре определения счастья.— Составные части счастья.— Внутренние и внешние блага.— Анализ понятий: благородство происхождения, хорошего и многочисленного потомства* (eytecnia и polytecnia); *богатства, хорошей репутации, почета, физической добродетели, обладание многими друзьями* (polyphilia) *и дружба с хорошими людьми* (chrēstophilia).— *Определение понятия «друг».— Анализ понятия счастливой судьбы* (eytychia) *и случайного блага.*

У всякого человека в отдельности и у всех вместе есть, можно сказать, известная цель, стремясь к которой они одно избирают, другого избегают; эта цель, коротко говоря, есть счастье (eudaimonia) с его составными частями. Итак, разберем для примера, что такое, прямо говоря, счастье и из чего слагаются его части, потому что все уговаривания и отговаривания касаются счастья, что к нему ведет и что ему противоположно: то, что создает счастье или какую-нибудь из его частей, или что делает его из меньшего большим,— все такое следует делать, а того, что разрушает счастье, мешает ему или создает что-нибудь ему чуждое — всего такого не следует делать.

Определим счастье как благосостояние, соединенное с добродетелью, или как довольство своей жизнью, или как приятнейший образ жизни, соединенный с безопасностью, или как избыток имущества и рабов в соединении с возможностью охранять их и пользоваться ими[28]. Ведь, можно сказать, все люди согласны признать счастьем одну или несколько из этих вещей.

Если на самом деле счастье есть нечто подобное, то к числу составных его частей необходимо будет принадлежать благородство происхождения, обилие друзей, дружба с хорошими людьми, богатство, хорошее и обильное потомство, счастливая старость, кроме того, еще

преимущества физические, каковы здоровье, красота, сила, статность, ловкость в состязаниях, а также такие достоинства, как слава, почет, удача, потому что человек наиболее счастлив в том случае, когда он обладает благами, находящимися в нем самом и вне его; других же благ помимо этих нет. В самом человеке есть блага духовные и телесные, а вне его благородство происхождения, друзья, богатство и почет. К этому, по нашему мнению, должно присоединяться могущество и удача, потому что в таком случае можно пользоваться в жизни наибольшей безопасностью.

Итак, рассмотрим, что такое представляет каждая из названных частей счастья в отдельности.

Быть благородного происхождения для какого-нибудь народа или государства значит быть автохтонами или исконными [обитателями данной страны], иметь своими родоначальниками славных вождей и дать из своей среды многих мужей, прославившихся тем, что служит предметом соревнования. Для отдельного человека чистокровность происхождения передается как по мужской, так и по женской линии, а также [обусловливается] гражданской полноправностью обоих родителей. Как для целого государства, так и здесь быть благородного происхождения значит иметь своими родоначальниками мужей, прославившихся доблестью, богатством или чем-нибудь другим, что служит предметом уважения, и насчитывать в своем роду много славных мужей и женщин, юношей и стариков[29].

1361 a Понятие хорошего и многочисленного потомства ясно: для государства иметь хорошее потомство значит иметь многочисленное и хорошее юношество, одаренное прекрасными физическими качествами, каковы рост, красота, сила, ловкость в состязаниях; что касается нравственных качеств, то добродетель молодого человека составляют скромность и мужество.

Для отдельного человека иметь многочисленное и хорошее потомство значит иметь много собственных детей мужского и женского пола, обладающих вышеуказанными качествами.

Достоинство женщин составляют в физическом отношении красота и рост, а в нравственном — скромность и трудолюбие без низости (aneleytheria). Каждому человеку в отдельности и целому государству следует стремиться к тому, чтобы как у мужчин, так и у женщин имелись все вышеуказанные качества, потому что те государства, где, как у лакедемонян, нравы женщин порочны, пользуются приблизительно вдвое меньшим благополучием[30].

Составными частями богатства являются обилие монеты, обладание землей и недвижимой собственностью, а также множеством стад и рабов, рослых и красивых; все эти объекты владения должны быть неоспоримы, сообразны с достоинством свободного человека и полезны. Полезные объекты владения — это преимущественно те, которые приносят плоды, сообразные с достоинством свободного человека, и доставляют наслаждение. Приносящими плоды я называю те предметы владения, от кото-

рых [получается] доход, а доставляющими наслаждение — те, от которых [не получается] ничего, о чем бы стоило упомянуть, кроме пользования ими. Признаком неоспоримости владения является владение в таком месте и при таких условиях, что способ пользования объектами владения зависит от самого владетеля, признаком же владения или невладения служит возможность отчуждать предметы владения; под отчуждением я разумею дачу и продажу. Вообще же сущность богатства заключается более в пользовании, чем в обладании: ведь операция над предметами владения и пользование ими и составляет богатство.

Иметь хорошую репутацию значит считаться у всех людей серьезным человеком или обладать чем-нибудь таким, что составляет предмет стремления всех или большинства, или добродетельных или разумных людей. Почет служит признаком репутации благодетеля; по справедливости почетом пользуются преимущественно те люди, которые оказали благодеяние, но почитается также и тот, кто имеет отношение или к самому существованию и тому, что последнему способствует, или к богатству, или к какому-нибудь другому благу, приобретение которого представляется нелегким или вообще, или для данного места или времени; многие заслуживают почет делами с виду маловажными, чему причиной служит место и время оказания услуги. Проявление почета составляют жертвоприношения, прославления в стихах и прозе, почетные дары, участки священной земли, первые места, похороны, статуи, содержание на счет государства; у варваров признаками почтения служит падение ниц, предоставление места, дары, считающиеся у данного народа почетными. Дар есть дача известного имущества, а вместе и знак почета, потому-то даров домогаются как корыстолюбивые, так и честолюбивые люди; дар обладает свойствами, нужными для тех и других людей: он представляет собой известного рода ценность, которая 1361 b
составляет предмет стремления для корыстолюбивых, и в то же время он связан с почетом, которого домогаются люди честолюбивые.

Физическая добродетель есть здоровье; оно заключается в безболезненном пользовании своим телом, потому что многие, как, например, по преданию, Геродик[31], пользуются таким здоровьем, которому никто бы не позавидовал, так как им приходится воздерживаться от всего или от очень многого, что доступно человеку.

Что касается красоты, то она различна для каждого возраста. Красота юности заключается в обладании телом, способным переносить труды, будут ли они заключаться в беге или в силе, и в обладании наружностью, своим видом доставляющей наслаждение; поэтому-то атлеты, занимающиеся пентатлом[32], обладают наибольшей красотой, так как они по своей природе равно способны как к телесным состязаниям, так и к быстрому бегу.

[Красота] зрелого возраста заключается в обладании телом, способным переносить военные труды, и наружностью приятной и вместе с тем внушительной.

[Красота] старца заключается в обладании силами, достаточными для выполнения необходимых работ, и в беспечальном существовании благодаря отсутствию всего того, что позорит старость.

Сила есть способность приводить другого [человека или предмет] в движение по своему произволу, а это можно делать, или таща его, или толкая, или поднимая, или тесня, или сжимая, так что сильный человек должен оказываться сильным или во всех этих действиях, или в некоторых из них.

Обладающий достоинством статности превосходит многих в росте, он крепок и широкоплеч, однако избыток этих качеств не замедляет его движений.

Атлетическая доблесть для состязаний слагается из достоинств статности, силы и быстроты; ведь и человек быстро бегающий есть в то же время человек сильный, так именно, кто в состоянии известным образом передвигать ноги быстро и на далекое пространство, способен к бегу, а тот, кто умеет сжимать и удерживать [своего противника], тот способен к борьбе; человек, умеющий наносить удары, способен к кулачному бою, а человек, умеющий делать и то, и другое, способен к панкратии[33]; что же касается человека, способного ко всем указанным видам телесных упражнений, то он способен к пентатлу.

Хорошая старость — старость поздно наступающая и вместе беспечальная: не имеет счастливой старости ни тот, кто старится рано, ни тот, чья старость, поздно наступая, сопровождается страданием. Хорошая старость является следствием как хороших физических качеств человека, так и благоприятной судьбы, потому что, не будучи здоровым и сильным, человек не будет лишен страданий, точно так же как без благоприятных условий судьбы жизнь его не может быть беспечальной и долговечной. Помимо силы и здоровья есть другие условия, способствующие долговечности; многие долговечны, хотя и не обладают хорошими физическими качествами. Но нет никакой нужды распространяться здесь об этом.

Понятия polyphilia «обладание многими друзьями» и chrēstophilia «дружба с хорошими людьми» ясны, раз понятие друга определено так: друг — это такой человек, который делает для другого человека то, что считает для него благом, и делает это ради этого человека. Тот, у которого много друзей, и есть polyphilos, а тот, у которого [эти друзья] еще и хорошие люди, есть chrēstophilos.

Удача (eytychia) заключается в приобретении и обладании или 1362 a всеми, или большей частью, или главнейшими из тех благ, происхождение которых случайно. Случай[34] бывает причиной некоторых таких благ, которые можно добыть с помощью человеческого искусства, но многие из них недостижимы этим путем, например, те, которые даются нам природой. Некоторые из благ [доставляемых случаем] могут существовать и независимо от природы; так, здоровье может иметь своим источником искусство, но источником красоты и роста может быть только природа. Вообще говоря, это те блага случайного происхождения,

которые возбуждают зависть. Случай бывает причиной и таких благ, которые являются вопреки всякому расчету, например, если все братья безобразны и только один из них красив, или если никто другой не замечал клада, а один кто-нибудь нашел его, или если стрела попала в человека, стоявшего рядом, а в него не попала, или если человек, постоянно ходивший [в такое-то место], не пришел, а другие, в первый раз пришедшие туда, погибли. Все подобные случаи кажутся следствием удачи.

Так как учение о добродетели имеет всего более связи с учением о похвалах, то мы разберем вопрос о добродетели тогда, когда будем говорить о похвале.

6

Цель речи совещательной — польза, польза — благо; определение блага.— Три рода действующих причин.— К категории блага относятся: добродетель, удовольствие, счастье, добродетели души, красота и здоровье, богатство и дружба, честь и слава, уменье хорошо говорить и действовать, природные дарования, науки, знания и искусства, жизнь, справедливость.— Блага спорные.— Еще определения блага.— Два рода возможного.

Итак, ясно, что мы должны иметь в виду, как желательное в будущем или как уже существующее в настоящем, когда уговариваем кого-нибудь, и что, напротив, когда отговариваем кого-нибудь, потому что второе противоположно первому. Так как цель, которую преследует совещательный оратор, есть польза, потому что совещаются не о конечной цели, но о средствах, ведущих к цели, а такими средствами бывает то, что полезно при данном положении дел, полезное же есть благо,— в виду всего этого следует вообще разобрать основные элементы добра и пользы.

Определим благо как нечто такое, что желательно само по себе, ради чего мы желаем и другого, к чему стремится все или, по крайней мере, все, способное ощущать и одаренное разумом, или если бы было одарено разумом. Благо есть то, что соответствует указаниям разума; для каждого отдельного человека благо то, что ему указывает разум относительно каждого частного случая; благо — нечто такое, присутствие чего делает человека спокойным и самоудовлетворенным; оно есть нечто самодовлеющее, нечто способствующее возникновению и продолжению такого состояния, нечто сопутствующее подобному состоянию, мешающее противоположному состоянию и устраняющее его. А сопутствие [здесь] может быть двоякое: [что-нибудь существует] одновременно [с чем-нибудь другим] или является после [этого другого], например, знание является после учения, но жизнь существует одновременно со здоровьем.

3 Заказ № 637

Способствование возникновению (ta poiētica) бывает троякое: одно подобно тому, как состояние здоровья бывает причиной здоровья, другое — как причиной здоровья бывает пища, третье — как такой причиной бывает гимнастика, поскольку она по большей части производит здоровье. Раз это установлено, отсюда необходимо следует, что хорошо всякое приобретение блага и всякое устранение зла, потому что одновременно с первым состоянием существует отсутствие зла, а вслед за вторым наступает обладание благом. И получение большего блага вместо меньшего и меньшего зла вместо большего [есть также благо], потому что в одном случае мы обретаем, а в другом устраняем то, чем
1362 b большее имеет перевес над меньшим. И добродетели необходимо суть благо, потому что люди, обладающие ими, счастливы; добродетели производят блага и учат пользоваться ими. Но мы скажем отдельно о каждой из них, что она такое и какова ее природа. Удовольствие также необходимо есть благо, потому что все живое стремится в силу своей природы к удовольствию. Вследствие этого все приятное и прекрасное необходимо есть благо, потому что приятное доставляет удовольствие, а из прекрасных вещей одни приятны, другие желательны ради самих себя.

Одним словом, благом необходимо признать следующее: счастье, потому что оно желательно само по себе и обладает свойством самодовлеемости; кроме того, ради него мы избираем многое. Справедливость, мужество, умеренность, великодушие, щедрость и тому подобные качества, потому что это — добродетели души[35]. Красота, здоровье и тому подобное — также блага, потому что все это — добродетели тела, которые создают много благ, например, здоровье создает удовольствие и жизнь, почему оно и считается высшим благом, так как служит причиной двух вещей, имеющих для большинства наибольшую ценность — удовольствия и жизни. Богатство, так как оно представляет собой достоинство имущественного состояния и служит причиной многих благ. Друг и дружба, потому что друг желателен сам по себе, а кроме того, он может сделать многое. Честь, слава, потому что они приятны и потому что они создают многое; с ними по большей части сопряжено присутствие того, в силу чего [люди] пользуются почетом. Умение говорить и искусно действовать, потому что все подобное создает блага. Сюда же относятся даровитость, память, понятливость, сметливость и все тому подобные качества, потому что они создают блага. Равным образом [сюда принадлежат] все отрасли знания и все искусства. Сама жизнь [есть благо], потому что, если бы даже с ней не было сопряжено никакое другое благо, она желательна сама по себе. Наконец, справедливость [есть также благо], потому что она полезна всем.

Вот приблизительно все то, что люди согласны признавать благом. Что же касается благ спорных, то заключения относительно их нужно выводить на основании вышеупомянутых благ. Благо — то, противоположное чему есть зло, а также то, противоположное чему полезно вра-

гам, например, если трусость граждан приносит пользу врагам, то, очевидно, что мужество очень полезно гражданам. Вообще же кажется полезным противоположное всему тому, чего желают враги и чему они радуются, поэтому-то сказано:

Как ликовал бы владыка Приам...[36].

Но так бывает не всегда, а лишь по большей части, потому что вполне возможно, что одно и то же будет полезно для обеих сторон, отчего и говорится, что «несчастье сводит людей», когда какая-нибудь одна и та же вещь вредна для обоих. Благом можно назвать также 1363 a
и то, что не есть крайность, то же, что преступает должную меру, есть зло. То, ради чего совершено много трудов и сделано много издержек, также представляется благом, потому что такая вещь уже есть кажущееся благо; она понимается, как цель, увенчивающая многие усилия, а всякая цель есть благо, поэтому сказано:

На похвальбу Приаму...

И:

Но позорно ждать нам и здесь без конца[37].

Отсюда и пословица: [выронить из рук] кувшин с водой у самой двери[38]. [Благом представляется] также то, к чему многие стремятся и что кажется достойным предметом соревнования, ибо то, к чему все стремятся, есть благо, а понятие большинства людей представляется равным понятию «все люди». [Благо] и то, что заслуживает похвалы, потому что никто не будет хвалить того, что не есть благо. То, что хвалят враги и дурные люди, также благо, потому что в этом случае все как бы согласны между собой, даже и те, которым это благо причинило вред: такое единодушие является следствием очевидности блага. Подобно этому дурные люди — те, которых порицают друзья и не порицают враги, а хорошие — те, которых не порицают даже враги. Поэтому-то коринфяне считали себя оскорбленными стихом Симонида:

Илион не порицает коринфян[39].

Благо также то, чему оказал предпочтение кто-нибудь из разумных или хороших мужчин или женщин, например, Афина оказала предпочтение Одиссею, Тесей — Елене, Александру — богини и Ахиллу — Гомер[40]. Вообще говоря [благо] — то, что заслуживает предпочтения людей, потому что они предпочитают делать то, что принадлежит к числу вышеуказанных вещей, а также, что имеет значение зла для врагов и блага для друзей. Кроме того, [они предпочитают еще делать] то, что возможно, возможное же бывает двух родов: одно — то, что уже совершалось, другое — что легко может совершиться. Легко [совершается] то, что [совершается] без неудовольствия или в короткое

время, потому что трудность какой-нибудь вещи определяется или [сопряженным с ней] неудовольствием, или продолжительностью времени. [Предпочитают] люди также и то, что случается согласно их желанию, а желают они или того, что не заключает в себе никакого зла, или того, в чем меньше зла, чем добра, а так бывает в том случае, когда зло незаметно или незначительно. [Предпочтение оказывается также тому], что принадлежит нам и чего ни у кого нет, а также всему чрезвычайному, потому что обладание такими вещами увеличивает почет; [пользуется предпочтением] также то, что имеет особенные удобства для нас; таково то, что подходит к нашему семейному и общественному положению, и что, по нашему мнению, нам нужно, хотя бы это было и маловажно; несмотря на это, люди предпочитают делать подобные вещи. [Заслуживают предпочтения] также те вещи, которые легко хорошо выполнить, потому что они, как легкие, возможны; легкими для исполнения называются такие вещи, которые были совершены многими, или большинством, или подобными нам людьми, или людьми более слабыми, [чем мы]. И то, чем мы можем угодить друзьям или досадить врагам, и что предпочитают делать люди, которым мы удивляемся, и то, к чему мы особенно способны и в чем сведущи, потому что есть надежда легче иметь успех в таком деле. И то, чего не сделает ни один дурной человек, потому что такие вещи больше заслуживают похвалы. И то, чего люди страстно желают, потому что такие вещи не только приятны, но представляются еще лучшими, [чем они есть]. Всякий человек избирает то, к чему имеет расположение, как,
1363 b например, славолюбивые люди, если дело идет о победе, честолюбивые, если о почете, корыстолюбивые, если о деньгах; и все другие люди точно так же. Итак, вот откуда нужно заимствовать способы убеждения относительно блага и полезного.

7

Понятия бóльшего блага и более полезного; их анализ; различные определения этих понятий.

Но так как часто люди, признавая полезными какие-нибудь две вещи, спорят, которая из них полезнее, то вслед за вышесказанным следует разобрать вопрос о большем благе и более полезном. Вещь, превосходящая какую-нибудь другую вещь, заключает в себе то же, что есть в этой другой вещи, и еще нечто сверх того, а вещь, уступающая другой, есть нечто заключающееся в этой другой вещи. Бóльшая величина и большее число всегда таково по отношению к чему-нибудь меньшему, а все большее и малое, многое и немногое таково по отношению к величине [или числу] большинства предметов; понятие большого обозначает превосходство, а понятие малого — недостатки; точно также и понятие многого и немногого.

Так как мы называем благом то, что желательно само по себе, а не ради чего-нибудь другого, и то, к чему все стремится и к чему стремилось бы все, если бы было одарено разумом и практическим смыслом, и то, что создает и сберегает подобные вещи и с чем подобные вещи связаны. Так как цель есть то, ради чего что-нибудь делается, и так как ради нее делается все остальное; так как для данного человека благо есть то, что по отношению к этому человеку обладает указанными свойствами, то отсюда необходимо следует, что большее количество есть большее благо сравнительно с единицей и меньшим количеством, если единица или меньшее количество входит в состав большего; последнее имеет численное превосходство, в чем ему уступает входящая в его состав единица и меньшее количество. И если крупнейший [представитель какого-нибудь вида] превосходит крупнейшего [представителя другого вида], то и самый [вид] превосходит этот второй [вид], и [наоборот], если какой-нибудь [вид] превосходит другой [вид], то и крупнейший [экземпляр первого вида] превосходит крупнейший [экземпляр второго вида], например, если самый высокий мужчина выше самой высокой женщины, то и мужчины вообще выше женщин, и [наоборот], если мужчины вообще выше женщин, то и самый высокий мужчина выше самой высокой женщины, потому что превосходство одного вида над другим аналогично с превосходством их крупнейших экземпляров. И когда одно [благо] следует за другим, но это другое за первым не следует, [тогда это другое есть большее благо]. Последовательность же может быть троякая: одно явление или происходит одновременно с другим, или наступает вслед за ним, или обусловливается им, когда бытие (chrēsis) следующего явления уже заключается [как возможность] в бытии предыдущего. Так здоровье всегда одновременно с жизнью, но жизнь со здоровьем не всегда нераздельна.

Связь последовательности существует между учением и знанием, а связь возможности между святотатством и грабежом, потому что человек, совершивший святотатство, способен на грабеж вообще. И то, что производит большее благо, само больше, потому что это и обозначает возможность производить большее. И то, производящая причина чего больше, также больше, ибо если то, что полезно для здоровья, предпочтительнее того, что приятно, и есть большее благо [по сравнению с ним], то и здоровье важнее удовольствия. И то, что желательно 1364a
само по себе, [важнее] того, что желательно не само по себе, например, сила важнее здоровья, потому что здоровье желательно не само по себе, а сила — сама по себе, а это-то и составляет критерий блага. И если одно есть цель, а другое — не цель, [то первое выше], потому что второе желательно ради чего-нибудь другого, а первое — ради самого себя, например, гимнастика ради хорошего состояния тела. И то, что менее нуждается в другой вещи или других вещах, [выше], так как оно самостоятельнее; меньше же нуждается то, что нуждается в вещах менее важных или более легких. И если что-нибудь одно не бывает или не может быть без чего-нибудь другого, а это другое [бывает и может

быть] без первого: то, что не нуждается ни в чем другом, более самостоятельно, а потому и кажется большим благом. И если одна какая-нибудь вещь есть начало, а другая не есть начало, или если одна вещь есть причина, а другая не есть причина, то по одному и тому же [первая важнее второй], потому что без причины и начала невозможно бытие или возникновение.

И превосходящее от большего из двух начал больше, так же как происходящее от большей из двух причин больше, и, наоборот, из двух начал больше то, что служит началом большего, и из двух причин важнее та, которая служит причиною большему. Из сказанного очевидно, что одна вещь может быть больше другой и с той и другой стороны, если она есть начало, а другая не есть начало, первая покажется важнее, точно так же [как и в том случае], если она не есть начало, а другая вещь есть начало, потому что цель важнее начала. Так, и Леодамант, обвиняя Каллистрата, говорил, что советник виновнее исполнителя, потому что проступок не был бы совершен, не будь дан совет. И, наоборот, [произнося обвинительную речь] против Хабрия[41], [он говорил], что исполнитель виновнее советчика, потому что дело не совершилось бы, не будь человека, готового его совершить: люди-де с тем и составляют заговоры, чтобы кто-нибудь совершил их. И то, что встречается реже, лучше того, что бывает в изобилии, как, например, золото лучше железа, хотя оно и менее полезно, обладание им представляется большим благом, потому что оно труднее. С другой стороны, существующее в изобилии лучше того, что встречается как редкость, потому что пользование им более распространено, ибо «часто» имеет преимущество перед «редко», отчего и говорится:

Всего лучше вода[42].

И вообще более трудное [лучше], чем более легкое, потому что оно более редкое, а с другой точки зрения более легкое [лучше], чем более трудное, потому что подчиняется нашим желаниям. [Большее благо] и то, чему противоположно большее зло, и то, лишение чего чувствуется сильнее. И добродетель выше того, что не есть добродетель, а порок выше того, что не есть порок, потому что добродетель и порок суть цели, а эти другие [качества] такими не представляются. И из причин важнее те, следствия которых значительнее — в хорошую или дурную сторону. И более важны следствия того, хорошие и дурные стороны чего крупнее, потому что каковы причины и начала, таковы и следствия, и каковы следствия, таковы и причины и начала. [Лучше] и то, высшая степень чего более желательна или прекрасна, как, например, желательнее хорошо видеть, чем тонко обонять, потому что
1364 b зрение лучше обоняния. И любить друзей лучше, чем любить деньги, так что и дружелюбие лучше корыстолюбия. Наоборот, чрезмерная степень чего-нибудь лучшего лучше и чего-нибудь прекрасного прекраснее, точно так же как лучше и прекраснее те вещи, которые возбуждают более высокие и прекрасные желания, потому что более сильные

желания относятся к большим объектам, а по той же самой причине и желания, возбуждаемые более прекрасными и высокими предметами, прекраснее и выше. И чем прекраснее и ценнее науки, тем прекраснее и ценнее их объекты, потому что какова наука, такова и истина, в ней заключающаяся, так как каждая наука располагает (celeyei) своей собственной истиной. По аналогии с этим науки тем прекраснее и ценнее, чем прекраснее и ценнее их объекты. И то, что могут признать или признали большим благом люди разумные, или все, или многие из них, или большая часть их, или лучшие из них, будет считаться большим благом или вообще, или постольку, поскольку их суждение было разумно. Это правило распространяется и на другие вопросы, потому что сущность, степень и качество вещи таковы, какими их признали знание и рассудок. Но о вопросах блага мы уже сказали, так как мы определили благо, как нечто такое, что избрали бы для себя все существа, одаренные рассудком. Отсюда очевидно, что и большее благо — то, чему рассудок оказывает больше предпочтения. И то [качество], которое есть у лучших людей, есть большее благо или безусловно, или постольку, поскольку они лучшие люди, например, мужество лучше силы. [Большее благо] и то, что предпочел бы лучший человек или безусловно, или поскольку он лучший человек; так, например, терпеть несправедливость лучше, чем делать несправедливость[43], потому что первое предпочел бы более справедливый человек. И более приятное [лучше], чем менее приятное, потому что все гонится за удовольствием и добивается удовольствия ради него самого, а такими чертами мы определили благо и цель. А из двух вещей приятнее та, которая доставляет удовольствие с меньшей примесью горечи (alypoteran) и более продолжительное время. И более прекрасное приятнее, чем менее прекрасное, потому что прекрасное есть или нечто приятное, или желательное само по себе. И то, что люди с большей охотой делают для себя, или для своих друзей, есть большее благо, а то, чего они совсем не хотят делать [для себя или для друзей], есть большее зло. И более продолжительные блага [лучше] менее продолжительных, точно так же, как более прочное [лучше] менее прочного, потому что первые имеют преимущество в отношении времени, а вторые в отношении удовлетворения желания: когда у нас является желание, нам более доступно пользование прочным благом. И так далее: оценкой одного понятия определяется оценка и другого родственного с первым или выраженного другой формой того же слова, [которым выражено первое], например, если «мужественно» прекраснее и желательнее, чем «умеренно», то и мужество желательнее умеренности, и быть мужественным желательнее, чем быть умеренным. И то, что предпочитают все, [лучше того], чему предпочтение оказывается не всеми, точно так же, как то, чему оказывает предпочтение большее число людей, [лучше того], чему оказывает предпочтение меньшее число людей, так как благо было определено у 1365 a
нас, как нечто такое, к чему все [стремятся], откуда большее благо будет то, к чему люди больше стремятся. И то, что предпочитают наши

противники, или враги, или судьи, или посредники, избранные судьями, [лучше], потому что в первом случае мы как бы имеем дело с суждением, разделяемым всеми людьми, а во втором — с суждением людей знающих и сведущих. Иногда лучше то, чему причастны все, так как позорно не быть причастным такой вещи, а иногда те, чему никто [не причастен] или [причастны] немногие, потому что подобная вещь представляет большую редкость. И то, что заслуживает похвалы, [ценнее], потому что прекраснее; равным образом [лучше] то, что влечет за собой больше почета, потому что почет есть как бы цена. [Наоборот, хуже] то, что влечет за собой большее наказание. То, что выше вещей, признаваемых или кажущихся великими, [лучше], и одна и та же вещь, когда ее разложить на составные части, кажется больше, потому что она представляется большей большего числа вещей, откуда и рассказ поэта о том, как Мелеагра убедили восстать [соображения о том], что

В городе, взятом врагами, на жителей рушатся беды;
Граждан в жилищах их режут, огонь пожирает весь город,
В плен и детей увлекают и жен, подпоясанных низко[44].

[Подобное же значение имеет] и сопоставление и соединение отдельных частей, которое употреблял Эпихарм[45], и по тем же причинам как разъединение их, потому что сопоставление частей придает целому вид сильного превосходства и потому что тогда целое кажется началом и причиной великих вещей. Так как лучше то, что труднее и что представляет большую редкость, то указания на обстоятельства, возраст, место, время и силы могут увеличивать значение вещи, потому что если она была совершена вопреки силам и возрасту, вопреки тому, что совершают подобные нам, и если она была совершена именно там-то или тогда-то, то она в таком случае получает вид вещей, значительных по красоте, полезности или справедливости, или же вещей им противоположных, откуда и эпиграмма в честь одного победителя на Олимпийских играх:

Некогда я, с изогнутым коромыслом на плечах,
Носил рыбу из Аргоса в Тегею[46].

Отсюда и Ификрат[47] восхвалял себя, говоря: «вот с чего я начал». И полученное от природы лучше, чем приобретенное извне, потому что первое труднее; поэтому-то и поэт говорит:

Я самоучка[48].

И самая большая часть чего-нибудь большого имеет наибольшее значение; так, Перикл в «Надгробной речи» сказал, что потеря юношества имеет для отечества такое же значение, как если бы из года исчезла весна[49]. Лучше также то, что оказывает помощь в большей

нужде, например, в старости и болезнях. И из двух благ ценнее то, которое ближе к цели, а также то, которое хорошо и для меня, и вообще, и возможное выше невозможного, потому что первое имеет значение для человека, а второе нет. Лучше то, что бывает в конце жизни, ибо то, что бывает под конец, в большей степени обладает свойствами цели. И то, что относится к области истины, лучше того, что делается для славы, а к области делаемого для славы относится то, чего никто бы не предпринял, зная, что это останется тайной. И поэтому такой человек предпочитает получить услугу, нежели ее оказать; получить услугу он может незаметно, а оказать услугу, оставаясь в тени, он не считает нужным. Но [на самом деле] насколько важнее быть лучше, чем [только] казаться, потому что это гораздо ближе к истине. [Тем не менее] некоторые [все-таки] предпочитают казаться, а не быть (что, правда, не относится к здоровью), и поэтому они и справедливость считают чем-то незначительным. Более ценности имеет и то, что во многих отношениях оказывается более полезным, например, помогает нам жить, быть счастливыми, пользоваться удовольствиями и делать добро, поэтому-то богатство и здоровье считаются величайшими благами: ведь они обусловливают собой все эти блага. И то, что влечет за собой меньше горя и что связано с удовольствием, лучше, потому что такая вещь заключает в себе больше, чем одно благо, так как и удовольствие — благо, и отсутствие печали — также благо. И из двух благ больше то, которое, будучи сложено с той же величиной, [как и другое], образует в результате большее целое. И то, присутствие чего заметно, лучше того, присутствие чего незаметно, потому что первое ближе к истине; поэтому-то, пожалуй, лучше быть, чем казаться богатым. Ценнее также и то, что пользуется любовью, и один и тот же предмет дороже для того, у кого этот предмет один только, чем для того, у кого таких предметов много. Поэтому-то неодинаковое наказание постигает того, кто лишит глаза человека одноглазого, и того, кто сделает это с человеком, обладающим обоими глазами, потому что в первом случае у человека отнят особенно дорогой для него орган. Итак, мы приблизительно сказали, откуда нужно черпать способы убеждения, когда приходится склонять или отклонять кого-нибудь.

8

Совещательный оратор должен знать различные формы правления.— Четыре формы правления: демократия, олигархия, аристократия, монархия.— Цель каждой формы правления.— Совещательный оратор должен знать нравы каждой из форм правления.

Самое же главное и наиболее подходящее средство для того, чтобы быть в состоянии убеждать и давать хорошие советы, заключается в

понимании всех форм правления, обычаев и законов каждой из них, а также в определении того, что для каждой из них полезно, потому что все руководятся полезным, полезно же то, что поддерживает государственное устройство. Решающее значение имеет выражение воли верховной власти, а виды верховной власти различаются согласно видам государственного устройства: сколько есть форм правления, столько и видов верховной власти. Форм правления четыре: демократия, олигархия, аристократия и монархия[50], так что верховная власть и власть судебная принадлежат или всем членам государства, или части их. Демократия есть такая форма правления, где должности занимаются по жребию, олигархия — где это делается сообразно имуществу граждан, аристократия — где это делается сообразно воспитанию (paideia) граждан. Под воспитанием я разумею здесь образование, установленное законом, потому что люди, не выходящие из пределов законности, в аристократии пользуются властью; необходимо, чтобы они казались лучшими из граждан, откуда получила название и сама форма правления. Монархия, как показывает само название ее, есть такая форма правления, в которой один властвует над всеми. Из форм единовластия 1366 a та, которая осуществляется по своего рода порядку, есть царствование (basileia), а другая, ничем не сдерживаемая, представляет собой тиранию.

Не должно упускать из виду цель каждой из форм правления, потому что люди всегда избирают то, что ведет к цели. Цель демократии — свобода, олигархии — богатство, аристократии — воспитание и законность, тирании — защита. Очевидно, что если люди принимают решения, имея в виду цель государства, то следует рассмотреть обычаи и законы каждой из форм правления и то, что для каждой из них полезно,— разобрать все это, как имеющее отношение к цели каждого из видов государственного устройства. Но так как можно убеждать не только посредством речи, наполненной доказательствами, но еще и этическим способом,— ведь мы верим оратору, потому что он кажется нам человеком известного склада, то есть, если он кажется нам человеком честным или благомыслящим, или тем и другим вместе,— ввиду всего этого нам следовало бы обладать знанием нравов каждой из форм правления, потому что нравственные качества каждой из них представляют для них самих наибольшую убедительность. Это достигается теми же самыми средствами, потому что нравственные качества обнаруживаются в связи с намерениями, а намерение имеет отношение к цели. Итак, мы сказали, насколько это было здесь уместно, к чему, уговаривая, мы должны стремиться, имея в виду будущее или настоящее, и откуда должны черпать способы убеждения, касающиеся полезного, а также нравов и законов каждой из форм правления, и о том, какими способами и каким образом мы можем облегчить себе [разрешение] этих вопросов. Точнее об этом изложено в нашей «Политике»[51].

9

Объекты эпидейктической речи.— Определение прекрасного.— Определение добродетели; части добродетели; величайшие добродетели; определение различных добродетелей.— Перечисление вещей прекрасных.— Похвала и энкомий[52]*.— Прославление блаженства* (macarismōs) *и прославление счастья* (eydamonismos)*.— Отношение похвалы к совету.— Усиливающие обстоятельства, сравнения и преувеличения пригодны для эпидейктической речи; для совещательной пригодны примеры, для судебной — энтимемы.*

Вслед за этим поговорим о добродетели и пороке, прекрасном и постыдном, потому что эти понятия являются объектами для человека, произносящего хвалу или хулу. Говоря об этом, мы вместе с тем выясним, в силу чего о нас может составиться понятие, как о людях известного нравственного характера, в чем, [как мы сказали], заключается другой способ внушать доверие, потому что одним и тем же путем мы можем сделать и себя и других людьми, внушающими к себе доверие в нравственном отношении (pros aretēn).

Так как нам часто случается — серьезно или несерьезно — хвалить не только человека или бога, но и неодушевленные предметы, и первое встречное животное, то следует и по отношению к этому пункту рассмотреть таким же образом основные положения, потому коснемся и этого вопроса, насколько это нужно для примера.

Прекрасное — то, что, будучи желательно само ради себя, заслуживает еще похвалы, или что, будучи благом, приятно потому, что оно благо[53]. Если таково содержание понятия прекрасного, то добродетель необходимо есть прекрасное, потому что, будучи благом, она еще заслуживает похвалы. Добродетель, как кажется, есть возможность приобретать блага и сохранять их, и вместе с тем возможность делать благодеяния [другим] во многих важных случаях и всем вообще во всевозможных случаях. Части добродетели составляют справедливость, 1366 b мужество, благоразумие, щедрость, великодушие, бескорыстие, кротость, рассудительность, мудрость[54]. Раз добродетель есть способность оказывать благодеяния, величайшими из добродетелей необходимо будут те, которые наиболее полезны для других. Вследствие этого наибольшим почетом пользуются люди справедливые и мужественные, потому что мужество приносит пользу людям во время войны, а справедливость и в мирное время. Затем следует благородная широта натуры (eleutheriotēs), потому что такие люди легко отказываются от денег и не затевают споров из-за них, а они составляют главный предмет стремлений для других. Справедливость (dicaiosyne) — такая добродетель, в силу которой каждый владеет тем, что ему принадлежит, и так, как повелевает закон, а несправедливость — такое качество, в силу которого люди в опасности совершают прекрасные дела, руководясь законом и повинуясь ему; трусость же (deilia) — качество противоположное. Умерен-

ность (sōphrosyne) — добродетель, в силу которой люди так относятся к физическим наслаждениям, как повелевает закон; невоздержанность (acolasia) — противоположное этому качество. Благородная широта натуры — в способности охотно помочь деньгами, а скаредность (aneleytheria) — качество противоположное. Великодушие (megalopsychia) — добродетель, побуждающая к совершению великих благодеяний, ничтожность (micropsychia) — качество противоположное. Щедрость (megaloргереia) — добродетель, побуждающая к крупным издержкам, мелочность и скряжничество (micropsychia cai microргереia) — качества противоположные. Рассудительность (phronēsis) есть интеллектуальная добродетель, в силу которой люди в состоянии здраво судить о значении перечисленных выше благ и зол для блаженства.

Итак, для настоящего случая мы достаточно сказали о добродетели и пороке вообще и о составных частях этих понятий; отсюда уже нетрудно вывести заключение относительно других пунктов, так как очевидно, что как то, что производит добродетель, необходимо должно быть прекрасно, как имеющее отношение к добродетели, так и все, производимое ею; таковы признаки и дела добродетели. Если же признаки добродетели и соответствующие им поступки и чувства нравственно хорошего человека прекрасны, то отсюда необходимо следует, что все то, что представляется делом или признаком мужества, или что было мужественно совершено,— все это прекрасно, точно так же как прекрасно все справедливое и справедливо — совершенное; что же касается страдательных состояний [носящих характер справедливости], то о них этого нельзя сказать, так как только в одной этой добродетели не всегда прекрасно все справедливое, например, в деле наказания позорнее быть справедливо наказанным, чем понести наказание напрасно; относительно других добродетелей [можно сказать] то же самое. Прекрасно и все то, возмездием за что служат призы и с чем сопряжено более почета, чем денег. И из поступков [подлежащих выбору] прекрасны те, которые человек совершает, имея в виду нечто желательное, но не для себя самого; прекрасны также и безотносительно хорошие поступки, которые кто-либо совершил для пользы отечества, презрев свою собственную выгоду, точно так же как прекрасно все то, что хорошо по своей природе, и что хорошо, но не именно для данного человека,
1367 a потому что такие вещи делаются ради самого себя. Прекрасно и все то, что скорее может относиться к человеку умершему, чем к живому, потому что то, что делается для человека, находящегося в живых, сопряжено с эгоистическим интересом делающего. Прекрасны также те поступки, которые совершаются ради других, потому что такие поступки менее носят на себе отпечаток эгоизма. Прекрасно и то благоденствие, которое имеет в виду других, а не самого себя, а также то, которое касается наших благодетелей, потому что это согласно со справедливостью. Прекрасны также благодеяния, потому что они относятся не к самому человеку, [их совершающему]. Прекрасно и противоположное тому, чего люди стыдятся, потому что они испытывают стыд в том слу-

чае, если говорят, или делают, или намереваются сделать что-нибудь постыдное, в этом смысле выразилась в стихах Сафо по поводу слов Алкея: «Я желаю сказать нечто, но меня удерживает стыд». «Если бы ты желал чего-нибудь благородного или прекрасного, и если бы твой язык не намеревался высказать ничего дурного, то стыд не заволакивал бы твоих глаз, ты говорил бы о справедливом»[55].

Прекрасно так же то, из-за чего люди хлопочут, не будучи побуждаемы страхом, потому что они поступают так в вещах, ведущих к славе. Прекраснее добродетели и деяния лиц, лучших по своей природе, так, например, добродетели мужчин выше, чем добродетели женщин. Точно так же прекраснее добродетели, от которых получается больше пользы для других людей, чем для нас самих; поэтому-то так прекрасно все справедливое и сама справедливость. Прекрасно также мстить врагам и не примиряться с ними[56], так как справедливо воздавать равным за равное, а то, что справедливо, прекрасно, и так как мужественному человеку свойственно не допускать побед над собой. И победа, и почет принадлежат к числу прекрасных вещей, потому что как то, так и другое желательно, даже если и не соединено ни с какой материальной выгодой, и так как обе эти вещи служат признаком выдающихся достоинств. Прекрасно и все памятное, и чем вещь памятнее, тем она прекраснее. И то, что нас переживает и с чем соединен почет и что имеет характер чрезвычайного, [все это прекрасно]. Прекраснее то, что есть только в одном человеке, потому что такие вещи возбуждают более внимания. Прекраснее также собственность, не приносящая дохода, как более соответствующая достоинству свободного человека. И то, что считается прекрасным у отдельных народов и что служит у них признаком чего-либо почетного, также прекрасно; как, например, считается прекрасным в Лакедемоне носить длинные волосы, ибо это служит признаком свободного человека, и нелегко человеку, носящему длинные волосы, исполнять какую-либо рабскую работу[57]. Прекрасно также не заниматься никаким низким ремеслом, так как свободному человеку не свойственно жить в зависимости от других. [При этом] нужно принимать качества, близкие к данным, за тождественные с ними как при одобрении, так и при порицании, так, например, человека осторожного нужно принимать за холодного и коварного, человека простоватого за доброго, а человека с тупой чувствительностью за кроткого, и каждое из свойств нужно истолковывать в наилучшую сторону, так, например, человека гневливого и необузданного [должно считать] человеком бесхитростным, человека своенравного — полным величавости и достоинства, и вообще людей, обладающих крайней степенью какого-нибудь 1367 b
качества, [должно принимать] за людей, обладающих добродетелями, например, человека безрассудно смелого за мужественного, а расточительного за щедрого, так как такое впечатление получится у толпы. Вместе с тем здесь можно построить паралогизм[58] из причины: в самом деле, если человек кидается в опасность там, где в этом нет необходимости, то, по всей вероятности, он с гораздо большей готовностью

сделает это там, где этого требует долг. И если человек щедр ко всем встречным, он будет таковым и по отношению к своим друзьям, потому что благодетельствовать всем и означает крайнюю степень добродетели. При этом нужно обращать внимание и на то, среди кого произносится похвала, потому что, по выражению Сократа, нетрудно восхвалять афинян среди афинян же[59]. Следует усвоить [восхваляемому лицу] то свойство, которое ценится у данного класса людей, например, у скифов или у лаконцев, или у философов. Вообще понятие почетного следует возводить к понятию прекрасного, потому что эти понятия кажутся близкими одно другому. [Следует хвалить] и то, что является соответствующим и приличным, например, то, что достойно славы предков и деяний, ранее нами совершенных, потому что прибавить себе славы — счастье и прекрасно. Прекрасно и то, что случается несогласно с нашими ожиданиями в лучшем и более прекрасном смысле, например, если кто-нибудь в счастье был умерен, а в несчастье стал великодушен, или если кто-нибудь по мере своего возвышения становится все лучше и доступнее. В таком роде и слова Ификрата: «Из чего и к чему я пришел?», а также слова победителя на Олимпийских играх: «Некогда я, с изогнутым коромыслом на плечах...»[60]. Отсюда и стих Симонида: «Будучи дочерью, женой и сестрой тиранов...»[61]. Так как человеку воздается похвала за его дела и так как нравственно хорошему человеку свойственно действовать согласно заранее принятому намерению, то должно стараться показать, что человек, [которого мы хвалим], действует согласно заранее принятому намерению. Хорошо также казаться человеком, часто действовавшим так; поэтому случайности и нечаянности следует считать за нечто, входившее в наше намерение и если можно привести много подобных случаев, они покажутся признаком добродетели и намеренных поступков.

Похвала есть способ изъяснять величие добродетели какого-нибудь человека; следовательно, нужно показать, что деяния этого человека носят характер добродетели. Энкомий же относится к самым делам (другие же обстоятельства внешнего характера, например, благородство происхождения и воспитание, служат поводом, так как естественно, что от хороших предков происходят хорошие потомки, и что человек воспитанный именно так, будет именно таким). Потому-то мы и прославляем в энкомиях людей, совершивших что-нибудь, деяния же служат признаком известного нравственного характера; ведь мы могли бы хвалить и человека, который не совершил таких деяний, если бы были уверены, что он способен их совершить. То, что называется macarismos «прославление блаженства», и eydamonismos «прославление счастья» тождественны между собой, но не тождественны с похвалой и энкомием: как понятие счастья заключает в себе понятие добродетели, так и macarismos и eydamonismos должны обнимать собой похвалу или энкомий.

Похвала и совет сходны по своему виду, потому что то, что при подавании совета может служить поучением, то самое делается похва-
1368 a лой, раз изменен способ выражения: раз мы знаем как мы должны

поступать и какими мы должны быть, нам нужно, чтобы произнести это в виде совета, лишь изменить и затем переставить выражения, например: «следует гордиться не тем, что нам даровано судьбой, но тем, что приобретено нами самими». Выраженное в такой форме это положение имеет силу похвалы: «он гордился не тем, что было даровано ему судьбой, а тем, что приобретено им самим». Так что, когда ты хочешь хвалить, посмотри, что бы ты мог посоветовать, а когда хочешь дать совет, посмотри, чтобы ты мог похвалить. Что же касается способа выражения, то он здесь по необходимости будет противоположный, потому что перестановка касается выражений, в первом случае имеющих характер запрещения, а во втором случае не имеющих его. Следует также принимать в расчет многие усиливающие обстоятельства, например, если человек, [которого мы хотим хвалить], действовал один, или первый, или при содействии немногих лиц, потому что все такое прекрасно. [Можно также извлекать выгоду] из указаний на время [именно, выставляя на вид], что совершено нечто, несмотря на неблагоприятное время и на неблагоприятные обстоятельства. [Хвалят также человека], если ему часто удавалось одно и то же дело: это ведь и трудно, и может служить доказательством того, что восхваляемый обязан был успехом не случаю, а самому себе. [Заслуживает также похвалы] человек, ради которого изобретены и приведены в исполнение какие-нибудь способы поощрения и чествования, например, тот, кто первый был воспет в похвальной песне; таков Гипполох, таковы и Гармодий и Аристогитон, в честь которых была впервые воздвигнута статуя на Агоре[62]. Такие же соображения имеют значение и по отношению к обстоятельствам противоположного характера. Если ты не находишь, что сказать о человеке самом по себе, сравни его с другими, как это делал Исократ вследствие непривычки говорить в суде. Следует сравнивать человека с людьми знаменитыми, потому что если он окажется лучше людей, достойных уважения, его достоинства от этого выиграют. Преувеличение по справедливости употребляется при похвалах, потому что похвала имеет дело с понятием превосходства, а превосходство принадлежит к числу вещей прекрасных, потому если нельзя сравнивать человека с знаменитыми людьми, следует сопоставлять его вообще с другими людьми, потому что превосходство служит признаком добродетели. Вообще из приемов, одинаково принадлежащих всем [трем] родам речей, преувеличение всего более подходит к речам эпидейктическим, потому что здесь оратор имеет дело с деяниями, признанными за неоспоримый факт; ему остается только облечь их величием и красотой. Что же касается примеров, то они наиболее подходят к речам совещательным, потому что мы произносим суждения о будущем, делая предположения на основании прошедшего. Энтимемы, напротив, [наиболее пригодны] для речей судебных, потому что прошедшее, вследствие своей неясности, особенно требует указания причины и доказательства.

Вот приблизительно все положения, на основании которых произносится почти всякая похвала и хула; вот что следует принимать в со-

ображение, хваля или порицая; вот откуда берется содержание для энкомия и порицания: ведь раз известен этот вид речей [похвальных], очевидны положения противоположные, так как порицание произносится на основании положений, противоположных вышеуказанным.

10

Речи судебные.— Причины несправедливых поступков; настроения, вызывающие эти поступки; люди, по отношению к которым эти поступки совершаются.— Что значит поступать несправедливо? — Мотивы дурных поступков, порок и невоздержанность.— Поступки произвольные и непроизвольные.— Мотивы всей человеческой деятельности.— Понятие случайности, естественности, насильственности, привычности.— Совершаемое по соображению, под влиянием раздражения, под влиянием желания.

Далее следует сказать о числе и природе тех положений, из кото-
1368 b рых должно выводить умозаключения относительно обвинения и защиты. Здесь следует обратить внимание на три пункта: какова природа и как велико число тех причин, в силу которых люди поступают несправедливо; под влиянием какого настроения люди поступают несправедливо; по отношению к каким людям мы поступаем несправедливо и в каком положении находятся эти люди. Итак, определим понятие несправедливости и разберем затем каждый из указанных пунктов по порядку.

Пусть поступать несправедливо значит намеренно, вопреки закону причинять вред другому лицу. Но есть два вида законов — частный и общий. Частным я называю написанный закон, согласно которому люди живут в государстве, общим — тот закон, который признается всеми людьми, хотя он и не написан. Добровольно люди делают то, что они делают сознательно и без принуждения. Не все то, что люди совершают добровольно, совершается ими намеренно, но все, что совершается ими намеренно, совершается ими добровольно, потому что человек никогда не находится в неведении относительно того, что он делает намеренно. Мотивы же, под влиянием которых мы добровольно причиняем вред и поступаем несправедливо,— это порок и невоздержанность: когда мы обладаем одним или несколькими пороками, мы оказываемся несправедливыми именно по отношению к объекту порока, например, корыстолюбивый по отношению к деньгам, невоздержанный по отношению к телесным наслаждениям, изнеженный по отношению ко всему тому, что способствует лени, трус по отношению к опасностям (потому что трусы под влиянием страха покидают своих товарищей в минуты опасности), честолюбец по отношению к почестям. Человек вспыльчивый поступает несправедливо под влиянием гнева; человек, страстно любящий победу, поступает так ради победы, человек мстительный — под влиянием мести,

человек неразумный — вследствие неведения того, что справедливо и что несправедливо, человек бесстыдный — вследствие презрения к доброй славе. Подобным же образом каждый из остальных людей оказывается несправедливым соответственно своему пороку. Но все это ясно отчасти из того, что мы сказали о добродетелях, отчасти из того, что мы скажем о страстях. Остается сказать, ради чего, под влиянием какого настроения и по отношению к кому люди поступают несправедливо. Итак, предварительно разберем вопрос, к чему стремятся и чего избегают люди, принимаясь совершать несправедливости, потому что очевидно, что обвинитель должен выяснять, какие именно и насколько важные мотивы из тех, под влиянием которых люди поступают несправедливо по отношению к своим ближним, были у противника, а защищающиеся — какие мотивы в данном случае отсутствовали.

Все люди делают одно непроизвольно, другое произвольно, а из того, что они делают непроизвольно, одно они делают случайно, другое по необходимости; из того же, что они делают по необходимости, одно они делают по принуждению, другое — согласно требованиям природы. Таким образом, все, что совершается ими непроизвольно, совершается или случайно, или в силу требований природы, или по принуждению. А то, что делается людьми произвольно и причина чего лежит в них самих, делается ими одно по привычке, другое под влиянием стремления, и притом одно под влиянием стремления разумного, другое — не- 1369 a
разумного. Хотение есть стремление к благу, потому что всякий испытывает желание лишь в том случае, когда считает объект своего желания благом. Стремления же неразумные — это гнев и страсть. Итак, все, что люди делают, они делают по семи причинам: случайно, согласно требованиям природы, по принуждению, по привычке, под влиянием размышления, гнева и страсти[63]. Бесполезно было бы присоединять сюда классификацию таких мотивов, как возраст, положение и т. п., потому что если юношам свойственно быть гневливыми или страстными, то они совершают несправедливые поступки не по своей молодости, но под влиянием гнева и страсти. И не от богатства и бедности люди поступают несправедливо. Случается, конечно, бедным вследствие их нужды желать денег, а богатым вследствие избытка средств желать наслаждений, в которых нет необходимости, но и эти люди будут поступать известным образом не от богатства или бедности, но под влиянием страсти. Равным образом люди справедливые и несправедливые и все те, поступки которых объясняют их душевными качествами (hexeis), действуют под влиянием тех же вышеуказанных мотивов — соображений рассудка или страсти, причем одни руководятся добрыми нравами или страстями, а другие — нравами и страстями противоположного характера. Случается, конечно, что с такими-то душевными качествами связаны такие-то последствия, а с другими другие: так, у человека умеренного, именно вследствие его умеренности, правильные мнения и желания относительно наслаждений, а у человека невоздержанного относительно того же мнения противоположные.

4 Заказ № 637

Вследствие этого следует оставить в стороне подобные классификации и рассмотреть, какие следствия связаны обыкновенно с какими душевными свойствами, потому что, если человек бел или черен, велик или мал, отсюда нельзя еще выводить никаких заключений, если же, напротив, человек молод или стар, справедлив или несправедлив, то это уже разница. То же можно сказать и относительно всего того, что производит разницу в нравах людей, как, например, считает ли человек себя богатым или бедным, счастливым или несчастливым. Но об этом мы будем говорить после[64], а теперь же коснемся остальных [ранее намеченных] вопросов. Случайным называется то, причина чего неопределенна, что происходит не ради какой-нибудь определенной цели, и не всегда, и не по большей части, и не в установленном порядке. Все это очевидно из определения понятия случайности (tychēs). Естественным (physei) мы называем то, причина чего подчинена известному порядку
1369 b и заключается в самой вещи, так что эта вещь одинаковым образом случается или всегда, или по большей части. Что же касается вещей противоестественных, то нет никакой нужды выяснять, происходят ли подобные вещи сообразно с какими-нибудь законами природы, или по какой-нибудь другой причине; может показаться, что причиной подобных вещей бывает и случай.

Насильственным называется то, что делается нами самими, но вопреки своему желанию и доводам рассудка. Привычным (ethei) называется то, что люди делают вследствие того, что часто это делали. По соображению (dia logismon) [совершается] то, что кажется нам полезным из перечисленных нами благ[65], или как цель, или как средство, ведущее к цели, когда такая вещь делается ради приносимой ею пользы, потому что иногда и люди невоздержанные делают полезные вещи, но не для пользы, а ради удовольствия. Под влиянием раздражения (dia thymon) и запальчивости (dia orgēn) совершаются дела мести. Между местью и наказанием есть разница: наказание производится ради наказуемого, а мщение ради мстящего, чтобы утолить его гнев. Что такое гнев, это будет ясно из трактата о страстях[66]. Под влиянием желания делается все то, что кажется нам приятным; к числу вещей приятных относится и то, с чем мы сжились и к чему привыкли, потому что люди в силу привычки с удовольствием делают многое из того, что по своей природе не представляет ничего приятного.

Таким образом, в результате всего сказанного мы получаем, что все то, что люди делают сами собою, все это — благо, или кажущееся благо, или приятно, или кажется приятным. Но так как все то, что люди делают сами собой, они делают добровольно, а недобровольно они поступают не сами по себе, то все то, что люди делают добровольно, можно отнести к числу действительных или кажущихся благ, к числу вещей, действительно приятных или кажущихся таковыми. К числу благ я отношу также избавление от действительного или кажущегося зла, равно как и замену большего зла меньшим, потому что подобные вещи в некотором отношении представляются желательными;

точно также я причисляю к приятным вещам избавление от неприятного или от чего-нибудь кажущегося неприятным или замену более неприятного менее неприятным. Итак, следует рассмотреть полезные и приятные вещи,— сколько их и каковы они. О полезном мы говорили раньше, говоря о речах, носящих характер совещательный; теперь поговорим о приятном. При этом достаточными нужно считать те определения, которые относительно каждого данного предмета не представляются ни слишком неопределенными, ни слишком мелочными.

11

Определение удовольствия.— Различные категории приятного.

Определим удовольствие (hēdonē), как некоторое движение души и как быстрое и ощутительное водворение ее в ее естественное состояние[67]; неудовольствие же определим, как нечто противоположное этому. Если же все подобное есть удовольствие, то очевидно, что приятно и все то, что создает вышеуказанное нами душевное состояние, а все 1370 a
то, что его уничтожает или создает душевное состояние противоположного характера, все это неприятно. Отсюда необходимо следует, что по большей части приятно водворение в свое природное состояние, и особенно в том случае, когда возвратит себе свою природу то, что согласно с нею происходит. [Приятны и] привычки, потому что привычное уже как бы получает значение природного, так как привычка несколько подобна природе: понятие «часто» близко к понятию «всегда», природа же относится к понятию «всегда», а привычка к понятию «часто». Приятно и то, что делается не насильно, потому что насилие противно природе; на этом-то основании все необходимое тягостно, и справедливо говорится, что

Всякая необходимость по своей природе тягостна[68]

Неприятны также заботы, попечения и усилия; все это принадлежит к числу вещей необходимых и вынужденных, если только люди к ним не привыкли; в последнем случае привычка делает их приятными. Вещи, по своему характеру противоположные вышеуказанным, приятны; поэтому к числу вещей приятных относится легкомыслие, бездействие, беззаботность, шутка и сон, потому что ни одна из этих вещей не имеет ничего общего с необходимостью. Приятно и все то, что составляет объект желания, потому что желание есть стремление к удовольствию. Из желаний одни неразумны, другие разумны; к числу неразумных я отношу те желания, которые люди испытывают независимо от такого или другого мнения [о предмете желания]; сюда принадлежат желания, называемые естественными, каковы все желания, производимые нашим телом, например, желание пищи, голод, жажда и стремление к каждому отдельному роду пищи; сюда же относятся желания, связанные с пред-

метами вкуса, сладострастия, а также с предметами осязания, обоняния, слуха и зрения.

Разумные желания — те, которые являются под влиянием убеждения, потому что мы жаждем увидеть и приобрести многие вещи, о которых мы слышали и [в приятности которых] мы убеждены. Так как наслаждение заключается в испытывании известного впечатления, а представление есть некоторого рода слабое ощущение, то всегда у человека, вспоминающего что-нибудь или надеющегося на что-нибудь, есть некоторое представление о том, о чем он вспоминает или на что надеется; если же это так, то очевидно, что для людей, вспоминающих что-нибудь или надеющихся на что-нибудь, получается удовольствие, так как в этом случае они испытывают известного рода ощущение. Таким образом, все приятное необходимо будет заключаться или в ощущении настоящего удовольствия, или в припоминании удовольствия прошедшего, или в надежде на будущее удовольствие, потому что люди чувствуют настоящее, вспоминают о свершившемся и надеются на будущее.
1370 b Из того, что люди припоминают, приятно не только то, что было приятно, когда было настоящим, но и кое-что неприятное, если только то, что за ним последовало, было для нас вполне приятно. Отсюда и говорится:

Приятно человеку, избегшему гибели,
Вспоминать свои несчастья[69]

И:

Радость даже в страданиях есть, раз они миновали,
Для человека, кто много скитался и вытерпел много[70]

Причина этому та, что приятно уже и самое отсутствие зла. А из того, чего мы ожидаем, нам приятно то, с присутствием чего связано или сильное удовольствие, или польза, и притом польза, не соединенная с горем. Вообще же все то, присутствие чего приносит нам радость, доставляет нам обыкновенно удовольствие и тогда, когда мы вспоминаем такую вещь или надеемся на нее; поэтому и гневаться приятно, как сказал о гневе Гомер:

Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека[71],

потому что мы не гневаемся на того, кого считаем недоступным нашей мести, и на людей более могущественных, чем мы, мы или совсем не гневаемся, или гневаемся в меньшей степени.

С большей частью желаний связано некоторое удовольствие: мы испытываем его, или вспоминая, как наше желание было удовлетворено, или надеясь на его удовлетворение в будущем; например, больные, мучимые жаждой в жару, испытывают удовольствие, и вспоминая о том, как они утоляли свою жажду в прошедшем, и надеясь утолить

ее в будущем. Точно так же и влюбленные испытывают наслаждение, беседуя устно или письменно с предметом своей любви, или каким бы то ни было другим образом занимаясь им, потому что, живя воспоминанием во всех подобных состояниях, они как бы на самом деле ощущают присутствие любимого человека. И для всех людей любовь начинается тем, что они не только получают удовольствие от присутствия любимого человека, но и в его отсутствие испытывают наслаждение, вспоминая его, и у них является досада на его отсутствие. И в горестях и в слезах есть также известного рода наслаждение: горечь является вследствие отсутствия любимого человека, но в припоминании и некоторого рода лицезрения его — что он делал и каков он был — заключается наслаждение, поэтому справедливо говорит поэт:

Так он сказал, у всех появилось желание плакать[72].

Приятна также месть, потому что приятно достигнуть того, не достигнуть чего тяжело. Гневаясь, люди безмерно печалятся, не имея возможности отомстить, и, напротив, испытывают удовольствие, надеясь отомстить. Приятно и побеждать, и это приятно не только для людей, любящих победу, но и для всех вообще, потому что в этом случае является мысль о собственном превосходстве, которого более или менее жаждут все. Если приятна победа, то отсюда необходимо следует, что приятны и игры, где есть место борьбе и состязанию, потому что в них 1371 a
часто случается побеждать; сюда относятся игры в бабки, в мяч, в кости и в шашки. Точно то же можно сказать и о серьезных забавах: одни из них делаются приятными, по мере того как к ним привыкаешь, другие же сразу доставляют удовольствие, например, травля собаками и вообще всякая охота, потому что где есть борьба, там есть место и победе; на этом основании искусство тягаться по судам и спорить доставляет удовольствие тем, кто привык к подобному препровождению времени и имеет к нему способность.

Почет и добрая слава принадлежат к числу наиболее приятных вещей, потому что каждый воображает, что он именно таков, каков бывает человек хороший, и тем более в том случае, когда [почести и похвала] воздаются со стороны лиц, которых мы считаем правдивыми. В этом случае люди нам близкие значат более, чем люди нам далекие, и люди коротко знакомые и наши сограждане больше, чем люди нам чужие, и наши современники больше, чем наши потомки, и разумные больше, чем неразумные, и многие больше, чем немногие, потому что есть более основания считать правдивыми перечисленных нами людей, чем людей им противоположных. Раз человек с пренебрежением относится к какой-нибудь категории существ (как, например, он относится к детям или животным), он не придает никакого значения почестям со стороны их и доброй славе среди них, по крайней мере, ради самой этой славы, а если он и придает этим вещам значение, то ради чего-нибудь другого.

Друг также принадлежит к числу приятных [вещей], потому что, с одной стороны, приятно любить: никто, кому вино не доставляет удовольствия, не любит его; а с другой стороны — приятно также и быть любимым, потому что и в этом случае у человека является мысль, что он хорош, а этого жаждут все способные чувствовать люди; а быть любимым значит быть ценимым ради самого себя. Быть объектом удивления приятно уже потому, что с этим связан почет. Приятно также быть объектом лести, приятен и льстец, потому что он — кажущийся поклонник и друг. Приятно часто делать одно и то же, потому что, как мы сказали, все привычное приятно. Приятно также испытывать перемену, потому что перемены согласны с природой вещей, так как вечное однообразие доводит до преувеличения [чрезмерности] раз существующее настроение, поэтому и говорится: «во всем приятна перемена»[73]. Вследствие этого приятно то, что является через известные промежутки времени — люди ли это, или неодушевленные предметы,— потому что это производит некоторую перемену сравнительно с настоящим; кроме того, то, что мы видим через известные промежутки времени, представляет некоторую редкость. По большей части приятно также учиться и восхищаться, потому что в восхищении уже заключается желание [познания], так что предмет восхищения скоро делается предметом желания, а познавать значит следовать закону природы. К числу приятных вещей относится оказывание и испытывание благодеяний, потому
1371 b что испытывать благодеяние значит получать то, чего желаешь, а оказывать благодеяние значит обладать [самому] и притом обладать в большей степени, чем другие,— а к тому и другому люди стремятся. Так как приятно оказывать благодеяния, то приятно также поставить на ноги своего ближнего и, вообще говоря, приятно завершать неоконченное. Раз приятно учение и восхищение, необходимо будет приятно и все подобное этому, например, подражание, а именно: живопись, ваяние, поэзия и вообще всякое хорошее подражание, если даже объект подражания сам по себе не представляет ничего приятного; в этом случае мы испытываем удовольствие не от самого объекта подражания, а от мысли [умозаключения], что это [то есть подражание] равняется тому [то есть объекту подражания], так что тут что-то познается. Приятны также внезапные перемены, приятно и с трудом спастись от опасностей — это приятно потому, что все подобное возбуждает удивление.

Так как приятно все согласное с природой, а все родственное соответствует друг другу по природе, то по большей части все родственное и подобное приятно, например, человек приятен для человека, лошадь для лошади, юноша для юноши, откуда произошли и поговорки, что сверстник веселит сверстника, что всякий ищет себе подобного[74], что зверь узнает зверя, и что галка всегда держится галки,— и все другие подобные пословицы. Так как все подобное и родственное приятно одно для другого и так как каждый человек наиболее испытывает это по отношению к самому себе, то все люди необходимо бывают более

или менее себялюбивы, потому что все такое существует в основном по отношению к самому себе. А раз все люди себялюбивы, для всякого человека необходимо бывает приятно все свое, например, свои дела и слова; поэтому-то люди по большей части любят льстецов и поклонников и бывают честолюбивы и чадолюбивы: ведь дети — наши создания. Приятно также завершить неоконченное дело, потому что оно в этом случае уже становится нашим собственным делом. Так как очень приятна власть, то приятно казаться мудрым, так как основание власти в знании, а мудрость есть знание многих удивительных вещей. Кроме того, так как люди по большей части честолюбивы, то отсюда необходимо следует, что приятно порицать своих ближних, приятно и властвовать. Приятно также человеку держаться того, в чем он, по своему мнению, превосходит сам себя, как говорит поэт:

И к тому труду он привязывается,
Уделяя ему бо́льшую часть каждого дня,
В котором сам себя превосходит[75].

Равным образом, так как шутки и всякое отдохновение приятно, а равно и смех, то необходимо будет приятно и все, вызывающее смех,— и люди, и слова, и дела. Но вопрос о смешном мы рассмотрели 1372 a
отдельно в «Поэтике»[76]. Итак, вот что мы имели сказать о приятном. Что же касается неприятного, то это понятие станет ясным из положений, противоположных высказанным.

12

Настроения, вызывающие несправедливые поступки.— Условия, благоприятствующие безнаказанности преступлений и проступков.

Итак, вот причины, побуждающие людей поступать несправедливо. Теперь скажем о том, находясь в каком нравственном состоянии они поступают несправедливо, и по отношению к кому они так поступают.

Люди поступают несправедливо, когда считают совершение данного поступка возможным безотносительно, и возможным для себя; кроме того, когда думают, что их поступок останется не обнаруженным, или что они не понесут за него наказания в случае его обнаружения, или, наконец, что хотя они и понесут за него наказание, но оно будет менее значительно, чем выгода, которая получится от этого поступка или для них самих, или для их близких. Позднее мы скажем[77], что именно кажется возможным и невозможным, потому что эти замечания имеют значение для всех родов речей.

Безнаказанно совершать несправедливые поступки считают для себя наиболее возможным люди, умеющие говорить, ловкие, имевшие много

случаев вести подобную борьбу, люди, у которых много друзей и денег. Наиболее сильными люди считают себя в том случае, когда они сами удовлетворяют указанным условиям; если же этого нет, то в том случае, если у них есть такие друзья, слуги или сообщники; это дает им возможность совершать несправедливости, утаивать это и не нести за них наказания. Надеяться на это можно еще и в том случае, когда мы дружны с тем, кому наносим обиду, или с судьей: друзья, с одной стороны, не принимают предосторожностей от несправедливостей, а, с другой стороны, мирятся, не давая делу доходить до суда. Что же касается судей, то они угождают тем, с кем они дружны, и или совсем не взыскивают с них, или налагают незначительное наказание.

Легко скрыть свою вину тем людям, качества которых идут в разрез с возводимыми на них обвинениями, например, человеку бессильному легко скрыть преступление, заключающееся в насилии, а человеку бедному и безобразному — прелюбодеяние. Легко также скрыть и то, что слишком явно и слишком бросается в глаза, так как таких вещей люди не замечают, считая их невозможными. Точно так же легко скрыть преступление такой важности и такого сорта, какого никто не совершал, потому что таких вещей никто не остерегается: все остерегаются привычных преступлений, как это делают и по отношению к привычным болезням, но никто не принимает предосторожностей против того, чем никто никогда не страдал. Легко также нападать на тех людей, у которых или совсем нет врагов, или много их: в первом случае нападающий надеется остаться не обнаруженным на том основании, что его жертва не принимает никаких мер предосторожности, а во втором он остается не обнаруженным, потому что нападение на людей, принявших оборонительное положение, представляется со стороны данного человека делом невозможным, и виновный в свою защиту может сказать, что он никогда не отважился бы на подобное дело.

Легко совершать преступления и тем, кто может укрыться — благодаря ли способу, которым совершено преступление, или месту, где оно совершено, или для кого благоприятно слагаются обстоятельства. [На преступления решаются также те люди], у которых есть возможность в случае обнаружения преступления, избежать суда, или выиграть время, или подкупить судей, а также те, у которых, в случае наложения наказания, есть возможность избежать приведения его в исполнение или добиться продолжительной отсрочки его; наконец, те, кому вследствие крайней бедности терять нечего.

Кроме того, на преступления решаются те лица, которым выгоды от преступления представляются очевидными, значительными или близкими, а наказание за него ничтожным, неверным или далеким. И те
1372 b преступления, кара за которые не равна получаемой от них выгоде, всегда находят исполнителя; такова, например, тирания; то же можно сказать о преступлениях, совершение которых влечет за собой осязательную выгоду, между тем как наказание за них заключается только в позоре. И, наоборот, на преступление отваживаются и в том случае,

когда совершение его приносит некоторого рода славу, например, если удается разом отомстить за отца или за мать, как это удалось Зенону[78], а наказание за него заключается в денежной цене, изгнании или в чем-нибудь подобном. Люди поступают несправедливо под влиянием тех и других из указанных мотивов и в том и другом из указанных настроений, но это не одни и те же люди, а лица совершенно противоположных характеров. Решаются на преступление еще и те, кому часто удавалось или скрыть свое преступление, или остаться безнаказанным, а также те, кто часто терпел неудачу, потому что в подобных вещах, как и на войне, некоторые способны добиваться победы во что бы то ни стало. На преступление решаются еще и в тех случаях, когда немедленно вслед за ним наступает удовольствие, а потом, уже позже, приходится испытывать нечто неприятное, или когда выгода близка, а наказание отдалено. В подобном положении находятся невоздержанные люди, а невоздержание может касаться всего, что составляет предмет наших желаний. Преступление совершается также и в тех случаях, когда, напротив, все неприятное, связанное с преступлением, и наказанием за него постигает человека немедленно, а удовольствие и пользу получают лишь позже, но на более продолжительное время; к такого рода вещам стремятся люди воздержанные и более разумные.

[Преступления совершаются также] теми людьми, у которых есть возможность объяснить свой поступок случайностью или необходимостью, или законом природы, или привычкой,— вообще в тех случаях, где есть возможность доказывать, что совершена ошибка, а не преступление. [Несправедливость совершается и в том случае], когда можно получить снисхождение. [На несправедливый поступок решаются] также люди нуждающиеся, причем нужда может быть двоякого рода: или в вещах необходимых, как у людей бедных, или в вещах излишних, как у богатых. [На преступление решаются] также люди, имеющие или очень хорошую, или очень дурную славу, первые в расчете на то, что на них не падет подозрение, вторые — в той мысли, что от этого слава их не ухудшится.

Вот в каком настроении люди решаются на преступления.

А люди и вещи, против которых направляются преступления, бывают обыкновенно таковы: они обладают тем, чего у нас нет, идет ли дело о чем-нибудь необходимом, или о чем-нибудь, касающемся наслаждения. [Несправедливости совершаются] по отношению к людям как близким, так и далеким, так как в первом случае скоро получаешь, а во втором нельзя ожидать скорого мщения, например, в том случае, если бы были обокрадены карфагеняне[79]. [Обида причиняется также людям], которые не принимают мер предосторожности, не берегутся, людям слишком доверчивым, потому что в этом случае легко укрыться от внимания всех, а также людям беззаботным, потому что нужно быть человеком заботливым, чтобы вести дело судом, людям совестливым, потому что они не способны вступать в спор их за выгоды, людям, которые, будучи оскорблены многими, не доводили дело до суда, так

как такие люди, по пословице, легко становятся добычей мизийцев[80],— людям, которые никогда не терпели оскорблений или терпели их очень часто, потому что и те, и другие не принимают мер предосторожности,— первые потому, что полагают, что никто никогда их не оскорбит, а вторые потому, что, по их мнению, больше уж никто их не оскорбит. Легко обидеть также тех людей, которые оклеветаны или которых легко оклеветать, потому что такие люди обыкновенно не решаются начать процесс, боясь судей, и никому не могут внушить к себе доверия; так бывает с людьми, возбудившими всеобщую ненависть и зависть. [Несправедливости направляются] также против людей, против которых
1373 a мы имеем что-нибудь,— касается ли это их предков, или их самих, или их друзей,— за то, что они обидели или хотели обидеть нас самих, или наших предков, или людей нам близких, потому что, по пословице, злобе нужен только предлог. [Обижают] и врагов, и друзей, потому что первых обидеть легко, а вторых приятно, [обижают] и тех, у кого нет друзей, кто не умеет ни красно говорить, ни вести дело, потому что такие люди или не пытаются вести дело судом, или идут на мировую, или ничего не доводят до конца. [Часто поступают несправедливо с людьми], которым неудобно тратить время, добиваясь суда или удовлетворения, каковы, например, чужеземцы и ремесленники, которые собственными руками зарабатывают себе хлеб, потому что эти люди мирятся на малом и легко прекращают дело. [Несправедливость легко делается по отношению к тем людям], которые сами поступали несправедливо во многом или именно в том, в чем теперь поступают несправедливо относительно их, так как несправедливость почти не кажется несправедливостью, когда кому-нибудь причиняется именно такая обида, какие он привык причинять другим, например, если кто-нибудь оскорбит человека, привыкшего оскорблять других. Несправедливо поступают также с теми людьми, которые обидели нас, или хотели обидеть, или хотят обидеть, или обидят; в этом случае несправедливость заключает в себе нечто приятное и прекрасное и уже почти не кажется несправедливостью. Мы легко обижаем также тех, унижение которых будет приятно или нашим друзьям, или тем, кому мы удивляемся, или кого любим, или нашим повелителям, или вообще тем людям, от которых мы зависим и от которых можем получить какую-нибудь выгоду. [Мы совершаем также несправедливость по отношению к тем людям], над которыми мы произнесли осуждение и с которыми прервали сношения, как, например, поступил Каллипп по отношению к Диону[81], потому что и подобные поступки почти не кажутся несправедливыми. Точно так же поступаем мы и с теми людьми, которых если не мы, так другие обидят, так как в этом случае кажется невозможным колебание; так, по преданию, поступил Энесидем, который послал Гелону, поработившему какой-то город, коттабий, поздравляя его с тем, что предупредил его именно в том, что сам он, Энесидем, намерен был сделать[82]. [Обида часто причиняется в тех случаях], когда это дает возможность сделать много хорошего обиженным, потому что в этих случаях искупление

представляется делом легким, как говорил фессалиец Ясон, что должно иногда поступать несправедливо, чтобы иметь возможность совершать много справедливых дел[83].

[Человек легко позволяет себе те несправедливые поступки], совершать которые вошло в привычку у всех, или у многих, потому что в этих случаях есть надежда получить прощение. [Мы легко решаемся на похищение тех предметов], которые легко скрыть, а также тех, которые легко истрачиваются, таковы, например, съестные припасы; [сюда же относятся предметы], которым легко придать другой вид, изменив их форму, цвет или состав, или предметы, которые во многих местах можно удобно спрятать, таковы вещи, которые можно или легко передвигать с места на место, или укрывать в маленьких пространствах, а также вещи, подобные которым в большом числе находились у похитителя. [Человек часто наносит другим такого рода оскорбления], о которых потерпевшие лица стыдятся говорить, таково, например, бесчестье, наносимое нашим женам, или нам самим, или нашим сыновьям. [Часто также мы совершаем проступки], преследование которых путем суда могло бы показаться простой страстью к сутяжничеству со стороны лица, начинающего процесс. Сюда относятся проступки маловажные и легко извиняемые.

13

Двоякий способ определения справедливости и несправедливости.— Закон частный и закон общий.— Две категории несправедливых поступков.— Два рода неписаных законов.— Понятие правды.

Вот приблизительно все соображения, которые можно представить относительно настроения тех людей, поступающих несправедливо, относительно тех лиц и вещей, [против которых направляются несправедливости], и относительно причин, [по которым они совершаются]. Прежде всего разберем всякого рода поступки, согласные и несогласные со 1373 b
справедливостью.

Понятие справедливости и несправедливости определяется двояким образом: согласно двум категориям законов и согласно людям, которых они касаются. Я утверждаю, что существует закон частный и закон общий[84]. Частным я называю тот закон, который установлен каждым народом для самого себя; этот закон бывает и писаный, и неписаный[85]. Общим законом я называю закон естественный. Есть нечто справедливое и несправедливое по природе, общее для всех, признаваемое таковым всеми народами, если даже между ними нет никакой связи и никакого соглашения относительно этого. Такого рода справедливое имеет, вероятно, в виду Антигона, утверждая, что вполне согласно с справедливостью похоронить, вопреки запрещению, труп Полиника[86], так

как это относится к области естественной справедливости, которая возникла.

> **Не сегодня и не вчера; она вечно живет и никто не может сказать, откуда она явилась[87].**

На таком же основании Эмпедокл запрещает умерщвлять всякое живое существо; такого рода поступок не может казаться справедливым в глазах одних и несправедливым в глазах других; но этот закон, обязательный для всех людей, имеет силу на пространстве всего широкого эфира и неизмеримой земли[88].

То же говорит и Алкидамант в своей Мессенской речи[89].

Преступления определяются двояко по отношению к лицам, против которых [они совершаются]: то, что нужно делать и чего не нужно делать, может касаться или всего общества, или одного из его членов; сообразно с этим и поступки, согласные со справедливостью и противные ей, могут быть двух родов: они могут касаться или одного определенного лица, или целого общества; так, человек, совершающий прелюбодеяние и наносящий побои, поступает несправедливо по отношению к одному определенному лицу, а человек, уклоняющийся от отбывания воинской повинности, поступает несправедливо по отношению ко всему обществу.

Подразделив таким образом все несправедливые поступки на поступки, касающиеся общества в его целом, и поступки, касающиеся одного или нескольких членов общества, возвратимся к вопросу, что значит быть объектом несправедливости. Быть объектом несправедливости значит терпеть несправедливость со стороны лица, совершающего ее произвольно, так как мы раньше[90] определили совершение несправедливости, как нечто произвольное. Так как объект несправедливого действия необходимо терпит обиду, и притом терпит ее против своего желания, а понятие обиды ясно из сказанного выше (ибо мы выше определили понятие добра и зла самого по себе), а также и понятие произвольного (мы сказали, что произвольно все то, что человек совершает, сознавая, что он делает[91]).

Таким образом, все поступки необходимо относятся или ко всему обществу, или к отдельному члену его, и совершаются человеком или при полном неведении и против желания, или добровольно и вполне сознательно, и из этих последних поступков одни совершаются преднамеренно, другие же под влиянием аффекта.

О гневе мы будем говорить в трактате о страстях, а о том, что люди делают преднамеренно и в каком настроении они так поступают, об этом мы сказали раньше[92].

Так как часто люди, признаваясь в совершении известного поступ-
1374 a ка, не признают известной квалификации поступка или того, чего касается эта квалификация,— например, человек утверждает, что он что-нибудь взял, но не украл, или что он первый ударил, но не нанес

оскорбления, что он с кем-нибудь был в связи, но не совершал прелюбодеяния, что он совершил кражу, но не святотатство, потому что похищенное не принадлежало богу, что он запахал чужое, но не общественное поле, что находился в сношениях с врагами, но не совершил измены,— имея в виду подобные случаи, следует также определить, что такое кража, оскорбление, прелюбодеяние для того, чтобы быть в состоянии выяснить истину, хотим ли мы доказать, что что-нибудь было или что чего-нибудь не было.

Во всех подобных случаях вопрос идет о том, было ли известное действие несправедливо и дурно, или нет: ведь в намерении заключается негодность и несправедливость человека, а такие выражения, как оскорбление и воровство, указывают на преднамеренность: не всегда ведь человек, нанесший удар другому человеку, причинил ему этим оскорбление, но лишь в том случае, если он сделал это с какой-нибудь целью, например, с целью обесчестить его или доставить самому себе удовольствие, и не всегда человек, тайно взявший что-нибудь, совершил воровство, но лишь в том случае, когда он сделал это, желая причинить ущерб другому и присвоить себе взятую вещь.

Относительно других случаев можно сказать то же самое, что и относительно случаев, рассмотренных нами.

Так как есть два вида справедливого и несправедливого и так как мы уже сказали о том, о чем трактуют законы [писаные], то нам остается сказать о законах неписаных. Они бывают двух родов: одни из них имеют в виду крайние проявления добродетели и порока, с которыми связаны порицания и похвалы, бесчестие и почести, изъявление общего уважения; сюда относится, например, признательность по отношению к благодетелям, воздаяние добром за добро, помощь друзьям и т. п. Другие же из неписаных законов восполняют недостатки частного писаного закона, так как правда, относясь, по-видимому, к области справедливого, есть то, что справедливо вопреки писаному закону.

Подобные недостатки писаного закона допускаются законодателями иногда добровольно, а иногда и против воли: против воли, когда [недостатки закона] ускользают от их внимания, добровольно, когда они не могут дать никакого предписания относительно данного случая, потому что их определения должны отличаться характером всеобщности, а данный случай касается не того, что бывает всегда, но того, что случается по большей части. То же можно сказать о случаях, относительно которых трудно давать какие-нибудь указания вследствие их беспредельности, так, например, запрещая наносить раны железом, трудно определить, какой длины и какое именно железо имеет в виду это запрещение: жизни человеческой не хватило бы для этого перечисления.

Когда, таким образом, нельзя дать точного определения, а между тем необходимо издать законодательное постановление, в таких случаях следует употреблять общие выражения. Отсюда следует, что если кто-нибудь, имея на руке железное кольцо, поднимает на другого человека

руку или нанесет ему удар, то, согласно писаному закону, он виновен,
1374 b поступает несправедливо,— и это-то и есть правда.

Если данное нами понятие есть понятие правды, то отсюда очевидно, что соответствует правде и что ей не соответствует, и какие люди не соответствуют понятию правды (oyc epieiceis). Все то, что должно заслуживать снисхождения, подходит под понятие правды. Кроме того, правда требует неодинаковой оценки по отношению к ошибкам, несправедливым поступкам и несчастьям. К числу несчастий относится все то, что случается без умысла и без всякого злого намерения, к числу заблуждений — все то, что случается не без умысла, но не вследствие порочности; к числу несправедливых поступков — все то, что случается не без умысла, но вместе с тем вследствие порочности, потому что ведь и все, что делается под влиянием страсти, предполагает порочность.

Правда заключается и в том, чтобы прощать человеческие слабости, в том еще, чтобы иметь в виду не закон, а законодателя, не букву закона, а мысль законодателя, не самый поступок, а намерение человека [его совершившего], не часть, а целое, в том, чтобы обращать внимание не на то, каким выказал себя человек в данном случае, но каков он был всегда или по большей части. Правда заключается еще и в том, чтобы более помнить полученное добро, чем испытанное зло, и добро, нами полученное, помнить более, чем добро, нами самими сделанное, в том, чтобы терпеливо переносить делаемые нам несправедливости и предпочитать судиться словом, а не делом, в том, наконец, чтобы охотнее обращаться к суду посредников, чем к суду публичному, потому что посредник заботится о правде, а судья о законе; для того и изобретен суд посредников, чтобы могла торжествовать правда.

14

Различные мерила несправедливого поступка.— Отягощающие обстоятельства.— Нарушение закона неписаного и писаного.

Пусть, таким образом, будет изложено учение о правде.

Всякое несправедливое действие представляется тем более несправедливым, чем больше нравственная испорченность, от которой оно происходит; поэтому-то [иногда] самые ничтожные поступки могут считаться величайшими преступлениями, так, например, Каллистрат обвинял Меланопа в том, что он обсчитал работников, строивших храм, на три священных пол-обола[93]. В области справедливости (мы замечаем явления) противоположные. Такая оценка поступка вытекает из наличия соответствующих возможностей (ec toy enyparchein tē̄i dynamei), а именно: человек, похитивший три священных пол-обола, может считаться способным на всякого рода преступления.

Иногда сравнительная важность поступка определяется таким образом, а иногда о поступке судят по тому вреду, который он приносит. Величайшим считается и [то преступление], для которого нет равносильного наказания: каждое наказание кажется ничтожным перед ним, и то [преступление], от которого нет исцеления, потому что трудно и даже невозможно вознаградить за него, и то, за которое потерпевший не может получить удовлетворения, потому что причиненное ему зло неисцелимо, суд же и наказание есть некоторого рода исцеление (iasis).

И еще большего наказания заслуживает человек, совершивший несправедливость, в том случае, если лицо пострадавшее и обиженное само на себя наложит тяжелое наказание; так Софокл[94], произнося речь в защиту Эвктемона, который наложил на себя руки вследствие полученного оскорбления, сказал, что он не удовольствуется требованием меньшего наказания, чем то, которое счел для себя достойным 1375 a пострадавший.

[Иногда важность поступка оценивается в связи с тем соображением], что никто другой или никто раньше не совершал такого преступления или что лишь немногие решались на такое дело, а также что он много раз совершал одно и то же преступление. И если для предупреждения и наказания какого-нибудь проступка приходится взыскивать и изобретать новые средства [это также важно]; так, например, в Аргосе наказуется тот человек, из-за которого построена новая тюрьма. Затем несправедливое действие имеет тем более важности, чем большим зверством оно отличается; более тяжко оно также в том случае, когда совершается более обдуманно, или когда рассказ о нем возбуждает в слушателях скорее страх, чем сострадание.

Соображения, которыми пользуется риторика, давая оценку какого-нибудь поступка, заключаются и в том, что такой-то человек нарушил или преступил многое, например, клятву, договор, поруку, право заключать брачные союзы, потому что в этом случае мы имеем дело с совокупностью многих несправедливых деяний.

[Усиливает вину еще и то обстоятельство], если несправедливый поступок совершается в том самом месте, где налагается наказание на лиц, поступающих неправедно; так делают, например, лжесвидетели, потому что где же они могут воздержаться от несправедливого поступка, если они решаются на него в самом судилище? [Важны также те проступки], которых люди особенно стыдятся, а также [важно], если человек поступает дурно со своим благодетелем: здесь его вина делается значительнее оттого, что он, во-первых, делает зло и, во-вторых, не делает добра.

[Большую важность получает поступок], нарушающий неписаные законы, потому что человек, обладающий лучшими нравственными качествами, бывает справедлив и без принуждения, а писаная правда имеет характер принуждения, чуждый неписаной. С другой стороны, [вину человека может увеличивать именно то обстоятельство], что его поступок идет вразрез с законами писаными, потому что человек, на-

рушивший законы, угрожающие наказанием, может нарушить и законы, не требующие наказания.

Таким образом, мы сказали о том, что увеличивает и смягчает преступление.

15

Пять родов «нетехнических» доказательств: закон, свидетели, договоры, пытка, клятвы.— Как ими нужно пользоваться?

Теперь, после изложенного нами выше, по порядку следует сделать краткий обзор доказательств, которые называются «нетехническими»; они относятся специально к области речей судебных. Таких доказательств пять: законы, свидетели, договоры, показания под пыткой, клятвы.

Прежде всего скажем о законах — как следует пользоваться ими, обвиняя или защищаясь. Очевидно, что когда писаный закон не соответствует положению дела, следует пользоваться общим законом, как более согласным с правдой и более справедливым [с тем соображением], что «судить по своему лучшему разумению»[95] значит не пользоваться исключительно писаными законами и что правда существует вечно и никогда не изменяется, так же как и общий закон, потому что и правда, и общий закон сообразны с природой, а писаные законы изменяются часто.

Поэтому-то в «Антигоне» Софокла мы и находим эти известные изречения: Антигона оправдывается как тем, что предала земле тело своего брата вопреки постановлению Креонта, но не вопреки неписаному закону:

1375 b Эти законы изобретены не вчера или сегодня, но существуют вечно;
Я не могу пренебречь ими ради кого бы то ни было[96],

так и тем, что справедливо то, что истинно и полезно, а не то, что только кажется таковым, так что писаный закон не есть истинный закон, потому что он не выполняет обязанности закона, и тем, что судья есть как бы человек, ставящий пробу на серебре, который должен различать поддельную справедливость и справедливость настоящую, и что человеку более высоких нравственных качеств свойственно руководиться законами неписаными преимущественно перед законами писаными.

При этом нужно смотреть, не противоречит ли данный закон какому-нибудь другому славному закону, или самому себе, как, например, иногда один закон объявляет действительными постановления, какие бы они ни были, а другой запрещает издавать постановления, противоречащие закону. Если закон отличается двусмысленным характером, так что можно толковать его и пользоваться им в ту или другую сторону, в таком случае нужно определить, какое толкование его будет

более согласно с видами справедливости или пользы, и потом уже пользоваться им. И если обстоятельства, ради которых был постановлен закон, уже не существуют, а закон тем не менее сохраняет свою силу, в таком случае нужно постараться выяснить [это] и таким путем бороться с законом.

Если же писаный закон соответствует положению дела, то следует говорить, что клятва «судить по своему лучшему разумению» дается не для того, чтобы судить против закона, но для того, чтобы судья не оказался клятвопреступником в тех случаях, когда он не знает, что говорит закон.

[Можно еще прибавить], что всякий ищет не блага самого по себе, а того, что для него представляется благом, и что все равно — не иметь законов или не пользоваться ими, и что в остальных искусствах, например, в медицине, нет никакой выгоды обманывать врача, потому что не столько бывает вредна ошибка врача, как привычка не повиноваться власти, и что, наконец, стремление быть мудрее законов есть именно то, что воспрещается наиболее прославленными законами.

Таким образом, мы рассмотрели вопрос о законах.

Что касается свидетелей, то они бывают двоякого рода: древние и новые, а эти последние разделяются еще на тех, которые сами рискуют так или иначе в случае дачи ложного показания, и на тех, которые не подвергаются при этом риску. Под древними свидетелями я разумею поэтов и других славных мужей, приговоры которых пользуются всеобщей известностью.

Так, например, афиняне все пользовались свидетельством Гомера относительно Саламина и тенедосцы недавно обращались к свидетельству коринфянина Периандра[97] против жителей Сигея. Точно так же и Клеофонт все пользовался против Крития элегиями Солона, говоря, что дом его давно уже отличался бесчинством, так как иначе Солон никогда не сочинил бы стиха:

Скажи краснокудрому Критию, чтобы он слушался своего отца[98].

Таковы свидетели относительно событий свершившихся.

Относительно же событий грядущих свидетелями служат люди, изъ- 1376 a
ясняющие прорицания, как, например, Фемистокл говорил, что деревянная стена означает, что должно сражаться на кораблях[99]. Кроме того, и пословицы, как мы говорили, служат свидетельствами, например, для человека, который советует не дружить со стариком, свидетельством служит пословица: «никогда не делай добра старику», а для того, кто советует умерщвлять сыновей тех отцов, которые убиты,— пословица: «Неразумен тот, кто, умертвив отца, оставляет в живых сыновей»[100].

Новые свидетели — известные [всем] лица выразили какое-то мнение; их мнение приносит пользу людям, которые ведут тяжбу относительно этих же самых вопросов, как, например, Эвбул на суде воспользовался против Харета словами Платона, сказавшего об Архи-

бии[101], что [благодаря ему] в государстве развился явный разврат. К числу новых свидетелей принадлежат люди, которые рискуют подвергнуться опасности в случае уличения их во лжи. Такие люди служат свидетелями только при решении вопроса, имело ли место это событие или нет, существует данный факт или нет, но при определении свойства факта они свидетелями быть не могут, например, при решении вопроса о справедливости или несправедливости, полезности или бесполезности какого-нибудь поступка. В подобных случаях свидетели, непричастные к делу, заслуживают наибольшего доверия, самыми верными свидетелями являются свидетели древние, потому что они неподкупны.

Для человека, не имеющего свидетелей, место доказательств должно занять правило, что судить следует на основании правдоподобия, что это и значит «судить по своему лучшему разумению», что невозможно придать вероятностям ложный смысл из-за денег и что вероятности не могут быть ложно свидетельствованы. А человек, имеющий за себя свидетелей, может, в свою очередь, сказать человеку, не имеющему их, что вероятности не подлежат ответственности, что не было бы никакой нужды в свидетельствах, если бы достаточно было рассмотреть дело на основании одних слов.

Что касается свидетельств, то они могут относиться частью к самому оратору, частью к его противнику, могут касаться частью самого факта, частью характера [противников]; очевидно, таким образом, что никогда не может быть недостатка в полезном свидетельстве, которое если и не будет иметь прямого отношения к делу, в благоприятном смысле для оратора или неблагоприятном для его противников, во всяком случае послужит для характеристики нравственной личности или самого тяжущегося — со стороны честности, или его противника — со стороны негодности.

Остальные соображения относительно свидетеля, который может относиться к тяжущемуся или дружественно, или враждебно, или безразлично, может пользоваться хорошей или дурной репутацией, или не пользоваться ни той, ни другой,— все эти соображения, и другие подобные им различия, нужно делать на основании тех самых общих положений, из которых мы получаем и энтимемы[102].

Что касается договоров, то о них оратору полезно говорить лишь постольку, поскольку он может представить их значение большим или меньшим, показать их заслуживающими веры или нет. Если договоры
1376 b говорят в пользу оратора, следует выставлять их надежными и имеющими законную силу; если же они говорят в пользу противника, [следует доказывать] противоположное.

Доказательства надежности или ненадежности договора ничем не отличаются от рассуждения о свидетелях, потому что договоры получают характер надежности в зависимости от того, каковы лица, подписавшие их или хранящие их. Раз существование договора признано, следует преувеличивать его значение, если он для нас благоприятен: ведь договор есть частный и частичный закон, и не договоры придают

силу закону, а законы дают силу тем договорам, которые согласны с законом, и вообще самый закон есть некоторого рода договор, так что кто не доверяет договору или упраздняет его, тот нарушает и закон. К тому же большая часть добровольных сношений между людьми покоится на договорном начале, так что с уничтожением силы договора уничтожается и самая возможность сношений людей между собой.

Легко видеть, какие другие соображения пригодны в этом случае.

Если же закон неблагоприятен для нас и благоприятен для наших противников, в этом случае пригодны прежде всего те возражения, которые можно сделать по поводу неблагоприятного для нас закона, а именно, что бессмысленно считать для себя обязательным договор, если мы не считаем себя обязанными повиноваться самим законам, раз они неправильно постановлены и раз законодатели впали в заблуждение, что, кроме того, судья решает, что справедливо, поэтому для него должен быть важен не договор, а то, что более соответствует справедливости, что справедливое нельзя исказить ни с помощью обмана, ни путем принуждения, потому что оно вытекает из самой природы вещей, между тем как договоры часто возникают на основании обмана и принуждения.

Затем нужно посмотреть, не противоречит ли данный договор какому-нибудь писаному или общему закону, и из писаных законов какому-нибудь туземному или иноземному закону, кроме того, не противоречит ли он каким-нибудь другим договорам, более ранним или более поздним. [В таком случае можно утверждать] или что сила на стороне более поздних договоров, или что правильны более ранние договоры, а что более поздние неправильны, смотря по тому, как будет полезнее. Кроме того, следует обсуждать договор с точки зрения пользы: не противоречит ли он [пользе] судей. Много других подобных возражений можно сделать, их легко вывести из сказанного.

Пытка делается некоторого рода свидетельством; она кажется чем-то убедительным, потому что заключает в себе некоторую необходимость. Нетрудно и в отношении к ней привести все возможные соображения: если пытка может быть для нас выгодна, следует преувеличивать ее значение, утверждая, что из всех видов свидетельств одна она может считаться истинной. Если же пытка не выгодна для нас и выгодна для 1377 b
нашего противника, в таком случае можно оспаривать истинность такого рода свидетельств путем рассуждения о характере пыток вообще,— что во время пытки под влиянием принуждения ложь говорится так же легко, как и правда, причем одни более выносливые, упорно утаивают истину, а другие легко говорят ложь, чтобы поскорей избавиться от пытки. При этом нужно иметь наготове подобные действительно бывшие примеры, известные судьям. Следует говорить, что пытка не может способствовать обнаружению истины, потому что многие упорные и крепкие люди, будучи сильны духом, мужественно выносят пытку, а люди трусливые и робкие, еще не видя пытки, пугаются ее, так что пытка не заключает в себе ничего надежного.

Что касается клятв, то здесь следует различать следующие четыре случая: или одна сторона требует клятвы от другой и в то же время принимает также требование от другой стороны; или нет ни того, ни другого; или есть что-нибудь одно и нет другого, то есть или требуют клятвы, не принимая сами требования ее, или принимают требование, сами не требуя ее. Помимо этого может быть еще случай другого рода — если клятва была принесена раньше истцом или его противником.

Не требуют принесения клятвы под тем предлогом, что люди легко приносят ложные клятвы и что принеся клятву, противник освобождается от своего обязательства, между тем как если клятва не принесена противником, истец может рассчитывать на его осуждение, что опасности, которой подвергается истец в зависимости от судей, он отдает предпочтение, потому что судьям он доверяет, противнику же нет.

Отклонять требование клятвы можно под тем предлогом, что она была бы произнесена ввиду получения денежной выгоды, и что он, говорящий, принес бы нужную клятву, если бы был дурным человеком, потому что лучше быть дурным ради чего-нибудь, чем без всякой причины, если же [зная], что, принеся присягу, я получу желаемое, а не принеся, ничего не получу, все же отказываюсь принести ее, то отказ от клятвы нужно объяснять моими прекрасными нравственными качествами, а не страхом оказаться клятвопреступником.

В этом случае пригодно изречение Ксенофана, что, когда человек безбожный делает вызов человеку благочестивому, стороны представляются неравными [103], здесь мы имеем дело с таким же случаем, как если бы человек сильный вызывал слабого человека на бой или, [точнее сказать], на избиение.

Если мы принимаем требование клятвы от нашего противника, мы можем мотивировать это тем, что мы доверяем себе, а к своему противнику никакого доверия не чувствуем. Здесь снова можно привести изречение Ксенофана, изменив его в том смысле, что положение уравнивается, если нечестивый человек требует клятвы, а человек благочестивый принесет ее, что странно отказаться от принесения клятвы в деле, в котором от самих судей требуешь клятвы.

Если же мы требуем клятвы от противника, то для объяснения этого можно сказать, что желание вверить свое дело богу — желание благочестивое, что мы не имеем никакой нужды желать других судей, потому что решение дела предоставляется самому противнику и что бессмысленно не желать приносить клятву там, где от других требуешь клятвы.

Раз выяснено, что нужно говорить относительно каждого из вышеуказанных случаев, ясно также, что нужно говорить при сочетании двух случаев в один, например, если человек желает принять клятву, а сам приносить ее не желает или если он приносит ее, но не желает принять ее от противника, или если он желает и принести, и принять ее,
1377 b или если не желает ни того, ни другого. Эти случаи получатся от сочетания указанных случаев, так что и доводы относительно их получатся от сочетания доводов, касающихся каждого отдельного случая.

Если человек раньше принес клятву, противоречащую клятве, ныне приносимой, то он может в свое оправдание сказать, что это не клятвопреступничество, потому что преступление есть нечто добровольное, что приносить ложную клятву–значит совершить преступление, но что действия, совершаемые под влиянием насилия и обмана, не произвольны. Отсюда можно и относительно клятвопреступления вынести заключение, что суть его в умысле человека, а не в том, что произносят уста.

Если же противник наш раньше принес клятву, противоречащую [теперешней], тогда на это можно сказать, что человек, не остающийся верным своей клятве, ниспровергает (anairei) все, чему он клялся, что судьи, лишь произнеся клятву, приводят в исполнение законы, [и добавить, обращаясь к судьям]: «От вас они требуют соблюдения тех клятв, принеся которые вы отправляете правосудие, а сами не соблюдают принесенных ими клятв». Пользуясь амплификацией, можно сказать и многое другое подобное.

Вот все, что можно сказать по поводу «нетехнических» доказательств.

Книга вторая

1

Цель риторики.— Условия, придающие речи характер убедительности.— Причины, возбуждающие доверие к оратору.— Определение страсти.— Три точки зрения, с которых следует рассматривать каждую из страстей.

Итак, вот те основания, исходя из которых следует склонять к чему-нибудь или отвращать от чего-нибудь, хвалить и хулить, обвинять и оправдываться, и вот представления и положения, которые способствуют доказательности доводов, потому что по поводу их и с помощью их строятся энтимемы, как это можно сказать относительно каждого из родов речи в частности. Так как сама риторика существует для вынесения решения (crisis) — ведь и в совещательных делах приходят к [определенному] решению, и суд также выносит свое решение,— поэтому необходимо не только заботиться о том, чтобы речь была доказательной и возбуждающей доверие, но также и показать себя человеком известного склада и настроить известным образом судью, потому что для убедительности речи весьма важно (особенно в речах совещательных, а затем и в судебных), чтобы оратор показался человеком известного склада и чтобы [слушатели] поняли, что он к ним относится известным образом, а также, чтобы и они были к нему расположены известным образом. Выказать себя человеком известного склада бывает для оратора полезнее в совещательных речах, а вызвать у слушателя известное отношение полезнее в речах судебных, потому что дело представляется неодинаковым тому, кто находится под влиянием любви, и тому, кем руководит ненависть, тому, кто сердится, и тому, кто кротко настроен, но или совершенно различным, или различным по значению. 1378 a
Когда человек с любовью относится к тому, над кем он творит суд, ему кажется, что тот или совсем не виновен, или мало виновен; если же он его ненавидит, [тогда ему кажется] наоборот; и когда человек стремится к чему-нибудь или надеется на что-нибудь, что для него должно быть приятно, ему кажется, что это будет и будет хорошо, а человеку равнодушному и недовольному [кажется] наоборот.

Есть три причины, возбуждающие доверие к говорящему, потому что есть именно столько вещей, в силу которых мы верим без доказательств,— это разум, добродетель и благорасположение; люди ошибаются в том, что говорят или советуют, или по всем этим причинам в совокупности, или по одной из них в отдельности, а именно: они или неверно рассуждают благодаря своему неразумию или же, верно рассуждая, они вследствие своей нравственной негодности говорят не то, что думают, или, наконец, они разумны и честны, но не благорасположены, почему возможно не давать наилучшего совета, хотя и знаешь, [в чем он состоит]. Кроме этих [трех причин], нет никаких других. Если, таким образом, слушателям кажется, что оратор обладает всеми этими качествами, они непременно чувствуют к нему доверие. [Чтобы увидеть], отчего люди могут казаться разумными и нравственно хорошими, нужно обратиться к трактату о добродетелях[1], потому что одним и тем же способом можно сделать человеком известного склада как себя, так и другого человека; о благорасположении же и дружбе следует сказать в трактате о страстях[2]. Страсти — все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные им [чувства]. Каждую из них следует рассмотреть с трех точек зрения, например, гнев: в каком состоянии люди бывают сердиты, на кого они обыкновенно сердятся, за что. Если бы мы выяснили один или два из этих пунктов, но не все, мы были бы не в состоянии возбудить гнев; точно то же [можно сказать] и относительно других [страстей]. Как по отношению к вышеизложенному мы наметили общие принципы, так мы сделаем и здесь и рассмотрим [страсти] вышеуказанным способом.

2

Определение гнева.— Определение пренебрежения; три вида его.— Состояние, в котором люди гневаются.— На кого и за что люди гневаются?— Как должен пользоваться оратор этой страстью для своей цели?

Пусть гнев (orgē) будет определен, как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало. Если таково понятие гнева, то человек гневающийся всегда гневается непременно на какого-нибудь определенного человека, например, на Клеона, а не на человека [вообще], и [гневается] за то,
1378 b что этот человек сделал или намеревался сделать что-нибудь самому [гневающемуся] или кому-нибудь из его близких; и с гневом всегда бывает связано некоторое удовольствие, вследствие надежды наказать,

так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стремишься. Никто не стремится к тому, что ему представляется невозможным, и гневающийся человек стремится к тому, что для него возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе:

Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека,
После того же все больше в груди разрастается дымом[3].

Некоторого рода удовольствие получается от этого и, кроме того, [оно является еще и] потому, что человек мысленно живет в мщении; являющееся в этом случае представление доставляет удовольствие, как и представления, являющиеся во сне.

Но пренебрежение есть акт рассудка по отношению к тому, что нам кажется ничего не стоющим, ибо зло и добро и то, что с ними соприкасается, мы считаем достойными внимания, а ничего не стоющими мы считаем вещи, совсем [к ним] не [относящиеся] или [относящиеся] очень мало. Видов пренебрежения три: презрение, самодурство и оскорбление. Человек, выказывающий презрение, обнаруживает тем самым пренебрежение, ибо люди презирают то, что в их глазах ничего не стоит, а вещами, ничего не стоющими, люди пренебрегают. И человек, выказывающий самодурство, по-видимому, обнаруживает презрение, потому что самодурство есть препятствование желаниям другого не для того, чтобы [доставить] что-нибудь себе, а для того, чтобы оно не [досталось] другому; и так как [здесь он действует] не [с той целью], чтобы самому получить что-нибудь, он выказывает пренебрежение [к своему противнику], потому что, очевидно, он считает его неспособным ни причинить ему вред, так как в этом случае он боялся бы его, а не пренебрегал бы им, ни принести сколько-нибудь значительную пользу, так как в таком случае он постарался бы стать его другом. Человек, наносящий оскорбление, также выказывает пренебрежение, потому что оскорблять значит делать и говорить вещи, от которых становится стыдно тому, к кому они обращены, и притом [делать это] не с той целью, чтобы он подвергся чему-нибудь, кроме того, что уже было, но с целью получить самому от этого удовольствие. Люди же, воздающие равным за равное, не оскорбляют, а мстят. Чувство удовольствия у людей, наносящих оскорбление, является потому, что они, оскорбляя других, в своем представлении от этого еще более возвышаются над ними. Поэтому-то люди молодые и люди богатые легко наносят оскорбления: им представляется, что, нанося оскорбления, они достигают тем большего превосходства.

Оскорбление связано с умалением чужой чести, а кто умаляет чужую честь, тот пренебрегает, ибо не пользуется никаким почетом то, что ничего не стоит — ни в хорошем, ни в дурном смысле. Поэтому-то Ахилл в гневе говорит:

Злую обиду [широкодержавный Атрид Агамемнон]
Мне причинил: отобрал у меня и присвоил награду.

И еще:

> [Как пред лицом аргивян обесчестил меня Агамемнон].
> Будто какой-нибудь я новосел, чужеземец презренный[4].

Как видно, именно за это он гневается. Уважения к себе люди тре-
1379 a буют от лиц, уступающих им в происхождении, могуществе, доблести и вообще во всем, в чем один человек имеет большое преимущество перед другими, например, богатый перед бедным в деньгах, обладающий красноречием перед неспособным говорить, имеющий власть перед подвластным и считающий себя достойным власти перед достойным быть под властью. Поэтому [поэт] говорит:

> Гнев же нелегок царя, питомца владыки Кронида,

а также:

> Но сокровенную злобу, покуда ее не проявит,
> В сердце таит[5].

Ведь они сердятся именно вследствие своего преимущества. Кроме того, [человек имеет притязание на уважение со стороны лиц], от которых он считает себя вправе ожидать услуг; а таковы лица, которым оказал или оказывает услуги он сам или кто-нибудь через его посредство, или кто-нибудь из его близких,— или хочет, или хотел оказать.

Итак, из вышесказанного уже очевидно, в каком состоянии люди гневаются и на кого и за что. Они гневаются, когда испытывают чувство неудовольствия, потому что, испытывая неудовольствие, человек стремится к чему-нибудь. И притом, прямо ли кто противодействует в чем-либо, например, жаждущему в утолении жажды, или не прямо, он является делающим совершенно то же [то есть служит препятствием]. И если кто противодействует или не содействует человеку, или чем-нибудь другим надоедает ему, когда он находится в таком состоянии, он сердится на всех этих людей. Поэтому люди больные, голодные, ведущие войну, влюбленные, жаждущие, вообще люди, испытывающие какое-нибудь желание и не имеющие возможности удовлетворить его, бывают гневливы и раздражительны, особенно по отношению к людям, которые с пренебрежением относятся к данному положению, таков, например, бывает больной по отношению к людям, [так относящимся] к болезни, голодный по отношению к людям, [так относящимся] к голоду, воюющий по отношению к людям, [так относящимся] к войне, влюбленный по отношению к людям, [так относящимся] к любви, и подобным же образом [относится он] и к другим: каждый своим настоящим страданием бывает подготовлен к гневу против каждого человека. [Сердится человек] и в том случае, когда его постигает что-нибудь противное его ожиданиям, ибо то, что [постигает человека] совершенно неожиданно, способно более огорчить его, точно так же как человека радует вполне неожиданно случившееся, если случилось именно то, чего он желал. Отсюда ясно, какие обстоятельства, какое время,

расположение духа и какой возраст располагают к гневу, где и когда; и чем больше люди зависят от этих условий, тем легче поддаются гневу.

Итак, вот в каком состоянии люди легко поддаются гневу. Сердятся они на тех, кто над ними насмехается, позорит их и шутит над ними, потому что такие люди выказывают пренебрежение к ним. [Сердятся они] также на тех, кто причиняет им вред поступками, носящими на себе признаки пренебрежения, а таковыми необходимо будут поступки, которые не имеют характера возмездия и не приносят пользы людям, их совершающим, потому что [такие поступки], по-видимому, совершаются ради пренебрежения. [Сердимся мы] еще на людей, дурно говорящих и презрительно относящихся к вещам, которым мы придаем большое значение, как, например, [сердятся] люди, гордящиеся своими занятиями философией, если кто-нибудь так относится к их философии, и люди, гордящиеся наружностью (ideai), если кто [так относится] к их наружности и подобным же образом и в других случаях. И тут [мы сердимся] гораздо больше, если подозреваем, что [того, что в нас подвергается осмеянию] в нас или совсем нет, или что оно есть в незначительной степени, или же что [другим] кажется, что этого в нас 1379 b
нет. Если же мы считаем себя в высокой степени обладающими тем, из-за чего над нами смеются, тогда мы не обращаем внимания [на насмешки]. И на друзей [в таких случаях мы сердимся] больше, чем на недругов, потому что считаем более естественным видеть с их стороны добро, чем зло. [Сердимся мы] также на тех, кто обыкновенно обнаруживал по отношению к нам уважение или внимание, если эти люди начинают иначе относиться к нам, ибо полагаем, что они нас презирают,— иначе они поступали бы по-прежнему. [Мы сердимся] еще и на тех, кто не отплачивает нам за добро и не воздает нам равным за равное, а также на тех, кто, будучи ниже нас, действует нам наперекор, ибо такие люди по-видимому, презирают нас: одни — [потому что смотрят на нас], как на людей, ниже их стоящих, другие — [так как считают, что благодеяние оказано им людьми], ниже их стоящими. И еще больше [мы сердимся], когда нам выказывают пренебрежение люди, совершенно ничтожные, потому что гнев вызывается пренебрежением со стороны лиц, которым не следовало бы нами пренебрегать, а людям, ниже нас стоящим, именно не следует относиться к нам с пренебрежением. [Сердимся мы] и на друзей, если они не говорят хорошо о нас или не поступают по-дружески по отношению к нам, и еще более [мы сердимся], если они держатся противоположного образа действий и если они не замечают, что мы в них нуждаемся, как, например, Плексипп в трагедии Антифонта сердился на Мелеагра[6], потому что не замечать это есть признак пренебрежения, и [нужды тех], о ком мы заботимся, не ускользают от нашего внимания. [Сердимся мы] еще на тех, кто радуется нашим несчастьям или кто вообще чувствует себя хорошо при наших бедствиях, потому что такое отношение свойственно врагу или человеку, относящемуся к нам с пренебрежением. [Гнев наш обращается] и против тех лиц, которые, огорчая нас, нисколько об этом не забо-

тятся; поэтому мы сердимся на тех, кто приносит нам дурные вести, а также на тех, кто спокойно слышит о наших несчастьях или созерцает их, потому что такие люди тождественны с людьми, презирающими нас или враждебными нам, так как друзья соболезнуют нам и все чувствуют печаль, взирая на свои собственные бедствия. Еще [мы сердимся] на тех, кто выказывает нам пренебрежение в присутствии пяти родов лиц: тех, с кем мы соперничаем, кем мы восхищаемся, для кого желаем быть предметом восхищения, кого совестимся и кто нас совестится; если кто-нибудь обнаружит к нам пренебрежение в присутствии таких лиц, мы сильнее сердимся. Еще [мы сердимся] на тех, кто обнаруживает пренебрежение к лицам, которых нам стыдно не защитить, например, к нашим родителям, детям, женам, подчиненным. [Сердимся мы] и на тех, кто не благодарит нас, потому что в [этом случае] пренебрежение противно приличию, а также на тех, кто иронизирует, когда мы говорим серьезно, так как ирония заключает в себе нечто презрительное, и на тех, кто, благотворя другим, не благотворит нам, потому что не удостоивать человека того, чего удостоиваешь других, значит презирать его. И забывчивость может вызывать гнев, например, забвение имен, хотя это вещь незначительная. Дело в том, что забывчивость кажется признаком пренебрежения: она является следствием некоторого рода нерадения, а нерадение есть некоторого рода пренебрежение.

1380 a Итак, мы сказали о том, на кого люди сердятся, в каком состоянии и по каким причинам[7]. Очевидно, что обязанность [оратора] — привести слушателей в такое состояние, находясь в котором люди сердятся, и [убедить их], что противники причастны тому, на что [слушатели] должны сердиться, и что [эти противники] таковы, каковы бывают люди, на которых сердятся.

3

Определение понятия «быть милостивым».— К кому и почему люди бывают милостивы? — В каком настроении люди бывают милостивы? — Как должен пользоваться оратор этой страстью для своей цели?

Так как понятие «сердиться» (orgidzesthai) противоположно понятию «быть милостивым» (praynesthai) и гнев противоположен милости (praotēs), то следует рассмотреть: находясь в каком состоянии, люди бывают милостивы, по отношению к кому они бывают милостивы и вследствие чего они делаются милостивыми. Определим понятие «смилостивиться» как прекращение и успокоение гнева. Если же люди гневаются на тех, кто ими пренебрегает, а пренебрежение есть нечто произвольное, то очевидно, что они бывают милостивы по отношению к тем, кто не делает ничего подобного или делает это непроизвольно, или кажется таковым, и к тем, кто желал сделать противоположное

тому, что сделал, и ко всем тем, кто к нам относится так же, как к самому себе, ибо ни о ком не думают, что он относится с пренебрежением к самому себе,— и к тем, кто сознается и раскаивается: в этом случае люди перестают сердиться, как бы получив вознаграждение в виде сожаления о сделанном. Доказательство этому [можно найти] при наказании рабов: мы больше наказываем тех, кто нам возражает и отрицает свою вину, а на тех, кто признает себя достойным наказания, мы перестаем сердиться. Причина этому та, что отрицание очевидного есть бесстыдство, а бесстыдство есть пренебрежение и презрение, потому что мы не стыдимся тех, кого сильно презираем. [Мы бываем милостивы] еще к тем, кто принижает себя по отношению к нам и не противоречит нам, ибо полагаем, что такие люди признают себя более слабыми, чем мы, а люди более слабые испытывают страх, испытывая же страх, никто не склонен к пренебрежению. А что гнев исчезает по отношению к лицам, принижающим себя, это видно и на собаках, которые не кусают людей, когда они садятся[8]. [Милостивы мы] и по отношению к тем, кто серьезно относится к нам, когда мы серьезны: нам кажется, что такие люди заботятся о нас, а не относятся к нам с презрением,— и к тем, кто оказал нам услуги большей важности [чем их вина пред нами], и к тем, кто упрашивает и умоляет нас, потому что такие люди ниже нас. [Милостивы мы] и к тем, кто не относится высокомерно, насмешливо и пренебрежительно или ни к кому, или ни к кому из хороших людей, или ни к кому из таких, каковы мы сами. Вообще понятие того, что способствует милостивому настроению, следует выводить из понятия противоположного. Не сердимся мы и на тех, кого боимся или стыдимся, пока мы испытываем эти чувства, потому что невозможно в одно и то же время бояться и сердиться. И на тех, кто сделал что-нибудь под влиянием гнева, мы или совсем не сердимся, или менее сердимся, потому что они, как представляется, поступили так не вследствие пренебрежения, ибо никто не чувствует пренебрежения в то время, когда сердится: пренебрежение не заключает в себе огорчения, а гнев соединен с ним. [Милостиво мы относимся] еще к тем, кто нас уважает. *1380 b*

Очевидно, что те, состояние которых противоположно гневу, милостивы, а такое [состояние сопровождает] шутку, смех, праздник, счастье, успех, насыщение, вообще беспечальное состояние, невысокомерное удовольствие и скромную надежду. [Милостивое настроение является] и в тех случаях, когда гнев затягивается и не имеет свежести, потому что время утоляет гнев. Точно так же наказание, наложенное раньше на какое-нибудь лицо, смягчает даже более сильный гнев, направленный против какого-нибудь другого лица. Поэтому-то, когда народ гневался на Филократа[9], последний на вопрос какого-то человека: «Почему ты не оправдываешься?» — благоразумно отвечал: «Еще не время».— «А когда же будет время?» — «Когда увижу, что кто-нибудь другой оклеветан». Ведь люди смягчаются, когда сорвут свой гнев на ком-нибудь другом, как это было с Эргофилом: хотя на него сердились больше,

чем на Каллисфена[10], однако оправдали его именно потому, что накануне осудили на смерть Каллисфена. [Милостивы мы] и к тем, к кому чувствуем сострадание, а также к тем, кто перенес большее бедствие, чем какое мы могли бы причинить им под влиянием гнева; в этом случае мы как бы думаем, что получили удовлетворение. [Мы бываем милостивы] и тогда, когда, по нашему мнению, мы сами неправы и терпим по справедливости, потому что гнев не бывает направлен против справедливого, в данном же случае, по нашему мнению, мы страдаем не вопреки справедливости, а гнев, как мы сказали, возбуждается именно этим. Ввиду этого прежде [чем наказывать делом], следует наказывать словом; в таком случае даже и рабы, подвергаемые наказанию, менее негодуют. [Гнев наш смягчается] еще и в том случае, когда мы думаем, что [наказываемый] не догадается, что он [терпит] именно от нас и именно за то, что мы от него претерпели, потому что гнев бывает направлен против какого-нибудь определенного лица, как это очевидно из определения гнева. Поэтому справедливо говорит поэт:

То Одиссей, городов разрушитель...[11]

как будто бы он не счел себя отмщенным, если бы [его противник] не почувствовал, кем и за что [он наказан]. Таким образом, мы не сердимся и на всех тех, кто не может этого чувствовать, и на мертвых, ввиду того что они испытали самое ужасное бедствие и не почувствуют боли и не ощутят нашего гнева, чего именно и хотят гневающиеся. Поэтому хорошо [сказал] поэт о Гекторе, желая утишить гнев Ахилла за умершего друга:

Прах бесчувственный в злобе своей Ахиллес оскверняет[12].

Очевидно, что ораторы, желающие смягчить [своих слушателей], должны в своей речи исходить из этих общих положений; таким путем они могут [слушателей] привести в нужное настроение, а тех, на кого [слушатели] гневаются, выставить или страшными, или достойными уважения, или оказавшими услугу раньше, или поступившими против воли, или весьма сожалеющими о своем поступке.

4

Определение понятия «любить» и понятия «друг».— Кого и почему люди любят? — Виды дружбы и отношение дружбы к услуге.— Понятия вражды и ненависти, отношение их к гневу.— Как может пользоваться этими понятиями оратор для своей цели?

Кого люди любят и кого ненавидят и почему, об этом мы скажем, определив понятие дружбы (philia) и любви (philein). Пусть любить значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него, а не

ради самого себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти блага. 1381 a
Друг — тот, кто любит и взаимно любим. Люди, которым кажется, что они так относятся друг к другу, считают себя друзьями. Раз эти положения установлены, другом необходимо будет тот, кто вместе с нами радуется нашим радостям и горюет о наших горестях, не ради чего-нибудь другого, а ради нас самих. Все радуются, когда сбывается то, чего они желают, и горюют, когда дело бывает наоборот, так что горести и радости служат признаком желания. [Друзья] и те, у кого одни и те же блага и несчастья, и те, кто друзья одним и тем же лицам и враги одним и тем же лицам, потому что такие люди необходимо имеют одинаковые желания. Итак, желающий другому того, чего он желает самому себе, кажется другом этого другого человека.

Мы любим и тех, кто оказал благодеяние или нам самим или тем, в ком мы принимаем участие — если [оказал] большое благодеяние или [сделал это] охотно, или [поступил так] при таких-то обстоятельствах и ради нас самих; [любим] и тех, в ком подозреваем желание оказать благодеяние. [Любим мы] также друзей наших друзей и тех, кто любит людей, любимых нами, и тех, кто любим людьми, которых мы любим.

[Любим мы] также людей, враждебно относящихся к тем, кому мы враги, и ненавидящих тех, кого мы ненавидим, и ненавидимых теми, кому ненавистны мы сами. Для всех таких людей благом представляется то же, что для нас, так что они желают того, что есть благо для нас, а это, как мы сказали, свойство друга.

[Любим мы] также людей, готовых оказать помощь в отношении денег или в отношении безопасности; поэтому-то таким уважением пользуются люди щедрые, мужественные и справедливые, а такими считаются люди, не живущие в зависимости от других, каковы люди, существующие трудами рук своих, и из них в особенности люди, добывающие себе пропитание обработкой земли и другими ремеслами. [Мы любим] также людей скромных, за то что они не несправедливы, и людей спокойных по той же причине.

[Любим мы] и тех, кому желаем быть друзьями, если и они, как нам кажется, желают этого; таковы люди, отличающиеся добродетелью и пользующиеся хорошей славой или среди всех людей, или среди лучших, или среди тех, кого мы уважаем, или среди тех, кто к нам относится с почтением.

[Любим] мы и тех, с кем приятно жить и проводить время, а таковы: люди обходительные, несклонные изобличать ошибки [других], не любящие спорить и ссориться, потому что все люди такого сорта любят сражаться, а раз люди сражаются, представляется, что у них противоположные желания.

[Любим мы] и тех, кто умеет пошутить и перенести шутку, потому что умеющие перенести шутку и прилично пошутить, и те, и другие доставляют одинаковое удовольствие своему ближнему. [Мы любим] также людей, хвалящих те хорошие качества, которые в нас есть, особенно, если мы боимся оказаться лишенными этих качеств. [Пользуют-

1381 b ся любовью] еще люди чистоплотные в своей внешности, одежде и во всей своей жизни, а также люди, не имеющие привычки попрекать нас нашими ошибками и оказанными благодеяниями, потому что те и другие имеют вид обличителей. [Любим мы] также людей незлопамятных, не помнящих обид и легко идущих на примирение, ибо думаем, что они по отношению к нам будут таковы же, каковы по отношению к другим, а также людей незлоречивых и обращающих внимание не на дурные, а на хорошие качества людей, нам близких, и нас самих, потому что так поступает человек хороший. [Любим мы] также тех, кто нам не противоречит, когда мы сердимся или когда заняты, потому что такие люди склонны к столкновениям. [Любим мы] и тех, кто оказывает нам какое-нибудь внимание, например, уважает нас или считает нас людьми серьезными, или радуется за нас, особенно если они поступают так в тех случаях, где мы особенно желаем вызвать интерес показаться серьезными или приятными.

[Любим мы] также подобных нам и тех, кто занимается тем же, [чем мы], если только эти люди не досаждают нам и не добывают себе пропитание тем же, [чем мы], потому что в последнем случае «и гончар [негодует] на гончара»[13]. [Любим мы] и тех, кто желает того же, чего желаем мы, если есть возможность обоим достигнуть желаемого, если же [этой возможности] нет, и здесь будет то же. [Любим мы] также людей, к которым относимся так, что не стыдимся их в том, от чего может зависеть репутация в свете, если такое отношение не обусловлено презрением, и тех, кого мы стыдимся в вещах действительно постыдных. Мы любим или желаем быть друзьями тех, с кем соперничаем и для кого желаем быть объектом соревнования, а не зависти.

[Любим мы] и тех, кому помогаем в чем-нибудь хорошем, если от этого не должно произойти большее зло для нас самих. [Мы любим] и тех, кто с одинаковой любовью относится к нам в глаза и за глаза, поэтому-то все любят тех, кто так относится к мертвым. Вообще [мы любим] тех людей, которые сильно привязаны к своим друзьям и не покидают их, потому что из хороших людей наибольшей любовью пользуются именно те, которые хороши в любви.

[Любим мы] и тех, кто не притворяется перед нами, таковы, например, те люди, которые говорят о своих недостатках, ибо, как мы сказали, перед друзьями мы не стыдимся того, от чего может зависеть репутация; итак, если человек, испытывающий [в подобных случаях] стыд, не любит, то человек, не испытывающий стыда, похож на любящего. [Мы любим] еще людей, которые не внушают нам страха и на которых полагаемся, потому что никто не любит того, кого боится. Виды любви — товарищество, свойство, родство и т. п. Порождает дружбу услуга — когда окажешь ее, не ожидая просьбы, и когда, оказав ее, не выставляешь ее на вид, ибо в таком случае кажется, что [услуга оказана] ради самого человека, а не ради чего-нибудь другого[14].

Что касается вражды и ненависти, то очевидно, что их нужно рассматривать с помощью понятий противоположных. Вражду порождают гнев, оскорбление, клевета. Гнев проистекает из вещей, имеющих непосредственное отношение к нам самим, а вражда может возникнуть и без этого, потому что раз мы считаем человека таким-то, мы ненавидим его. Гнев всегда бывает направлен против отдельных объектов, например, против Каллия или Сократа, а ненависть [может быть направлена] и против целого рода объектов, например, всякий ненавидит вора и клеветника. Гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима. Первый есть стремление вызвать досаду, а вторая [стремится причинить] зло, ибо человек гневающийся желает дать почувствовать свой гнев, а для человека ненавидящего это совершенно безразлично. Все, возбуждающее огорчение, дает себя чувствовать, но вовсе не дает себя чувствовать величайшее зло, несправедливость и безумие, так как нас нисколько не огорчает присутствие порока. Гнев соединен с чувством огорчения, а ненависть не соединена с ним: человек сердящийся испытывает огорчение, а человек ненавидящий не испытывает; первый может смягчиться, если [на долю ненавидимого] падет много [неприятностей], а второй [не смягчится] ни в каком случае, потому что первый желает, чтобы тот, на кого он сердится, за что-нибудь пострадал, а второй желает, чтобы [его врага] не было.

Из вышесказанного очевидно, что возможно как доказать, что такие-то люди друзья или враги, когда они действительно таковы, так и выставить их таковыми, когда на самом деле они не таковы, возможно и уничтожить [дружбу или вражду], существующую только на словах, и склонить в какую угодно сторону тех, кто колеблется под влиянием гнева или вражды.

5

Определение страха.— Чего люди боятся? — Что подходит под понятие страшного и почему? — В каком настроении люди испытывают страх? — Понятие смелости, определение его.— Когда и почему люди бывают смелы?

Чего и кого и в каком настроении люди боятся, будет ясно из следующего. Пусть будет страх (phobos) — некоторого рода неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить нам неприятность: люди ведь боятся не всех зол; например, [не боятся] быть несправедливыми или ленивыми,— но лишь тех, которые могут причинить страдание, сильно огорчить или погубить, и притом в тех случаях, когда [эти бедствия] не [угрожают] издали, а находятся так близко, что кажутся неизбежными. Бедствий отдаленных люди не особенно боятся. Все знают,

1382 a что смерть неизбежна, но так как она не близка, то никто о ней не думает[15].

Если же в этом заключается страх, то страшным необходимо будет все то, что, как нам представляется, имеет большую возможность разрушить или причинить вред, влекущий за собой большие горести. Поэтому страшны и признаки подобных вещей, потому что тогда страшное кажется близким. Это ведь называется опасностью, близость чего-нибудь страшного; такова вражда и гнев людей, имеющих возможность причинить какое-нибудь зло: очевидно, в таком случае, что они желают [причинить его] так, что близки к совершению его. Такова и несправедливость, обладающая силой, потому что человек несправедливый несправедлив в том, к чему он стремится. [Такова] и оскорбленная
1382 b добродетель, когда она обладает силой: очевидно, что раз она получает оскорбление, она всегда стремится [отомстить], в данном же случае она может [это сделать]. [Таков] и страх людей, которые имеют возможность сделать нам что-нибудь [дурное], потому что и такие люди необходимо должны быть наготове [причинить нам какое-нибудь зло]. Так как многие люди оказываются дурными и слабыми ввиду выгод и трусливыми в минуту опасности, то вообще страшно быть в зависимости от другого человека, и для того, кто совершил что-нибудь ужасное, люди, знающие об этом, страшны тем, что могут выдать или покинуть его. И те, кто может обидеть, [страшны] для тех, кого можно обидеть, потому что по большей части люди обижают, когда могут. [Страшны] и обиженные или считающие себя таковыми, потому что [такие люди] всегда выжидают удобного случая. Страшны и обидевшие, раз они обладают силой, потому что они боятся возмездия, а подобная вещь, как мы сказали, страшна. [Страшен] и соперник, добивающийся всего того же, [чего добиваемся мы], если оно не может достаться обоим вместе, потому что с соперниками постоянно ведется борьба. [Страшны для нас] также люди, страшные для людей более сильных, чем мы, потому что если [они могут вредить] людям более сильным, чем мы, то тем более могут повредить нам. По той же причине [страшны] те, кого боятся люди более сильные, чем мы, а также те, кто погубил людей более сильных, чем мы. [Страшны] и те, кто нападает на людей более слабых, чем мы: они страшны для нас или уже [в данный момент], или по мере своего усиления.

Из числа людей, нами обиженных, наших врагов и соперников [страшны] не пылкие и откровенные, а спокойные, насмешливые и коварные, потому что незаметно, когда они близки [к исполнению возмездия], так что никогда не разберешь, далеки ли они от этого.

И все страшное еще страшнее во всех тех случаях, когда совершившим ошибку не удается исправить ее, когда [исправление ее] или совсем невозможно, или зависит не от нас, а от наших противников. [Страшно] и то, в чем нельзя или нелегко оказать помощь. Вообще же говоря, страшно все то, что возбуждает в нас сострадание, когда случается или должно случиться с другими людьми.

Вот, можно сказать, главные из вещей, которые страшны и которых мы боимся.

Скажем теперь о том, находясь в каком состоянии люди испытывают страх. Если страх всегда бывает соединен с ожиданием какого-нибудь страдания, которое может погубить нас и которое нам предстоит перенести, то, очевидно, не испытывает страха никто из тех людей, которые считают себя обеспеченными от страдания: [они не боятся] ни того, чего, как им кажется, им не придется переносить, ни тех людей, которые, по их мнению, не заставят их страдать, ни тогда, когда, по их мнению, им не угрожает страдание.

Отсюда необходимо следует, что испытывают страх те, которые, как им кажется, могут пострадать, и притом [они боятся] каких-то людей и таких-то вещей и тогда-то. Недоступными страданию считают себя люди, действительно или, как кажется, находящиеся в высшей степени благоприятных условиях (тогда они бывают горды, пренебрежительны и дерзки; такими их делает богатство, физическая сила, обилие друзей, власть), а также люди, которым кажется, что они перенесли уже все возможные несчастья, и которые поэтому окоченели по отношению к будущему, подобно людям, забитым уже до полусмерти.

[Для того чтобы испытывать страх], человек должен иметь некоторую надежду на спасение того, за что он тревожится; доказательством этому служит то, что страх заставляет людей размышлять, между тем как о безнадежном никто не размышляет. Поэтому в такое именно состояние [оратор] должен приводить своих слушателей, когда для него выгодно, чтобы они испытывали страх; [он должен представить их] такими людьми, которые могут подвергнуться страданию, [для этого он должен обратить их внимание на то], что пострадали другие люди, более могущественные, чем они, что люди, им подобные, страдают или страдали и от таких людей, от которых не думали [пострадать], и в таких вещах и в таких случаях, когда не ожидали.

Раз ясно, что такое страх и страшные вещи, а также — в каком состоянии люди испытывают страх[16],— ясно будет также, что такое быть смелым, по отношению к чему люди бывают смелы и в каком настроении они бывают смелы, потому что смелость противоположна страху и внушающее смелость противоположно страшному. Таким образом, смелость есть надежда, причем спасение представляется близким, а все страшное — далеким или совсем не существующим. Быть смелым значит считать далеким все страшное и близким все, внушающее смелость. [Смелость является в том случае], если есть много способов исправить и помочь, или если эти способы значительны, или и то, и другое вместе. [Мы чувствуем себя смелыми], если никогда не испытывали несправедливости и сами никогда не поступали несправедливо, если у нас или совсем нет противников, или же они бессильны, или, если они, обладая силой, дружески к нам расположены, в силу того, что они или оказали нам благодеяние, или сами видели от нас добро,

и если люди, интересы которых тождественны с нашими, составляют большинство или превосходят остальных силой, или то и другое вместе. А смелое настроение является у людей в тех случаях, когда они сознают, что, имев во многом успех, они ни в чем не терпели неудачи, или, что, побывав много раз в ужасном положении, они всегда счастливо выходили из него. Вообще люди бесстрастно относятся [к опасности] по одной из двух причин: потому что не испытали ее и потому что знают, как помочь. Так и во время морского путешествия смело смотрят на предстоящие опасности люди, незнакомые с бурями, и люди, по своей опытности знающие средства к спасению. [Смелы мы] и в тех случаях, когда данная вещь не страшна для подобных нам или для более слабых, чем мы, и для тех, кого, как нам кажется, мы превосходим силой, а таковыми мы считаем людей в том случае, если мы одержали верх над ними самими или над людьми, превосходящими их силой, или над людьми, им подобными. [Смелы мы] и тогда, когда, как нам кажется, на нашей стороне перевес и в количестве, и в каче-
1383 b стве тех средств, обладание которыми делает людей страшными, а таковы: значительное состояние, физическая сила, могущество друзей, укрепленность страны, обладание всеми или важнейшими способами для борьбы. [Смелы мы] и в том случае, если мы никого не обидели или обидели немногих, или тех, кого не боимся, и если боги вообще нам покровительствуют, и [это выражается] как во всем прочем, так и в знамениях и прорицаниях оракула: гнев соединен со смелостью, а сознание, что не мы неправы, а нас обижают, возбуждает гнев; божество же мы представляем себе помощником обиженных. [Мы бываем смелы] еще тогда, когда, делая сами нападение, мы полагаем, что ни теперь, ни впоследствии мы не можем потерпеть никакой неудачи или что, напротив, будем иметь успех.

6

Определение стыда.— Что постыдно и почему? — Кого люди стыдятся и почему? — В каком состоянии люди испытывают стыд?

Итак, мы сказали о том, что внушает страх и делает смелым. Из последующего станет ясно, чего мы стыдимся и чего не стыдимся, перед кем и в каком состоянии мы испытываем стыд (aischynē). Пусть будет стыд — некоторого рода страдание или смущение по поводу зол, настоящих, прошедших или будущих, которые, как представляется, влекут за собой бесчестие, а бесстыдство есть некоторого рода презрение и равнодушие к тому же самому. Если стыд таков, как мы его определили, то человек необходимо должен стыдиться всех тех зол, которые кажутся постыдными или ему самому, или тем, на кого он обращает внимание. Таковы, во-первых, все действия, проистекающие от дурных нравственных качеств, например, бросить щит или убежать [с поля

битвы], потому что это является следствием трусости; присвоить себе вверенный залог, потому что это происходит от несправедливости; сближаться с людьми, с которыми не следует, где не следует или когда не следует, потому что это происходит от распущенности. [Постыдно] также добиваться выгоды в вещах незначительных или постыдных или от лиц беззащитных, например, бедных или мертвых, откуда и пословица «содрать с мертвого» — потому что это происходит от позорного корыстолюбия и скаредности. [Постыдно], имея возможность оказать помощь деньгами, не помочь или помочь меньше, [чем можно], а также [постыдно] получить пособие от людей менее достаточных, чем мы, и занимать деньги у человека, который, по-видимому, сам готов просить взаймы, и просить еще, когда [тот, по-видимому, хочет] получить обратно, и требовать обратно у того, кто, [по-видимому, хочет] просить, и хвалить вещь для того, чтобы показалось, будто мы ее просим, и продолжать это, потерпев неудачу; все это — признаки скаредности. Хвалить людей в лицо — признак лести; слишком расхваливать хорошее и замазывать дурное, чрезмерно соболезновать горю человека в его присутствии, и все подобное постыдно, потому что все это — признаки лести. [Постыдно] также не переносить трудов, которые переносят люди более старые или более изнеженные, [чем мы], или люди, находящиеся 1384 a в лучшем положении, [чем мы], или вообще люди более слабые, потому что все это — признаки изнеженности. [Постыдно] получать благодеяния от другого и часто получать их, [постыдно] также попрекать оказанным благодеянием, потому что все это — признаки малодушия и низости. [Постыдно] также постоянно говорить о себе, выставлять себя напоказ и выдавать чужое за свое, потому что [все это — признаки] хвастовства. Сюда же относятся и поступки, вытекающие из всех других дурных нравственных качеств, признаки их и все подобное им, потому что [все такое] позорно и бесстыдно.

Сверх того [позорно] быть совершенно непричастным тем прекрасным качествам, которыми обладают все, или все подобные нам люди, или большинство их (подобными я называю единоплеменников, сограждан, сверстников, родственников, вообще всех, находящихся в равных с нами условиях); постыдно во всяком случае не обладать, например, образованием в той степени, в какой они им обладают, а также и другими подобными качествами. Все это тем еще более [постыдно], если недостаток является следствием собственной вины человека: если он сам виноват в том, что с ним происходит, происходило или будет происходить, то это прямо зависит от его нравственного несовершенства.

Во-вторых, стыд вызывается и тем, что люди претерпевают со стороны других, именно когда они переносят, перенесли или должны перенести что-либо такое, что ведет к бесчестию и позору; когда, например, оказывают услуги своим телом или являются объектом позорящих деяний, которыми наносится оскорбление. Если эти поступки проистекают от распущенности, [они постыдны], произвольны они или непроизвольны; если они являются следствием насилия, [то они постыдны], если

непроизвольны, потому что терпеть и не защищаться значит выказать отсутствие мужества и трусость.

Итак, люди стыдятся таких и им подобных вещей. Так как стыд есть представление о бесчестии и имеет в виду именно бесчестие, а не его последствия, и при этом никого не заботит мнение (doxa) [само по себе], а только выраженное кем-то, то отсюда необходимо вытекает, что человек стыдится тех, с кем он считается. Считается же он с теми, кто его уважает, кого он сам уважает, для кого желает быть предметом восхищения, и с кем соперничает — вообще чье мнение он не презирает. Люди желают быть предметом восхищения для тех и сами восхищаются теми, кто обладает чем-нибудь хорошим из числа вещей почетных, или у кого они просят чего-нибудь такого, чем те обладают, например, [в таком положении бывают] влюбленные. Соперничают люди с себе равными, заботятся же о мнении людей мудрых, как обладающих истиной, таковы люди старые и образованные. [Люди] больше [стыдятся того], что делают на глазах других и явно, откуда и пословица «стыд находится в глазах»[17]. Поэтому мы больше стыдимся тех, кто постоянно будет с нами и кто на нас обращает внимание, потому что в том и другом случае мы находимся на глазах этих людей. [Стыдимся мы] также тех, кто не подвержен одинаковым с нами [недостаткам], потому что такие люди, очевидно, не могут быть согласны с нами. [Стыдимся мы] также тех, кто не относится снисходительно к людям, по-видимому, заблуждающимся, ибо что человек сам делает, за то, как говорится, он не взыщет с ближних, из чего следует, что чего он сам не делает, за то он, очевидно, взыщет. [Стыдимся мы] и тех, кто имеет привычку разглашать многим [то, что видит], потому что не быть замеченным в чем-нибудь и не служить объектом разглашения — одно и то же. А разглашать склонны люди обиженные, вследствие того, что они поджидают [удобного случая для мести], и клеветники; ибо если они [затрагивают] и людей, ни в чем невиновных, то тем скорее [затронут] людей виновных.

Сюда [относятся] также люди, которые из ошибок своих близких делают предмет постоянного внимания, таковы насмешники и комические поэты; до некоторой степени они — злые языки и болтуны. [Стыдимся мы] также тех, от кого никогда не получали отказа, потому что перед такими людьми мы как бы находимся в положении человека, пользующегося особенным уважением. Поэтому мы стыдимся и тех, кто впервые обращается к нам с просьбой, потому что мы ничего не сделали, что бы унизило нас в их мнении. Таковы, между прочим, люди, лишь с недавнего времени ищущие нашей дружбы, ибо они видят только самые лучшие из наших качеств; поэтому справедлив ответ Еврипида сиракузянам[18]. Таковы также люди, из числа наших старых знакомых, не знающие о нас ничего [дурного].

Мы стыдимся не только вышеуказанных постыдных поступков, но и признаков их, например, не только прелюбодеяния, но и признаков его, не только постыдных поступков, но и постыдных слов, равным об-

разом мы стыдимся не только лиц вышеуказанных, но и тех, которые могут им донести, например, их слуг и друзей. Вообще же мы не стыдимся тех, за коими мы не признаем основательного мнения, ибо никто не стыдится ни детей, ни зверей, и [стыдимся] не одного и того же перед знакомыми и незнакомыми: перед знакомыми [мы стыдимся] того, что нам кажется действительно [постыдным] перед лицом закона.

Вот в каком настроении люди могут испытывать стыд: во-первых, если перед ними находятся люди такого сорта, каких, как мы сказали, они стыдятся, а таковы, как мы заметили, люди, которых мы уважаем, которые нас уважают и для которых мы желаем быть предметом восхищения, [кроме того], такие, которых мы просим о каком-нибудь одолжении, причем оно не будет оказано, если мы окажемся обесславленными в глазах этих лиц; и если эти люди или видят [происходящее] (как говорил в народном собрании Кидий о разделении самосских владений[19], убеждая афинян представить себе, что греки стоят здесь же вокруг, так что они увидят, а не только услышат о том, что они постановят), или находятся близко, так что непременно узнают обо всем. Поэтому-то в несчастье мы иногда не желаем быть на глазах своих соперников, ибо соперники обыкновенно чувствуют к нам некоторое обостренное внимание (thaymastai gar hoi dzēlōtai). [Мы испытываем стыд] еще тогда, когда знаем за собой, или за своими предками, или за 1385 a
кем-нибудь другим, с кем у нас есть некоторая близость, такие поступки или вещи, которых принято стыдиться. [Сюда же относятся] вообще [все те лица], за которых мы стыдимся, а таковы лица перечисленные, а также те, которые имеют к нам какое-нибудь отношение или для которых мы были учителями и советниками; [сюда же относятся] другие подобные люди, с которыми мы соперничаем, потому что под влиянием стыда перед такими людьми многое мы делаем и много не делаем. Люди более стыдливы в том случае, когда им предстоит быть на глазах и служить предметом внимания для тех, кто знает [их проступки]. Вот почему и поэт Антифонт, приговоренный к смертной казни по повелению Дионисия[20], сказал, видя, как люди, которым предстояло умереть вместе с ним, закрывали себе лица, проходя через городские ворота: «Для чего вы закрываетесь? Или для того, чтобы кто-нибудь из них не увидел вас завтра?» Вот что можно сказать о стыде. А о бесстыдстве мы можем составить себе понятие из противоположных положений.

7

Определение благодеяния (услуги), кому и когда следует оказывать его? — Как может пользоваться этим понятием оратор для своей цели?

Что касается того, к кому люди чувствуют благодарность, за что или в каком состоянии, то это станет для нас ясно, когда мы определим, что такое благодеяние. Пусть благодеяние (charis), то есть посту-

пок, который дает повод сказать, что человек, совершающий его, оказывает благодеяние, будет услуга человеку, который в ней нуждается, не взамен услуги и не для того, чтобы [из этого получилась] какая-нибудь [выгода] для человека, оказывающего услугу, но чтобы получилась выгода для того, [кому услуга оказывается]. [Услуга важна], если она оказывается человеку, сильно нуждающемуся в ней, или если она касается важных и трудных вещей, или если [она оказывается] именно в такой-то момент или если [человек оказывает ее] один, или первый, или в наибольшей степени. Нужды суть стремления, и особенно к таким вещам, отсутствием которых причиняется некоторое страдание: таковы страсти, например, любви, а также те страсти, которые [человек испытывает] во время физических страданий и в опасностях, потому что, подвергаясь опасности или испытывая страдание, человек чувствует страстное желание [избежать их]. Потому-то люди, явившиеся на помощь человеку в бедности или в изгнании, даже если их одолжение ничтожно, считаются оказавшими услугу, так велика нужда и [важно] время; так, например, поступил человек, давший в Ликее рогожу[21]. Итак, услуга непременно должна касаться таких вещей, если же не [таких], то равных им или более важных, так что раз ясно, кого, за что и в каком состоянии люди благодарят, отсюда, очевидно, следует вывести заключение, показав, что одни люди находятся или находились в таком огорчении и нужде, а другие оказали или оказывают какую-нибудь подобную услугу в такой нужде. Очевидно также, каким образом можно уничтожить значение услуги и избавить человека от необхо-
1385 b димости благодарить: [можно сказать] или что люди оказывают или оказали услугу ради собственной выгоды — а это, как мы сказали, не есть услуга,— или что они поступили так под влиянием стечения обстоятельств, или были принуждены так поступить, или что они не просто дали, а отдали — с умыслом или без умысла; в обоих случаях [услуга оказывается] ради чего-то другого, так что и не может быть названа услугой.

При этом нужно иметь в виду все категории, потому что услуга есть услуга, поскольку она есть то-то или [поскольку она] такова по объему, или [поскольку она обладает] такими-то качествами; или [поскольку она совершается] тогда-то или там-то. Доказательством же [могут служить соображения], что нам не оказали услугу в менее важном случае или что для врагов сделали то же самое или что-нибудь равное, или что-нибудь большее, ибо, очевидно, и это [делается] не ради нас, или [если] сделано сознательно что-нибудь дурное, ибо никто не сознается, что имеет нужду в дурных вещах.

8

Определение сострадания.— Кто доступен и кто недоступен этому чувству? — Что и кто возбуждает сострадание?

Итак, мы сказали и о том, что такое оказывать благодеяние и не оказывать его.

Скажем теперь о том, что возбуждает в нас сострадание (eleos), к кому и находясь в каком состоянии мы испытываем сострадание. Пусть будет сострадание некоторого рода печаль при виде бедствия, которое может повлечь за собой гибель или вред и которое постигает человека, этого не заслуживающего, [бедствия], которое могло бы постигнуть или нас самих, или кого-нибудь из наших, и притом, когда оно кажется близким. Ведь, очевидно, человек, чтобы почувствовать сострадание, должен считать возможным, что сам он или кто-нибудь из его близких может потерпеть какое-нибудь бедствие, и притом такое, какое указано в [данном нами] определении, или подобное ему, или близкое к нему[22]. Потому-то люди, совершенно погибшие, не испытывают сострадания: они полагают, что больше ничего не могут потерпеть, ибо [все уже] претерпели; также и те люди, которые считают себя вполне счастливыми, не [испытывают сострадания], но держат себя надменно: если они считают себя обладающими всеми благами, то, очевидно, и благом не терпеть никакого зла, ибо и это принадлежит к числу благ. К числу же тех, которые считают для себя возможным потерпеть, принадлежат люди, уже пострадавшие и избежавшие гибели, и люди более зрелые, и вследствие размышления, и вследствие опыта, люди слабые и еще более люди очень трусливые, также люди образованные, ибо [такие люди] правильно рассуждают. И те, у кого есть родители, или дети, или жены, ибо все они нам близки и способны потерпеть указанные [несчастья]. И люди, не находящиеся под влиянием мужественной страсти, например, гнева или смелости, ибо здесь не рассуждают о будущем, и не находящиеся в высокомерном настроении, ибо такие люди не размышляют о том, что могут потерпеть, но [по своему настроению] занимающие середину между теми и другими. [Сюда относятся] также люди, вполне находящиеся под влиянием страха, ибо люди перепуганные не испытывают сострадания, будучи поглощены своим собственным состоянием. И [испытывают сострадание] только те люди, которые некоторых людей считают хорошими, ибо тот, кто никого не считает таким, будет считать всех заслуживающими несчастья. Вообще [мы испытываем сострадание], когда обстоятельства 1386 a складываются так, что мы вспоминаем о подобном несчастье, постигшем нас или близких нам людей, или думаем, что оно случится с нами или с близкими нам.

Итак, мы сказали, в каком состоянии люди испытывают сострадание. Что же касается вещей, возбуждающих наше сострадание, то они ясны из определения: все горестное и мучительное, способное повлечь

за собой гибель, возбуждает сострадание, точно так же, как все, что может отнять жизнь; [сюда же относятся] и все великие бедствия, причиняемые случайностью. К числу вещей мучительных и влекущих за собой гибель относятся различные роды смерти, раны, побои, старость, болезни и недостаток в пище, а к числу вещей, причиняемых случайностью,— неимение друзей или малое количество их; возбуждает сострадание также насильственная разлука с друзьями и с близкими, позор, слабость, увечье, беда, явившаяся именно с той стороны, откуда можно было ожидать чего-нибудь хорошего, частое повторение одного и того же подобного, и благо, приходящее уже тогда, когда человек испытал горе, как, например, были присланы от персидского царя Диопифу дары, когда он уже был мертв[23]; наконец, [возбуждает сострадание] такое положение, когда или совсем не случилось ничего хорошего, или оно случилось, но им нельзя было воспользоваться.

Такие и им подобные вещи возбуждают сострадание. Мы чувствуем сострадание к людям знакомым, если они не очень близки нам, к очень близким же относимся так же, как если бы нам самим предстояло [несчастье]; потому-то и Амазис[24], как рассказывают, не плакал, видя, как его сына ведут на смерть, но заплакал при виде друга, просящего милостыню: последнее возбудило в нем сострадание, а первое ужас. Ужасное отлично от того, что возбуждает сострадание, оно уничтожает сострадание и часто способствует возникновению противоположной [страсти]. Мы испытываем еще сострадание, когда несчастье нам самим близко. Мы чувствуем сострадание к людям, подобным нам по возрасту, по характеру, по способностям, по положению, по происхождению, ибо при виде всех подобных лиц нам кажется более возможным, что и с нами случится нечто подобное. Вообще и здесь следует заключить, что мы испытываем сострадание к людям, когда с ними случается все то, чего мы боимся для самих себя[25]. Если страдания, кажущиеся близкими, возбуждают сострадание, а те, которые были десять тысяч лет назад или будут через десять тысяч лет, или совсем не возбуждают сострадания, или [возбуждают его] не в такой степени, ибо вторых мы не дождемся, а первых не помним, то отсюда необходимо следует, что люди, воспроизводящие что-нибудь наружностью, голосом, костюмом и вообще игрой, в сильной степени возбуждают сострадание, ибо, воспроизводя перед глазами какое-нибудь несчастье, как грядущее или как свершившееся, они достигают того, что оно кажется близким. Весьма также возбуждает сострадание [то бедствие], которое недавно
1386 b случилось или должно скоро случиться. [Поэтому мы чувствуем сострадание] по поводу признаков, например, платья людей, потерпевших несчастье, и тому подобных вещей, и по поводу слов или действий людей, находящихся в беде, например, людей, уже умирающих. Особенно же мы испытываем сострадание, если в подобном положении находятся люди хорошие. Все эти обстоятельства усиливают в нас сострадание, ибо в таких случаях беда кажется близкой и незаслуженной и, кроме того, она у нас перед глазами.

9

Определение негодования, отношение негодования к зависти.— Кто и что возбуждает в людях негодование и почему? — В каком настроении люди легко приходят в негодование? — Как может пользоваться этим понятием оратор для своей цели?

Сожалению противополагается главным образом негодование, ибо противоположностью чувству печали при виде незаслуженных бедствий является некоторым образом и из того же источника чувство печали при виде незаслуженного благоденствия. Обе эти страсти составляют принадлежность честного характера, ибо должно испытывать печаль и сострадание при виде людей, незаслуженно бедствующих, и негодовать при виде людей, [незаслуженно] благоденствующих, так как то, что выпадает незаслуженно, несправедливо; поэтому-то мы приписываем и богам чувство негодования. Может показаться, что и зависть таким же образом противоположна состраданию, как понятие, близкое к негодованию и тождественное с ним, но [на самом деле] она есть нечто иное: зависть точно так же есть причиняющая нам беспокойство печаль, точно так же [она возникает] при виде благоденствия, но не человека, [его] недостойного, а [при виде благоденствия] человека нам равного и подобного. У всех этих понятий одинаково должен быть тот смысл, что они касаются нашего ближнего и не [имеют в виду того], случится ли с нами от этого что-нибудь дурное: ибо, раз возникает в нас смятение или печаль оттого, что вследствие благоденствия дурного человека с нами должно случиться что-нибудь дурное, это уже не будет негодование или зависть, а будет страх.

Очевидно, что в связи с этими страстями стоят страсти противоположные: человек, огорчающийся при виде людей, которые незаслуженно терпят горе, будет радоваться или не будет горевать, если терпят горе люди противоположного рода, например, ни один честный человек не огорчится, если понесут наказание убийцы и отцеубийцы, ибо в подобных случаях мы должны радоваться — точно так же, как при виде людей, которые по заслугам пользуются счастьем: и то, и другое справедливо и заставляет радоваться хорошего человека, ибо у него необходимо является надежда самому получить то, что выпало на долю подобного [ему]. И все эти [черты] представляют свойства одного и того же характера, а черты противоположные — свойства противоположного характера, ибо один и тот же человек бывает злораден и завистлив: тот, кого огорчает осуществление и присутствие чего-нибудь, 1387a необходимо будет радоваться отсутствию или уничтожению того же самого. Поэтому все эти [страсти] препятствуют возникновению сострадания; они различаются между собой по вышеуказанным причинам, так что одинаково пригодны для того, чтобы делать все не возбуждающим сострадание.

Прежде всего скажем о негодовании[26] — на кого, за что и в каком состоянии люди негодуют, затем — и об остальном. Из сказанного это ясно: если негодовать значит горевать при виде счастья кажущегося незаслуженным, то отсюда очевидно прежде всего, что нельзя негодовать при виде всякого счастья: мы не будем негодовать на человека, если он справедлив, мужествен или обладает добродетелью, равно как мы не будем чувствовать сострадания к людям противоположного характера; [негодование является] при виде богатства, могущества и т. п.— при виде всего того, чего, вообще говоря, достойны только люди прекрасные и люди, обладающие благами, даруемыми от природы, каковы благородство происхождения, красота и все подобное. Но так как давно существующее кажется до некоторой степени близким к природному, то человек необходимо будет сильнее негодовать на тех, кто обладает тем же самым благом, но обладает им с недавнего времени и вследствие этого благоденствует; люди, недавно разбогатевшие, причиняют большее огорчение, чем люди, давно, из рода в род [владеющие богатством]; то же самое [можно сказать] о людях, обладающих властью, могуществом, множеством друзей, прекрасным потомством и другими тому подобными благами. Точно так же [бывает] в том случае, если вследствие этого, [то есть одного блага], у них получается какое-нибудь другое благо, поэтому-то больше огорчают люди недавно разбогатевшие, если через свое богатство они получают власть, чем люди, владеющие родовым богатством. Точно то же бывает и в других случаях, и причина этому та, что вторые имеют вид людей, владеющих тем, что составляет их собственность, а первые — нет; истинным представляется то, что всегда имеет одинаковый вид, так что первые [из названных нами людей] имеют вид людей владеющих не тем, что составляет их собственность. Так как не всякое благо достойно всякого человека, но здесь есть некоторая аналогия и соответствие, как, например, прекрасное оружие подходит не для справедливого, а для храброго человека, то и блестящие партии [приличны] не людям недавно разбогатевшим, а людям благородного происхождения; и досадно, если человеку хорошему выпадает на долю что-нибудь неподходящее, точно так же, как если более слабый тягается с более сильным, особенно, если оба они в одинаковом положении, почему и сказано:

Боя с одним избегал Теламоновым сыном Аяксом:
Зевс раздражался бы, если б он с мужем сильнейшим сразился[27].

1387 b Если же это и не так, то [досадно], когда человек, в чем бы то ни было более слабый, тягается с более сильным, например, человек, занимающийся музыкой, с человеком справедливым, ибо справедливость выше музыки.

Из сказанного ясно, на кого и за что люди негодуют: это бывает в указанных и им подобных случаях. Сами же люди в том случае склонны приходить в негодование, если они заслуживают величайших

благ и обладают ими, ибо несправедливо, чтобы люди, неравные между собой, удостоились одинаковых [благ]. Во-вторых, [люди легко приходят в негодование], если они честны и серьезны, потому что в таком случае они имеют правильные суждения и ненавидят все несправедливое; еще, когда люди честолюбивы и стремятся к каким-нибудь целям, особенно если их честолюбие касается того, чего другие достигли незаслуженно. Вообще люди, считающие себя достойными того, чего не считают достойными других, легко приходят в негодование на них за это. Поэтому-то люди с рабской душой, низкие и нечестолюбивые, нелегко приходят в негодование, потому что нет ничего такого, чего они считали бы себя достойными.

Из сказанного очевидно, какого рода те люди, несчастье, бедствие и неуспех которых должен радовать или не причинять огорчения, ибо из изложенного очевидно противоположное ему, так что если речь приведет судей в такое настроение и покажет, что люди, просящие о сострадании, и то, ради чего они просят о сострадании, не заслуживают того, чтобы достигнуть [своей цели], а заслуживают того, чтобы не иметь успеха — [в таком случае] невозможно иметь к ним сострадание.

10

Определение зависти.— Кто завистлив? — Что возбуждает зависть? — Кто возбуждает зависть? — Как может влиять зависть на решение судей?

Очевидно также, из-за чего люди завидуют, кому и в каком состоянии, если зависть (phthonos) есть некоторого рода печаль, являющаяся при виде благоденствия подобных нам людей, наслаждающихся вышеуказанными благами,— [печаль], не имеющая целью доставить что-нибудь самому завидующему [человеку], но имеющая в виду только этих других людей. Зависть будут испытывать такие люди, для которых есть подобные или кажущиеся подобными. Подобными — я разумею, по происхождению, по родству, по возрасту, по дарованиям, по славе, по состоянию. [Завидуют] и те, которые обладают почти всем, поэтому-то люди, высокопоставленные и пользующиеся счастьем, бывают завистливы, так как думают, что все пользуются их собственностью. [Завистливы] бывают также люди, особенно пользующиеся уважением за что-нибудь, преимущественно же за мудрость или удачу. И люди честолюбивые более завистливы, чем люди без честолюбия. И мнимые мудрецы [также завистливы], потому что их честолюбие имеет своим объектом мудрость, и вообще люди, славолюбивые по отношению к чему-нибудь, бывают завистливы в этом отношении. И люди малодушные [также завистливы], потому что им все представляется великим.

Мы назвали блага, из-за которых люди завидуют: где люди обнаруживают любовь к славе, где есть место честолюбию — касается ли 1388 a

это их поступков или их состояния — где они домогаются славы, и во всех родах успеха — во всех этих случаях, можно сказать, бывает зависть, и в особенности по отношению к тем вещам, которых люди домогаются и которыми они немного превосходят [других] или немного уступают [им]. Очевидно также, кому люди завидуют, так как мы сказали об этом одновременно: люди завидуют тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту и по славе, откуда и говорится: «родня умеет и завидовать»[28]. [Завидуют] также тем, с кем соперничают, потому что соперничают с перечисленными категориями лиц; что же касается тех, кто жил десятки тысяч лет раньше нас, или кто будет жить через десятки тысяч лет после нас, или кто уже умер — то им никто [не завидует], точно так же, как тем, кто живет у Геркулесовых столпов[29]. [Не завидуем мы] и тем, кто, по нашему мнению или по мнению других, не сильно нас превосходит или сильно нам уступает. Одинаковым образом [мы относимся] и к людям, занимающимся подобными вещами. Так как люди соперничают со своими противниками в бою, соперниками в любви и вообще с теми, кто домогается того же, [чего они], то необходимо они завидуют всего больше этим лицам, почему и говорится «и гончар [завидует] гончару»[30]. Завидуем мы и тем, чьи приобретения или успехи являются для нас упреком; ведь такие люди нам близки и подобны нам: здесь очевидно, что мы по собственной вине не обладаем данным благом, так что это [соображение], причиняя нам печаль, порождает зависть. [Завидуем мы] и тем, кто имеет или приобрел то, чем следовало бы обладать нам или чем мы обладали; поэтому-то старики [завидуют] молодым, а люди, много истратившие на что-нибудь, завидуют тем, кто истратил на то же немного. И те, кто еще не достиг или совсем не достиг чего-нибудь, завидуют тем, кто быстро [достиг этого же самого]. Очевидно, из-за чего такие люди радуются, по отношению к кому и в каком состоянии: как в одном случае они огорчаются, потому что не обладают чем-нибудь, так в случаях противоположных они будут радоваться, потому что обладают чем-нибудь. Таким образом, если [судьи] придут в такое настроение, а люди, просящие их о сострадании или о даровании какого-нибудь блага, таковы, каковы указанные нами люди, то очевидно, что эти последние не добьются сострадания от власть имеющих.

11

Определение чувства соревнования (dzēlos)*.— Кто ему доступен? — Что его возбуждает? — Кто его возбуждает? — Отношение этого чувства к презрению.*

Отсюда ясно, в каком настроении люди соревнуют, по отношению к кому и в чем. Чувство соревнования есть некоторое огорчение при виде кажущегося присутствия у людей, подобных нам по своей природе,

благ, которые связаны с почетом и которые могли быть приобретены нами самими, возникающее не потому, что эти блага есть у другого, а потому что их нет у нас самих. Поэтому-то соревнование [как ревностное желание сравняться] есть нечто хорошее и бывает у людей хороших, а зависть есть нечто низкое и бывает у низких людей. В первом случае человек под влиянием чувства соревнования старается сам достигнуть благ, а во-втором — под влиянием зависти стремится, чтобы его ближний не пользовался этими благами. Склонными же к соревнованию (dzēlos) будут необходимо люди, считающие себя достойными 1388 b
тех благ, которых они не имеют, ибо никто не желает того, что кажется невозможным. Поэтому-то такими [то есть склонными к соревнованию] бывают люди молодые и люди, обладающие величием души, а также люди, владеющие такими благами, которые достойны мужей, пользующихся уважением; к числу этих благ принадлежит богатство, обилие друзей, власть и другие тому подобные блага: так как им подобает быть людьми хорошими, то они ревностно стремятся к достижению таких благ, потому что они должны принадлежать людям хорошим. [Склонны к соревнованию] также люди, которых другие считают достойными [этих благ]. Точно так же люди — предки или родственники, или близкие, или соотечественники, или отечество которых пользуется уважением, — выказывают в этом отношении ревнивое чувство, потому что считают это близким себе и себя достойными этого. Если чувство соревнования проявляется по отношению к благам, пользующимся уважением, то сюда необходимо нужно относить добродетели и все то, с помощью чего можно приносить пользу и оказывать благодеяние другим людям, потому что люди уважают благодетелей и людей добродетельных, а также все те блага, которыми могут пользоваться и наши ближние, каковы, например, богатство и красота более, чем здоровье.

Очевидно также, кто такие люди, возбуждающие чувство соревнования: это те, кто обладает этими и им подобными благами. Эти блага таковы, как указанные выше, то есть мужество, мудрость, власть, потому что люди, власть имеющие, могут благодетельствовать многим; таковы полководцы, ораторы, вообще все, обладающие подобным могуществом. К ним же относятся люди, которым многие желают быть подобны или знакомы, или с которыми многие желают быть друзьями, также те, кому многие удивляются или кому мы удивляемся, и те, кого воспевают и прославляют поэты или писатели. Люди противоположного сорта пользуются презрением, ибо презрение противоположно соревнованию, и «презирать» [противоположно] понятию «соревновать». Люди, находящиеся в таком состоянии, что соревнуют кому-нибудь или служат предметом соревнования для кого-нибудь, необходимо склонны презрительно относиться ко всем вещам и лицам, которые возбуждают соревнование. Поэтому они часто презирают людей, пользующихся удачей, когда удача выпадает им без благ, пользующихся уважением.

Мы сказали, при помощи чего возникают и исчезают страсти, из

чего образуются способы убеждения. Вслед за этим изложим, каковы бывают нравы сообразно со страстями людей, их качествами, возрастом и жребием.

12

Нравы (черты характера) людей в различных возрастах: черты, свойственные юности.

Я называю страстями гнев, желание и тому подобные [движения души], о которых мы говорили раньше, качествами[31] — добродетели и пороки, о них сказано раньше, а также о том, что предпочитают отдельные личности и что они способны делать. Возраст — это юность,
1389 a зрелый возраст и старость. Делом случая (tychē) я называю благородство происхождения, богатство, власть и вещи противоположные этим, и вообще удачу (eytychia) и неудачу (dystychia).

Юноши по своему нраву склонны к желаниям, а также склонны исполнять то, чего пожелают, и из желаний плотских они всего более склонны следовать желанию любовных наслаждений и не воздержаны относительно его. По отношению к страстям они переменчивы и легко пресыщаются ими, они сильно желают и скоро перестают [желать]; их желания пылки, но не сильны, как жажда и голод у больных. Они страстны, вспыльчивы и склонны следовать гневу. Они слабее гнева, [не могут совладать с гневом], ибо по своему честолюбию они не переносят пренебрежения, и негодуют, когда считают себя обиженными. Они любят почет, но еще более любят победу, потому что юность жаждет превосходства, а победа есть некоторого рода превосходство. Обоими этими качествами они обладают в большей степени, чем корыстолюбием: они совсем не корыстолюбивы, потому что еще не испытали нужды, как говорит изречение Питтака против Амфиарая[32]. Они не злы, а добродушны, потому что еще не видели многих низостей. Они легковерны, потому что еще не во многом были обмануты. Они исполнены надежд, потому что юноши так разгорячены природой, как люди, упившиеся вином; вместе с тем [они таковы], потому что еще не во многом потерпели неудачу. Они преимущественно живут надеждой, потому что надежда касается будущего, а воспоминание — прошедшего; у юношей же будущее продолжительно, прошедшее же кратко: в первый день не о чем помнить, надеяться же можно на все. Их легко обмануть вследствие сказанного: они легко поддаются надежде. Они чрезвычайно смелы, потому что пылки и исполнены надежд; первое из этих качеств заставляет их не бояться, а второе быть уверенными. Никто, будучи под влиянием гнева, не испытывает страха, а надеяться на что-нибудь хорошее, значит быть смелым. Молодые люди стыдливы: они воспитаны исключительно в духе закона и не имеют понятия о других благах. Они великодушны, потому что жизнь еще не унизила их и они не испытали нужды; считать себя достойным великих [благ] означает велико-

душие, и это свойственно человеку, исполненному надежд. В своих занятиях они предпочитают прекрасное полезному, потому что живут более сердцем, чем расчетом; расчет касается полезного, а добродетель прекрасного. Юноши более, чем люди в других возрастах, любят друзей, семью и товарищей, потому что находят удовольствие в совместной 1389 b
жизни и ни о чем не судят с точки зрения пользы, так что и о друзьях не [судят так]. Они во всем грешат крайностью и излишеством вопреки Хилонову изречению[33]: они все делают через меру: чересчур любят и чересчур ненавидят и во всем остальном также. Они считают себя всеведущими и утверждают это; вот причина, почему [они все делают] чрез меру. И несправедливости они совершают по своему высокомерию, а не по злобе. Они легко доступны состраданию, потому что считают всех честными и слишком хорошими: они мерят своих ближних своей собственной неиспорченностью, так что полагают, что те терпят незаслуженно. Они любят посмеяться и сказать острое словцо, так как остроумие есть отшлифованное высокомерие.

13

Черты характера, свойственные старости.

Таков нрав юношей. Что же касается людей более старых и пожилых, то их нравы слагаются, можно сказать, по большей части из черт, противоположных вышеизложенным: так как они прожили много лет и во многом были обмануты и ошиблись, так как большая часть [человеческих дел] оказывается ничтожной, то они ничего положительно не утверждают и все делают в меньшей мере, чем следует. И все они «полагают», но ничего не «знают»; в своей нерешительности они всегда прибавляют «может быть» и «пожалуй», и обо всем они говорят так, ни о чем не рассуждая решительно. Они злонравны, потому что злонравие есть понимание всего в дурную сторону. Они подозрительны вследствие своей недоверчивости, а недоверчивы вследствие своей опытности. Поэтому они сильно не любят и не ненавидят, но, согласно совету Бианта[34]: любят, как бы готовясь возненавидеть, и ненавидят, как бы намереваясь полюбить. Они малодушны, потому что жизнь смирила их: они не жаждут ничего великого и необыкновенного, но лишь того, что полезно для существования. Они не щедры, потому что имущество — одна из необходимых вещей, а вместе с тем они знают по опыту, как трудно приобрести и как легко потерять. Они трусливы и способны всего заранее опасаться; они настроены противоположно юношам: они охлаждены годами, а юноши пылки; таким образом, старость пролагает дорогу трусости, ибо страх есть охлаждение. Они привязаны к жизни, и чем ближе к последнему дню, тем больше, потому что желание касается того, чего нет и в чем люди нуждаются, того они особенно желают. Они эгоисты более, чем следует, потому что и это есть некоторого рода

малодушие. Они более чем следует живут для полезного, а не для прекрасного, потому что они эгоисты, ибо полезное есть благо для самого
1390 a [человека], а прекрасное есть безотносительное благо[35]. И они более бесстыдны, чем стыдливы, потому что, не одинаково заботясь о прекрасном и полезном, они пренебрегают тем, из чего слагается репутация. Они не поддаются надеждам вследствие своей опытности, ибо житейское по большей части ничтожно, и по большей части оно оканчивается дурно; [они таковы] еще вследствие своей трусости. И они более живут воспоминанием, чем надеждой, потому что для них остающаяся часть жизни коротка, а прошедшая длинна, а надежда относится к будущему, воспоминание же — к прошедшему. В этом же причина их болтливости: они постоянно говорят о прошедшем, потому что испытывают наслаждение, предаваясь воспоминаниям. И гнев их пылок, но бессилен, а из страстей одни у них исчезли, другие утратили свою силу, так что они не склонны желать и не склонны действовать сообразно своим желаниям, но сообразно выгоде. Поэтому люди в таком возрасте кажутся умеренными, ибо страсти их ослабели и подчиняются выгоде. И они в своей жизни более руководятся расчетом, чем сердцем, потому что расчет имеет в виду полезное, а сердце — добродетель. Они поступают несправедливо вследствие злобы, а не вследствие высокомерия. И старики доступны состраданию, но не по той самой причине, по какой [ему доступны] юноши: эти последние — вследствие человеколюбия, а первые — по своему бессилию, потому что на все бедствия они смотрят, как на близкие к ним, а это, как мы сказали, делает человека доступным состраданию. Поэтому они ворчливы, не бойки и не смешливы, потому что ворчливое противоположно смешливому.

Таковы нравы юношей и стариков, и так как все хорошо относятся к речам, соответствующим их характеру, и к людям себе подобным, то отсюда очевидно, как должно поступать в речи, чтобы и сами [ораторы] и их речи показались таковыми.

14

Черты характера, свойственные зрелому возрасту.

Что касается людей зрелого возраста, то очевидно, что они по своему характеру будут между указанными возрастами, не обладая крайностями ни того, ни другого, не выказывая ни чрезмерной смелости, потому что подобное качество есть дерзость, ни излишнего страха, но как следует относясь к тому и другому, не выказывая всем ни доверия, ни недоверия, но рассуждая более соответственно истине, не живя исключительно ни для прекрасного, ни для полезного, но для того и дру-
1390 b гого вместе, не склоняясь ни на сторону скупости, ни на сторону расточительности, но держась надлежайшей меры. Подобным же образом [они относятся] и к гневу, и к желанию. Они соединяют благоразумие

с храбростью и храбрость с благоразумием. В юношах же и старцах эти качества являются разъединенными, ибо юноши мужественны и необузданны, а пожилые люди — благоразумны и трусливы. Вообще говоря, они обладают всеми полезными качествами, которые есть у юности и у старости в отдельности, что же касается качеств, которыми юность и старость обладают в чрезмерной или недостаточной степени, то ими они обладают в степени умеренной и надлежащей. Тело достигает цветущей поры от тридцати до тридцати пяти лет, а душа — около сорока девяти лет[36].

15

Черты характера, свойственные людям благородного происхождения.

Вот что следует сказать о юности, старости и зрелом возрасте — каким характером обладает каждый из этих возрастов. Скажем теперь о всех тех зависящих от жребия [судьбы] (tychēs) благах, вследствие которых у людей является данный характер.

Благородство происхождения (eygeneia) влияет на характер так, что обладающий этим благородством более честолюбив: все люди, раз у них есть что-нибудь, обыкновенно копят это [свое достояние], а благородство происхождения есть почетное положение предков. [Люди благородного происхождения] склонны презирать даже и тех, кто подобен их предкам, потому что [деяния] этих последних, как далеко отстоящие, кажутся более почетными и дают более повода к хвастовству, чем то, что происходит близко от нас. Название «благородного по происхождению» указывает на знатность рода, а название «благородного по характеру» на невырождение в сравнении с природой, чего по большей части не случается с людьми благородного происхождения, так как обыкновенно они ничего особенного собой не представляют (eyteleis). В родах мужей, как и в произведениях земли, бывает как будто урожай, и иногда, если род хорош, из него в продолжение некоторого времени происходят выдающиеся мужи, но затем они исчезают; прекрасно одаренные роды вырождаются в сумасбродные характеры, как, например, потомки Алкивиада и Дионисия Старшего, а роды солидные — в глупость и вялость, как, например, потомки Кимона, Перикла и Сократа[37].

16

Черты характера, свойственные людям богатым.

Что касается характера, который связан с богатством, то его легко видеть всем: [обладающие им люди] высокомерны и надменны, находясь в некоторой зависимости от богатства. Они так настроены, как

1391 a будто обладают всеми благами; богатство есть как бы мерка для оценки всех остальных благ, поэтому кажется, что все они могут быть куплены с помощью богатства. Они склонны к роскоши и хвастовству — к роскоши ради самой роскоши и ради выказывания своего внешнего благосостояния; они хвастливы и дурно воспитаны, потому что все люди обыкновенно постоянно говорят о том, что они сами любят и чему удивляются, и потому что они [то есть богатые] думают, что другие заботятся о том же, о чем они. Вместе с тем они вправе так думать, потому что есть много нуждающихся в тех, кто имеет [состояние]. Отсюда изречение Симонида о мудрых и богатых, обращенное к жене Гиерона[38], спросившей, кем лучше быть — богатым или мудрым? Богатым, сказал он, потому что приходится видеть, как мудрецы постоянно торчат у дверей богатых. [Богатые отличаются] еще тем, что считают себя достойными властвовать, потому что, по их мнению, они обладают тем, что делает людей достойными власти. И вообще характер, сообщаемый богатством, есть характер человека неразумного и счастливого. Характер у людей, недавно разбогатевших, и у людей, давно богатых, различен именно тем, что люди, недавно разбогатевшие, обладают всеми пороками в большей и худшей степени, потому что быть вновь разбогатевшим значит как бы быть невоспитанным богачом. И несправедливые поступки, которые они совершают, порождаются не злобой, но высокомерием и невоздержанностью, как, например, побои и прелюбодеяние.

17

Черты характера, свойственные людям: могущественным (обладающим властью), счастливым (удачливым).

Равным образом очевидны, можно сказать, все главнейшие черты характера, стоящие в связи с властью, ибо власть обладает отчасти теми же чертами, какими обладает богатство, отчасти лучшими. По своему характеру люди, обладающие властью, честолюбивее и мужественнее людей богатых, потому что они стремятся к делам, которые им возможно исполнить вследствие их власти. Они заботливее, так как находятся в хлопотах, принужденные смотреть за [всем], что касается их власти. Они держатся с большой торжественностью и важностью, потому что их сан делает их более торжественными; поэтому-то они умеряют себя. Торжественность их отличается мягкостью, а важность — благопристойностью. И когда они поступают несправедливо, их проступки значительны, а не ничтожны.

Что касается счастья (eytychia) [удачи], то оно отчасти обладает указанными чертами характера, потому что счастье, кажущееся величайшим, к этому сводится, и еще к хорошим детям; счастье влечет за

собой обилие физических благ. Под влиянием счастья люди делаются высокомернее и безрассуднее; с счастьем связана одна прекраснейшая 1391 b черта характера — именно та, что люди счастливые боголюбивы; они известным образом относятся к божеству, веря в него, под влиянием того, что им дает жребий.

Мы сказали о чертах характера сообразно возрасту и счастью; противоположное же очевидно из противоположного, например, характер человека бедного, несчастного и не имеющего власти.

18

Цель, которую преследует в своей речи всякий оратор.— Способы доказательства, пригодные для всех трех родов речей.

Убеждающие речи употребляются ради решения (ибо для того, что мы знаем и относительно чего приняли известное решение, не нужно никаких речей), а это бывает в том случае, когда кто-нибудь с помощью речи склоняет или отклоняет какое-нибудь отдельное лицо, как, например, делают люди, уговаривая и убеждая, так как один человек есть все-таки судья; вообще говоря, тот судья, кого нужно убедить; и все равно, обращает ли человек свою речь к противнику, или говорит на предложенную тему, потому что необходимо воспользоваться речью и уничтожить противоположные мнения, к которым, как к противнику, обращается речь. Таким же образом нужно поступать и в эпидейктических речах, ибо речь представляет себе как бы судью в слушателе. Вообще в политических прениях есть один настоящий судья, решающий данный вопрос. Вопросом же является то, относительно чего спорят и о чем совещаются.

Раньше, говоря о речах совещательных[39], мы сказали о характерах соответственно видам государственного устройства, так что теперь нам следовало бы разобрать вопрос, как и с помощью чего можно сделать речи этическими [сообразными нравам слушателей].

Так как для каждого рода речей мы указали свою особую цель[40] и так как относительно всех их были взяты нами мнения и посылки, из которых черпают способы убеждения ораторы в речах совещательных, эпидейктических и судебных, так как, кроме того, мы рассмотрели, с помощью чего возможно сделать речи этическими, то нам остается сказать об общих [принципах], ибо всем необходимо пользоваться в своих речах рассуждением о возможном и невозможном и пытаться показать одним, что что-нибудь было, другим — что что-нибудь будет. Кроме того, топ о величине является общим для всех речей, так как фигурой преувеличения и умаления пользуются все ораторы: убеждающие и разубеждающие, хвалящие и порицающие, обвиняющие и оправ- 1392 a дывающиеся.

Рассмотрев это, мы попытаемся вообще сказать об энтимемах, если найдем что, и о примерах, чтобы, присоединив остальное, исполнить поставленную с самого начала задачу. Из топов преувеличение наиболее свойственно речам эпидейктическим, как было сказано[41], совершившееся — речам судебным, ибо по поводу свершившегося выносится решение, а возможное и будущее — речам совещательным.

19

Понятие возможного и невозможного.— Что подходит под эти понятия? — Доказательства, основанные на предположении (вероятности): относительно прошедшего, относительно будущего.— О большем и меньшем.

Сначала скажем о возможном и невозможном. Если одна из противоположностей может существовать, то может показаться возможной и другая противоположность, например, если возможно для человека выздороветь, то возможно и заболеть, ибо одна и та же возможность (способность) относится к противоположностям, в чем они и противоположны. И если возможно одно подобное, то и другое подобное ему [возможно]. И если возможно более трудное, то [возможно] и более легкое. И если что-нибудь может возникнуть в хорошем и прекрасном виде, то оно вообще может возникнуть, ибо труднее быть хорошему дому, чем [просто] дому. И конец того, начало чего может возникнуть, [также может возникнуть], ибо ничто не возникает и не начинает возникать из вещей невозможных, например, не может начать возникать и не возникает соизмеримость диаметра. Возможно также начало того, конец [чего возможен], ибо все возникает с начала. И если может возникнуть последующее по бытию или по возникновению, то возможно и предыдущее: например, если может возникнуть муж, [может возникнуть] и ребенок, ибо последнее возникает раньше. И если [возможно возникнуть] ребенку, возможно и мужу, ибо первое есть начало. [Возможно] и то, что от природы бывает предметом любви или страсти, ибо никто по большей части не любит и не желает вещей невозможных. И то, что бывает предметом наук и искусств, может быть, и бывает, и возникает. [Возможно] и то, начало возникновения чего во власти тех, кого мы можем принудить или убедить, а таковы люди, которых мы превосходим силой, которыми мы распоряжаемся или с которыми дружны. Возможно также целое, части которого возможны, и [по большей части возможны] части, целое которых возможно; ибо если может возникнуть просхизма, кефалида и хитон[42], может возникнуть и обувь, и если [может возникнуть] обувь, [может возникнуть] и просхизма и кефа-
1392 b лида. И если весь род принадлежит к числу вещей возможных, то возможен и вид, а если [возможен] вид, [возможен] и род, например, если может возникнуть корабль, [возможна] и триера, и если [воз-

можна] триера, [возможен] и корабль. И если [возможна] одна из двух вещей, по своей природе находящихся во взаимном соотношении, то [возможна] и другая из них, например, если [возможно] двойное, то [возможна] и половина, и если [возможна] и половина, [возможно] и двойное. И если что-нибудь может возникнуть без искусства и приготовления, то еще более оно возможно при помощи искусства и прилежания, отчего и сказано у Агафона:

И одно нужно делать с помощью искусства,
Другое достается нам благодаря необходимости и судьбе[43].

И то, что возможно для людей более дурных, более слабых и более неразумных, еще более [возможно] для людей противоположных, как сказал и Исократ, что странно, если он не будет в состоянии сам изобрести то, чему научился Евфин[44]. Что касается невозможного, то очевидно, что оно вытекает из противоположного сказанному.

[Доказательства того], что что-нибудь случилось, нужно выводить из следующего. Во-первых, если случилось то, что по естественному ходу вещей случается реже, то могло случиться и то, что [случается] чаще. И если случилось то, что обыкновенно случается после, то случилось и предыдущее, например, если кто-нибудь что-нибудь забыл, то некогда он это знал. И если кто-нибудь мог и желал [сделать что-нибудь], то и сделал, ибо все, когда пожелают чего-нибудь, имея возможность [исполнить свое желание], делают [то, чего желают], так как ничто им не мешает. Еще если [человек] чего-нибудь желал и ничто извне ему не мешало, и если [он желал] возможного, и если он гневался, и если мог и стремился, [то сделал], ибо по большей части люди делают то, к чему стремятся, если только могут — негодные вследствие своей невоздержанности, а люди нравственно хорошие, потому что желают хорошего. И если кто-нибудь, намеревался [сделать что-нибудь], ибо естественно, что человек, намеревавшийся [сделать что-нибудь], сделал. И если случилось что-нибудь такое, что по своей природе [бывает] раньше чего-нибудь другого или вследствие чего-нибудь другого, например, если прогремел гром, то сверкнула молния, и если человек сделал что-нибудь, то и попытался сделать это. И из всех этих случаев одни имеют характер необходимости, а другие — случающегося по большей части. А относительно того, что не случилось, [доказательства], очевидно, черпают из противоположного сказанному.

Что касается того, что будет, то здесь дело, очевидно, из того же 1393 a
самого: будет то, что для нас возможно и чего мы желаем, и то, что соответствует нашей страсти, гневу и расчету в соединении с возможностью [сделать это], а также то, что находится в области наших стремлений и намерений, ибо обыкновенно больше случается то, что входит в наши намерения, чем то, что не входит в них. И если уже случилось то, что по своей природе случается раньше [чего-нибудь другого], например, если небо покрылось облаками, то, вероятно, пойдет

дождь. И если случилось что-нибудь, что [всегда] бывает ради чего-нибудь другого, например, если [воздвигнуто] основание, [будет] и дом.

Что касается великости и малости вещей, большего и меньшего и вообще великих и малых вещей, то все это ясно для нас из ранее сказанного, ибо по поводу речей совещательных мы говорили о величине благ и вообще о большем и меньшем; так как соответственно каждому роду речи есть определенная цель в виде блага, каковы понятия прекрасного и справедливого, то очевидно, с помощью указанных [доказательств] следует для каждого рода речи приводить увеличения (ayxēseis). Делать же помимо сказанного исследование вообще о величине и о превосходстве значило бы говорить пустое, ибо для практики большее значение имеют частные случаи, чем общие.

Вот что нужно сказать о возможном и невозможном, о том, случилось что-нибудь или нет, будет или нет, а также о великости и малости вещей.

20

Пример и энтимема.— Два рода примеров, сравнения и басни (притчи).— Как и когда следует пользоваться примерами?

Остается сказать о способах убеждения, общих для всех [случаев], раз мы сказали о частных способах. Общие способы убеждения бывают двоякого рода: пример и энтимема, так как изречение есть часть энтимемы. Итак, скажем сначала о примере, потому что пример подобен наведению, а наведение есть начало.

Есть два вида примеров: один вид примера заключается в том, что приводятся факты прежде случившиеся, другой — в том, что [оратор] сам сочиняет таковые; в последнем случае может быть, во-первых, притча, во-вторых, басня, каковы, например, басни Эзопа и басни ливийские[45]. Приводить в пример факты можно в таком роде: можно сказать, что нужно готовиться к войне против персидского царя и не
1393 b позволять ему захватить Египет, ибо прежде Дарий[46] перешел [в Грецию] не раньше, чем захватил Египет, а захватив его, переправился. Точно так же и Ксеркс[47] двинулся [на Грецию] не прежде, чем взял [Египет], а взяв его, переправился, так что и этот, [то есть царствующий ныне], переправится [в Грецию], если захватит [Египет], поэтому нельзя ему этого позволять. Притча (сравнение) — это прием Сократа, например, если бы кто-нибудь сказал, что не следует избирать власти по жребию, ибо это подобно тому, как если бы кто-нибудь избирал по жребию в атлеты не тех, кто в состоянии состязаться, но тех, кому выпадает жребий, или из корабельщиков избирал по жребию того, кому нужно управлять кораблем, как будто это нужно делать не знающему человеку, а тому, кому выпадет жребий. Басня же бывает подобна рассказу Стесихора о Фалариде и рассказу Эзопа в за-

щиту демагога[48]. Когда жители Гимеры избрали Фаларида полководцем с неограниченной властью и намеревались дать ему телохранителей, Стесихор, приведя различные доводы [против этого], рассказал им также басню о том, как лошадь одна владела пастбищем; когда же пришел олень и начал портить пастбище, то лошадь, желая отомстить оленю, спросила какого-то человека, не может ли он посодействовать ей в этом; он отвечал, что может, если возьмет узду и сам сядет на нее, с копьем в руках. Когда лошадь согласилась на это и он сел на нее, то вместо того, чтобы отомстить оленю, лошадь сама попала в рабство. Так и вы, сказал Стесихор, берегитесь, как бы, желая отомстить врагам, не попасть в такое же положение, в какое попала лошадь: у вас уже есть узда, раз вы избрали полководца с неограниченной властью; если вы еще дадите ему телохранителей и позволите ему сесть на себя, то будете рабами Фаларида. А Эзоп на острове Самос, защищая демагога, которого собирались осудить на смерть, рассказал, как лисица, переправляясь через реку, попала в обрыв; не будучи в состоянии выбраться оттуда, она долго там страдала и в нее впилось множество клещей; еж, пробиравшийся мимо, увидев ее, сжалился над ней и спросил, не вытащить ли из нее клещей, но она не согласилась на это и на вопрос, почему, отвечала: «Эти клещи уже полны мною и поглощают мало крови; если же ты вытащишь этих, то явятся другие голодные, и высосут у меня остальную кровь». Точно так же и вам, мужи Самосские, этот человек не может больше причинить вреда, потому что он богат. Если же вы умертвите его, то явятся другие, бедные, которые, расхищая общественное достояние, разорят вас. Басни употребляются в народных собраниях; они имеют ту хорошую сторону, что подыскать в прошедшем факты, подобные [данному случаю], трудно, басни же [подыскать] легче, их следует сочинять, как и притчи, если кто может видеть сходные черты, а это легче делать с помощью философии. Легче подыскать [примеры] из области вымысла, но полезнее посоветовать что-нибудь, опираясь на факты, ибо по большей части будущее подобно прошедшему.

Примерами следует пользоваться в том случае, когда не имеешь энтимем для доказательства, ибо для того, чтобы убедить, требуется [какое-нибудь] доказательство; когда же [энтимемы] есть, то примерами следует пользоваться, как свидетельствами, помещая их вслед за энтимемами в виде эпилога. Если их поставить в начале, то они походят на наведение, а риторическим речам наведение не свойственно, за исключением немногих случаев; когда же они помещены в конце, они походят на свидетельства, а свидетель всегда возбуждает доверие. Поэтому необходимо бывает привести много примеров тому, кто помещает их в начале, а кто помещает их в конце, для того достаточно одного [примера], ибо свидетель, заслуживающий веры, бывает полезен даже в том случае, когда он один.

Итак, мы сказали о том, сколько есть видов примеров и как и когда следует ими пользоваться.

21

Определение изречения, его отношение к энтимемам.— Четыре рода изречений.— Как следует пользоваться изречениями? — Две выгодные стороны, получающиеся от употребления изречений.

Что касается употребления изречений, то после определения того, что такое изречение, станет совершенно ясно, относительно чего, когда и кому прилично пользоваться изречениями в речах. Изречение есть утверждение, которое относится, однако, не к отдельным случаям, например, не к тому, какой человек Ификрат, но имеет общее значение; впрочем, [касается] не всех областей (например, что прямое противоположно кривому), но лишь того, около чего вращаются житейские дела; [они имеют в виду то], что можно избирать и чего должно избегать в своей деятельности. А так как энтимемы суть силлогизмы, касающиеся подобных вещей, то заключения и посылки энтимем, если у них отнять форму силлогизма, являются, можно сказать, изречениями, например:

> Никогда не следует мужу, одаренному от природы здравым смыслом,
> Настолько выучить своих детей, чтобы они стали чересчур мудры.

Это — изречение, а если присоединить к нему причину и [объяснение], почему это так, то все вместе составит энтимему, например:

> Так как помимо праздности, которую они обнаруживают,
> Они возбуждают в своих согражданах враждебную зависть[49].

1394 b Также:

> Нет мужа, который был бы счастлив во всем[50].

Также:

> Из мужей нет ни одного, который был бы свободен[51].

Это — изречение, но оно делается энтимемой, если к нему присоединить следующее:

> Один богатства раб, а тот — судьбы[52].

Если приведенные примеры — изречение, то необходимо признать четыре вида изречений, ибо изречение может быть с эпилогом и без него. Те из них, которые говорят о чем-нибудь парадоксальном или

спорном, нуждаются в доказательстве; те же, в которых нет ничего парадоксального, бывают без эпилога. Из этих последних одни совсем не нуждаются в эпилоге потому, что раньше было известно то, [о чем они говорят], ибо это мнение большинства, например:

Самое лучшее для мужа, как нам кажется, быть здоровым[53].

А другие — потому, что раз их произнесешь, смысл их ясен при первом взгляде, например:

Не любит тот, кто любит не навек[54].

Из числа [изречений] с эпилогом одни представляют собой часть энтимемы, например:

Никогда не следует мужу, одаренному от природы
здравым смыслом...[55]

Другие — энтимематического характера, но не составляют части энтимемы: они-то и пользуются наибольшей известностью; к числу их принадлежат все те, в которых видна причина того, что в них говорится, например:

Не питай бессмертного гнева, сам будучи смертным[56],

ибо слова «не должно питать» представляют изречение, а присоединенные к ним слова «будучи смертным» представляют объяснение причины. Точно так же и изречение, что «смертному нужно думать о смертном, а не о бессмертном»[57].

Из сказанного ясно, сколько есть видов изречений и для чего каждый из них пригоден; когда дело касается вещей спорных и парадоксальных, нельзя [употреблять] изречение без эпилога, но следует или, поместив эпилог впереди, пользоваться изречением как заключением, например, таким образом: что касается меня, то так как не следует ни быть предметом зависти, ни предаваться лени, я полагаю, что не следует получать хорошее воспитание или же следует, сказав последнее сначала, поместить в конце сказанное впереди. А когда дело касается вещей не парадоксальных, но неясных, то [следует пользоваться изречением], присоединив к нему самое сжатое объяснение причины. В подобных случаях пригодны также лаконские изречения и изречения, имеющие вид загадки, как, например, если кто-нибудь скажет то, что сказал Стесихор локрийцам, что им не следует быть высокомерными, чтобы 1395 a
цикады не пели с земли[58]. По возрасту пользоваться изречениями прилично людям зрелым, и относительно того, в чем человек опытен: употреблять изречения, а также рассказывать мифы неприлично человеку, не достигшему такого возраста, употребление же изречений по поводу того, в чем человек неопытен, есть признак неразумия и невоспитанности. Это достаточно доказывается тем, что сельские жители

особенно изобретательны по части нравоучительных изречений и легко употребляют их. Говорить вообще, когда дело не в общем, подобает преимущественно при жалобах и преувеличениях; при этом [общее выражение следует употреблять] или в начале, или после доказательства. Следует пользоваться и распространенными и общеупотребительными изречениями, если они пригодны: именно потому, что они общеупотребительны, они кажутся справедливыми, ибо как бы признаны всеми за таковые, например: [полководец], побуждающий [своих воинов] идти навстречу опасности, не принеся предварительно жертв, [может им сказать]:

Знаменье лучшее всех лишь одно за отчизну сражаться,

а [побуждающий их идти], хотя они слабее [противников], [может сказать]:

Равен для всех Эниалий[59]

И [полководец, приказывающий] умерщвлять детей врагов, хотя они ни в чем не повинны, [может сказать]:

Неразумен тот, кто, умертвив отца, оставит в живых детей[60]

Кроме того, некоторые из пословиц являются в то же время изречениями, например, пословица «аттический сосед»[61]. Следует употреблять также изречения, противоречащие ходячим изречениям (я называю, например, ходячим изречение «познай самого себя» и «ничего слишком»)[62], в тех случаях, когда [приводимое] изречение или может показаться лучшим со стороны нравственного смысла, или произносится под влиянием страсти. Изречение имеет своим источником страсть, например, в том случае, если кто-то под влиянием гнева назовет ложью изречение: что должно познать самого себя, ибо если бы такой-то человек знал самого себя, он никогда не счел бы себя способным быть полководцем[63]. А со стороны нравственного смысла [представляется] лучшим изречение, что не следует, как принято говорить, любить, как бы намереваясь возненавидеть, но скорее [следует] ненавидеть, как бы намереваясь полюбить. При этом следует словами вполне ясно выражать свою мысль, если же она не [выражена ясно], следует присоединить объяснения в виде эпилога, например, выразившись так: следует любить не так, как принято это говорить, но как бы намереваясь любить вечно, ибо [любить] иначе свойственно человеку коварному. Или можно выразиться так: не нравится мне это распространенное [изречение], ибо истинный друг должен любить так, как будто бы он намеревался любить вечно. Точно так же [не нравится мне] изречение: «ничего слишком», ибо дурных людей нужно ненавидеть в крайней степени.

1395 b [Изречения] представляют большую подмогу для речей, во-первых, вследствие тщеславия слушателей, которые радуются, когда кто-нибудь, говоря вообще, выскажет мнения, которых держатся слушатели в от-

дельных случаях. То, что я говорю, станет ясно из последующего так же, как и способ, каким должно их [то есть изречения] выискивать. Изречение, как мы сказали, есть утверждение с общим значением, а слушатели радуются, когда оратор придает общее значение тому, что они раньше признали своим мнением по отношению к частным случаям; так, например, кто-нибудь, у кого дурные соседи или дурные дети, согласится со словами [оратора], что «нет ничего тяжелее соседства» или что «нет ничего нелепее деторождения». Таким образом, [оратор] должен иметь в виду, какие условия к каким ведут предубеждениям, и говорить о том же с общей точки зрения. Таково первое из преимуществ, которые представляет употребление в речи изречений; второе преимущество еще важнее: [изречения] придают речам характерность. Те речи отражают в себе характер [оратора], в которых ясны его намерения, а все изречения таковы, ибо [в них] приводящий изречение высказывается вообще о намерениях: так что если изречения по своему нравственному смыслу хороши, то они показывают, что и человек, приводящий их, обладает нравственно хорошим характером.

Вот что мы сочли нужным сказать об изречении: что оно такое, сколько видов его, как следует пользоваться им и какую пользу оно приносит.

Скажем теперь об энтимемах вообще — каким образом следует их искать,— а потом о топах, так как каждая из этих вещей представляет особый вид.

22

Энтимема, ее необходимые свойства.— На основании чего следует строить энтимемы? — Два рода энтимем.

Ранее[64] мы сказали, что энтимема есть силлогизм, и каким образом она есть силлогизм и чем она отличается от диалектических силлогизмов. Не следует составлять энтимему, заимствуя [посылки] издалека или заключая в них все [возможное], ибо в первом случае получится неясность благодаря длине [энтимемы], а во втором — это просто болтовня, так как говорятся вещи пошлые. В этом причина, почему люди необразованные в глазах толпы кажутся более убедительными, чем образованные, как говорят и поэты[65], что люди необразованные говорят более музыкально перед толпой: одни [то есть люди образованные] говорят об общих вопросах с общей точки зрения, а другие [то есть люди необразованные] говорят на основании того, что знают и о вещах, близких [толпе]. Таким образом нужно говорить не на основании всего, что покажется пригодным, но на основании определенной категории вещей, например, [тех, которые кажутся истинными] судьям или
тем, с мнениями которых судьи соглашаются, и это потому, что такие 1396 a
вещи и кажутся очевидными всем или большинству; при этом следует

составлять энтимему не только из необходимого, но и из того, что бывает по большей части.

Прежде всего нужно признать, что по поводу чего следует говорить и строить силлогизмы или политические, или какие-либо иные, относительно этого необходимо иметь в своем распоряжении и соответствующие данные, или все, или некоторые, ибо раз ничего не имеешь в распоряжении, не из чего и строить силлогизм. Я разумею здесь, например, [такой случай]: каким образом могли бы мы советовать афинянам, следует им продолжать войну или нет, если бы мы не знали, каковы их силы, в чем они заключаются — в морском или сухопутном войске, или в том и другом вместе, и как велики их силы, каковы их доходы, кто их друзья и враги, какие войны они вели раньше и как вели и другие подобные же вопросы. Или [как могли бы мы их] хвалить, если бы не имели у [себя в памяти] морского сражения при Саламине, или сражения при Марафоне, или того, что сделано было для Гераклидов[66], или чего-нибудь другого подобного же, потому что все произносят похвалу на основании прекрасных деяний или кажущихся таковыми. Точно так же и хулят на основании фактов противоположного характера, рассматривая, что подобное есть за ними [то есть за афинянами] или кажется, что есть, например, [указывая на то], что они поработили греков или обратили в рабство эгинетов и потидейцев, сподвижников и союзников своих в борьбе против варваров[67] и т. д., вообще на все их прегрешения этого рода. Точно таким же образом и люди, обвиняющие и защищающие, обвиняют и защищают, основываясь на имеющихся в наличности фактах. И так нужно поступать безразлично и по отношению к афинянам, и к лакедемонянам, и к человеку, и к богу; подавая Ахиллу совет и хваля или хуля его, и обвиняя или защищая его,— во всех этих случаях нужно брать факты действительные или кажущиеся таковыми, для того, чтобы на основании их говорить в смысле хвалы или порицания, если есть что-нибудь прекрасное или постыдное, в смысле обвинения или оправдания, если есть что-нибудь справедливое или несправедливое, и в смысле совета, если есть что-нибудь полезное или вредное. Подобно этому [следует рассуждать] и о всяком другом вопросе, например, о справедливости, есть ли она благо или нет — следует говорить на основании того, что заключается в понятии справедливости и блага. И так как все, по-видимому, таким образом строят доказательства — составляют ли они силлогизмы более
1396 b строгие или менее строгие (ибо они заимствуют свои доказательства не отовсюду, но из того, что есть в наличности относительно каждого вопроса), и так как ясно, что доказывать иначе с помощью речи невозможно — ввиду всего этого, очевидно, необходимо, как мы сказали это, в «Топике»[68], прежде всего иметь наготове относительно каждого вопроса избранные доказательства, касающиеся того, что есть и что наиболее существенно. А относительно вопросов, возникающих случайно, [следует] разыскивать [доказательства] точно таким же образом, обращая при этом внимание не на что-нибудь неопределенное, но на то,

что заключается в вопросе, о котором идет речь, и излагая как можно большее число [доказательств], как можно более близких к делу, ибо чем больше доказательств, основанных на фактах, тем легче доказывать, и чем ближе [они касаются вопроса], тем будут пригоднее и тем менее общи. Я называю общими [доказательствами], например, восхваление Ахилла за то, что он был человек, или принадлежал к числу полубогов, или что он отправился в поход против Трои; все эти черты принадлежат и многим другим, так что такой человек восхваляет Ахилла нисколько не больше, чем Диомеда[69]. Частными [доказательствами я называю] то, что ни с кем не случалось, кроме Ахилла, например, [тот факт], что он убил Гектора, лучшего из троянцев, и Кикна[70], который, будучи неуязвим, мешал всем высаживаться с кораблей, и [тот факт], что он отправился в поход, будучи самым молодым [из царей] и не будучи связан клятвой — и все тому подобные [доказательства].

Итак, вот один способ избирать [доказательства], и этот способ — первый топический. [Теперь] скажем об элементах энтимемы; я называю одно и то же элементом и топом энтимемы. И сначала скажем о том, о чем необходимо сказать сначала. Есть два вида энтимем: одни показательные, [показывающие], что что-нибудь существует или не существует, другие — обличительные. Они различаются между собой так же, как в диалектике доказательство (elegchos) и силлогизм. Показательная энтимема есть силлогизм, построенный на основании посылок, признаваемых [противником], а энтимема изобличительная есть силлогизм с посылками, не признаваемыми [противником]. Можно сказать: относительно всех видов вещей полезных и необходимых есть топы, ибо есть особые посылки относительно каждого [вопроса]; таким образом, у нас есть заранее установленные топы, на основании которых нужно строить энтимемы о хорошем или дурном, прекрасном или постыдном, справедливом или несправедливом, а равным образом и о характерах, страстях и нравственных качествах.

Рассмотрим еще и с другой точки зрения энтимемы вообще, причем 1397 a
будем говорить о них, различая топы изобличительные, показательные и топы кажущихся энтимем, которые не энтимемы, так как они не силлогизмы. Разъяснив это, разберем вопрос о разрешениях энтимем и о противодействиях им — откуда следует их брать.

23

Различные топы, которыми можно пользоваться в речи для построения энтимем.— Преимущество энтимем обличительных.

Для показательных энтимем один топ заключается в понятии противоположном: нужно смотреть, есть ли для противоположного противоположное, уничтожая [доказательство], если противоположное есть, [таково], например, [доказательство], что быть умеренным хорошо, так

как быть невоздержанным вредно. Или как в Мессенской [речи][71]: если в войне причина настоящих бедствий, то с наступлением мира мы должны оправиться.

Если несправедливо впасть в гнев на тех, кто сделал нам зло, не желая этого,
То так же, если кто-нибудь по принуждению сделает нам добро,
Не следует считать себя обязанными благодарностью по отношению к нему[72].

И:

Если возможно пред людьми говорить ложь правдоподобным образом,
То следует тебе предполагать и противоположное —
Что много истинного в глазах людей является неправдоподобным[73].

Другой топ [получается] из одинаковых падежей, ибо [в таких случаях] одинаковым образом что-нибудь должно быть или не быть, [таково], например, [утверждение], что не все справедливое хорошо, так как [иначе] все, что делается справедливо, было бы хорошо, а между тем нисколько не желательно справедливо умереть. Еще один [топ получается] из взаимного отношения двух предметов, например, если факт, что одно из двух лиц совершило прекрасный и справедливый поступок, то факт так же, что другое лицо испытало [на себе действие этого поступка], и если [факт, что одно лицо что-нибудь] приказало, что [факт, что другое лицо] исполнило приказание, как, например, [говорил] откупщик податей Диомедонт о податях: если вам не стыдно продавать — и нам не стыдно покупать. И если факт, что испытавший что-нибудь [испытал это] прекрасно и справедливо, то [факт, что] и для совершившего [это прекрасно и справедливо]. Но здесь возможно и неверное заключение, ибо если кто-нибудь по справедливости испытал что-нибудь, то он по справедливости потерпел, но, может быть, ему следовало потерпеть не от тебя именно. Поэтому нужно рассматривать
1397 b отдельно, достоин ли потерпевший потерпеть и совершивший совершить, а потом уже пользоваться [фактами], в какую из двух сторон следует, ибо в этих случаях иногда получается противоречие, как, например, в «Алкмеоне» Теодекта:

Разве кто из смертных не чувствовал отвращения к твоей матери?

[Алкмеон] отвечает:

Но здесь следует смотреть [на дело] с различных точек зрения.

И на вопрос Алфесибеи, как, он отвечает:

Они осудили ее на смерть, но не [присудили] мне умертвить ее[74].

[Такого же рода фактом является] и суд над Демосфеном и над убийцами Никанора[75]: так как [судьи] решили, что убийцы его справедливо убили, то показалось, что смерть его была справедлива. То же [можно сказать] и относительно человека убитого в Фивах[76], по пово-

ду [смерти] которого [обвиняемый в убийстве] предлагает рассудить, было ли согласно со справедливостью, чтобы он умер, так как-де не несправедливо убить человека, смерть которого согласна со справедливостью.

Еще один [топ получается] из понятия большего и меньшего, например: если даже боги знают не все, то едва ли [все знают] люди. Это значит, что если чего-нибудь нет [у человека], у которого это должно бы быть в большей степени, то ясно, что [этого] нет [и у человека], обладающего этим в меньшей степени. А [заключение], что бьет своих близких тот, кто бьет своего отца, [вытекает] из того, что если есть меньшее, то есть и большее, ибо реже бьют своих отцов, чем своих близких. Можно доказывать или так, или же, если чего-нибудь нет у человека, обладающего этим в большей степени, или если что-нибудь есть у человека, обладающего этим в меньшей степени, нужно показать то и другое, [приходится ли доказывать], что что-нибудь есть, или же что чего-нибудь нет. [Этот топ имеет силу и в том случае], если чего-нибудь нет ни в большей, ни в меньшей степени [с обеих сторон], почему и сказано:

И твой отец достоин сожаления, так как он потерял своих детей;
Но не достоин ли сожаления и Ойней, потерявший славного потомка[77].

И [отсюда также говорят], что если Тесей не совершил несправедливости, то не [совершил ее] и Александр, и если не [поступили несправедливо] Тиндариды[78], то не [поступил так] и Александр, и если Гектор [не поступил несправедливо] по отношению к Патроклу, то [не поступил так] и Александр по отношению к Ахиллу. И если другие специалисты по какому-либо делу не ничтожны, то не ничтожны и философы. И если не заслуживают презрения полководцы за то, что их часто осуждают на смерть, то не [заслуживают его] и софисты. И что если частному человеку следует заботиться о вашей славе, то и вам следует заботиться о славе греков.

Другой [топ получается] из данных времен, как, например, говорил Ификрат в своей речи против Гармодия[79]: «Если бы я, прежде чем сделать дело, попросил у вас статуи, вы бы дали мне ее? И вы не дадите ее, когда я сделал дело? Не обещайте же, когда имеете в виду что-нибудь, и не отнимайте, когда получили желаемое». То же самое [можно сказать] по поводу того, что фивяне должны пропустить Филиппа в Аттику, ибо они пообещали бы ему это, если бы он попросил, 1398 a
прежде чем помочь им против фокеян[80]. Не будет никакого смысла, если они не пропустят его потому, что он упустил из виду [возможность сопротивления] и положился на них.

Еще один [топ получается], если сказанное против нас самих мы обратим против сказавшего. Этот способ имеет много за себя: как, например, [видно] из трагедии «Тевкр»[81]. Ификрат воспользовался этим способом против Аристофонта[82], спросив его, продал ли бы он за деньги флот. И затем на отрицательный ответ его сказал: «Ты,

Аристофонт, не продал бы, а я, Ификрат, продал бы». Но [при этом способе] необходимое [условие], чтобы противник казался более способным совершить несправедливость, чем мы, в противном случае [фраза] показалась бы смешной, например, если бы кто-нибудь сказал это, [то, что сказал Ификрат], в ответ на обвинение со стороны Аристида[83]; [этот способ пригоден лишь тогда], когда обвинитель уже пользуется недоверием. Вообще обвинитель желает быть лучше обвиняемого — и с этой стороны его всегда нужно изобличать. Вообще нелепо в других порицать то, что сам делаешь или можешь сделать, или других побуждать делать то, чего сам не делаешь и не можешь сделать.

Еще один [топ получается] из определения понятия, например, что такое [сократовский] «демонион»[84]. Есть ли это божество или создание божества? Впрочем или однако, тот, кто думает, что демонион — создание божества, тот необходимо верит в существование богов. И как [рассуждает] Ификрат[85], что лучший из людей есть и благороднейший, ибо в Гармодии и Аристогитоне не было ничего благородного, прежде чем они совершили нечто благородное. [И в доказательство того], что сам он более сроден [Гармодию и Аристогитону], чем его противник, [прибавляется]: «Мои дела более сродны делам Гармодия и Аристогитона, чем твои». И как [говорится] в «Александре»[86], все согласятся, что люди невоздержанные любят пользоваться телом не одного лица. [Таково же основание], почему и Сократ не хотел идти к Архелаю[87]: [как он говорил], одинаково оскорбительно не иметь возможности отплатить за оказанное добро и за сделанное зло. Все эти люди строят силлогизмы по поводу того, о чем говорят, дав определение и разобрав, в чем то или другое понятие заключается.

Еще один [топ составляется] на основании нескольких значений, [которые может иметь слово], как, например, мы говорили в «Топике» о слове «хорошо».

Еще один [топ получается] из разделения, например, если все поступают несправедливо по трем причинам — или по этой, или по той, или по той — по двум первым [поступить несправедливо в данном случае] невозможно, а о третьей не говорят сами [обвинители].

Еще один [топ заимствуется] из наведения, [это видно], например,
1398 b из пепарефийской речи — что относительно детей везде истину устанавливают женщины. Так в Афинах, когда оратор Мантий начал тяжбу против сына, выяснила дело мать, так и в Фивах Додонида разрешила спор Исмения и Стильбона, указав, что ребенок сын Исмения, и потому Фетталиска признали сыном Исмения[88]. То же [видно] и из «Закона» Теодекта[89]: если мы не доверяем своих лошадей людям, которые дурно смотрели за лошадьми других лиц, и своих кораблей людям, погубившим корабли других лиц, и если во всех случаях [нужно поступать] одинаково — то не должно для собственного спасения пользоваться помощью людей, которые дурно охраняли благополучие других лиц. И как Алкидамант [доказывает], что все почитают мудрецов: паросцы почитали Архилоха, хотя он был клеветник, хиосцы — Гомера, хотя он не

был их согражданином, митиленцы — Сафо, хотя она была женщина, лакедемоняне избрали Хилона в число геронтов, хотя чрезвычайно мало любили науки, италийцы — Пифагора, жители Лампсака похоронили Анаксагора, хотя он был чужестранец, и почитают его и поныне... что афиняне пользовались благополучием, пока руководились законами Солона, а лакедемоняне — пока руководились законами Ликурга, что точно так же, как только в Фивах во главе правления стали философы, государство начало пользоваться благополучием[90].

Еще один [топ берется] из приговора, [произнесенного] по поводу такого же самого [дела] или подобного, или противоположного, особенно если [его произносят] все и всегда, если же нет, то если [его произносит] большинство людей, или люди мудрые,— или все, или большинство их, или люди хорошие и сами судьи, или люди, мнению которых судьи придают вес, или люди, решению которых противоречить невозможно, например, людям, власть имеющим, или те, с решением которых расходиться нехорошо, например, с богами, отцом, наставниками, как Автокл говорил против Миксидемида: «[даже] Евмениды соблаговолили явиться в суд Ареопага, а [вот] Миксидемид — нет». Или как Сафо [доказывала], что смерть есть зло: сами боги так думают, ибо [иначе] они умирали бы, [как мы]. Или как Аристипп [заметил] Платону, высказавшемуся по поводу чего-то слишком, как он думал, самонадеянно: наш товарищ [не сказал бы] ничего подобного, разумея Сократа. И Гегесиполид в Дельфах спрашивал бога, предварительно вопросив оракула в Олимпии, такого ли же он [Аполлон] мнения, как и его отец, так как постыдно сказать что-нибудь противоположное. И как Исократ 1399 a писал о Елене, что она была добродетельна, если Тесей признал [ее таковой], и об Александре, которому отдали предпочтение богини, и об Евагоре, что он добродетелен, как говорит Исократ, ибо Конон, впав в бедственное положение, оставил всех остальных и пришел к Евагору[91].

Еще один [топ берется] из частей, как в «Топике» [решается вопрос о том], какое движение есть душа? Потому что она есть движение такое или другое. Пример этого можно заимствовать из Теодектова «Сократа»[92], [где говорится]: против какой святыни он согрешил? Кому из богов, почитаемых государством, не выказал почтения?

Так как по большей части случается, что за одним и тем же следует или что-нибудь хорошее, или что-нибудь дурное, то еще один топ [заключается] в убеждении или отсоветовании чего-нибудь, обвинении или защите, восхвалении или порицании, на основании его последствий, например, [если сказать], что образование влечет за собой нечто дурное: [человек] делается предметом зависти — и нечто хорошее: он становится мудрым. Итак, не следует быть образованным, ибо не следует быть предметом зависти, однако следует быть образованным, ибо следует быть мудрым.

Этот топ составлял искусство Каллиппа[93], который, кроме того, пользовался еще доказательством от возможного и другими [доказательствами], о которых мы говорили.

Еще один [топ возникает тогда], когда нужно советовать или отсоветовать какие-нибудь две вещи — и притом противоположные — и прилагать к обеим указанный сейчас способ. Разница [между указанным и настоящим случаем та], что там противополагаются все равно какие элементы, а здесь — действительные противоположности; например, одна жрица не позволяла своему сыну говорить политические речи, сказав: «Если ты будешь говорить справедливое, тебя возненавидят люди, а если несправедливое — боги»[94]. Но можно также сказать, что должно говорить такие речи, ибо если ты будешь говорить справедливое, тебя полюбят боги, если несправедливое — люди. Это совершенно тождественно с пословицей: покупать болото и соль[95]. Когда за каждой из двух противоположных вещей следует и [некоторое] добро и [некоторое] зло, [причем и те, и другие последствия] взаимно противоположны — это называется blaisōsis (собственно, кривизна ног, выгнутых — одна в одну, другая в другую сторону).

Еще один [топ получается], когда люди не одно и то же хвалят на словах и про себя, но на словах хвалят преимущественно все справедливое и прекрасное, а про себя более желают полезного — здесь можно строить двоякий силлогизм; этот способ наиболее пригоден по отношению к парадоксам.

Еще один [топ получается] из заключения, что по аналогии получалось бы то-то, как, например, когда сына Ификрата, по возрасту еще очень молодого, хотели заставить принимать участие в государственных повинностях на том основании, что он велик ростом, то Ификрат сказал, что если они детей, высоких ростом, считают мужами, то признают лю-
1399 b дей, низких ростом, за детей. И как Теодект [говорил] в своем «Законе»: вы даете право гражданства наемникам, например, Страбаку и Харидему, за их доблесть, и не отправите в изгнание тех из наемников, которые совершили ужасные дела?

Еще один [топ получается] из [рассуждения], что если последствия чего-нибудь тождественны, то и причины, вызвавшие их, также тождественны, как, например, Ксенофан говорил, что одинаково богохульствуют те, кто утверждает, что боги родились, и те, кто утверждает, что боги умирают, ибо в том и в другом случае выходит, что в известное время боги не существуют[96]. Вообще [нужно] утверждать, что следствия всякой [причины] всегда тождественны: вам предстоит изречь приговор не об Исократе, а о занятии: следует ли заниматься философией. [Точно так же можно сказать], что «давать землю и воду значит отдать себя в рабство» и что «участвовать в общем мире значит исполнять условленное». При этом [из двух способов] нужно брать тот, который полезен.

Еще один [топ получается] вследствие того, что люди не всегда впоследствии держатся такого же образа мыслей, какого [держались] раньше, но противоположного, как, например, в следующей энтимеме: если, находясь в изгнании, мы сражались, чтобы вернуться в отечество, неужели по возвращении в отечество мы снова отправимся в изгнание,

чтобы не сражаться? [На самом же деле] иногда люди предпочитали оставаться в отечестве с тем, чтобы взамен этого сражаться, а иногда [предпочитали] не сражаться [и покупали это право] ценою изгнания.

Еще один [топ заключается] в утверждении, что что-нибудь есть или произошло вследствие того, вследствие чего могло быть или произойти, например, что кто-нибудь подарил что-нибудь какому-нибудь лицу с той целью, чтобы огорчить потом это лицо, отняв [у него подарок], отчего и говорится: «Многим людям божество посылает много удач не по своей благосклонности, но для того, чтобы они подверглись более явным бедам»[97]. Отсюда также слова из [трагедии] «Мелеагр» Антифонта: «[Они собрались здесь] не для того, чтобы убивать зверей, но для того, чтобы стать свидетелями доблести Мелеагра перед Грецией»[98]. Отсюда также слова из Теодектова «Аякса», что Диомед избрал себе товарищем Одиссея не потому, что уважал его, но с той целью, чтобы его спутник уступал ему в мужестве[99]. Потому что возможно предположение, что он так сделал именно поэтому.

Еще один [топ], общий при тяжбах и совещаниях, заключается в рассмотрении обстоятельств, способствующих и препятствующих, а также тех, под влиянием которых люди что-нибудь делают или избегают делать; таковы обстоятельства, при наличности которых нужно делать что-нибудь, а при отсутствии — нужно не делать, например, если что-нибудь возможно, легко и полезно или для самого человека, или для его друзей, или же вредно и невыгодно для врагов, или же если наказание [за проступок] меньше самого проступка. Люди побуждают, исходя из этих [мотивов], и отклоняют, исходя из [мотивов] противоположных. Исходя из тех же самых [мотивов] люди обвиняют и оправдываются: оправдываются, опираясь [на обстоятельства], препятствующие [совершению чего-нибудь], и обвиняют, опираясь на [обстоятельства] способствующие. Этот способ составляет все искусство Памфила и Каллиппа[100].

Еще один [топ получается] из вещей, которые, по-видимому, совершаются, но кажутся сами по себе невероятными; [топ этот основывается на том], что данные вещи не представлялись бы такими, если бы они не существовали или не были близки [к осуществлению]. И еще более [он основан на том], что люди верят в то, что существует или что возможно; если же что-нибудь не возбуждает доверия и невозможно, что оно все-таки может быть истинным, ибо вещь представляется такой [то есть истинной], не потому что она возможна и правдоподобна, как, например, сказал Андрокл из Питфы[101], осуждая закон, когда в ответ на его слова раздался шум: законы нуждаются в законе, который бы их исправил, потому что и рыбы нуждаются в соли, хотя представляется невозможным и неправдоподобным, чтобы нуждались в соли существа, питающиеся соленым, и оливы [нуждаются в масле, хотя кажется невероятным, чтобы в масле нуждалось] то, из чего масло происходит.

Другой [топ] — изобличительный — [заключается] в рассмотрении противоречий, если какое-нибудь противоречие очевидно изо всех времен, поступков и речей и его или [можно приписать] противнику, например, он говорит, что любит вас, а между тем он участвовал в заговоре Тридцати, или [отнести] к самому себе, например: он говорит, что я люблю тяжбы, но не может доказать, чтобы я когда-нибудь вел хотя одну тяжбу, или к самому себе и к противнику, например: этот человек никогда ничего не ссужал, а я освободил [от рабства] многих из вас.

По отношению к людям и вещам, о которых раньше действительно или по-видимому создалась клевета, есть еще один топ, заключающийся в изложении причины извращенного мнения, ибо [всегда] есть нечто, вследствие чего это так кажется. Так, например, о какой-то женщине, вследствие того, что она целовала своего сына, распространился слух, что она в связи с мальчиком, но когда была высказана причина этого, то клевета уничтожилась. И еще как в Теодектовом «Аяксе» Одиссей говорит Аяксу, почему он, будучи мужественнее Аякса, не кажется [таковым].

Еще один [топ проистекает] из причины; [он заключается в доказательстве], что что-нибудь есть, если есть [его причина], и что чего-нибудь нет, если нет [причины]; ибо причина и то, чему она служит причиной, сосуществуют, и ничто не существует без причины, так, например, Леодамант, оправдываясь против обвинения Фрасибула[102] в том, что имя его было начертано на колонне в Акрополе и что он стер надпись при Тридцати, сказал, что это не имеет смысла, ибо Тридцать более доверяли бы ему, если бы о его ненависти к народу было написано [на колонне].

Еще один [топ заключается] в обсуждении, нельзя ли было или нельзя ли теперь сделать иначе и лучше, чем советуют, или делают, или сделали, ибо очевидно, что если это так, то [человек] не сделал того-то, так как никто добровольно и сознательно не предпочитает дурное. Но такое [рассуждение] неверно, ибо часто потом становится очевидно, как было лучше сделать, а сначала это было неясно.

Еще один [топ], когда люди намерены сделать что-нибудь противоположное сделанному раньше, [заключается] в рассмотрении вместе [того и другого], как, например, Ксенофан на вопрос элеатов, нужно ли им приносить жертвы Левкотее и оплакивать ее, или нет, посоветовал не оплакивать [ее], если они считают ее богиней, если же человеком, то не приносить ей жертв[103].

Еще один [топ заключается] в обвинении или оправдывании на основании сделанных ошибок, как, например, в «Медее» Каркина Медею обвиняют в том, что она убила своих детей, ибо они не появляются; Медея совершила проступок, выразившийся в удалении детей. Она же оправдывается тем, что она убила бы не детей, но Ясона, что она сделала бы ошибку, не исполнив этого, если бы она и сделала другое[104]. Этот топ и вид энтимемы составляли первоначально все искусство Феодора[105].

Другой [топ заимствуется] от имени, как, например, Софокл говорит:

Это — точно Сидеро, к тому же и носящая это имя[106].

И как обыкновенно говорят в хвалениях богам, и как Конон называл Фрасибула смелым на совет, и Геродик говорил Фрасимаху: «Ты всегда смел в борьбе», и Полу: «Ты всегда жеребенок»[107]. [Он говорил] также о законодателе Драконе: это законы не человека, а Дракона[108], так они суровы. И как Гекуба у Еврипида [говорит] об Афродите:

Слепая страсть, по мнению людей,
От Афродиты — не от Афросины ль[109].

И как Херемон [говорит]:

Пенфей, получивший имя от грядущего бедствия[110].

Из энтимем большей известностью пользуются изобличительные, чем показательные, ибо изобличительная энтимема есть свод вкратце противоположных мнений, которые, находясь рядом, становятся яснее для слушателя. Но из всех силлогизмов — изобличительных и показательных — всего более впечатления производят те, которые с самого начала предугадываются слушателями, но не потому, что они поверхностны: [слушатели] сами радуются, заранее предчувствуя [заключение] — а также те, которые являются [в речи] так поздно, что слушатели понимают их, как только они произнесены.

24

Кажущиеся энтимемы.— Различные топы, которыми можно пользоваться для кажущихся энтимем.

Так как возможны случаи, когда одно есть силлогизм, а другое не есть [силлогизм], а только кажется [им], то необходимо также одно есть энтимема, а другое не есть энтимема, но кажется [ею], ибо энтимема есть некоторого рода силлогизм. Из топов кажущихся энтимем один касается способа выражения. Один вид [этого топа заключается 1401 a
в том], чтобы, как и в диалектике, окончательно выводить заключение, не построив силлогизма, [например]: итак, того-то и того-то нет, следовательно, то-то и то-то необходимо существует. Такое рассуждение, сжатое и противоположное [энтимемам], кажется энтимемой, ибо такой способ выражения относится к области энтимемы. Он представляется [энтимемой] по самой схеме выражения. Для того чтобы придать изложению силлогистическую форму, полезно приводить главные выводы многих силлогизмов, например, что он спас одних, отомстил другим, освободил греков[111]. Каждый из этих выводов доказан из других [положений], но

если [эти выводы] соединить, то кажется, что и из них получается какой-то [вывод]. Другой вид энтимем [кажущихся] основан на сходстве названий, например, если сказать, что мышь — совершенное животное, так как от имени ее названо самое уважаемое из всех таинств, ибо мистерии — самое уважаемое из всех таинств. Или если кто-нибудь, восхваляя собаку, сопоставит с ней небесное созвездие Пса или Пана, на том основании, что Пиндар сказал:

Блажен, кого олимпийские боги называют всеизменяющимся псом великой богини[112].

Или из того, что «крайне позорно не иметь ни одной собаки», заключить, что, очевидно, собака — существо почтенное. Или если сказать, что Гермес самый общительный из всех богов, потому что он один называется «общим» Гермесом[113]. Или если сказать, что речь (logos) выше всего на том основании, что хорошие люди достойны уважения (logoy), а не богатства; это выражение logoy axioy употребляется не просто [то есть не в одном только смысле].

Другой [топ заключается в том], чтобы в речи сопоставлять разъединенное или же разъединять связанное между собой; так как часто вещи кажутся тождественными, не будучи таковыми, то следует делать то, что полезнее. Таково рассуждение Евтидема, например, что он знает, что в Пирее есть триера, ибо он знает о существовании каждого [из этих двух предметов]. Или [если сказать], что знающий буквы знает и слово, так как слово есть то же самое. Или утверждение, что если двойное количество чего-нибудь вредно, то и вдвое меньшее количество не может быть здорово, ибо нет смысла, чтобы две хорошие вещи могли составить одну дурную. В такой форме [энтимема] есть изобличение, но она будет показанием в следующей форме: потому что одна хорошая вещь не может составить двух дурных. Весь этот топ сводится к паралогизму. Таковы и слова Поликрата[114] к Фрасибулу, что он ниспроверг Тридцать тиранов, ибо здесь Поликрат соединяет вещи в одно. Таковы и слова в «Оресте» Теодекта[115], ибо они получаются из разъединения, [а именно] справедливо, чтобы умерла женщина, убившая своего мужа, и чтобы сын отомстил за отца. И не это
1401 b ли и было сделано? Но соединенное вместе это уже не имеет характера справедливого. Это может произойти и от пропуска, ибо не объяснено, кем она [должна быть убита].

Еще один топ [заключается] в установлении или отрицании факта с помощью страха. Это бывает тогда, когда [оратор], не показав еще, что [кто-нибудь вообще] совершил [данный проступок], преувеличит дело, ибо это заставляет думать, или что [обвиняемый] не сделал этого, когда дело преувеличивает обвиняемый, или что [обвиняемый] сделал это, если обвинитель таким образом выражает свой гнев. Это не есть энтимема, так как слушатель ошибочно рассуждает, что [обвиняемый] сделал что-нибудь или не сделал чего-нибудь, между тем как [дело] не доказано.

Еще один [топ получается] из признака, так как и здесь нет силлогизма, например, если кто-нибудь говорит, что влюбленные полезны для государства на том основании, что любовь Гармодия и Аристогитона[116] ниспровергла тирана Гиппарха. Или если кто-нибудь говорит, что Дионисий вор на том основании, что он дурной человек, это не есть [правильный] силлогизм, ибо не всякий дурной человек — вор, но всякий вор — дурной человек.

Еще один [топ получается] от совершенно случайных обстоятельств, как, например, говорит Поликрат о мышах, что они оказались полезными, перегрызя тетивы[117]. Или если бы кто-нибудь сказал, что высший почет быть приглашенным на пир, ибо Ахилл в Тенедосе разгневался на ахеян[118] именно оттого, что не получил приглашения; он разгневался за нанесенное ему оскорбление, и это случилось путем неприглашения.

Еще один [топ образуется] на основании последствий, таково, например, в вопросе о Парисе заключение, что он — человек, обладающий величием души на том основании, что он, презрев общение с людьми, проводил время [в одиночестве] на Иде[119]: а поскольку это свойственно людям, наделенным величием души, то и он может показаться таковым. Или [заключение, что такой-то человек] прелюбодей на том основании, что он любит наряжаться и прогуливается по ночам, ибо [прелюбодеи] отличаются этими свойствами. Подобно тому и [рассуждение], что так как нищие поют и пляшут в храмах и так как изгнанники могут жить, где пожелают, и так как это бывает с людьми, которые кажутся счастливыми, то и люди, с которыми это бывает, [то есть нищие и изгнанники], могут показаться счастливыми. Вся разница здесь в том, как это [бывает]; поэтому [этот топ] совпадает с [топом] выпущения.

Еще один [топ заключается в признании] причиной того, что не есть причина, например, [если что-нибудь признается причиной] на том основании, что случилось одновременно с данной вещью или после нее: «после этого» принимается в смысле «вследствие этого», и особенно в делах государственных, как, например, Демад[120] [считал] управление Демосфена причиной всевозможных бед на том основании, что после его управления началась война.

Еще один [топ образуется] с помощью опущения обстоятельств времени и образа действий, таково, например, [доказательство], что Александр по справедливости похитил Елену, потому что отец предоставил ей выбор [супруга], но, может быть, не навсегда, [он предоставил выбор][121], а только на первый раз, ибо отец имеет власть только до этого предела. Или если кто скажет, что бить свободных людей преступление, [это будет преступлением] не во всех случаях, но лишь в том случае, если кто-нибудь противно справедливости начинает рукопашную. Кроме того, здесь, как в речах софистического характера, является кажущийся силлогизм вследствие представления некоторых вещей абсолютными или не абсолютными, а условными, как, например,

в диалектике [доказывается], что существует несуществующее, ибо существующее существует, как несуществующее, или что неведомое ведомо, ибо неведомое ведомо, как неведомое. Точно так же и в риторике кажущаяся энтимема является в приложении не к абсолютно правдоподобному (eicos), но к правдоподобному относительно. Это не есть полное понятие, как говорит и Агафон:

Пожалуй, можно назвать правдоподобным и то,
Что с смертными случается много неправдоподобных вещей[122],

ибо случаются вещи противно правдоподобному, так что неправдоподобное делается правдоподобным. Если это так, то неправдоподобное станет правдоподобным, но не безотносительно: как в речах софистического характера опущение предмета, [о котором идет речь], цели и образа действий производит обман, так и здесь [ложное заключение получается] вследствие того, что правдоподобное здесь есть правдоподобное не абсолютно, а относительно. Из этого топа слагалось искусство Коракса[123]: [он пригоден и в том случае], если [обвиняемый] не причастен возводимому на него обвинению, как, например, если в нанесении побоев обвиняется человек слабый, [его можно защищать] на том основании, что это неправдоподобно, и в том случае, если он причастен, например, если обвиняется человек сильный, [есть повод для защиты] на том основании, что это неправдоподобно, ибо должно было показаться правдоподобным. То же [бывает] и в других случаях: человек необходимо всегда или причастен, или непричастен обвинению, и то, и другое кажется правдоподобным, причем первое правдоподобно [безотносительно], а второе небезотносительно, а так, как мы сказали выше. Это и есть то, что называется черное делать белым. Вследствие этого люди по справедливости порицали профессию Протагора[124]: она представляет собой ложь и не истинно правдоподобное, а кажущееся таковым, которое [нельзя найти] ни в одном искусстве, кроме риторики и софистики.

Итак, мы сказали об энтимемах, настоящих и кажущихся. Теперь в связи [со сказанным] следует сказать об уничтожении энтимем.

25

Два способа уничтожения (lysis) *силлогизмов.*

Можно уничтожить [силлогизм] или построить противоположный силлогизм, или сделать возражение. Что касается противоположного силлогизма, то очевидно, что его можно составлять на основании тех же самых топов, [какие мы указали], ибо силлогизмы должны составляться из вероятных положений, и многие, кажущиеся таковыми, положения противоположны одно другому. Возражения, как и в «Топике»,

делаются четырьмя способами: [они заимствуются] или из самого предмета, или из подобного ему, или из противоположного, или из предметов, уже обсужденных. Я называю [возражением, заимствованным] из самого предмета, например, такой случай: если по поводу любви составлена энтимема в том смысле, что любовь прекрасна, то [возможно] 1402 b
двоякое возражение: [возможно] или сказать вообще, что всякий недостаток [есть нечто] дурное, или [заметим], в частности, что не было бы выражения, «любовь кавновская»[125], если бы не могло быть случаев и дурной любви.

[Возражение заимствуется] из понятия, противоположного [данному], например, в том случае, если составлена энтимема, что хороший человек благодетельствует всем своим друзьям; [можно возразить], что и дурной человек не делает зла своим друзьям.

[Возражение заимствуется] из понятия подобного, например, в том случае, если составлена энтимема, что люди, которым сделали зло, всегда полны ненависти; на это [можно возразить], что люди, которым сделали добро, не всегда полны любви.

Постановления знаменитых мужей [служат возражением], например, в том случае, если бы кто-нибудь сказал энтимему, что пьяным нужно прощать, ибо они совершают проступки, не ведая, что творят. Возразить [на это можно], что [в таком случае] Питтак не заслуживает одобрения, ибо в противном случае он не постановил бы закон о бо́льших наказаниях в тех случаях, когда кто-нибудь совершит проступок в пьяном виде[126].

Итак, энтимемы вытекают из четырех источников, а эти четыре источника суть правдоподобие, пример, доказательство, признак. Энтимемы, составленные на основании того, что бывает действительно или, по-видимому, по большей части, суть энтимемы, основанные на правдоподобии, энтимемы, [получающиеся] с помощью наведения на основании подобия одного или многих случаев,— когда мы, взяв общее положение, затем делаем заключение к частному случаю, суть [энтимемы, опирающиеся] на доказательство. Энтимемы, [образованные] с помощью признаков, суть энтимемы, вытекающие из понятия общего и частного — существующего и несуществующего. Правдоподобие есть нечто такое, что бывает не всегда, но по большей части. Очевидно, что подобные энтимемы всегда можно уничтожить, противопоставив им возражение, причем возражение не всегда есть действительное, а [может быть] и кажущееся, так как возражающий уничтожает энтимему не потому, что она неправдоподобна, но потому, что она не необходима. Поэтому-то употребление этого паралогизма всегда выгоднее для защищающегося, чем для обвиняющего, так как обвиняющий доказывает с помощью правдоподобного; а [ведь] не одно и то же — уничтожить [энтимему], потому что она неправдоподобна или потому что она не необходима; то, что бывает по большей части, всегда подает повод к возражению, ибо в противном случае оно не было бы правдоподобно, а было бы всегда и имело бы характер необходимости. Раз [энтимема]

таким образом уничтожена, судья думает, что дело неправдоподобно или что оно подсудно не ему, употребляя здесь паралогизм, как мы говорили; ибо он должен судить не только на основании необходимого, но и на основании правдоподобного; это и значит судить по своему лучшему разумению. Недостаточно, если решено, что что-нибудь не необходимо, но нужно доказать, что оно не правдоподобно. Это удается в том случае, если возражение будет более основано на том, что бывает по большей части. Такой характер оно может иметь в зависимости от двух условий: времени или самого дела, и всего лучше, если [это бывает вследствие наличности] обоих [условий] вместе, ибо если [какая-нибудь вещь] часто бывает таким образом, то она является более правдоподобной.

Признаки и указанные нами энтимемы, основанные на признаках, даже если они действительно существуют, уничтожаются, как было сказано вначале. А что никакой признак не представляет почвы для силлогизма, это для нас ясно из «Аналитики»[127].

Для уничтожения [энтимем], основанных на примере, употребляется то же, что для энтимем, основанных на правдоподобии: раз у нас есть налицо что-нибудь несогласное [с примером], [энтимема] уже уничтожена в том смысле, что [этот пример] не имеет характера необходимости, если даже большею частью или часто [дело бывает] иначе. Если же большая часть вещей и в большем числе случаев [происходит] так, [то есть как говорит противник], то нужно спорить, [доказывая], что данный случай не походит [на те случаи], или что он [произошел] не при одинаковых с ними условиях, или что вообще он чем-нибудь отличается от них.

Что касается доказательств и энтимем, основанных на доказательстве, то их нельзя уничтожить на том основании, что они не представляют почвы для силлогизма; и это для нас очевидно из «Аналитики»[128]. Остается доказывать, что утверждаемое не существует [на самом деле]. Но если ясно, что оно существует и что есть свидетельство, то оно уже становится неопровержимым. Ведь тогда все доказательство уже ясно.

26

Преувеличение и умаление.

Преувеличение и умаление не представляет собой элемента энтимемы; я разумею одно и то же под элементом и топом[129]: элемент и топ есть то, что включает в себе много энтимем. Преувеличение и умаление сами представляют собой энтимемы для доказательства, что что-нибудь велико или мало, точно так же, как [для доказательства], что что-нибудь хорошо или дурно, справедливо или несправедливо или что-нибудь подобное. Все это представляет собой предметы, которых [касаются]

силлогизмы и энтимемы, так что если каждый из этих предметов не представляет собой топа энтимемы, то и преувеличение и умаление [также не имеют этого свойства]. И энтимемы, которые можно уничтожить, не представляют собой какого-нибудь особого вида энтимемы, ибо очевидно, что уничтожает энтимему человек, доказавший что-нибудь или сделавший какое-нибудь возражение, а [его противники], наоборот, доказывают противное, как, например, если [первый] доказал, что что-нибудь было, второй [старается доказать], что этого не было, или если [первый доказал], что чего-нибудь не было, второй [доказывает], что что-нибудь было. Таким образом, в этом, пожалуй, нет различия, ибо и тот, и другой пользуются одними и теми же [средствами], [именно] они приводят энтимемы в доказательство того, что что-нибудь не есть или есть; возражение же не есть энтимема, но, как [мы объяснили] в «Топике», оно представляет собой произнесение какого-нибудь мнения, из которого будет очевидно, что [противник] не вывел заключения [согласно с правилами силлогизма] или что он признал какое-нибудь ложное положение [за истинное].

Так как есть три пункта, на которые следует обращать внимание при составлении речи, мы считаем, что сказали достаточно в примерах, изречениях, энтимемах и вообще обо всем, что касается мыслительной способности; нам остается изложить способ произнесения и построе- 1403 b
ния речи.

Книга третья

1

Три основных вопроса, касающихся риторического искусства.— Стиль (декламация), три качества, обусловливающие его достоинство.— Важное значение стиля. Разница между стилем поэтическим и стилем риторическим.

Есть три пункта, которые должны быть обсуждены по отношению к ораторской речи: во-первых, откуда возникнут способы убеждения, во-вторых, о стиле (lexis), в-третьих, как следует строить части речи. Мы говорили уже[1] о способах убеждения, и о том, из скольких [источников они возникают], [а именно], что они возникают из трех [источников], и о том, каковы эти [источники], и почему их только такое число (так как все, произносящие судебный приговор, убеждаются в чем-либо или потому, что сами испытали что-нибудь, или потому, что понимают ораторов как людей такого-то нравственного склада, или потому, что [дело] доказано). Мы сказали также и о том, откуда следует черпать энтимемы, так как [источниками для них служат] или частные энтимемы, или топы[2]. В связи с этим следует сказать о стиле, потому что недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать это, как должно; это много способствует тому, чтобы речь произвела нужное впечатление. Прежде всего согласно естественному порядку вещей поставлен был вопрос о том, что по своей природе является первым, то есть о самых вещах, из которых вытекает убедительное, во-вторых, о способе расположения их при изложении. Затем, в-третьих, [следует] то, что имеет наибольшую силу, хотя еще не было предметом исследования — вопрос о декламации. В трагедию и рапсодию [действие] проникло поздно, а сначала поэты сами декламировали свои трагедии. Очевидно, что и для риторики есть условия, подобные условиям для поэтики, о чем трактовали некоторые другие, в том числе Главкон Теосский[3]. Действие заключается здесь в голосе; [следует знать], как нужно пользоваться голосом для каждой страсти, например, когда следует [говорить] громким голосом, когда тихим, когда средним, и как нужно пользоваться интонациями, например, прон-

зительной, глухой и средней, и какие ритмы [употреблять] для каждого данного случая. Здесь есть три пункта, на которые обращается внимание: сила (megethos), гармония и ритм[4]. И на состязаниях одерживают победу преимущественно эти, [то есть ораторы, отличающиеся в этом]. И как на сцене актеры значат больше, чем поэты, [так бывает] и в политических состязаниях, благодаря испорченности государств. Относительно этого еще не создалось искусства, так как в области стиля успехи появились поздно, и если понимать в нем толк, то он кажется грубоватым.

1404 a Так как все дело риторики направлено к возбуждению того или другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то, заключающем в себе истину, а как о чем-то необходимом, ибо всего справедливее стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни печали, ни радости: справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы все, находящееся вне области доказательства, становилось излишним. Однако, как мы сказали, [стиль] оказывается весьма важным вследствие нравственной испорченности слушателя. При всяком обучении стиль необходимо имеет некоторое небольшое значение, потому что для выяснения чего-либо есть разница в том, выразишься ли так или этак; но все-таки [значение это] не так велико, [как обыкновенно думают]: все это относится к внешности и касается слушателя, поэтому никто не пользуется этими приемами при обучении геометрии. А раз ими пользуются, они производят такое же действие, как искусство актера. Некоторые лица пробовали слегка говорить об этом, например, Фрасимах[5] в своем трактате «О возбуждении сострадания». Искусство актера дается природой и менее зависит от техники; что же касается стиля, то он приобретается техникой. Поэтому-то лавры достаются тем, кто владеет словом, точно так же, как в области драматического искусства [они приходятся на долю] декламаторов. И сила речи написанной заключается более в стиле, чем в мыслях.

Поэты первые, как это и естественно, пошли вперед [в этой области]; слова представляют собой подражание, а из всех наших органов голос наиболее способен к подражанию; таким-то образом и возникли искусства: рапсодия, драматическое искусство и другие. Но так как поэты, трактуя об обыденных предметах, как казалось, приобретали себе славу своим стилем, то сначала создался поэтический стиль, как, например, у Горгия[6]. И теперь еще многие необразованные люди полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее. На самом же деле это не так, и стиль в ораторской речи и в поэзии совершенно различен, как это доказывают факты: ведь даже авторы трагедий уже не пользуются теми же оборотами, [какими пользовались прежде], а подобно тому как они перешли от тетраметра к ямбу на том основании, что последний более всех остальных метров ближе к разговорному языку, точно так же они отбросили все выражения, которые не подходят к разговорному языку, но которыми первоначально они украшали свои произведения и которыми еще и теперь пользуются поэты, пишу-

щие гексаметрами[7]. Поэтому смешно подражать людям, которые уже и сами не пользуются этими оборотами.

Отсюда ясно, что мы не обязаны подробно разбирать все, что можно сказать по поводу стиля, но должны сказать лишь о том, что касается искусства, о котором мы говорим. Об остальном мы сказали в сочинении о поэтическом искусстве.

2

Достоинство стиля — ясность.— Выражения, способствующие ясности стиля.— Что годится для речи стихотворной и что для прозаической? — Какие выражения должно употреблять в речи прозаической? — Употребление синонимов и омонимов.— Употребление эпитетов и метафор.— Откуда следует заимствовать метафоры? — Как следует создавать эпитеты?

Рассмотрев это, определим, что достоинство стиля заключается в 1404 b
ясности (saphē); доказательством этого служит то, что, раз речь не ясна, она не достигнет своей цели. [Стиль не должен быть] ни слишком низок, ни слишком высок, но должен подходить [к предмету речи]; и поэтический стиль, конечно, не низок, но он не подходит к ораторской речи. Из имен и глаголов те отличаются ясностью, которые вошли во всеобщее употребление. Другие имена, которые мы перечислили в сочинении, касающемся поэтического искусства[8], делают речь не низкой, но изукрашенной, так как отступление [от речи обыденной] способствует тому, что речь кажется более торжественной: ведь люди так же относятся к стилю, как к иноземцам и своим согражданам. Поэтому-то следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что [приходит] издалека, а то, что возбуждает удивление, приятно. В стихах многое производит такое действие и годится там, [то есть в поэзии], потому что предметы и лица, о которых [там] идет речь, более удалены [от житейской прозы]. Но в прозаической речи таких средств гораздо меньше, потому что предмет их менее возвышен; здесь было бы еще неприличнее, если бы раб, или человек слишком молодой, или кто-нибудь, говорящий о слишком ничтожных предметах, выражался возвышенным слогом. Но и здесь прилично говорить то принижая, то возвышая слог, сообразно [с трактуемым предметом], и это следует делать незаметно, делая вид, будто говоришь не искусственно, а естественно, потому что естественное способно убеждать, а искусственное — напротив. [Люди] недоверчиво относятся к такому [оратору], как будто он замышляет [что-нибудь против них], точно так же, как к подмешанным винам. [Стиль оратора должен быть таков], каким был голос Феодора[9] по сравнению с голосами других актеров: его голос казался голосом того человека, который говорил, а их голоса звучали совершенно чуждо. Хорошо скрывает [свое искусство] тот, кто составляет свою

9 Заказ № 637

речь из выражений, взятых из обыденной речи, что и делает Еврипид[10], первый показавший пример этого.

Речь составляется из имен и глаголов; есть столько видов имен, сколько мы рассмотрели в сочинении, касающемся поэтического искусства[11]; из числа их следует в редких случаях и в немногих местах употреблять необычное выражение, слова, имеющие двоякий смысл, и слова, вновь составленные. Где [именно следует их употреблять], об этом мы скажем потом[12], почему — об этом мы уже сказали, а именно: потому что употребление этих слов делает речь отличной [от обыденной речи] в большей, чем следует, степени. Слова общеупотребительные, принадлежащие родному языку, метафоры[13] — вот единственный материал, полезный для стиля прозаической речи. Доказывается это тем, что все пользуются только такого рода выражениями: все обходятся с помощью метафор и слов общеупотребительных. Но, очевидно, у того, кто сумеет это ловко сделать, иностранное слово проскользнет в речи незаметно и будет иметь ясный смысл. В этом и заключается достоинство ораторской речи. Из имен омонимы полезны для софиста, потому что с помощью их софист прибегает к дурным уловкам, а синонимы — для поэта; я называю общеупотребительными словами и синонимами, например,
1405 a такие слова, как poreyesthai «отправляться» и badidzein «идти»: оба они и общеупотребительны, и однозначны.

О том, что такое каждый из этих [терминов], сколько есть видов метафоры, а равно и о том, что последняя имеет очень важное значение и в поэзии, и в прозе,— обо всем этом было говорено, как мы уже заметили, в сочинении, касающемся поэтики[14], в прозаической речи на это следует обращать тем больше внимания, чем меньше вспомогательных средств, которыми пользуется прозаическая речь по сравнению с метрической. Метафора в высокой степени обладает ясностью, приятностью и прелестью новизны и нельзя заимствовать ее от другого лица. Нужно употреблять в речи подходящие эпитеты и метафоры, а этого можно достигнуть с помощью аналогии; в противном случае [метафора и эпитет] покажутся неподходящими, вследствие того что противоположность двух понятий наиболее ясна в том случае, когда эти понятия стоят рядом. Нужно рассудить, что так же [подходит] для старика, как пурпуровый плащ для юноши, потому что тому и другому приличествует не одно и то же. И если желаешь представить что-нибудь в прекрасном свете, следует заимствовать метафору от предмета лучшего в этом самом роде вещей; если же [хочешь] выставить что-нибудь в дурном свете, то [следует заимствовать ее] от худших вещей, например, так как [приводимые понятия] являются противоположностями в одном и том же роде вещей, о просящем милостыню сказать, что он просто обращается с просьбой, а об обращающемся с просьбой сказать, что он просит милостыню на том основании, что оба [выражения обозначают] просьбу, и значит поступить указанным образом. Так, и Ификрат называл Каллия нищенствующим жрецом Кибелы, а не факелоносцем. На это Каллий говорил, что он [Ификрат] — человек непосвященный, ибо

в противном случае он называл бы его не нищенствующим жрецом Кибелы, а факелоносцем[15]. И та, и другая должность имеет отношение к богине, но одна из них почетна, а другая нет. Точно так же [лица посторонние] называют [окружающих Дионисия] Дионисиевыми льстецами[16], а сами они называют себя художниками. И то, и другое название — метафора, но первое [исходит от лиц], придающих этому грязное значение, а другое [от лиц, подразумевающих] противоположное. Точно так же и грабители называют себя теперь пористами (сборщиками чрезвычайных податей)[17]. С таким же основанием можно сказать про человека, поступившего несправедливо, что он ошибся, а про человека впавшего в ошибку, что он поступил несправедливо, и про человека, совершившего кражу, что он взял, а также, что он ограбил. Выражение, подобное тому, какое употребляет Телеф у Еврипида, говоря:

Владычествуя над рукояткой меча и прибыв в Мизию[18],

такое выражение неподходяще, потому что выражение «владычествовать» есть более значительное, чем следует, и оно ничем не прикрыто. Ошибка может заключаться и в самых слогах, когда они не заключают в себе признаков приятного звука; так, например, Дионисий, прозванный Медным, называет в своих элегиях поэзию криком Каллиопы[19] на том основании, что и то, и другое — звуки. Эта метафора нехороша вследствие неясного смысла выражений. Кроме того, на предметы, не имеющие имени, следует переносить названия не издалека, а от предметов родственных и однородных так, чтобы было ясно, что оба предмета родственны, раз название произнесено, как, например, в известной загадке:

Я видел человека, который с помощью огня приклеивал медь к человеку[20]. 1405 b

Эта операция не имеет термина, но то и другое означает некоторое приставление, поэтому когда ставят банку, это называется приклеиванием. И вообще из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что [загадки] — хорошо составленные метафоры. [Следует еще переносить названия] от предметов прекрасных; красота слова, как говорит Ликимний[21], заключается в самом звуке или в его значении, точно так же и безобразие. Есть еще третье [условие], которым опровергается софистическое правило: неверно утверждение Брисона[22], будто нет ничего дурного в том, чтобы одно слово употребить вместо другого, если они значат одно и то же. Это ошибка, потому что одно слово более употребительно, более подходит, скорей может представить дело перед глазами, чем другое. Кроме того, и разные слова представляют предмет не в одном и том же свете, так что и с этой стороны следует предположить, что одно [слово] прекраснее или безобразнее другого. Оба слова означают прекрасное или безобразное, но не [говорят], поскольку оно прекрасно или поскольку безобразно, или [говорят об этом], но [одно] в большей, [другое] в меньшей степени. Метафоры следует за-

имствовать от слов прекрасных по звуку, или по значению, или [заключающих в себе нечто приятное] для зрения или для какого-либо другого чувства. Например, есть разница в выражениях о заре: «розоперстая» лучше, чем «пурпуроперстая», а «красноперстая» хуже.

То же и в области эпитетов: можно создавать эпитеты на основании дурного или постыдного, например, [эпитет] «матереубийца», но можно также создавать их на основании хорошего, например, «мститель за отца»[23]. Точно так же и Симонид, когда победитель на мулах предложил ему незначительную плату, отказался написать стихотворение под тем предлогом, что он затрудняется воспевать «полуослов». Когда же ему было предложено достаточное вознаграждение, он написал:

Привет вам, дочери быстроногих, как вихрь, кобылиц[24],

хотя эти мулы были также дочери ослов. С той же целью можно прибегать к уменьшительным выражениям: уменьшительным называется выражение, представляющее и зло, и добро меньшим, [чем оно есть на самом деле]; так Аристофан в шутку говорил в своих «Вавилонянах»[25]: «кусочек золота» вместо «золотая вещь», вместо «платье» — «платьице», вместо «поношение» — «поношеньице» и «нездоровьице». Но здесь следует быть осторожным и соблюдать меру в том и другом.

3

Четыре причины, способствующие холодности (выспренности) стиля: употребление сложных слов, необычных выражений, надлежащее пользование эпитетами, употребление неподходящих метафор.

Холодность (psychra) стиля может происходить от четырех причин: во-первых, от употребления сложных слов, как, например, Ликофрон[26] говорит о «многоликом небе высоковершинной земли» и об «узкодорожном береге». Или как Горгий выражался «искусный в выпрашивании милостыни льстец» и говорил об «истинно или ложно поклявшихся». Или как Алкидамант говорил о «душе, исполненной гнева», и о «лице, делающемся огнецветным», и как он полагал, что «их усердие будет целесообразным», и как он считал также «целесообразной» убедительную речь, и морскую поверхность называл «темноцветной». Все эти выражения поэтичны, потому что они составлены из двух слов. Вот в чем заключается одна причина [холодности стиля]. Другая состоит в употреблении необычных выражений, как, например, Ликофрон называет Ксеркса «мужем-чудовищем» и Скирон[27] у него «муж-хищник», и как Алкидамант [говорит] об «игрушках» поэзии и о «природном грехе», и о человеке, «возбужденном неукротимым порывом своей мысли». Третья причина заключается в употреблении эпитетов или длинных, или неуместных, или в большом числе; в поэзии, например, вполне возможно назы-

вать молоко белым, в прозе же [подобные эпитеты] совершенно неуместны; если их слишком много, они обнаруживают [риторическую искусственность] и доказывают, что раз нужно ими пользоваться, это есть уже поэзия, так как употребление их изменяет обычный характер речи и сообщает стилю оттенок чего-то чуждого. В этом отношении следует стремиться к умеренности, потому что [неумеренность здесь] есть большее зло, чем речь простая, [то есть лишенная эпитетов]: в последнем случае речь не имеет достоинства, а в первом она заключает в себе недостаток. Вот почему произведения Алкидаманта кажутся холодными: он употребляет эпитеты не как приправу, а как кушанье, так у него они часты, преувеличены и бросаются в глаза, например, [он говорит] не «пот», а «влажный пот», не на «Истмийские игры», а на «торжественное собрание на Истмийских играх», не «законы», а «законы, властители государств», не «быстро», а «быстрым движением души»; [он говорит] не о «музее», а о «музее природы», о «мрачной душевной заботе»; [он называет кого-нибудь] не «творцом милости», но «всенародной милости», [называет оратора] «распределителем удовольствия для слушателей»; [он говорит], что-нибудь спрятано не «под ветвями», а «под ветвями леса», что кто-нибудь прикрыл не «тело», а «телесный стыд», называет страсть «соперницей души»; последнее выражение (antimimos) есть в одно и то же время и составное слово и эпитет, так что является принадлежностью поэзии; точно так же [он называет] крайнюю степень испорченности «выходящей из всяких границ». Вследствие такого неуместного употребления поэтических оборотов стиль делается смешным и холодным, а от болтливости неясным, потому что когда кто-нибудь излагает дело лицу знающему [это дело], то он уничтожает ясность темнотою изложения. Люди употребляют сложные слова, когда у данного понятия нет названия или когда легко составить сложное слово, таково, например, слово chronotribein «времяпрепровождение», но если [таких слов] много, то [слог делается] совершенно поэтическим. Употребление двойных слов всегда более свойственно поэтам, 1406 b
пишущим дифирамбы[28], так как они любители громкого, а употребление старинных слов — поэтам эпическим, потому что [такие слова заключают в себе] нечто торжественное и самоуверенное. [Употребление же] метафоры [свойственно] ямбическим стихотворениям, которые, как мы сказали, пишутся теперь. Наконец, четвертая [причина, от какой может происходить] холодность стиля, заключается в метафорах. Есть метафоры, которые не следует употреблять,— одни потому, что [они имеют] смешной смысл, почему и авторы комедий употребляют метафоры, другие потому, что смысл их слишком торжествен и трагичен; кроме того, [метафоры имеют] неясный смысл, если [они заимствованы] издалека, так, например, Горгий говорит о делах «бледных» и «кровавых». Или: «ты в этом деле посеял позор и пожал несчастье». Подобные выражения имеют слишком поэтический вид. Или как Алкидамант называет философию «укреплением законов» и «Одиссею» «прекрасным зеркалом человеческой жизни» и «не внося никаких подобных

игрушек в поэзию». Все подобные выражения неубедительны вследствие вышеуказанных причин. И слова, обращенные Горгием к ласточке, которая, пролетая, сбросила на него нечистоту, всего приличнее были бы для трагика: «Стыдно, Филомела»,— сказал он[29]. Для птицы, сделавшей это, это не позорно, а для девушки [было бы] позорно. Упрек, заключающийся в этих словах, хорошо подходил к тому, чем птица была раньше, но не к тому, что она есть теперь.

4

Сравнение, его отношение к метафоре.— Употребление сравнений.

Сравнение (eicōn) есть также метафора, так как между тем и другим существует лишь незначительная разница. Так, когда поэт [говорит] об Ахилле: «он ринулся, как лев», это есть сравнение. Когда же он говорит: «лев ринулся» — это есть метафора: так как оба обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал Ахилла львом. Сравнение бывает полезно и в прозе, но в немногих случаях, так как [вообще оно относится] к области поэзии. [Сравнения] следует допускать так же, как метафоры, потому что они — те же метафоры и отличаются от последних только вышеуказанным. Примером сравнения могут служить слова Андротиона об Идриее[30], что он похож на собачонок, сорвавшихся с цепи: как они бросаются кусать, так опасен и Идрией, освобожденный от уз. И как Теодамант сравнивал Архидама с Евксеном[31], минус знания геометрии, на том основании, что, наоборот, Евксен = Архидаму + знание геометрии. [Таково] и сравнение, встречающееся в Платоновом «Государстве»: что люди, снимающие доспехи с мертвых, похожи на собак, которые кусают камни, не касаясь человека, бросающего их[32]. Таково же и [сравнение, прилагаемое] к народу, что он подобен кормчему корабля, сильному, но несколько глухому[33], а также к стихам поэтов — что они похожи на лица, свежие, но не обладающие красотой: последние становятся не похожи [на то, чем
1407 a были раньше], когда отцветут, а первые — когда нарушен их размер. [Таково] и сравнение, которое Перикл делает относительно самосцев, что они похожи на детей, которые хотя и берут предлагаемый им кусочек, но продолжают плакать[34]. [Таково же и сравнение] относительно беотийцев, что они похожи на дубы: как дубы разбиваются один о другой, так и беотийцы сражаются друг с другом[35]. [Таково же] и [сравнение], делаемое Демосфеном относительно народа, что он подобен людям, которые страдают морской болезнью на корабле[36]. И как Демократ[37] сравнивал риторов с кормилицами, которые, сами глотая кусочек, мажут слюной по губам детей. И как Антисфен[38] сравнивал тонкого Кефисодота с ладаном, который, испаряясь, доставляет удовольствие. Все эти [выражения] можно употреблять и как сравнения, и как метафоры, и очевидно, что все удачно употребленные метафоры будут в

то же время и сравнениями, а сравнения, [наоборот, будут] метафорами, раз отсутствует слово сравнения [«как»]. Метафору следует всегда заимствовать от сходства и [прилагать] ее к обоим из двух предметов, принадлежащих к одному и тому же роду, так, например, если фиал есть щит Диониса, то возможно также назвать щит фиалом Ареса[39].

5

Пять условий, от которых зависит правильность языка.— Удобочитаемость и удобопонимаемость письменной речи.— Причины, ведущие к неясности речи.

Итак, вот из чего слагается речь. Стиль основывается на умении говорить правильно по-гречески, а это зависит от пяти условий: от [употребления] союзов, от того, размещены ли они так, как они по своей природе должны следовать друг за другом, сначала одни, потом другие, как этого требуют некоторые [писатели]; так, например, men и egō men требуют после себя: [первое] de, [второе] ho de. И следует ставить их один за другим, пока еще [о требуемом соотношении] помнишь, не размещая их на слишком большом расстоянии, и не употреблять один союз раньше другого необходимого, потому что [подобное употребление союзов] лишь в редких случаях бывает пригодно. «Я же, когда он мне сказал, так как Клеон пришел ко мне с просьбами и требованиями, отправился, захватив их с собой». В этих словах вставлено много союзов раньше союза, который должен был следовать, и так как много слов помещено раньше «отправился», [фраза стала] неясной. Итак, первое условие заключается в правильном употреблении союзов. Второе [заключается] в употреблении собственно самих слов, а не описательных выражений. В-третьих, не [следует употреблять] двусмысленных выражений, кроме тех случаев, когда это делается умышленно, как, например, поступают люди, которым нечего сказать, но которые [тем не менее] делают вид, что говорят нечто. В таком случае люди выражают это в поэтической форме, как, например, Эмпедокл. Такие иносказательные выражения своей пространностью морочат слушателей, которые в этом случае испытывают то же, что испытывает народ перед прорицателями: когда они выражаются двусмысленно, народ вполне соглашается с ними:

Крез, перейдя Галис, разрушит великое царство[40].

Прорицатели выражаются о деле общими фразами именно потому, 1407 b
что здесь менее всего возможна ошибка. Как в игре в «чет и нечет» скорее можно выиграть, говоря просто «чет» или «нечет», чем точно обозначая число, так и [скорее можно предсказать что-нибудь говоря], что это будет, чем точно обозначая время; поэтому-то оракулы не обо-

значают времени [исполнения своих предсказаний]. Все эти случаи похожи один на другой, и их следует избегать, если нет в виду подобной цели. В-четвертых, следует правильно употреблять роды имен, как их разделял Протагор — на мужские, женские и средние, например, «придя и переговорив (elthoysa cai dialechtheisa), она ушла». В-пятых, [следует] соблюдать последовательность в числе, идет ли речь о многих или о немногих или об одном, [например], «они, придя (elthontes), начали наносить мне удары».

Вообще написанное должно быть удобочитаемо и удобопонимаемо, а это — одно и то же. Этими свойствами не обладает речь со многими союзами, а также речь, в которой трудно расставить знаки препинания, как, например, в творениях Гераклита[41] — [большой] труд, потому что неясно, к чему что относится, к последующему или к предыдущему, как, например, в начале своей книги он говорит: «Относительно разума, требуемого, всегда люди являются непонятливыми». Здесь неясно, к чему нужно присоединить знаком [запятою] слово «всегда».

Ошибка является еще и в том случае, если для двух различных понятий употребляется выражение, неподходящее [к ним обоим], например, для звука и цвета; выражение «увидев» не подходит [к обоим этим понятиям], а выражение «заметив» подходит. Кроме того, неясность получается еще и в том случае, если, намереваясь многое вставить, не пометишь в начале того, [что следует], например, [если скажешь]: «я намеревался, переговорив с ним о том-то и о том-то и таким-то образом, отправиться в путь», а не так: «я намеревался, поговорив, отправиться в путь», а потом «и случилось то-то и то-то и таким-то образом».

6

Что способствует пространности и сжатости стиля?

Пространности (ogcon) стиля способствует употребление определения понятия вместо имени, [обозначающего понятие], например, если сказать не «круг», а «плоская поверхность, все конечные точки которой равно отстоят от центра». Сжатости (syntomia) же [стиля способствует] противоположное, то есть [употребление] имени вместо определения понятия. [Можно для пространности поступать следующим образом], если [в том, о чем идет речь], есть что-нибудь позорное или неприличное; если есть что-нибудь позорное в понятии, можно употреблять имя, если же в имени — то понятие. [Можно] также пояснять мысль с помощью метафор и эпитетов, остерегаясь при этом того, что носит на себе поэтический характер, а также представлять во множественном числе то, что существует в единственном числе, как это делают поэты; хотя существует одна гавань, они все-таки говорят:

В Ахейские гавани[42],

а также:

Эти многораскрывающиеся складки письма[43].

[Можно для пространности] не соединять [два слова вместе], но к каждому из них крисоединять [отдельное определение], [например], от жены от моей, или, для сжатости, напротив: от моей жены. [Выражаясь пространно], следует также употреблять союзы, а если [выражаться] сжато, то не следует их употреблять, но не [следует] также при этом делать речь бессвязной, например, можно сказать, «отправившись и 1408 a переговорив», а также: «отправившись, переговорил». Полезна также манера Антимаха [при описании предмета] говорить о тех качествах, [которых у данного предмета] нет, как он это делает, воспевая гору Тевмессу:

Есть небольшой холм, обвеваемый ветрами[44].

Таким путем можно распространить [описание] до бесконечности. И можно говорить как о хороших, так и о дурных качествах, которыми данный предмет не обладает — смотря по тому, что требуется. Отсюда и поэты заимствуют свои выражения: «бесструнная и безлирная мелодия». Они производят эти выражения от отсутствия качеств; этот способ очень пригоден в метафорах, основанных на сходстве, например, если сказать, что труба есть безлирная мелодия.

7

Какими свойствами должен обладать стиль? —
Как этого достигнуть?

Стиль будет обладать надлежащими качествами, если он полон чувства (patheticē), если он отражает характер (ethicē) и если он соответствует истинному положению вещей. Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорится торжественно и когда к простому имени (слову) не присоединяется украшение; в противном случае стиль кажется шутовским; так, например, поступает Клеофонт[45]: он употребляет некоторые обороты, подобные тому, как если бы он сказал: «достопочтенная смоковница». [Стиль] полон чувства, если он представляется языком человека гневающегося, раз дело идет об оскорблении, и языком человека негодующего и сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных и позорных. Когда дело касается вещей похвальных, о них [следует] говорить с восхищением, а когда вещей, возбуждающих сострадание, то со смирением; подобно этому и в других случаях. Стиль, соответствующий данному случаю, придает делу вид вероятного: здесь человек ошибочно заключает, что [оратор] говорит искренно на том основании, что при

подобных обстоятельствах он [человек] испытывает то же самое, и он принимает, что положение дел таково, каким его представляет оратор, даже если это на самом деле и не так. Слушатель всегда сочувствует оратору, говорящему с чувством, если даже он не говорит ничего [основательного]; вот таким-то способом многие ораторы с помощью только шума производят сильное впечатление на слушателей.

Выражение мыслей с помощью знаков (sēmeiōn) отражает характер [говорящего], ибо для каждого положения и душевного качества есть свой соответствующий язык; положение я различаю по возрасту, например, мальчик, муж или старик; [по полу], например, женщина или мужчина; [по национальности], например, лаконец или фессалиец. Душевными качествами [я называю] то, сообразно чему человек в жизни бывает таким, а не иным, потому что образ жизни бывает именно таким, а не иным в зависимости не от каждого душевного качества; и если оратор употребляет выражения, соответствующие душевному качеству, он обнаруживает свой нравственный облик, потому что человек неотесанный и человек образованный сказали бы не одно и то же и не в одних и тех же выражениях. До некоторой степени на слушателей действует тот прием, которым так часто пользуются составители речей. Кто этого не знает? Это всем известно. Слушатель в этом случае соглашается под влиянием стыда, чтобы быть причастным тому, чему причастны все остальные люди.

1408 b Все эти виды [оборотов] одинаково могут быть употреблены кстати или некстати. При всяком несоблюдении меры лекарством [должно служить] известное [правило], что человек должен сам себя поправлять, потому что раз оратор отдает себе отчет в том, что делает, его слова кажутся истиной. Кроме того, не [следует] одновременно пускать в ход все сходные между собой средства, потому что таким образом у слушателя является недоверие. Я разумею здесь такой, например, [случай]: если слова [оратора] жестки, не [должно] говорить их жестким голосом, [делать] жесткое выражение лица и пускать в ход все другие сходные средства; при несоблюдении этого правила всякий [риторический прием] обнаруживает то, что он есть. Если же [оратор] пускает в ход одно средство, не [употребляя] другого, то незаметно он достигает того же самого результата; если он жестким тоном говорит приятные вещи и приятным тоном жесткие вещи, он лишается доверия [слушателей]. Сложные слова, обилие эпитетов и слова малоупотребительные всего пригоднее для оратора, говорящего под влиянием гнева; простительно назвать несчастье «необозримым, как небо» или «чудовищным». [Простительно это] также в том случае, когда оратор уже завладел своими слушателями и воодушевил их похвалами или порицаниями, гневом или дружбой, как это, например, делает Исократ в конце своего «Панегирика», [говоря]: «слава и память» (phēmēn de cai mnēmēn) или «те, которые решились» (etlēsan вместо etolmēsan). Такое люди говорят в состоянии энтузиазма и выслушивают, очевидно, испытывая то же самое. Поэтому-то такие выражения пригодны для поэзии,

так как поэзия есть нечто боговдохновенное. Их следует употреблять или в вышеуказанных случаях, или с оттенком иронии, как это делал Горгий и каковы [примеры этого] в «Федре»[46].

8

Стиль не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма.

Что касается формы стиля, то он не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма. В первом случае [речь] не имеет убедительности, так как кажется выдуманной, и вместе с тем отвлекает внимание [слушателей], заставляя следить за возвращением сходных [повышений и понижений], совершенно так же, как дети, предупреждая вопрос глашатаев: кого избирает своим покровителем отпускаемый на волю, [кричат]: «Клеона!» Стиль, лишенный ритма, имеет незаконченный вид, и следует придать ему вид законченности, но не с помощью метра, потому что все незаконченное неприятно и невразумительно. Все измеряется числом, а по отношению к форме стиля числом служит ритм, метры же — его подразделения; поэтому-то речь должна обладать ритмом, но не метром, так как [в последнем случае] получатся стихи[47]. Ритм не должен быть строго определенным, что получится в том случае, если он будет простираться лишь до известного предела. Из ритмов героический ритм отличается торжественным характером и не обладает гармонией, которая присуща разговорной речи. Ямб есть именно форма речи большинства людей. Вот почему из всех размеров люди всего чаще произносят в разговоре ямбические стихи. А речь оратора должна обладать некоторой торжественностью и возвышаться [над обыкновенной речью]. Трохей более подходит к комическим танцам, что доказывают тетраметры, потому что тетраметры — ритм скачков. Затем оста- 1409 a
ется пеон[48], которым пользовались, начиная с Фрасимаха, но не умели объяснить, что это такое. Пеон — третий [ритм]; он примыкает к вышеупомянутым, потому что представляет отношение трех к двум, а из преждеупомянутых [ритмов] один [представляет] отношение одного к одному, а другие — двух к одному; к этим ритмам примыкает ритм полуторный, а это и есть пеон, остальные [ритмы] следует оставить в стороне, как по вышеизложенным причинам, так и потому, что они метричны, пеон же следует иметь в виду, так как из числа всех упомянутых нами ритмов он один не образует стиха, так что им можно пользоваться наиболее незаметным образом[49]. Теперь употребляют только один вид пеона как в начале, так и в конце, а между тем следует различать конец от начала. Есть два вида пеона, противоположные один другому; один из них годен для начала (так его и употребляют); это именно тот, у которого в начале долгий слог, а затем три коротких, [например]: Dālŏgĕnēs ēitĕ Lўcĭan или: Chrȳsĕocŏmā Hĕcătĕ paī Dĭos. Другой [вид пеона], напротив, тот, в котором три первых сло-

га короткие, а последний долгий, [например]: mĕtă dĕ gān hŷdătă t'ōcĕă-nōn ēphănĭsĕ nŷx[50]. Этот вид пеона помещается в конце, так как короткий слог, по своей неполноте делает [окончание как бы] увечным. Следует кончать долгим слогом, и конец должен быть ясен не благодаря писцу или какому-нибудь знаку, а из самого ритма.

Итак, мы сказали, что стиль должен обладать хорошим ритмом, а не быть лишенным ритма, [сказали также], какие ритмы и при каких условиях делают стиль ритмичным.

9

Стиль связный и стиль периодический.— Период простой и период сложный.— Два вида сложного периода.— Противоположение, приравнение и уподобление.

Стиль необходимо должен быть или беспрерывным (eiromenē) и соединенным при помощи союзов, каковы прелюдии (anabolai) в дифирамбах, или же периодическим и подобным антистрофам древних поэтов. Стиль беспрерывный — древний стиль: «Нижеследующее есть изложение истории Геродота Фурийского»[51]. Прежде этот стиль употребляли все, а теперь его употребляют немногие. Я называю беспрерывным такой стиль, который сам по себе не имеет конца, если не оканчивается предмет, о котором идет речь; он неприятен по своей незаконченности, потому что всякому хочется видеть конец; по этой-то причине [состязающиеся в беге] задыхаются и обессиливают на поворотах, между тем как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предел [бега]. Вот в чем заключается беспрерывный стиль; стилем же периодическим называется стиль, составленный из периодов. Я называю периодом фразу, которая сама по себе имеет начало и ко-
1409 b нец и размеры которой легко обозреть. Такой стиль приятен и понятен; он приятен, потому что представляет собой противоположность речи незаконченной, и слушателю всегда кажется, что он что-то схватывает, и что что-то для него закончилось; а ничего не предчувствовать и ни к чему не приходить — неприятно. Понятна такая речь потому, что она легко запоминается, а это происходит от того, что периодическая речь имеет число, число же всего легче запоминается. Поэтому-то все запоминают стихи лучше, чем прозу, так как у стихов есть число, которым они измеряются. Период должен заканчиваться вместе с мыслью, а не разрубаться, как стихи Софокла:

Calydōn men hēde gaia Pelopias chthonos[52],

ибо при таком разделении можно понять сказанное в смысле, противоположном [тому, какой ему хотели придать], как, например, в приведенном случае [можно подумать], что Калидон — страна Пелопоннеса.

Период может состоять из нескольких членов или быть простым. Период, состоящий из нескольких членов (cōla), имеет вид законченной фразы, может быть разделен на части и произнесен с одного дыхания весь, а не раздельно, как вышеприведенный период. Колон — член периода, одна из частей его. Простым я называю период одночленный. Ни члены периода, ни сами периоды не должны быть ни укороченными, ни длинными; потому что краткая фраза часто заставляет слушателей спотыкаться: в самом деле, когда слушатель, еще стремясь вперед к тому пределу, о котором представление есть в нем самом, отбрасывается назад вследствие прекращения речи, он как бы спотыкается, встретив препятствие. А длинные периоды заставляют слушателей отставать, подобно тому, как бывает с людьми, которые, [гуляя], заходят за назначенные пределы: они, таким образом, оставляют позади себя тех, кто с ними вместе гуляет. Подобным же образом и периоды, если они длинны, превращаются в [целую] речь и делаются подобными прелюдии, так что происходит то, по поводу чего Демокрит Хиосский подсмеялся над Меланиппидом, написавшим вместо антистроф прелюдии:

Зло на себя замышляет, кто зло на другого замыслил,
И длинная прелюдия — величайшее зло для того, кто ее написал[53].

То же самое можно сказать и о тех, кто составляет длинные периоды. Но слишком короткие периоды — не периоды, они влекут слушателя вперед [слишком] стремительно.

Период, состоящий из нескольких членов, бывает или разделительный, или противоположительный. Пример разделительного периода: «Я часто удивлялся тем, кто установил торжественные собрания и учредил гимнастические состязания»[54]. Противоположительный период — такой, в котором в каждом из двух членов одна противоположность стоит рядом с другой или один и тот же член присоединяется к двум 1410 a
противоположностям, например: «Они оказали услугу и тем, и другим, и тем, кто остался, и тем, кто последовал [за ними]; вторым они предоставили во владение больше земли, чем они имели дома, первым оставили достаточно земли дома»[55]. Противоположности здесь: оставаться, последовать, достаточно, больше. Точно так же [и в другой фразе]: «и для тех, кто нуждается в деньгах, и для тех, кто желает ими пользоваться»[56] — пользование противополагается приобретению. И еще: «часто случается, что при таких обстоятельствах и разумные люди терпят неудачу, и неразумные имеют успех»[57]. [Или]: «тотчас они получили награду за победу, а немного спустя они приобрели владычество на море»[58]. «[Он заставил свои войска] плыть по материку и идти пешком по морю, перекинув мост через Геллеспонт и подкопав гору Афон»[59]. «Силою закона лишать права гражданства тех, кто по рождению гражданин»[60]. «Одни из них ужасно погибли, другие позорно спаслись»[61]. «В частной жизни пользоваться услугами рабов-варваров, в политике — спокойно смотреть на рабство многих союзников»[62]. «Или обладать при жизни, или оставить после смерти»[63]. И вот еще

что сказал кто-то в судилище относительно Пифолая и Ликофрона: «Пока они были дома, они продавали вас, а когда пришли сюда, сами продали себя»[64]. Все приведенные примеры производят указанное впечатление. Такой способ изложения приятен, потому что противоположности чрезвычайно доступны пониманию, а если они стоят рядом, они [еще] понятнее, а также потому, что [этот способ изложения] походит на силлогизм, так как изобличение есть соединение противоположностей.

Вот что такое противоположение (antithesis). Приравниванием (parisōsis) называется такой случай, когда оба члена периода равны, уподоблением (paromoiōsis) — когда крайние слоги обоих членов сходны; [сходство] необходимо должно быть или в начале, или в конце; в начале бывают сходны имена, а в конце — последние слоги, или [разные] падежи одного и того же имени, или одно и то же имя. Вот примеры сходства в начале: agron gar elaben agron par aytoy «он получил от него бесплодное поле»[65], dōrētoi t'epelonto pararrētoi t'epeessin «их можно было умилостивить подарками, уговорить словами»[66]. А вот примеры сходства в конце: ōiēthēsan ayton paidion tetocenai, all' aytoy aition gegonenai «они [не] думали, что он родил ребенка, а что он был причиной этого», en pleistais de phrontisi cai en elachistais elpisin «в бесчисленных заботах и в ничтожнейших надеждах». [Случай, когда в конце стоят] падежи одного и того же имени: axios de stathēnai chalcoys, oyc axios ōn chalcoy «он достоин медной статуи, не стоя медной монеты». [Случай, когда в конце повторяется] одно и то же слово: sy d'ayton cai dzōnta eleges cacōs cai nyn grapheis cacōs «ты и при жизни его говорил о нем дурно, и теперь пишешь дурно». [Случай, где сходство заключается] в одном слоге: ti an epathes deinon, ei andr'eides argon «какого рода неудовольствие ощутил бы ты, если бы увидел человека без дела?» Но может случиться, что одна и та же [фраза] заключает в себе все вместе: и противоположение, и равенство членов, и сходство окончания. [Различные] начала периодов перечислены в сочинениях Теодекта[67]. Но бывают и ложные противоположения, какие, например, употреблял Эпихарм: «То я был в их стране, то я был у них»[68].

10

Откуда черпаются изящные и удачные выражения? — Какой род метафор наиболее заслуживает внимания?

Разобрав этот вопрос, следует сказать о том, откуда происходят изящные (asteia) и удачные (ta eydocimoynta lecteon) выражения. Изобрести их — дело человека даровитого или приобретшего навык, а показать, [в чем их особенности], есть дело этой науки. Итак, поговорим о них и перечислим их. Начнем вот с чего: естественно, что всякому

приятно легко научиться [чему-нибудь], а всякое слово имеет некоторый определенный смысл, поэтому всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-нибудь знание. Слова необычные нам непонятны, а слова общеупотребительные — мы понимаем. Наиболее достигает этой цели метафора, например, если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы[69], то он научает и сообщает сведения с помощью родового понятия, ибо и то, и другое — нечто отцветшее. То же самое действие производят уподобления, употребляемые поэтами, и потому они кажутся изящными, если только они хорошо выбраны. Уподобление, как было сказано раньше[70], есть та же метафора, но отличающаяся присоединением [слова сравнения]; она меньше нравится, так как она длиннее, она не утверждает, что «это — то», и наш ум этого не требует.

Итак, тот стиль и те энтимемы по необходимости будут изящны, которые сразу сообщают нам знания; поэтому-то поверхностные энтимемы не в чести; (мы называем поверхностными те энтимемы, которые для всякого очевидны и в которых ничего не нужно исследовать); не [в чести] также энтимемы, которые, когда их произнесут, представляются непонятными. Но [наибольшим почетом пользуются те энтимемы], произнесение которых сопровождается появлением некоторого познания, даже если этого познания раньше не было, или те, по поводу которых разум немного остается позади; потому что в этих последних случаях как бы приобретается некоторое познание, а в первых [двух] нет. Подобные энтимемы пользуются почетом ради смысла того, что в них говорится: что же касается внешней формы речи, то [наибольшее значение придается энтимемам], в которых употребляются противоположения, например, «считая их всеобщий мир войною, объявленной нашим собственным интересам»[71], здесь война противополагается миру. [Энтимема может производить впечатление] и отдельными словами, если в ней заключается метафора, притом метафора ни слишком далекая, потому что смысл такой трудно понять, ни слишком поверхностная, потому что такая не производит никакого впечатления. [Имеет] также [значение та энтимема], которая изображает вещь перед нашими глазами, ибо нужно больше обращать внимание на то, что есть, чем на то, что будет.

Итак, нужно стремиться к этим трем вещам: метафоре, противоположению, наглядности.

Из четырех родов метафор наиболее заслуживают внимания мета- 1411 a
форы, основанные на аналогии; так, например, Перикл говорил, что юношество, погибшее на войне, точно также исчезло из государства, как если бы кто-нибудь из года уничтожил весну[72]. И Лептин[73] по поводу лакедемонян [говорил], что он не допустит, чтобы Эллада стала крива на один глаз. И когда Харет торопился сдать отчет по Олинфской войне, Кефисодот[74] сердился, говоря, что он старается сдать отчет в то время, когда народ «кипит в котле». Так и некогда [оратор], приглашая афинян, запасшись провиантом, идти в Евбею, говорил, что

постановление Мильтиада должно «выступить в поход»[75]. И Ификрат выражал неудовольствие по поводу договора, заключенного афинянами с Эпидавром и всей прибрежной страной, говоря, что они сами отняли у себя провиант на время войны. И Пифолай называл паралу палицею народа и Сест — решетом Пирея[76]. И Перикл требовал уничтожения Эгины[77], «этого гноя на глазах Пирея». И Мирокл[78], назвав одно из уважаемых лиц, сказал, что сам он нисколько не хуже этого лица, потому что оно поступает худо в размере процентов, равняющихся трети [ста], а он сам в размере процентов, равных десятой части. [Такой же смысл имеет] и ямб Анаксандрида о дочерях, которые опаздывали с замужеством:

Девушки у меня просрочили время вступления в брак[79].

И слова Полиевкта о некоем Спевсиппе, пораженном апоплексией, что он [ни одной минуты] не может провести спокойно, хотя судьба связала его болезнью с пятью отверстиями[80]. И Кефисодот называл триеры пестрыми мельницами, а Диоген-собака — харчевни аттическими фидитиями и Эсион [говорил], что они «вылили государство в Сицилию»[81]. Это выражение метафорическое и наглядное. И [выражение] «так что [вся] Греция испустила крик» есть некоторым образом метафора, и оно наглядно. И как Кефисодот советовал [афинянам] остерегаться, как бы не делать много скопищ, народных собраний. И Исократ [говорил то же] о сбегавшихся на торжественные празднества. И как [сказано] в эпитафии: «Достойно было бы, чтобы над могилой [воинов], павших при Саламине, Греция остригла себе волосы, как похоронившая свою свободу вместе с их доблестью»[82]. Если бы он сказал, что [грекам] стоит пролить слезы, так как их доблесть погребена — [это было бы] метафорично и наглядно, но [приведенные слова] заключают в
1411 b себе некоторое противоположение свободы доблести. И как Ификрат сказал: «Путь моих речей пролегает посреди Харетовых деяний». Здесь [употреблена] метафора по аналогии, и выражение «посреди» делает [фразу] наглядной. И выражение «призывать опасности на помощь против опасностей» есть метафора, делающая фразу наглядной. И Ликолеонт, защищая Хабрия[83], [сказал]: «Как, вы не уступите мольбам медной статуи, воздвигнутой в честь его?» Это была метафора для данной минуты, но не навсегда; хотя она наглядна; когда он [Хабрий] находится в опасности, за него просит его статуя, неодушевленное [как бы становится] одушевленным, этот памятник деяний государства. Таково и [выражение]: «они всеми силами стараются быть малодушными»[84], потому что стараться значит увеличивать что-нибудь. [Таково же и выражение]: «Бог зажег в душе разум, как светоч», потому что оба слова наглядно изображают нечто. [То же самое]: «Мы не прекращаем войны, а откладываем их»[85]; и то, и другое, и отсрочка, и подобный мир относятся к будущему. [Сюда же относится выражение], что мирный договор — трофей гораздо более прекрасный, чем [трофеи], полученные на войне[86], потому что последние

[получаются] за неважные вещи или за одно какое-нибудь случайное стечение обстоятельств, а первые — за всю войну; и тот, и другие — признаки победы. [Сюда же относится и выражение], что для государств большим наказанием служит осуждение людей, потому что наказание есть справедливо [нам причиняемый] ущерб.

11

Еще об удачных выражениях и игре слов (asteia). *Что такое наглядность? Отношение наглядности к метафоре.— Откуда следует заимствовать метафоры? — «Обманывание» слушателя: апофтегмы, загадки, парадоксы, шутки, основанные на перестановке букв и на созвучии, омонимы.— Сравнение, отношение его к метафоре.— Пословицы и гиперболы и их отношение к метафоре.*

Итак, мы сказали, что удачные выражения получаются из метафоры по аналогии и из оборотов, изображающих вещь наглядно; теперь следует сказать о том, что мы называем «наглядным» и результатом чего является наглядность. Я говорю, что те выражения представляют вещь наглядно, которые изображают ее в действии, например, выражение, что нравственно хороший человек четырехуголен, есть метафора[87], потому что оба эти понятия совершенны, но они не обозначают действия. А [выражение] «он находится в цвете сил» означает проявление деятельности, а также «тебя, как животное, свободно пасущееся [в священном округе]»[88]. Точно так же:

Тогда греки, воспрянув своими быстрыми ногами[89].

Выражение «воспрянув» означает действие и есть метафора, потому что оно заключает в себе понятие быстроты. И как Гомер часто пользовался [этим оборотом], с помощью метафоры представляя неодушевленное одушевленным. Во всех этих случаях от употребления выражений, означающих действие, фразы выигрывают, как, например, в следующих случаях:

Под гору камень бесстыдный назад устремлялся в долину[90].

И:

Горькое жало стрелы... назад отскочило от меди.
Острая стрела понеслась
в гущу врагов, до намеченной жадная жертвы.

И:

[Копья] в землю жалом вонзались, насытиться жаждая. 1412 a

И:

Жадно вперед устремив сквозь плечо ему грудь пронизало[91].

Во всех этих случаях предметы, будучи изображены одушевленными, кажутся действующими, так как «обманывать», «реять» и т. п. означают проявление деятельности. [Поэт] применил их с помощью метафоры по аналогии, потому что как камень относится к Сизифу[92], так поступающий бесстыдно относится к тому, по отношению к кому он поступает бесстыдно. [Поэт] пользуется удачными образами, говоря о предметах неодушевленных:

... бушует
Много клокочущих волн многошумной пучины — горбатых,
Белых от пены, бегущих одна за другой непрерывно[93].

[Здесь поэт] изображает все движущимся и живущим, а действие есть движение.

Метафоры нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше[94], из области предметов сродных, но не явно сходных, подобно тому как и в философии считается свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах, далеко отстоящих одни от других, как, например, Архит[95] говорил, что судья и жертвенник — одно и то же, потому что к тому и другому прибегают все, кто терпит несправедливость. Или если бы кто-либо сказал, что якорь и крематра[96] — одно и то же: и то, и другое нечто сходное, но отличается [одно от другого] положением: одно наверху, другое внизу. И [выражение] «государства уравнивались»[97] [отмечает] сходство в [предметах], далеко отстоящих один от другого, именно равенство в могуществе и в поверхности.

Большая часть забавных (asteia) оборотов получается с помощью метафор и посредством обманывания [слушателя]: для него становится яснее, что он узнал что-нибудь [новое], раз это последнее противоположно тому, [что он думал]; и разум тогда как бы говорит ему: «Как это верно! А я ошибался». И изящество апофтегм является следствием именно того, что они значат не то, что в них говорится, как, например, изречение Стесихора, что цикады для самих себя будут петь на земле[98]. По той же самой причине приятны хорошо составленные загадки: [они сообщают некоторое] знание и в них употребляется метафора. [Сюда же относится то], что Феодор называет «говорить новое (to caina legein)»; это бывает в том случае, когда [мысль] парадоксальна и когда она, как говорит Феодор[99], не согласуется с ранее установившимся мнением, подобно тому как в шутках употребляются измененные слова; то же действие могут производить и шутки, основанные на перестановке букв в словах, потому что [и тут слушатель] впадает в заблуждение. [То же самое бывает] и в стихах, потому что они заканчиваются не так, как предполагал слушатель, например:

Он шел, имея на ногах отмороженные места[100].

Слушатель полагал, что будет сказано сандалии, [а не отмороженные места]. Такие обороты должны становиться понятными немедленно после того, как они произнесены. А когда [в словах] изменяются буквы, то говорящий говорит не то, что говорит, а то, что значит получившееся искажение слова, таковы, например, слова Феодора к кифареду Никону[101]: «фракиянка [произвела] тебя [на свет]». Феодор делает вид, что говорит: это тебя тревожит, и обманывает [слушателя], потому что 1412 b на самом деле он говорит нечто иное. Поэтому [эта фраза] доставляет удовольствие тому, кто ее понял, а для того, кто не знает, что Никон — фракиец, [фраза] не покажется меткой[102]. Или еще фраза: «ты хочешь его погубить» или: «ты хочешь, чтобы он стал на сторону персов»[103]. И в том, и в другом смысле фраза должна быть сказана надлежащим образом. То же самое [можно сказать] и об игре слов, например, если говорится: «начальствование на море для афинян не было началом бедствий, потому что они извлекли из него пользу»[104]. Или, как [говорил] Исократ, что начальствование послужило для государства началом бедствий[105]. В обоих случаях произнесено то, произнесения чего трудно было бы ожидать, и признано верным. Сказать, что начало есть начало — не есть большая мудрость, но [это слово] употребляется не таким же образом, а иначе, и archē повторяется не в том же самом смысле, а в другом. Во всех этих случаях выходит хорошо, если слово надлежащим образом употреблено для омонимии или метафоры, например: «Анасхет невыносим»[106], здесь употреблена омонимия, и [употреблена] надлежащим образом, если [Анасхет действительно] человек неприятный. Или:

> Ты не можешь быть для нас более чужим, чем следует чужестранцу[107],

или: не более, чем ты должен быть, чужестранец; это — одно и то же. И «чужестранец не должен всегда оставаться чужим», и здесь у слова xenos различный смысл. То же самое можно сказать и о восхваляемых словах Анаксандрида:

> Прекрасно умереть, прежде чем сделаешь что-нибудь достойное смерти[108].

Сказать это—то же самое, что сказать: «стоит умереть, не стоя смерти», или «стоит умереть, не будучи достойным смерти», или «не делая чего-нибудь достойного смерти». В этих фразах один и тот же способ выражения, причем, чем фраза короче и чем сильнее в ней противоположение, тем она удачнее; причина этого та, что от противоположения сообщаемое сведение становится полнее, а при краткости оно получается быстрее. При этом всегда должно быть лицо, к которому фраза относится, и фраза должна быть правильно сказана, если то, что говорится, правда и не нечто пошлое, потому что эти качества могут не совпадать. Так, например, «следует умирать, ни в чем не погрешив»; [смысл здесь верен], но выражение не изящно. Еще: «достойный должен жениться на достойной»; это не изящно. Но если [фраза] обладает обоими качествами, например, «достойно умереть недостойному смерти», [то она

изящна]. Чем больше [фраза отвечает вышеуказанным требованиям], тем она удачнее, например, если имена употреблены как метафоры и если [в фразе] есть подобного рода метафоры, и противоположение, и приравнение, и действие.

И сравнения, как мы сказали выше[109], суть некоторым образом метафоры, всегда нравящиеся. Они всегда составляются из двух понятий, как метафора по аналогии, например, мы говорим, что щит — фиал
1413 a Ареса[110], а лук — бесструнная форминга. [Говоря] таким образом, употребляют [метафору] непростую, а назвать лук формингой и щит фиалом [значит употребить метафору] простую. Таким-то образом делаются сравнения, например, игрока на флейте с обезьяной и человека близорукого с потухающим светильником, потому что и тот, и другой мигают. Сравнение удачно, когда в нем есть метафора, так, например, можно сравнить щит с фиалом Ареса, развалины с лохмотьями дома; сюда же [относится] и сравнение: «Никерат — это Филоктет, укушенный Пратием», которое употребил Фрасимах, увидя, что Никерат[111], побежденный Пратием в декламации, отпустил себе волосы и неопрятен. На этом, то есть когда [сравнение] неудачно, поэты всего чаще проваливаются, и за это же, то есть когда [сравнение] удачно, их всего больше прославляют. Я разумею те случаи, когда поэт, например, говорит:

Его голени искривлены, как сельдерей[112].

Или:

Как Филаммон, сражаясь со своим мешком...[113]

Все подобные выражения представляют собой сравнение. А что сравнения не что иное, как метафоры, об этом мы говорили много раз.

И пословицы — метафоры от одного рода вещей к другому, например, если кто-нибудь сам введет к себе кого-нибудь, рассчитывая от него попользоваться, и потом терпит от него вред, то говорят: «это как карпатский житель и заяц»[114], ибо оба одинаково потерпели.

Таким образом, мы, можно сказать, выяснили, из чего образуются удачные обороты речи и почему.

И удачные гиперболы — метафоры, например, об избитом лице можно сказать: его можно принять за корзину тутовых ягод, так под глазами сине. Но это в значительной мере преувеличено. Выражения с «подобно тому как» и «так-то и так-то» — гиперболы, отличающиеся только формой.

Как Филаммон, сражаясь со своим мешком...

[Это сравнение становится гиперболой в такой форме]: можно подумать, что это — Филаммон, сражающийся с мешком. [Еще]: «иметь ноги кривые, как сельдерей», и можно подумать, что у него не ноги, а сельдерей, так они изогнуты. Есть гиперболы, носящие детский ха-

рактер, они заключают в себе преувеличение; поэтому их чаще всего употребляют под влиянием гнева:

Иль даже столько давай мне он, сколько песку
здесь и пыли...
В жены себе не возьму Атридовой дочери. Даже
Если красою она с золотой Афродитою спорит,
Если искусством работ совоокой Афине подобна[115].

Чаще всего пользуются гиперболами аттические риторы. Человеку 1413 b
же пожилому не подобает употреблять их.

12

Каждому роду речи соответствует особый стиль.— Стиль речи письменной и речи полемической.— Разница между стилем речи письменной и речи при устных состязаниях.— Для какой речи пригодны сценические приемы? — Заключение рассуждения о стиле.

Не должно ускользать от [нашего] внимания, что для каждого рода речи пригоден особый стиль, ибо не один и тот же [стиль] в речи письменной и в речи полемической, в речи произносимой перед народным собранием и в речи судебной. Необходимо знать оба [рода стиля], потому что первый заключается в искусном владении греческим языком, а зная второй, не бываешь принужден молчать, если хочешь передать что-нибудь другим, как это бывает с теми, кто не умеет писать. Стиль речи письменной — самый точный, а речи полемической — самый актерский. Есть два вида последнего [стиля]: один этический [затрагивающий нравы], другой патетический [возбуждающий страсти]. Поэтому-то актеры гонятся за такого рода драматическими произведениями, а поэты — за такого рода [актерами]. Поэты, пригодные для чтения, представляются тяжеловесными; таков, например, Херемон, потому что он точен, как логограф, а из дифирамбических поэтов — Ликимний[116]. Если сравнивать речи между собой, то речи, написанные при устных состязаниях, кажутся сухими, а речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискусными, [раз они у нас] в руках; причина этого та, что они пригодны [только] для устного состязания; по той же причине и сценические приемы вне сцены не производят свойственного им впечатления и кажутся нелепыми: например, фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи письменной по справедливости отвергается, а в устных состязаниях нет, и ораторы употребляют [эти обороты], потому что они свойственны актерам. При повторении одного и того же необходимо говорить иначе, что как бы дает место декламации, [например]: вот тот, кто обокрал вас, вот тот, кто обманул вас, вот тот, кто, наконец, решил предать вас. Так, например, поступал актер Филемон в «Безумии стариков» Анаксандрида[117] всякий раз, произнося «Радамант и Паламед», а в прологе к «Благочестивым»,

[произнося слово] «я». А если кто произносит такие фразы, не как актер, то он уподобляется человеку, несущему бревно. Точно то же [можно сказать] о фразах, не соединенных союзами, например: «я пришел», «я встретил», «я попросил». Эти предложения нужно произнести с декламацией, а не говорить их одинаково, одинаковым голосом, как бы говоря одну фразу. Речь, не соединенная союзами, имеет некоторую особенность: в один и тот же промежуток времени сказано, по-видимому, многое, потому что соединение посредством союзов делает многое чем-то единым, а с уничтожением союзов, очевидно, единое, напротив, делается многим. Следовательно, [такая речь] заключает в себе амплификацию[118]: «я пришел, заговорил, попросил» (это кажется
1414 a многим), «он с презрением отнесся ко всему, что я сказал». Того же хочет достигнуть и Гомер, говоря:

... Нирей... из Симы...
... Нирей был Аглаей рожден...
...Нирей... меж всеми красивейший[119].

О ком говорится многое, о том, конечно, говорится часто; и если [о ком-нибудь говорится] часто, кажется, [что о нем сказано] многое; таким образом [и поэт], раз упомянув [о Нирее], с помощью паралогизма увеличил число раз и увековечил таким образом его имя, хотя нигде в другом месте не сказал о нем ни слова.

Стиль речи, произносимой в народном собрании, во всех отношениях похож на скиаграфию (sciagraphia)[120], ибо чем больше толпа, тем отдаленнее перспектива, поэтому-то и там, и здесь, все точное кажется неуместным и производит худшее впечатление; точнее стиль речи судебной, а еще более точна речь, [произносимая] перед одним судьей: [такая речь] всего менее заключает в себе риторики, потому что здесь виднее то, что идет к делу и что ему чуждо; здесь не бывает препирательств, так что решение [получается] чистое. Поэтому-то не одни и те же ораторы имеют успех во всех перечисленных родах речей, но где всего больше декламации, там всего меньше точности; это бывает там, где нужен голос, и особенно, где нужен большой голос.

Наиболее пригоден для письма стиль речи эпидейктической, так как она предназначается для прочтения; за ней следует [стиль речи] судебной.

Излишне продолжать анализ стиля [и доказывать], что он должен быть приятен и величествен, потому что почему [ему обладать этими свойствами] в большей степени, чем умеренностью, или благородством, или какой-нибудь иной этической добродетелью? А что перечисленные [свойства стиля] помогут ему сделаться приятным, это очевидно, если мы правильно определили достоинство стиля; потому что для чего другого, [если не для того, чтобы быть приятным], стиль должен быть ясен, не низок, но приличен? И если стиль болтлив или сжат, он не ясен; очевидно, что [в этом отношении] пригодна середина. Перечислен-

ные качества сделают стиль приятным, если будут в нем удачно перемешаны выражения общеупотребительные и малоупотребительные, и ритм, и убедительные [доводы] в подобающей форме.

Итак, мы сказали о стиле — о всех стилях вообще и о всяком отдельном роде, в частности. Остается сказать о построении [речи].

13

На какие две части должна разделяться речь? — Подразделение Аристотеля и подразделение, установившееся до него.

Речь имеет две части, ибо необходимо назвать предмет, о котором идет речь, и доказать его; поэтому невозможно, назвав, не доказать или доказать, не назвав предварительно; человек доказывающий, доказывает нечто, и человек, предварительно излагающий что-нибудь, излагает это с целью доказательства. Первая из этих двух частей есть изложение (prothesis), вторая — способ убеждения (pistis), как если бы кто-либо разделил речь на части, из которых первая — задача, вторая — решение. А как делят теперь, так это [просто] смешно, ибо рассказ свойствен только судебной речи; каким образом может быть в речи эпидейктической и в речи, произносимой в народном собрании, то, что принято называть рассказом, или то, что относится к противнику, или заключение доказательств? Предисловие, взвешивание [доводов] и краткое повторение всего сказанного в речах, произносимых в народном собрании, бывает тогда, когда бывают прения, потому что в них часто дело идет об осуждении и оправдании, но не в тех случаях, когда бывает совещание. А заключение бывает даже не во всякой судебной речи, например, [его не бывает], когда речь коротка или когда дело легко запомнить, потому что обыкновенно приходится убавлять от того, что пространно. Следовательно, необходимые части речи — изложение и способ убеждения; они составляют ее неотъемлемую принадлежность, но по большей части бывают: предисловие, изложение, способ убеждения, заключение, потому что то, что говорится противнику, относится к способам убеждения, а сопоставление [доводов за и против] есть лишь усиление своих доводов, так что и оно — некоторая часть способов убеждения: делающий это [то есть сопоставление] доказывает нечто, а предисловие и заключение [ничего не доказывают], [заключение] же лишь напоминает. Если принять подобное подразделение, то придется сделать то же, что делали ученики Феодора: отличать собственно изложение diēgēsis от заключительного (epidiēgēsis) и предварительного (prodiēgēsis) и доказательство от окончательного доказательства. Следует лишь, называя какой-нибудь особый вид, устанавливать для него особый термин, в противном случае термин является пустым и вздорным; так поступает, например, Ликимний[121] в своей «Риторике», употребляя термины «вторжение», «отклонение», «разветвление».

14

Анализ первой части речи — предисловия. Сравнение предисловия с мелодией.— Предисловия к речам эпидейктическим и судебным, к произведениям дифирамбическим, эпическим, трагическим и комическим.— Другие виды предисловия, общие для всех родов произведений,— из чего слагается их содержание и какая цель при этом преследуется?

Итак, предисловие (prooimion) есть начало речи, то же, что в поэтическом произведении есть пролог, а в игре на флейте — прелюдия. Все эти части — начало; они как бы прокладывают путь для последующего. Прелюдия подобна предисловию в речах эпидейктических, потому что флейтисты все хорошее, что они имеют сыграть [во всей пьесе], играют в начале и объединяют в [такой] прелюдии; и в речах эпидейктических следует писать так же: сразу изложить и связать все, что хочешь [доказывать], как это и делают все. Примером этого может служить предисловие к «Елене» Исократа, потому что нет ничего общего между Еленой и эристическими рассуждениями[122]. Вместе с тем если предисловие отступает [от общего содержания речи], то получается та выгода, что не вся речь имеет одинаковый вид. Предисловия речей эпидейктических слагаются из похвалы или хулы, например, у Горгия в олимпийской речи: «О мужи эллины, заслуживающие уважения со стороны многих»[123], ибо он восхваляет тех, кто установил общественные собрания. Исократ же порицает их за то, что они, почитая дарами физические добродетели, не установили никакой награды для людей добродетельных[124]. [Предисловие может состоять и] из совета, например, что [следует] почитать хороших людей, что поэтому-то и он сам восхваляет Аристида[125], или, что следует почитать тех людей, которые не пользуются известностью и не дурные люди, но которые, будучи хорошими людьми, пребывают в неизвестности, как Александр,
1415 a сын Приама, ибо таким путем автор подает совет.

[Можно еще заимствовать содержание предисловия] из предисловий к речам судебным, то есть из непосредственного обращения к слушателям, если речь идет о чем-нибудь трудном или о чем-нибудь общеизвестном, с тем, чтобы получить прощение, так, например, начинает Херил:

Теперь, когда все разделено[126].

Итак, вот из чего [слагаются] предисловия к речам эпидейктическим: из похвалы, из хулы, из убеждения, из разубеждения, из обращений к слушателям. Эта «прелюдия» должна быть или связана с содержанием речи, или быть ему чуждой. Относительно предисловий к речам судебным следует установить, что они имеют такое же значение, как и прологи к драматическим произведениям и предисловия к

произведениям эпическим. А предисловия к произведениям дифирамбическим подобны предисловиям к речам эпидейктическим, [например]:

> Из-за тебя, твоих даров и добычи[127].

В эпических произведениях предисловие есть показатель [содержания] речи, чтобы [слушатели] заранее знали, о чем будет идти речь, и чтобы уж не были в недоумении, потому что неопределенное вводит в заблуждение. А кто как бы дал в руку слушателю начало речи, тот [этим самым] дает возможность следить за речью. Поэтому-то [говорится]:

> Пой, богиня, про гнев[128].

И:

> Муза, скажи мне о том многоопытном муже[129].

И:

> Скажи мне о другом, о том, как великая война из Азии перешла в Европу[130].

И трагики дают понятие о драме [в предисловии], если не тотчас, как Еврипид, то где-нибудь, как это [делает] и Софокл:

> Отцом мне был Полиб[131].

Так же [поступают] и комики, ибо необходимейшее назначение предисловия, свойственное ему, заключается в том, чтобы показать, какова та цель, ради которой [произносится] речь; поэтому-то, если дело ясно и коротко, не следует пользоваться предисловием.

Другие виды [предисловия], которыми пользуются [ораторы], представляют собой определенные приемы (iatreymata), они общи [всем родам произведений]; содержание их слагается в зависимости от личности самого оратора, от личности слушателя, от дела, от личности противника. Все, что способствует установлению обвинения или опровержению его, касается самого оратора или его противника. Но тут следует [поступать] неодинаково: оправдываясь, [следует приводить] то, что касается обвинения, в начале, а обвиняя, [следует приводить это] в заключение. Почему [следует поступать так], это совершенно ясно: когда оправдываешься, необходимо устранить все препятствия, раз рассчитываешь поставить самого себя перед судом, так что прежде всего следует опровергнуть обвинение. А когда сам обвиняешь, следует помещать обвинение в конце, чтобы оно больше осталось в памяти.

Предисловия, имеющие в виду слушателя, [возникают] из желания сделать слушателя благосклонным или рассердить его, а иногда еще из желания возбудить его внимание или наоборот, ибо не всегда полезно возбуждать его внимание; поэтому-то многие [ораторы] стараются рассмешить [слушателей]. Все это приводит к благосклонности [слушателя], если кто этого желает; [того же достигнет оратор], если выкажет себя нравственно хорошим человеком, потому что [слушатели] относятся с большим вниманием к таким людям. [Слушатели] внимательно отно-

1415 b сятся ко всему великому и к тому, что лично их касается, ко всему удивительному и приятному; поэтому следует внушать слушателям, что речь идет о подобных предметах. Если же нежелательно возбудить внимание [слушателей], [то должно им внушить], что дело, [которого касается речь], ничтожно, что оно нисколько их не касается, что оно заключает в себе нечто печальное. Не должно, однако, забывать, что все подобное не относится прямо к речи и предназначается для плохого слушателя, слушающего то, что к делу не относится. Если же слушатель не таков, в предисловии нет никакой надобности, а нужно разве только вкратце изложить дело, чтобы тело, так сказать, имело голову. Обязанность возбуждать внимание слушателей, когда это нужно, лежит одинаково на всех частях речи, потому что внимание ослабевает во всех других частях скорее, чем в начале. Поэтому смешно стремиться к этому в начале, когда [и так] все слушают с наибольшим вниманием. Таким образом, следует, где это уместно, употреблять [такие фразы]: «Уделите мне ваше внимание, потому что это дело касается не больше меня, чем вас» и: «Я вам скажу нечто такое страшное или такое удивительное, подобного чему вы никогда не слыхали». Это подобно тому, что Продик, когда его слушатели готовы были заснуть, говорил, что он вставит [в свою речь] 50-ти драхмовое учение[132]. Очевидно, что [подобные приемы употребляются] по отношению к слушателю, когда он не слушает, потому что все в своих предисловиях или обвиняют, или рассеивают страхи, [например]:

Царь, не спешил сюда я в быстром беге[133].

Или:

К чему столько предисловий?[134]

[К этому приему прибегают также] те, дело которых неправо или кажется неправым, потому что им выгоднее останавливаться на всем другом, кроме своего дела. Поэтому-то и рабы отвечают не то, что у них спрашивают, а [ходят] вокруг да около и делают длинные вступления.

Каким образом следует делать [слушателей] благосклонными, об этом мы сказали[135], так же как и о каждом подобном [приеме в отдельности], ибо хорошо сказал [поэт]:

Дай мне к феакам угодным прийти, возбуждающим жалость[136],

так как к этим двум [вещам] следует стремиться. А в речах эпидейктических нужно заставлять слушателей думать, что похвала относится также или к ним самим, или к их роду, или к их образу жизни, потому что правду говорит Сократ в надгробной речи: «Нетрудно хвалить афинян среди афинян, [но трудно хвалить их] среди лакедемонян»[137].

Предисловия в речах, произносимых перед народом, берутся из предисловий к речам судебным; но по самой своей природе [эти речи]

наименее в них нуждаются, потому что и [слушатели] знают, о чем идет речь, и самое дело нисколько не нуждается в предисловии. [Предисловие] может быть нужно лишь или ради самого оратора, или ради его противников, или если слушатели считают дело не таким важным, каким [оратор] желает [его представить], но или более, или менее важным, почему и бывает необходимо установить обвинение или опровергнуть его, увеличить или уменьшить [значение дела]; ради этого и бывает нужда в предисловии,— еще [предисловие бывает нужно] для украшения, так как речь кажется наскоро составленной, если в ней нет [предисловия]. Такова, например, хвалебная речь Горгия к элейцам, 1416 a где он, не подбоченясь и не размахнувшись предварительно, прямо начинает: «Элея, счастливый город...»[138].

15

Обвинение; различные способы, каким можно его опровергнуть.

Что касается обвинения (diabolē), то один [способ опровергнуть его заключается в пользовании тем], с помощью чего можно рассеять неблагоприятное мнение; при этом безразлично, высказано оно кем-нибудь или нет; это общее правило.

Другой способ [заключается в том], чтобы идти навстречу спорным пунктам [утверждая], что этого нет, или что это невредно, или что это не[вредно] для данного лица, что это вовсе не так важно, или не несправедливо, или невелико, или непостыдно, или не имеет тех размеров, [какие ему приписывают], потому что относительно подобных пунктов [может быть] спор; как и Ификрат [говорил] Навсикрату[139]: он сознавался, что сделал то, о чем говорил [противник], и причинил вред, но [утверждал], что не сделал ничего несправедливого. [Еще можно утверждать], что, поступая несправедливо, мы даем нечто взамен или что, если это вредно, то в то же время и прекрасно, и если печально, то полезно, или что-нибудь подобное.

Третий способ [заключается в утверждении], будто данный поступок совершен по ошибке, или вследствие несчастного случая, или по необходимости, как, например, говорит Софокл, что он дрожит не для того, чтобы, как говорит обвинитель, казаться стариком, но по необходимости: не по его воле ему 80 лет[140].

[Можно] также подставить [другую] причину, ради которой [поступок якобы совершен; сказать], что мы желали не причинить вред, а сделать то-то, не то, в совершении чего нас обвиняли, что [нам самим] пришлось при этом понести ущерб: стоило бы нас возненавидеть, если бы мы действовали с тем, чтобы случилось это. Еще один [способ заключается в том], чтобы обратить обвинение на самого обвинителя, [утверждая], что прежде сам он или кто-нибудь из его близких [сделал это самое]. Еще один [способ заключается] в упо-

минании проступка таких лиц, которые, по общему признанию, не подлежат обвинению, [говоря], например, так: если совершивший то прелюбодеяние невиновен, то и этот также невиновен.

Еще один [способ заключается в указании], что [противник раньше] обвинял других или что [кто-нибудь] другой [обвинял] их, или что они, не подвергаясь прямо обвинению, были подозреваемы, как и обвиняемый теперь, а потом оказались невиновными.

Еще один [способ заключается] в возведении обвинения на самого обвинителя, потому что было бы странно, если бы заслуживали доверия слова человека, который сам его не заслуживает.

Еще один [способ возникает в том случае], если судебный приговор уже произнесен, как в «Антидосисе» [говорит] Еврипид Гигиенонту, обвинявшему его в безбожии за то, что он побуждал к клятвопреступлению словами:

Мой язык произнес клятву, но мое сердце не произнесло ее[141].

Еврипид утверждал, что сам он неправ, перенося в суд дела, по поводу которых произнесен приговор на состязании в честь Диониса[142], что он, [Еврипид], там уже отдал отчет в своих словах или отдаст его, если он [Гигиенонт] пожелает поддерживать обвинение.

Еще один [способ заключается] в том, чтобы осудить клевету, показать, какое [она зло], [показать], что под влиянием ее возникают иные приговоры и что она не соответствует делу.

Способ, общий для обеих сторон, заключается в пользовании признаками, как, например, в «Тевкре» Одиссей [говорит], что он, Тевкр,
1416 b родственник Приама, потому что Гесиона, [его мать] — сестра [Приама]. Тевкр же [отрицает это, говоря], что Теламон, его отец, был враг Приама и что он сам не донес на лазутчиков[143].

Еще один [способ, которым можно пользоваться] обвинителю, [заключается в том], чтобы, пространно похвалив что-нибудь ничтожное, в немногих словах осудить что-нибудь важное, или же [в том, чтобы], поставив на вид многие хорошие стороны [подсудимого], осудить одно то, что имеет решающее значение для дела. Эти [приемы] самые искусные, но и самые несправедливые, потому что они стремятся повредить человеку с помощью его же хороших сторон, смешивая их с [его] недостатками.

[Прием], общий для обвиняющего и для оправдывающего (так как одно и то же может быть сделано ради многих различных причин), заключается в том, чтобы обвиняющему обвинять, принимая все в худшем свете, а оправдывающемуся — в лучшем, например, по поводу того, что Диомед выбрал Одиссея, одному следует говорить, что Диомед поступил так, считая Одиссея самым доблестным, а другому — что вовсе не потому, а по той причине, что [Одиссей] один, по своей трусости, не мог бы стать для него соперником[144].

Вот все, что нужно сказать об обвинении.

16

Анализ второй части речи (рассказа).— Как нужно строить рассказ и какими свойствами он должен обладать в речах эпидейктических, судебных и произносимых перед народным собранием?

В речах эпидейктических рассказ должен быть изложен не весь сразу, а по частям, так как следует изложить те деяния, вследствие которых сложилась речь. Речь слагается, таким образом, из части, не зависящей от искусства (потому что оратор к фактам не имеет отношения), и части, зависящей от искусства; эта последняя заключается в том, чтобы показать или что предмет речи факт, если он кажется невероятным, или что он именно таков, или настолько важен, или все [это вместе]. Поэтому-то иногда следует излагать не все подряд, потому что при таком способе изложения трудно все запомнить; на основании того-то, например, [устанавливается, что] он [то есть лицо, о котором идет речь] — человек мужественный, на основании другого, что он — человек мудрый или справедливый. При первом способе изложения речь бывает слишком проста, а при другом она разнообразна и не бесцветна.

Факты, всем известные, нужно только напоминать; поэтому для большинства [таких случаев] рассказ вовсе не нужен, например, если желаешь восхвалять Ахилла, так как его подвиги всем известны и ими нужно только воспользоваться. А если [ты хочешь восхвалять] Крития[145], [то рассказ] необходим, потому что немногие знают [о нем]. В настоящее время смешно утверждают, будто рассказ должен быть быстр. Как некто на вопрос булочника, какой замесить хлеб, крутой или мягкий, ответил: как, [а разве] невозможно [замесить] хороший хлеб? Точно так же и здесь: не следует пространно рассказывать, так же как не следует делать пространные предисловия и приводить [пространные] доказательства. В этом случае «хорошо» заключается не в быстроте или сжатости, а в надлежащей мере; последнее же состоит в том, чтобы сказать все то, что уясняет дело, или что надобно для того, чтобы показать, что [то-то] было, или что [тот-то] 1417 a причинил вред, или поступил несправедливо, или что [данный случай] имеет ту важность, какую ты хочешь [ему придать]. А для противника [пригодно все] противоположное. К рассказу присоединять [следует] все то, что возвеличивает твою собственную добродетель, например: «Я всегда внушал ему справедливое, убеждал его не покидать своих детей», или [усиливает] негодность противника, например: «Он мне отвечал, что везде, где он будет, у него будут другие дети», как, по словам Геродота[146], отвечали поднявшие смуту египтяне. Или [следует присоединить к рассказу] все то, что приятно для судей.

При защите рассказ [должен быть] короче, так как оспаривается при этом, что [то или другое] произошло, или что оно вредно, или что

несправедливо, или что имело столь важное значение, так что о фактах установленных говорить не следует, если только они не ведут каким-нибудь образом [к фактам неустановленным], например, если [доказано, что данный поступок] совершен, но [не доказано, что он] не заключает в себе ничего несправедливого. Кроме того, следует говорить о таких совершившихся фактах, которые, не совершаясь [на глазах слушателей], возбуждают или сожаление, или ужас. Пример этого [мы находим] в «Апологе» у Алкиноя, рассказанном Пенелопе в 60 стихах, в киклической поэме Фаилла и в прологе к «Ойнею»[147]. Рассказ должен отражать характер, а это будет в том случае, если мы будем знать, в чем заключается характер. Во-первых, в обнаружении намерения, ибо каков характер, это [определяется] тем, каково намерение, а каково намерение, это [зависит] от того, какова цель [его]. Поэтому-то речи на научные темы совсем не отражают характера, так как не [отражают] намерения. Другое дело, сократовские речи — они касаются именно таких вопросов. Все, что есть следствие какого бы то ни было характера, отражает характер, например, слова: «говоря, он шел вперед», так как это указывает на порывистый и грубый характер. И [нужно] говорить не по расчету как [поступают] теперешние люди, а согласно намерению [принципу], [например]: я этого хотел, потому что считаю это лучшим, и это лучше, даже если я здесь не получу никакой пользы. Первое, [расчет], свойственно человеку благоразумному, второе, [принцип], — человеку хорошему: благоразумному в его погоне за полезным, хорошему — за прекрасным. Если же [то, что говорится] неправдоподобно, то должно присовокуплять основание [своих слов], как делает Софокл: примером могут служить слова Антигоны, что она больше заботилась о брате, чем о муже и детях, потому что в случае погибели мужа и детей на место их могут явиться другие [муж и дети]:

Но если мать с отцом в Аид сокрылись,
Уж никогда не народится брат[148].

Если же ты не можешь привести основания [своих слов], то [должен сказать], что отлично сознаешь неправдоподобность своих слов, но что таков уж ты от природы, потому что люди не верят, что можно добровольно делать что-нибудь кроме того, что тебе полезно. Кроме того, пользуйся в рассказе чертами, относящимися к страстям, касаясь и того, что бывает их следствием, а также того, что [слушателям] известно, и частностей, которые касаются самого оратора или его противника, например: «смерив меня сердитым взглядом, он удалился».
1417 b Или как Эсхин [говорит] о Кратиле[149]: «шипя и потрясая руками», так как [такие выражения] убедительны, ибо то, что слушателям известно, является признаком того, что им неизвестно. Множество подобных примеров можно заимствовать из Гомера, [например]:

Так говорила. Лицо старуха закрыла руками[150].

Действительно, принимаясь плакать, люди закрывают глаза [руками]. Выставь себя сразу человеком известного склада, чтобы слушатели смотрели на тебя, как именно на такого человека, а на противника [наоборот], но делай это незаметно. А что это нетрудно, это мы видим, когда кто-нибудь является к нам с известием; и о том, кого мы совсем не знаем, мы все-таки составляем себе некоторое предположение. Рассказывать следует во многих местах [речи], и иногда не в начале.

В речах, произносимых перед народным собранием, всего менее рассказа, потому что никто не рассказывает будущего, а если и есть рассказ, то он будет касаться прошедшего, для того чтобы, припомнив его с осуждением или похвалой, [слушатели] лучше рассудили о будущем; но в этом случае [оратор] принимает на себя обязанность не простого советника. Если же [то, что оратор говорит], представляется неправдоподобным, [нужно] тотчас же обещать привести основание для своих слов и изложить его, перед кем они [слушатели] желают, как, например, Иокаста, в Каркиновом «Эдипе»[151], постоянно дает обещания в ответ на вопросы того, кто искал ее сына. То же делает и Гемон у Софокла[152].

17

Анализ третьей части речи (доказательства).—Откуда следует заимствовать и как строить доказательства в речах эпидейктических, произносимых перед народом, и судебных?

Способы убеждения должны иметь аподиктический характер. Так как спор [может касаться] четырех пунктов, то следует доказывать, направляя доказательства к спорному пункту, например, если спорят относительно того, действительно ли что-нибудь было, то при судебном разбирательстве доказательства следует как можно больше свести к этому; если же [спорят о том], действительно ли причинен вред, [то и доказательства должны быть сведены] к этому; и [если спор касается] важности или справедливости совершенного поступка, то [здесь нужно иметь в виду] также, точно ли этот факт имел место. Не следует при этом забывать, что только в случае такого спора один из противников необходимо бывает бесчестен, потому что здесь не может быть виною неведение, как в том случае, когда кто-либо расходится в мнении относительно справедливости [чего-либо]. Таким образом, на этом вопросе следует останавливаться, а на других нет. В речах эпидейктических по большей части преувеличению подлежит оценка прекрасного и полезного. Факты сами должны внушать доверие, потому что относительно их редко приводятся доказательства,— разве если они неправдоподобны или если их относят на счет другого лица.

В речах, произносимых перед народом, может быть спор относительно того, что что-нибудь не будет, или что то, что оратор советует,

будет, но что оно или несправедливо, или неполезно, или не так важно. Следует при этом также иметь в виду, не позволяет ли себе [противник] лжи в чем-нибудь, не относящемся к данному делу, так как
1418 a это представляется доказательством, что он лжет и в других случаях. Примеры более свойственны речам, произносимым перед народом, а энтимемы — речам судебным: первые имеют в виду будущее, так что необходимо приводить примеры из прошедшего, а вторые [касаются] того, что есть или чего нет; тут более нужны доказательства и понятие необходимости, потому что прошедшее имеет характер необходимости. Не следует приводить энтимемы одну за другой, а [нужно] примешивать их [к другим оборотам], в противном случае они вредят одна другой, потому что есть предел и для количества.

Все ты, мой друг дорогой, говоришь, что сказал бы и сделал[153],

а не то [что сказал бы разумный]. И не по всякому поводу [следует] изыскивать энтимемы, потому что в противном случае ты поступишь так же, как некоторые философы, которые силлогистическим путем доказывают вещи более известные и более правдоподобные, чем те [положения], из которых они исходят. И когда хочешь возбудить страсть, не употребляй энтимему, потому что она или погасит страсть, или будет приведена совершенно напрасно, ибо [два] одновременных движения задерживают друг друга, или совсем уничтожаются, или ослабляются. И когда речь должна носить известный [нравственный] характер, не следует в то же время приискивать энтимемы, потому что доказательства не имеют никакого отношения ни к характеру, ни к принципам. Изречения следует употреблять и при рассказе, и при доказательстве, потому что они имеют отношение к характеру: «и я дал, хотя и знал, что не следует [вообще] доверять». Или если [кто хочет] возбудить страсть: «хоть я и потерпел, а не раскаиваюсь, потому что на его стороне выгода, а на моей справедливость». Произносить речи в народном собрании труднее, чем произносить речи судебные; [это и] естественно, так как в первом случае [приходится говорить] о будущем, во втором же о прошедшем, которое стало известно даже и пророкам, как говорил Эпименид Критский[154]: он отгадывал не будущее, а события, которые хотя и свершились, но остались темными. В речах судебных основанием служит закон, а раз имеешь точку отправления, легче найти доказательство. [В речах, произносимых перед народом], нет бесчисленных отступлений, например, против доводов противника, или о самом себе, или с целью возбудить страсть. [Этот род красноречия допускает подобные отступления] менее, чем все другие роды, если только он не выходит [за пределы своей области]. В затруднительных случаях нужно делать то же, что делают в Афинах ораторы и Исократ: в речи совещательной он прибегает к обвинению, например [обвиняет] лакедемонян в своем «Панегирике» и Харета в речи о союзе[155]. В речах эпидейктических следует вставлять в речь похвалы, как это делает Исократ: он постоянно вводит какую-нибудь [похвалу]. И слова Горгия, что у него

никогда не бывает недостатка в теме для речи[156], сводятся к тому же самому, ибо если он, говоря об Ахилле, восхваляет Пелея, затем Эака[157], затем бога [Зевса], и также мужество и то-то, и то-то, он делает то же самое. Раз [оратор] имеет в руках доказательства, он должен придавать речи и этический, и эпидейктический характер, если же у него в руках нет энтимем, [он должен говорить] этически. Более подходит нравственно хорошему человеку выказать свою честность, чем 1418 b
ясность речи. Из энтимем большей известностью пользуются энтимемы опровергающие, чем показательные[158], потому что во всем том, что имеет характер опровержения, силлогизм виднее, ибо противоположности становятся яснее, раз они поставлены рядом.

[Рассуждения, прямо] направленные против противника, не представляют собою какого-либо особого вида, так как к области способов убеждения относится опровержение доводов противника — посредством ли возражений, или посредством силлогизмов[159]. Оратор, начиная речь, совещательную или судебную, должен сначала изложить свои собственные способы убеждения, а потом выступить против доводов своего противника, уничтожая их или заранее браня их. Если же много пунктов, вызывающих возражения, то следует сначала приняться за них, как, например, поступил Каллистрат[160] в народном собрании в Мессене: он сам начал говорить, лишь опровергнув предварительно то, что должны были говорить его [противники]. Говоря вторым, [оратор] должен сначала направить свою речь против речи противника, разбивая его доводы или противополагая [им свои], особенно, если [доводы противника] имели успех, ибо как душа не привязывается к человеку, который раньше подвергся обвинению [в чем-либо дурном], точно так же [не принимает она] и речи [оратора], если речь противника представляется убедительной. Нужно, таким образом, в душе слушателя очистить место для предстоящей речи, чего ты достигнешь, опровергнув [доводы противника]; по этой причине должно придать своим словам вес посредством предварительной борьбы или со всеми доводами противника, или с главнейшими из них, или с наиболее поддающимися опровержению.

Сначала я стану союзницей богинь,
Именно Геру я...[161]

Здесь [поэ́т] сначала коснулся самого легкого. Это о способах убеждения. Что же касается характера, то так как говорить о самом себе некоторые вещи значило бы возбудить зависть, или [заслужить упреки] в многословии, или [вызвать] противоречие, а [говорить] о ком-нибудь друго́м [значило бы заслужить упреки] в брани или грубости, ввиду этого следует влагать слова в уста какого-нибудь другого лица, как это делает Исократ в речи к Филиппу и в «Антидосисе»[162]. И так же порицает Архилох: в своих ямбах он выводит на сцену отца, который говорит о своей дочери:

Нет ничего такого, чего нельзя было бы ожидать,
Или что можно было бы клятвенно отрицать[163].

Он выводит также плотника Харона в ямбе, начало которого [таково]:

О многозлатом Гигесе не думаю[164].

И как Софокл [выводит] Гемона, [говорящего] перед отцом в защиту Антигоны как бы на основании слов других лиц[165]. Иногда следует изменять вид энтимем и придавать им форму изречений[166]; например, люди благоразумные должны соглашаться на мир и тогда, когда счастье на их стороне, потому что таким путем они могут получить всего больше выгод. А с помощью энтимемы [следовало бы сказать так]: если нужно заключать мир в то время, когда он всего полезнее и выгоднее, то следует заключать его тогда, когда счастье на нашей стороне.

18

Три случая, когда в речи уместно прибегать к вопросу.— Двусмысленные вопросы.— Шутки.

Что касается вопроса, то его всего уместнее предлагать тогда, когда 1419 a одно из двух положений высказано таким образом, что стоит предложить один вопрос, чтобы вышла нелепость; например, Перикл спросил Лампона о посвящении в таинства «Спасительницы»[167]. Тот ответил, что об этом невозможно слышать непосвященному. «А сам ты знаешь об этом?» — спросил Перикл и, получив утвердительный ответ, [сказал]: «Как же [ты узнал], когда не был посвящен?»

Во-вторых, [вопрос уместен], когда из двух пунктов один сам по себе ясен, а относительно другого ясно, что на вопрос о нем дан будет утвердительный ответ. Установив с помощью вопроса одно какое-нибудь положение, не следует предлагать еще вопрос о том, что само по себе ясно, а прямо выводить заключение; так, например, Сократ спросил Мелета, утверждавшего, что он не признает богов: «Признаю ли я, по-твоему, существование каких-нибудь демонов?» И, получив утвердительный ответ, продолжал: «А демоны не дети ли богов или не нечто ли божественное?» И на утвердительный ответ спросил: «Есть ли такой человек, который бы признавал детей богов, а самих богов не [признавал бы]»[168].

В-третьих, [вопрос уместен], если посредством его имеешь в виду показать, [что противник] сам себе противоречит или говорит нечто парадоксальное. В-четвертых, когда противник не может разрешить вопрос иначе, чем дав на него софистический ответ; если он ответил, например, так: и есть и нет; это и так, и не так; частью да, частью нет, то [слушатели] приходят в недоумение, как будто он не знает, [что сказать].

В других случаях не [следует] прибегать [к вопросам], потому что если [противник] устоит перед вопросом, [спрашивающий] представляется побежденным, так как невозможно предлагать много вопросов

вследствие неподготовленности слушателей. По той же причине следует придавать энтимемам как можно более сжатый вид.

На вопросы двусмысленные [следует отвечать] раздельно и не сжато, а на вопросы, которые, по-видимому, заключают в себе противоречие, следует отвечать, разъясняя немедленно ответом [это противоречие], прежде чем [противник] предложит следующий вопрос или построит силлогизм, потому что нетрудно предугадать, куда идет речь. Но это, а также способы разрешения вопросов должны быть нам ясны из «Топики»[169]. И, делая заключение, если вопрос ведет к заключению, [следует] приводить причину, как, например, Софокл на вопрос Писандра[170], был ли он, как и другие члены совета, за учреждение совета 400, отвечал утвердительно. «Разве это не казалось тебе дурным?» — «Да, казалось».— «Разве ты не поступил таким образом дурно?» — «Да,— отвечал [Софокл],— но лучше поступить было нельзя». И как лаконец, отдавая отчет за то время, когда был эфором[171], на вопрос, кажется ли ему справедливой гибель остальных, отвечал: да. «Не делал ли ты то же, что и они?» — продолжал спрашивавший. «Да»,— отвечал лаконец. «Не была ли бы справедливой и твоя гибель?» — «Конечно, нет, ибо они поступали так потому, что взяли за это деньги, а я не потому, а по убеждению». Поэтому-то следует ни предлагать вопрос после заключения, ни облекать самое заключение 1419 b в форму вопроса, если только перевес истины не находится в значительной мере [на нашей стороне].

Что касается шуток, которые, по-видимому, занимают некоторое место в прениях[172], то, как говорит Горгий, следует серьезность противника отражать посредством шутки, а шутку посредством серьезности[173]. И это замечание правильно. В «Поэтике»[174] мы уже сказали, сколько есть видов шутки, из которых один пригоден для свободного человека, другой нет, чтобы каждый выбирал то, что для него пригодно. Ирония отличается более благородным характером, чем шутовство[175], потому что в первом случае человек прибегает к шутке ради самого себя, а шут [делает это] ради других.

19

Анализ четвертой части речи — заключения.— Четыре части, на которые распадается заключение, и их анализ.

При составлении эпилога оратору нужно: во-первых, постараться хорошо расположить слушателей к себе и дурно — к противнику, во-вторых, применить преувеличение и умаление, в-третьих, разжечь страсти слушателей, в-четвертых, напомнить [для чего произнесена речь].

Раз [оратор] показал, что он прав, а его противник неправ, он совершенно естественно в этом же духе хвалит, порицает и дает окон-

чательную отделку своей речи. [Оратор] должен стремиться [доказать] одно из двух: что сам он—хороший человек, по отношению ли к слушателям, или безотносительно, или что [противник его] — дурной человек, по отношению к ним или безотносительно. С помощью каких средств следует таким образом настраивать слушателей, об этом мы сказали, говоря о способах представить людей хорошими или дурными[176]. Затем, показав это, естественно следует преувеличивать или умалять, потому что следует признавать факты совершившимися, если имеешь в виду оценивать их значение: ведь и увеличение тел происходит в зависимости от ранее существовавших свойств. А с помощью чего следует преувеличивать и умалять, по этому вопросу ранее были изложены топы[177]. После этого, раз выяснено, каковы и насколько важны [факты], следует возбудить в слушателях страсти, каковы: сострадание, ужас, гнев, ненависть, зависть, соревнование и вражда. И относительно этого раньше были указаны топы[178]. Таким образом, остается возобновление в памяти сказанного раньше. Это следует делать так, как [некоторые] советуют [поступать] в предисловии, но советуют неосновательно: они велят часто повторять [одно и то же], чтобы быть удобопонятным. Таким образом, там в [предисловии] нужно изложить обстоятельства, чтобы было ясно, что обсуждается, а здесь [в заключении] нужно подвести итог тому, на основании чего дело доказано. [Оратор] должен начать с того, что он дал то, что обещал, так что ему нужно сказать, что и почему [он хотел доказать]; при этом [следует] противопоставлять свои слова словам противника и сравнивать или все то, что каждый из двух противников сказал об одном и том же предмете, или же, не делая [прямых] противоположений, [говорить], например, так:
1420 a «Он относительно этого сказал то-то, а я вот что и вот почему». Или же [можно употребить] иронию, например: «он [сказал] то-то, а я вот это, что бы он делал, если бы доказал это, а не то?» Или [можно употребить] вопрос, например: «Что мне остается доказать?» Или: «Что он доказал?» [Нужно делать заключение] или так, путем сравнения, или естественным путем, как было сказано, [перечислив] свои доводы, а затем, если угодно, [перечислив] отдельно и доводы противника. В конце уместны фразы без союзов, чтобы это было заключение, а не речь, [например]: «я сказал», «вы слышали», «дело в ваших руках», «произнесите приговор».

ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ

О СОЕДИНЕНИИ СЛОВ

I. НАЗНАЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ[1]

«Этот подарок тебе от меня, о возлюбленный сын мой»[2] —так говорит у Гомера Елена Телемаху, принимая его у себя; таковы и мои слова в этот день твоего рождения, первый по твоем совершеннолетии, в этот праздник, самый чтимый и радостный для меня.

Я не хочу сказать тебе, как говорила юноше царица, что плащ этот — труд моих рук, и чтобы ты сохранил его лишь для молодой твоей супруги в день вашей свадьбы. Но это — творение и плод духа моего, усилий моих, вещь полезная и надобная во всякой жизненной нужде, где потребна бывает речь, особенно же необходимая (если только я правильно сужу) для всех, кто упражняется в гражданских речах, независимо от возраста и состояния; и прежде всего полезная вам, молодым людям, только что приступившим к этой науке,—таким, каков ты сам, Руф, отпрыск добродетельного отца, достойнейший из моих друзей[3].

Есть два рода упражнений во всех, так сказать, речах: одни производятся над мыслями, другие — над словами. Первые из них принадлежат более к части предметной, вторые — к части словесной. Всякий, кто стремится хорошо говорить, должен проявлять одинаковое усердие в обеих этих науках о речи. Однако наука, ведущая нас к предметам и заключенным в них мыслям, медлительна и тяжела для молодых и не может пасть на долю нежного ребяческого возраста. Это удел разума зрелого: лишь поседелым летам свойственнее такое познание, умноженное обильными сведениями о словах и деяниях, равно как богатым опытом всего, что бывало с ним и другими людьми. Напротив, любовь к красоте и ценности слова не менее цветет и в юношеском возрасте. Действительно, все молодые души наслаждаются цветистостью выра- 5
жения и стремятся к ней безумно, словно одержимые богом. Они-то и нуждаются с самого начала в основательном и разумном надзоре и руководстве, если только хотят не всякое выговаривать слово, что на язык попадет, и не наудачу соединять между собою первые попавшиеся слова, но пользоваться подбором слов чистых и подлинных и содействовать их красоте, соединяя их величаво и вместе с тем приятно.

По этой-то науке, в которой прежде всего должны упражняться молодые люди, я и приношу тебе кое-что, желая посодействовать тво- 6

ему интересу к соединению слов. О таком предмете думали многие сочинители старых учебников риторики и диалектики, но мне кажется, что до сих пор никто не разработал его с достаточною тщательностью. Если же позволит время, то я поднесу тебе и другое сочинение — об отборе слов, чтобы обладал ты полностью разработанной наукой о словесной части. Итак, ожидай этот труд в будущем году, к следующему дню твоего рождения, если боги волею судьбы сохранят меня здоровым и невредимым. А покамест прими то сочинение, к которому божество склонило мой ум.

[План]. Разделы этого сочинения, которые надлежит мне указать, суть следующие: какова природа соединения слов; в чем заключается
7 его сила; к какой цели оно стремится и как ее достигает; каковы в самых общих чертах виды его, в чем их особенности, и какой из них, по моему мнению, является важнейшим; наконец, в чем та поэтичность, благозвучная и сладостная для слуха, которая от природы сопутствует складу прозаической речи, и, напротив, в чем сила поэтических средств, подражающих безыскусственной речи и преуспевающих в этом подражании; и какими мерами достигается то и другое. Таковы в общих чертах вопросы, о которых мне предстоит говорить.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ЦЕЛЬ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение, как показывает само название, есть некое одних по
8 отношению к другим положение тех частей речи[4], которые иные называют элементами речи.

Теодект, Аристотель[5] и современные им философы насчитывали таковых три, называя основными частями речи имена, глаголы и союзы. Позднейшие ученые, и в первую очередь руководители стоической школы, отделив от союзов члены, довели их число до четырех[6]. Последующие ученые, отделив от имен нарицательных собственные, установили пять основных частей[7]. Другие, отделив от имен местоимения[8], ввели
9 шестой элемент. Третьи отделили наречия[9] от глаголов, предлоги от союзов и причастия от нарицательных имен. Четвертые путем новых подразделений еще более увеличили число основных частей речи[10]. По этому поводу сказать можно бы немало.

Эти-то основные части — три, четыре или сколько бы их ни было — своим сплетением и соположением образуют так называемые члены речи; построение членов составляет так называемые периоды[11], а периоды дают завершение всей речи целиком. И вот задача соединения заключается в том, чтобы естественно расположить слова по отношению друг к другу, придать колонам соответствующее построение и целую речь расчленить на периоды.

В последовательности рассмотрения словесной части соединение занимает лишь второе место, ибо подбор слов здесь первенствует и

естественно предшествует ему, однако и приятность речи, и убеди-
тельность, и мощь гораздо более зависят именно от соединения. Пусть
только не покажется странным, что о подборе слов есть так много
важных правил, о которых немало сказано и философами и риторами, 10
между тем как соединение, занимающее лишь второе место по порядку
и бывшее предметом далеко не столь многочисленных разработок, тем
не менее, обладает мощною способностью всю работу подбора подчи-
нять себе и над нею господствовать. Вспомним, что и в других искус-
ствах (в строительном, например, в плотничьем, в вышивании и в дру-
гих подобных, то есть во всех тех искусствах, которые строят то,
что им нужно, из заранее собранных разнообразных материалов)
возможности сочетаний стоят по порядку после возможностей подбора,
а по силе — впереди. Стало быть, неудивительно, что совершенно так
же дело обстоит и с речью. Но не мешает также представить тому и
доказательства, дабы не подумали, что рассуждение, представляющееся
еще спорным, мы принимаем как явное.

III. РОДЫ РЕЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ

Всякая речь, которой выражаем мы мысли, бывает либо стихотвор-
ной, либо прозаической. Как в той, так и в другой стихи и проза ста- 11
новятся красивыми тогда, когда достигается красивая стройность (to
metron cai ton logon); слово же, брошенное наугад, как попало, губит
вместе с собой и полезную мысль. Многие поэты и прозаики, как фи-
лософы, так и ораторы, заботливо подбирают очень красивые и соот-
ветствующие содержанию выражения, но необдуманно и безвкусно со-
единяют их, и ничего хорошего от такого труда не получается; и
наоборот, другие, взяв низменные, простые слова, но сложив их в
приятные и искусные сочетания, облекают речь величайшей прелестью
(aphroditēn). Пожалуй, соединение слов так же относится к подбору, 12
как слова относятся к мыслям. Как бесполезна хорошая мысль, если
ты не украсишь ее прекрасным словесным выражением, так точно и
здесь нет никакого проку в изыскании чистого, благозвучного выра-
жения, если последнее не вправлено в соответствующее ему красивое
построение (cosmon... harmonias).

Чтобы не казалось, будто я не привожу никаких оснований, убе-
дивших меня, что умелое сочетание лучше и совершеннее, нежели от-
бор, я попытаюсь показать это на примере, взявши малые образцы
как из стихотворной, так и из прозаической речи. Из поэтов возьмем
Гомера, из прозаиков — Геродота[12], а по ним можно будет составить
представление и об остальных.

Итак, у Гомера возвратившийся Одиссей у свинопаса встает поутру
для завтрака по древнему обычаю, как вдруг к ним является Телемах 13

в пути своем из Пелопоннеса. Предметы здесь самые низменные и житейские, но изложены они превосходнейшим образом. В чем состоит достоинство этого изложения, покажут сами нижеследующие стихи:

Тою порой Одиссей с свинопасом божественным, рано
Встав и огонь разложив, приготовили завтрак. Насытясь
Вдоволь, на паству погнали свиней пастухи. К Телемаху
Бросились дружно навстречу Евмеевы злые собаки,
Ластясь к идущему, прыгали дикие звери; услышав
Топот двух ног, подходящих поспешно, Лаэртов разумный
Сын, изумившийся, бросил крылатое слово Евмею:
«Слышишь ли, добрый хозяин? Там кто-то идет, твой товарищ
Или знакомец: собаки навстречу бегут и, не лая,
14 Машут хвостами: шаги подходящего явственно слышу».
Слов он еще не докончил, как в двери вошел,— он увидел,—
Сын; в изумленье вскочил свинопас; уронил из обеих
Рук он сосуды, в которых студеную смешивал воду
С светло-пурпурным вином. К своему господину навстречу
Бросясь, он голову, светлые очи и милые руки
Стал у него целовать, и из глаз полилися ручьями
Слезы...[13]

Я уверен, что всякий согласится: эти строки привлекают и очаро-
вывают слух, ни в чем не уступая и самым сладостным стихам. В чем
же заключена их убедительность и чем она достигается: подбором ли
слов или соединением? Думаю, никто не сказал бы, что подбором.
15 Ведь вся эта речь сплетена из слов самых простых и низких, кото-
рыми пользовались бы как первыми попавшимися и мужик (geōrgos),
и моряк, и ремесленник, и всякий, кому недосуг говорить красиво.
И если разрушить стихотворный размер, то эти же самые слова пока-
жутся пошлыми и недостойными подражания, ибо в них нет ни благо-
родных метафор, ни гипаллаг, ни катахрез, ни других тропов, ни
многочисленных глосс[14], ни заимствованных, ни новообразованных
слов. Что же остается, как не приписать всю красоту выражения со-
единению? А таких примеров у Гомера множество, и они общеизвест-
ны; мне же для напоминания довольно и этого одного.

16 Теперь перейдем к прозе и посмотрим, не происходит ли и здесь того же самого: речь, ничтожная и пошлая по предмету и словам, но прекрасная по их соединению, не приобретает ли тем великой прелести?

Есть у Геродота рассказ о лидийском царе Кандавле, которого эллины называют Мирсилом; влюбленный в собственную жену, он пожелал показать ее одному из своих друзей нагою. То был Гигес; сперва он отказывался, но не мог отговорить царя и, покорившись, посмотрел на нее. Это предмет не только чуждый важности и не при-

способленный к изящному рассказу, но даже низменный, и рискованный, и скорее постыдный, чем прекрасный; однако изложен он очень удачно, и рассказанное приятнее для слуха, чем происходившее для 17
зрения. Чтобы не заподозрили, что это ионический диалект сообщает приятность речи, я, ничего не добавляя, заменил его особенные формы аттическими. В таком виде я и приведу этот разговор:

«Гигес, ты, кажется, не доверяешь словам моим, как красива моя жена? Тогда, 18
так как человек больше полагается на зрение, чем на слух, тебе следовало бы увидеть ее нагою!» Гигес на это громко воскликнул: «Господин мой! Неужели столь неразумные говоришь ты речи, что велишь мне видеть мою госпожу нагою?
Ведь совлекая платье, женщина совлекает стыд. Издавна есть у людей хорошие 19
заветы, на которых должны мы учиться, и один из них гласит: «всякий смотри свое». Право, я верю, что жена твоя — прекраснейшая из женщин, и поэтому прошу: не требуй от меня недозволенного». Такими словами пытался Гигес противиться царю; но тот возразил: «Будь смелее, Гигес: ни от меня не бойся никакого испытания в словах моих, ни от жены моей не ожидай никакого вреда. Я поведу дело так, что она и знать не будет, что ты на нее смотришь: введу тебя в опочивальню, поставлю за открытою дверью, а тотчас за мною взойдет к постели и жена моя. Подле дверей стоит стул, на который она, раздеваясь, будет складывать одежды одну за другой, а тут-то ты без помехи сможешь ее рассматривать. А когда она от стула пойдет к постели и станет к тебе спиною, то постарайся выскользнуть в двери так, чтобы она тебя не заметила». И видя, что уклониться нельзя, Гигес приготовился повиноваться[15].

Здесь никто не мог бы сказать, что красоту выражения создает 20
достоинство и важность слов. В самом деле, слова здесь необдуманные и неотобранные, такие, какими их дала сама природа для обозначения предметов. Пожалуй, тут ведь и неуместно было бы брать другие, лучшие: ведь если выражать мысли наиболее прямыми, свойственными словами, то неизбежно в таких словах не больше будет важности, чем в самих мыслях. Кто хочет, тот, переменив только построение слов, может убедиться, что в них нет ничего важного или выдающегося. И у этого писателя много таких примеров, из которых можно понять, что не красота слов придает выражению убедительность, но сопряжение их. Однако об этом довольно.

IV. С РАЗРУШЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЯ РАЗРУШАЕТСЯ КРАСОТА И СИЛА СЛОВ

Чтобы лучше почувствовать, какое значение имеет в стихах и прозе способность слов к соединению, я возьму несколько отрывков, которые кажутся удачными, и, переменив их построение, придам и

21 стихам и прозе совсем другой вид. Возьмем сперва такие строки Гомера:

Ровно стояли враги, как весы добросовестной пряхи:
Гири и шерсть положив на чашки, она поднимает
Их, уравняв, чтоб добыть для детей небогатую плату[16].

Размер здесь — героический, шестистопный, законченный, состоящий
22 из дактилических стоп[17]. А вот как я из тех же слов, переменив лишь соединение, составлю вместо гексаметров тетраметры[18] и вместо героических — песенные стихи:

Как добросовестной пряхи весы,
Враги стояли ровно.
Гири на чашки и шерсть положив,
Она их поднимает,
Так уравняв, чтоб добыть для детей
Плату небольшую.

Таким размером сложены и приапейские (или, как их еще называют, итифаллические)[19] песни:

Вот выхожу от трудов своих
Править чин веселый,
23 Ибо в сан посвятил меня
Сам Дионис цветущий[20].

Возьмем другие стихи Гомера; ничего в них не прибавив и не убавив, а только переменив соединение, я получу из них другой размер, ионический тетраметр[21]:

Пред лошадьми с колесницею так он лежал, растянувшись,
С скрипом зубов, и землю он скреб, залитую кровью.

Пред лошадьми с колесницею так он лежал, растянувшись;
С скрипом зубов;
землю он скреб,
залитую кровью[22].

Таков размер сотадейских стихов:

24 Так на верху
смертных костров
мертвые лежали,

В чуждой земле,
осиротив
отчие святыни
И очаги
в крепких домах
за стеной высокой,
И молодых
милых друзей,
и всеблагое солнце[23].

Я мог бы показать, как и другие многие и разные виды размеров совпадают с героическим стихом, и разъяснить, что почти во всех этих метрах и ритмах происходит при этом то же самое. Именно подбор слов остается прежним, изменяется только самое соединение, но от этого преобразуются метры, а с ними разрушаются и фигуры, и краски, и нравы, и страсти, и все достоинства стихотворения.

И мне здесь непременно следовало бы коснуться очень многих правил, потому что иные из них весьма мало известны. Однако и здесь, как и во многих других вещах, отлично применимы следующие слова Еврипида:

Не касайся тонких предметов, душа: 25
К чему напрасные мысли?
Перед равными величайся![24]

Итак, думается, сейчас я это пропущу.

С прозаическою речью, если оставить слова и изменить их соединение, происходит то же, что и со стихотворной: кто хочет, может это увидеть. Я возьму начало рассказа из истории Геродота, потому что 26
оно общеизвестно, и заменю лишь особенности диалекта:

Крез был лидянин по происхождению, сын Алиатта, и царствовал над народами по сю сторону Галиса, с юга протекающего между сириянами и пафлагонянами и на севере изливающегося в так называемый Евксинский Понт[25].

Теперь я переменю порядок слов, и от этого явится сочинение не вразумляющее, не историческое, а прямолинейное, как спор: 27

Крез был сын Алиатта, по происхождению лидянин, царствовал над народами по сю сторону Галиса, протекающего с юга между сириянами и пафлагонянами и изливающегося на севере в так называемый Понт Евксинский.

Право, такой стиль немногим отличается от Фукидидова. «Эпидамн есть город направо от входа в Ионийский залив; близ него живут тавланты, варварский иллирийский народ»[26]. А вот еще одна перестановка слов, тоже придающая речи иной облик:

Сын Алиатта был Крез, по происхождению лидянин, над народами царствовал по сю сторону реки Галиса, с юга между сириянами и пафлагонянами протекающего и на севере в Евксинский так называемый Понт изливающегося.

Это уже соединение на Гегесиев[27] лад, мелочно-изысканное, дешевое,
28 расслабленное. Гегесий прямо-таки благоговел перед этими безделицами; так, он писал: «Из доброго празднества изводится доброе иное»; «Из Магнесии я из великой, что при Сипиле»; «Не единожды в фиванскую влагу плюнул Дионис: сладка она, но безумствовать заставляет».

Но довольно примеров. Думаю, что я достаточно ясно показал, что следовало: именно, что соединение слов имеет большее значение, чем подбор. И, пожалуй, не будет ошибки, если сравнить его с Гомеровой Афиной: ведь Афина заставляла Одиссея, оставаясь самим собой, казаться то таким, то иным: то морщинистым, приземистым и уродли-
29 вым — «видом подобного жалкому нищему в годах преклонных», то единым прикосновением жезла

Станом возвысила, сделала телом полней и густыми
Кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила[28].

Так и соединение, взяв одни и те же слова, заставляет мысли казаться то безобразными, жалкими и ничтожными, то возвышенными, богатыми, могучими и прекрасными. Именно более или менее удачным соединением слов отличается больше всего поэт от поэта и ритор от ритора.

Древние писатели почти все проявляли великую заботу о соединении: потому-то так прекрасны у них и стихи, и песни, и проза. У
30 позднейших этого нет, за немногими исключениями; а писатели последнего времени вовсе пренебрегают соединением, и никто не признает, что оно необходимо и что оно содействует красоте речи. Потому-то и оставили они такие сочинения, которые никто не в силах дочитать до конца: я говорю о Филархе, Дуриде, Полибии, Псаоне, Деметрии из Каллатии, Иерониме, Антилохе, Гераклиде[29], Гегесии Магнесийском и множестве других; мне нехватило бы дня, если бы я захотел перечислить все имена. Но удивляться ли этому, если даже те, кто называют себя философами и сочиняют учебники по диалектике, ока-
31 зываются настолько неудачливы в соединении, что и сказать стыдно? Чтобы не ходить далеко, достаточно привести в подтверждение сочинение стоика Хрисиппа[30]. Никто тщательнее его не сочинял учебники по

диалектике и никто не издавал книг с худшим соединением слов — худших по сравнению с его именем и славой. Впрочем, некоторые из них усердно занимались и этой областью как неотъемлемой частью красноречия и написали несколько сочинений о сочетании частей речи. Но если не все, то почти все они далеко отклонились от истины и даже во сне не видели, чем создается красивое и приятное соединение.

И вот, когда я взялся за составление этого трактата, я стал разыскивать, не сказал ли кто чего раньше об этом, особенно среди философов-стоиков, ибо я знал, что они, надо воздать им должное, немало потрудились над словесною частью[31]. Но нигде, ни у кого из тех, чьи
имена в почете, я не нашел ничего, ни большого, ни малого, что мож- 32
но было бы использовать для моего предприятия. Что касается двух книг, оставленных Хрисиппом под заглавием «О сочетании частей речи», то читавшие их знают, что в них говорится не о риторике, а о диалектике[32]: о составлении предложений правильных и ложных, возможных и невозможных, дозволенных и недозволенных, и сомнительных, и тому подобном, от чего для сочинения вещей нет ни пользы, ни выгоды — по крайней мере, в том, что касается приятности и красоты, к которым должно стремиться соединение. Поэтому я отказался и от этого сочинения.

СОЕДИНЕНИЕ СЛОВ — ДЕЛО ТОЛЬКО ИСКУССТВА, А НЕ ПРИРОДЫ

Тогда я стал раздумывать про себя, нельзя ли найти какой-нибудь исходный пункт в самой природе, ибо природа, как кажется, есть начало и суть всякого дела[33]. Я принял некоторые положения и думал,
что некоторым путем приду к цели; но понял, что этот путь приведет 33
меня совсем не туда, куда нужно и куда я хотел, а в другое место; поэтому я отказался от него. Пожалуй, мне стоит рассмотреть эти положения и объяснить, почему я от них отказался, чтобы не думали, будто я пропускаю их по невежеству, а не намеренно.

V. Итак, я считал нужным следовать природе и сочетать части речи так, как она того требует. Прежде всего, я полагал, что имена должны стоять перед глаголами, потому что имена показывают сущность, а глаголы — состояния, от природы же сущность предшествует состоянию. Так, у Гомера сказано: «Гнев, богиня, воспой...»[34], «Мужа воспой мне, о Муза, премудрого...» и «Гелиос с моря прекрасного
встал...»[35] и тому подобное: имена здесь идут первыми, глаголы за 34
ними. Но такое утверждение показалось мне хотя и правдоподобным, но неправильным. Ведь из того же поэта можно подобрать примеры

соединения, противоположные этим и не менее прекрасные и убедительные. Например:

Внемли мне, дочерь эгидодержавного Зевса, Афина...[36]
Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа...
Вспомни отца своего, Ахиллес, бессмертным подобный...[37]

Здесь глаголы идут первыми, имена следуют за ними, но никто не посмеет сказать, будто это соединение безобразно.

Кроме того, мне казалось, что лучше ставить глаголы перед наречиями: в самом деле, действие или страдание естественно предшествует
35 сопровождающим его обстоятельствам, то есть образу действия, месту, времени и прочему, что мы называем наречиями. Примеры приведем такие:

Начал рубить он вокруг: поднялися ужасные стоны...
Пала навзничь она и, казалося, дух испустила...[38]
Рухнул наземь он боком, из рук покатилася чаша...[39]

Здесь повсюду наречия следуют за глаголами. Однако и это утверждение правдоподобно как и первое, но неправильно, как и оно. Потому что и об этом у Гомера говорится также и противоположным образом:

В образе гроздий они над цветами весенними вьются...
36 Ныне, родящих помощница, в свет изведет Илифия
Мужа...[40]

И разве хуже становятся оба эти стиха от того, что в них глаголы следуют за наречиями?

Далее, я считал нужным тщательно соблюдать, чтобы предшествовавшее во времени предшествовало и в строе повествования, например:

Вверх им подняли выи, заклали, тела освежили...
Рог заскрипел, тетива загудела, и прянула стрелка...[41]
Бросила мяч Навсикая в подружек, но, в них не попавши,
Он, отраженный Афиною, в волны шумящие прянул[42].

«Конечно», скажет иной. Однако есть и много других стихов, построен-
37 ных иначе, но от этого не менее прекрасных:

Тут он ударил свинью, размахнувшись обрубком полена[43],

хотя и понятно, что сперва человек размахивается и потом ударяет. Или еще:

В шею ударил, поблизости став; разрубила секира
Жилы...[44],

хотя, чтобы поразить тельца в шею, человек раньше должен стать поблизости.

Кроме того, я требовал ставить существительные перед прилага-
тельными, собственные перед нарицательными, местоимения перед соб-
ственными, а в глаголах соблюдать, чтобы прямые времена стояли
перед производными[45], изъявительные наклонения перед неопределен- 38
ными и пр. Опыт поколебал эти утверждения и показал их ничтожество:
ибо краткость и приятность достигается иной раз таким соединением,
а иной раз противоположным.

Вот по каким причинам отказался я от этого рассмотрения. А сей-
час упомянул о нем не потому, чтобы оно заслуживало внимания, и
остановился на учебниках диалектики не потому, чтобы они были необ-
ходимы,— но лишь затем, чтобы кто-нибудь не подумал, что в таком
рассмотрении есть какая-то польза, и не старался бы ее постичь, об-
манутый схожими заглавиями ученых сочинений и славою их сочини-
телей.

Возвращаюсь к первоначальной теме, от которой я сделал такое
отступление, к тому, что древние поэты и прозаики, философы и рито-
ры проявляли большую заботу об этой части красноречия и не допуска-
ли, чтобы слова со словами, члены с членами, периоды с периодами 39
сочетались произвольно. Они владели неким искусством и правилами
и, пользуясь ими, достигали хорошего соединения. Что это было за
искусство, я и постараюсь объяснить, как смогу; и насколько я буду
в силах разобраться, я расскажу не все, но самое необходимое.

VI. ТРИ МОМЕНТА СОЕДИНЕНИЯ

Мне кажется, наука о соединении преследует три задачи. Первая:
установить, что в соединении с чем получает по самой своей природе
красивое и приятное сопряжение. Вторая: знать, как расположить то,
что должно быть прилажено друг к другу, чтобы стройность казалась
наилучшей. Третья: знать, не нуждается ли используемый материал
в той или иной переделке, то есть в урезке, добавлении или изменении,
и уметь его соответствующим образом для предстоящего употребления
обработать.

Что означает каждая из этих задач, я объясню, приведя в пример
сходные из общеизвестных ремесел: строительство, кораблестроение 40
и пр. Например, строитель, когда ему доставят материал, из которого
надо выстроить дом,— камни, бревна, глину и все такое, то он, чтобы
выполнить свою задачу, заботится о трех вещах: первое, какой камень,
бревно, кирпич с каким соединить камнем, бревном, кирпичом; второе,
как и с какой стороны поместить каждое из таких соединений; третье,
если что не будет укладываться, то обломить его, обтесать и придать
удобный для кладки вид. О том же самом заботится и кораблестрои-
тель. Нечто сходное с этим должны делать, как я утверждаю, и те, кто
хочет хорошо соединять части речи.

12 Заказ № 637

СОЕДИНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА СЛОВ

Прежде всего следует обращать внимание на то, какое имя или
41 какой глагол, или какая иная часть речи, поставленная рядом с какой другой, окажется стоящей наиудобнейшим образом. Ибо не все и не в любых сочетаниях производят они на слух одинаковое впечатление.

Затем надлежит решать, какую придать форму имени, глаголу или другой части речи так, чтобы слово село возможно приятнее и смыслу речи отвечало бы возможно ближе. Это значит: по отношению к именам — решать, в единственном или во множественном числе дадут они лучшее сочетание, в именительном ли падеже или в одном из косвенных, а если они могут менять мужской род на женский и женский на мужской или тот и другой на средний, то какую лучше придать им из этих форм, и так далее. По отношению к глаголам — решать, в каком залоге лучше их брать, в действительном или страдательном, и взятые в каких наклонениях (этих «глагольных падежах»[46], как иные их называют) окажутся они более всего на месте, какие различия обнаруживают они во временах, и все остальное, что связано с глаголами. Точно
42 так же следует поступать и по отношению к остальным частям речи — нет надобности перечислять каждый случай по отдельности.

И, наконец, надлежит решать, не нуждаются ли имя или глагол в каком-нибудь преобразовании, чтобы слово вышло стройнее и пришлось лучше к месту. Этот прием в поэзии применяется чаще, а в прозе реже и лишь по мере возможности. Например, кто сказал: «В том споре...», тот ради соединения слов укоротил местоимение на одну букву — здесь ведь можно было сказать и «В этом споре...» Кто сказал: «Увидя лицедея Неоптолема...», тот удлинил глагол приставкою — здесь было достаточно сказать: «Видя...» Кто написал: «Не по своей какой-нибудь личной вражде...» (mēt' idias echthras mēdemias
43 henech' hēcein), тот сократил речь двумя стяжениями и переменил некоторые буквы[47]. Так же поступает и тот, кто говорит «свершилося» вместо «свершилось», «твоею» вместо «твоей», «искуснее» вместо «искусней» и пр. или «непамятозлобный» вместо «незлопамятный», «говаривал» вместо «говорил» и пр.: он преобразует слова, чтобы строй их от этого делался красивей и удобней.

VII. СОЕДИНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА ЧЛЕНОВ

Это учение о первичных частях и элементах речи является лишь одним из учений, входящих в состав науки о соединении слов. Вторым, как я уже сказал вначале, является учение о так называемых членах, требующее и более сложного и более подробного изложения,— учение, о котором, насколько я понимаю его, я и попытаюсь сказать сейчас.

Члены тоже необходимо связывать одни с другими так, чтобы они представлялись родственными и близкими друг другу; им тоже следует придавать по возможности наилучшую форму; а при нужде их тоже полезно предварительно обрабатывать путем сокращения, расширения или других допустимых изменений: каждому из них научит сам опыт. 44

В самом деле, часто бывает так, что ежели поставить один член перед другим или, наоборот, один после другого, то это звучит красиво и величаво, а ежели сочетать их иначе, то не получается ни приятности, ни величавости. Сказанное можно пояснить примерами. У Фукидида есть место в речи платейцев, приятно построенное и полное страсти: «Боимся мы, что неверна наша надежда на вас, лакедемоняне»[48]. Разрушим это сочетание и составим члены так: «Лакедемоняне! что невер- 45
на наша надежда на вас, боимся мы». Останется ли при таком составлении членов прежняя приятность и прежняя страсть? Никто не посмеет это утверждать. А что если взять слова Демосфена: «Принимать услуги, полагаете вы, законно, а благодарить за услуги — противозаконно?»[49]. Разрушим, переставим колена, скажем так: «Полагаете вы, законно принимать услуги, а противозаконно благодарить за услуги?» Прежняя ли здесь плавность и действенность? Не думаю!

VIII. Таково учение о соединении членов. В чем же состоит уче-
ние об их форме? Не существует единого способа выражения различ- 46
ных мыслей, но высказываем мы их, то утверждая, то сомневаясь, то спрашивая, то прося, то приказывая, то предполагая, то придавая мысли еще какую-нибудь форму, а в зависимости от этого стремимся придать соответственную форму и речи. Форм речи, как и форм мысли, существует много, и перечислить их вкратце невозможно: пожалуй, их число даже бесконечно. Это — обширный предмет, и учение о нем глубоко: ибо, конечно, неодинаковое значение будет иметь тот же самый член, получив в одном случае одну, а в другом другую форму. Покажу
на примере. Если бы Демосфен построил свою речь так: «Вот что я ска- 47
зал, а сказав, записал в законе, а записав, пошел с послами, а пойдя с послами, убедил фивян»,— разве это было бы лучше, чем действительные его слова: «Разве я этого не сказал? Сказав, не записал в законе? записав, не пошел с послами? пойдя с послами, не убедил фивян?»[50]. Мне долго пришлось бы говорить, если бы я захотел сказать обо всех формах, какие могут принимать члены; но для начала достаточно и сказанного.

IX. Наконец, некоторые члены подвергаются также и преобразованию — то получая добавления, для смысла не необходимые, то терпя урезки, которые даже вредят законченности мысли. То и другое делают поэты и прозаики исключительно ради стройности, чтобы речь была приятной и красивой. Но об этом, полагаю я, распространяться нечего. Кто не согласится, что Демосфен в следующих словах добавил много лишнего только ради стройности: «Разве тот, кто меня поймал, в по-
ступках своих и уловках не настоящую со мною войну ведет, пусть 48
без дротов, пусть без стрел?»[51]. Это можно было бы сказать и короче,

но не столь сладкозвучно; а от такого прибавления речь стала приятнее. То же самое и у Платона: разве не изобилует излишними прибавлениями такой период в его «Надгробном слове»: «За славно свершенные
49 подвиги красно сказанное слово воздает свершившим честь и память меж слушающих»[52]. Сказано это без всякой необходимости, только для того, чтобы слово «свершившим» уравновесилось и уподобилось с другими членами. А что сказать о словах Эсхина: «Против самого себя ты говоришь, против законов говоришь, против народа говоришь!»[53] Эта трехчленная фраза, одна из самых знаменитых, разве не по тому же образцу образована? Ведь можно было сказать то же самое и в одном члене: «ты говоришь против самого себя, против закона, против народа». Одно и то же речение разделено здесь на трое, и не по необходимости, а чтобы стройность от повторения стала приятнее и в речи стало больше страсти.

50 Это случаи добавлений к членам. А урезки? Они производятся тогда, когда что-нибудь из произносимого может смутить и огорчить слушателей, если же его отнять, речь станет изящнее. Такой случай — в стихах у Софокла:

Смежив глаза, смотрю и восстаю,
И в путь иду, хранящий, не хранимый[54].

Здесь второй стих состоит из двух членов; фраза была бы законченной в таком виде: «скорее храня других, чем хранимый другими»; но от этого нарушился бы размер и утратилась бы теперешняя приятность. А вот случай из прозаической речи: «Не буду говорить, как неспра-
51 ведливо, обвиняя одного, отнимать льготы у всех»[55]. Здесь урезаны оба члена: законченный вид их был бы таков: «Не буду говорить, как несправедливо, что ты обвиняешь одного в недозволенном пользовании льготами и отнимаешь их у тех, кто пользуется ими дозволенно». Но Демосфен рассудил, что хороший ритм членов важнее, чем их обстоятельность.

СОЕДИНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА ПЕРИОДОВ

То же самое следует сказать и относительно так называемых периодов. Ибо когда приходится строить речь периодическую, то и тут бывает необходимо предшествующие периоды согласовывать с последующими. Впрочем, периодическая речь пригодна, конечно, не всюду; и вопрос о том, когда и в какой мере следует пользоваться периодом и когда применять его не следует, также составляет вопрос науки о сочетаниях.

X. ЦЕЛЬ СОЕДИНЕНИЯ — КРАСИВОЕ И ПРИЯТНОЕ

Теперь, после того как я дал эти определения, следовало бы сказать о том, какие цели должен преследовать человек, желающий при- 52
дать хорошее соединение своей речи, и о том, на основании каких правил он сможет достигнуть желаемого. И мне думается, что тут есть два основных начала, к которым надлежит стремиться составителям и стихов и прозы: это — приятность и красота. В самом деле, к тому и другому влечется слух, с которым происходит приблизительно то же, что и со зрением. Ведь и зрение, взирающее на произведения скульптуры, живописи, резьбы и на прочие создания рук человеческих, испытывает чувство удовлетворения и уж больше ничего не ищет, если находит в этих произведениях приятность и красоту.

Да не будет сочтено странным, что я указываю две цели, отделяя красоту от приятности, и да не усмотрят нелепости в том моем мнении, что иное выражение может быть составлено приятно, но некрасиво, а иное красиво, но неприятно: к такому заключению ведет нас действительность, и ничего необыкновенного в утверждении моем нет. Так, речь Фукидида и Антифонта Рамнунтского сложена поистине красиво, как вряд ли чья иная, но вовсе не приятно; а речь Ктесия, книдского 53
историка, и сократика Ксенофонта[56] сложена в высшей степени приятно, но лишена красоты, где она нужна. Я говорю о них вообще, а не в частностях, потому что и у первых кое-что построено приятно, а у вторых — красиво. У Геродота же соединение обладает обоими качествами: оно и приятно и красиво.

XI. ЧЕТЫРЕ ИСТОЧНИКА КРАСОТЫ И ПРИЯТНОСТИ

Приятной и красивой становится речь благодаря следующим четырем решающим и важнейшим вещам: мелодии (melos), ритму (rhythmos)[57], разнообразию (metabolē) и, наконец, уместности (prepon), сопутствующей каждому из этих трех качеств. Под приятностью я понимаю свежесть, привлекательность, благозвучие, сладость, убедительность и тому подобное; а под красотой — великолепие, вескость, важность, достоинство, убедительность и тому подобное. Эти два качества кажутся мне главными, а все остальные — как бы их подразделе- 54
ниями.

Именно к этим двум качествам, и вряд ли еще к каким-нибудь иным, стремятся все серьезные сочинители стихов, песен и так называемой прозы; и многие превосходные писатели достигли успеха и в приятности, и в красоте, и в том и другом вместе. Примеры того и другого по отдельности здесь нет надобности приводить, чтобы долго не задерживаться. Потом, когда я буду описывать особенности различных по-

строений, мне представится более удобный случай сказать о них, что
нужно, и привести примеры, а пока сказанного о них достаточно. Чтобы
мой рассказ не сбивался, так сказать, с дороги, я возвращаюсь
к установленному мною разделению соединения на приятное и кра-
сивое.

55 Я сказал, что наслаждение слуху доставляется, во-первых, мело-
дией, во-вторых, ритмом, в-третьих, разнообразием и во всех трех слу-
чаях уместностью. Что я говорю правду, тому в свидетельство я со-
шлюсь на показание опыта, опорочить который нельзя, так как он
согласуется с присущими всем ощущениями. Действительно, разве
не бывает, что одна мелодия увлекает и чарует человека, а другая
оставляет равнодушным? И разве не нравятся ему одни ритмы, тогда
как другие ему противны? Даже в многолюдных театрах, полных разно-
родной и невежественной толпы, я убедился, насколько естественно во
всех нас удовольствие от хорошей мелодии и ритма. Я видел, как толпа
освистала хорошего кифариста с громкой славой за то, что он, не в
такт прикоснувшись к одной струне, испортил мелодию; то же самое
случилось и с одним флейтистом, который прекрасно владел своим ин-
56 струментом, но, дунув не в такт или плохо сжавши губы, дал фальши-
вую ноту и выбился из мелодии. А если предложить простому человеку
взять инструмент и самому сделать то, чего он требует от артистов,
он этого не сможет. Почему? Потому что для исполнения потребна
наука, которой не все обладают, а для суждения — только чувство,
которое всем нам дала природа. То же происходит и в ритме: я видел,
как все зрители сразу сердились и возмущались, когда кто-нибудь,
сбиваясь с ритма, не вовремя притопывал, двигался или воск-
лицал.

Хорошая мелодия и хороший ритм полны приятности и всех очаро-
вывают; разнообразие же и уместность не имеют такой свежести и
прелести, и не все их выслушивают одинаково. Но и они, если соблю-
57 даются, то очаровывают всякого, а если нарушаются, то раздражают.
Кто с этим не согласится? Я сошлюсь на то, что и привлекательность
инструментальной музыки и пения, и прелесть пляски, даже если всем
они хороши, но не соблюдается, где нужно, разнообразие и допускаются
отклонения от уместности, то однообразие кажется тягостным, а несо-
ответствие содержанию — неприятным.

Пример этот ничуть не неуместен: ведь и наука о речах государ-
ственных была музыкальной наукой, отличавшейся от науки о пении
или игре на инструментах не качественно, а количественно. Ибо и тут
словесные обороты обладают и мелодией, и ритмом, и разнообразием,
и уместностью, так что и в этом случае слух испытывает наслаждение
от мелодии, увлекается ритмом, приветствует разнообразие и ищет во
всем уместности; и разница тут лишь в степени.

58 Именно, в разговорной речи мелодия измеряется интервалом, близ-
59 ким к так называемой квинте: более, чем на 3,5 тона она не возвы-
60 шается к острому тону и не понижается к тяжелому. Конечно, не вся

фраза, составляющая одну часть речи, произносится на одном и том же уровне: в ней звучат то острые тоны, то тяжелые, то те и другие. В 61
последнем случае острый и тяжелый тон или совмещаются на одном слоге и дают облеченный тон, или приходятся на разные слоги и со- 62
храняют свое природное звучание: при этом в двусложных словах между ними не оказывается никакого промежутка, а в многосложных среди многих тяжелых тонов всегда имеется один острый. Напротив, инструментальная музыка и пение пользуются не только квинтой, но и многими другими интервалами, начиная от большого: и квинтой, и квартой, и тоном, и полутоном, а, по мнению некоторых, мы ощущаем даже четверть тона[58]. И здесь слова подчиняются мелодии, а не мелодия словам, что видно на многих примерах, а лучше всего — в той песне, с какою у Еврипида в «Оресте» Электра обращается к хору:

Тише... тише... белой стопой ступай,
Не дрогнувши, не скрипнувши;
Встаньте от ложа, встаньте подалее...
Siga, siga, leycon ichnos arbylēs
Titheite, mē ctypeite;
apoprobat' eceis' apoprothi coitas[59].

Первых три слова произносятся здесь на одном звучании, хотя каждое из них имеет свои тоны, тяжелые или острые. В слове arbylēs средний и третий слог произносятся на одинаковой высоте, хотя в одном слове двух острых тонов быть не может. В следующем слове первый слог тяжелый, а два следующие держат острый тон, опять-таки одинаковый. Облеченное ударение на слове ctypeite стушевано — здесь 64
два слога произносятся на одном тоне. Наконец, слово apoprobat' не принимает острого ударения среднего слога, а выдерживает до конца тон третьего слога[60].

То же происходит и в ритмах. В прозе не нарушается и не переменяется протяженность имен и глаголов, но соблюдаются естественные долготы и краткости слогов[61]. А ритмика и музыка меняет их, удлиняя и сокращая, так что часто долгие слоги становятся краткими и наоборот, потому что здесь не слоги определяют протяженность, но протяженность определяет слоги[62].

Я указал различие между музыкой и речью; мне осталось объяснить, каким образом напев голоса (я говорю не о пении, а о голой прозе), хоть и ласкает слух, будет мелодичен, не будучи мелодией, и каким образом, соразмеряясь долготами своих частей с песенной схемой, он будет ритмичен, не будучи ритмом. В чем тут разница, я скажу 65
в соответственном месте. Теперь же я попытаюсь изложить, следуя моему предмету, как соединение придает публичной речи сладость для слуха, достигая этого мелодией звуков, мерностью ритмов, разнообразием переходов и соответствием содержанию. Этих разделов я и коснусь.

XII. КАК СОЕДИНЕНИЕ ДЕЛАЕТ РЕЧЬ ПРИЯТНОЙ

Не все элементы речи действуют на слух одинаково по своей природе, как не все видимые предметы действуют одинаково на чувство зрения, или съедобные вещи на чувство вкуса, или другие возбуди-
66 тели на другие чувства: звуки и услаждают и огорчают слух, и коробят его и ласкают, и причиняют ему множество еще и других ощущений. Причиною служат, с одной стороны, очень разнообразные природные свойства тех букв, из которых складывается наша речь, а с другой — многообразие форм слоговых сплетений. И вот именно потому, что элементы речи обладают такими свойствами и что переделать их природу нельзя, нам остается лишь соединять их, перемешивать и располагать так, чтобы по возможности сглаживать вызываемое некоторыми из них неприятное впечатление.

Именно следует соединять шероховатые буквы с гладкими, твердые с мягкими, неблагозвучные с благозвучными, труднопроизносимые с удобопроизносимыми, долгие с краткими, тем же способом удачно располагая и остальное[63]. Не надо скучивать подряд ни слишком много малосложных слов — это режет ухо, ни слишком много многосложных. Так же и слов, имеющих одинаковое ударение или одинаковую долготу, ставить рядом не надо. Следует разнообразить падежи имен, потому что
67 чрезмерно долгое повторение их делается неприятным для слуха, а равным образом избегать и однообразия, остерегаясь излишнего скопления в одном месте имен, глаголов или других частей речи; не ограничиваться одними и теми же фигурами[64], а почаще менять их, и не повторять вечно те же самые тропы, но и их разнообразить; ни начинать слишком часто, ни кончать одними и теми же словами, избегая навязчивости в обоих случаях.

Пусть не думают, будто я раз и навсегда утверждаю, что иное будет доставлять только удовольствие, а иное — только неприятность: я не так неразумен! Я знаю, что удовольствие может вызываться и тем и другим, и однородным, и неоднородным. Я только думаю, что
68 надлежит и то и другое употреблять кстати, ибо в этом — лучшая мера как удовольствия, так и неудовольствия. Но искусство этой меры до сих пор не определил ни один ритор, ни один философ: даже Горгий Леонтинский[65], который первый стал об этом писать, не написал ничего достойного внимания. Дело в том, что этот предмет по своей природе не поддается искусственному обращению, раз и навсегда установленному,— «кстати» происходит что-нибудь или «некстати», это определяется не наукой, а вкусом. Кто много и часто упражняется в этом предмете, тот обретает свой вкус лучше других; а кто минует его, не упражняясь, тот достигает вкуса реже и как бы случайно.

Чтобы сказать еще и об остальном, замечу вот что. Кто стремится доставить удовольствие слуху, тот должен, мне кажется, соблюдать в

сочетаниях следующие правила: либо слаживать вместе мелодичные, ритмичные, звучные слова, такие, которые услаждают чувства, ласкают
их и вообще им приятны, либо сплетать и сшивать слова, способные 69
очаровывать, со словами иной природы, чтобы прелестью первых скрадывать неприятность последних. Нечто подобное делают и разумные военачальники при построении войска: также и они прикрывают слабые части сильными, и в войске их ничто не остается неиспользованным. Прерывать же однообразие, думается мне, надо с помощью своевременных перемен: ведь во всяком деле перемена — приятная вещь.

И, наконец, последнее и самое важное: строй речи должен быть свойственным и соответствующим содержанию. Нечего бояться употреблять ходовые слова, будь то имена или глаголы, из опасения, как бы не оказались они неприличными: ибо не окажется, утверждаю я, ни для какой части тела или действия выражений столь низких, или гряз-
ных, или мерзких, или еще почему-либо столь неприятных, чтобы они 70
не нашли себе подходящего места в речи. Я советую пользоваться ими мужественно, без всякого страха, полагаясь на сочетание и следуя примеру Гомера, у которого можно встретить самые пошлые слова, а также на Демосфена, Геродота и других писателей, о каждом из которых, по мере надобности, я упомяну несколько дальше.

Вот что я говорю о приятности соединения; этого хотя и немного по сравнению со столь многими вопросами, но для общего рассмотрения достаточно.

XIII. КАК СОЕДИНЕНИЕ ДЕЛАЕТ РЕЧЬ КРАСИВОЙ

Если же меня спросят о красоте построения — как и на основании каких правил она достигается, то ответ мой, клянусь Зевсом, таков: достигается она на основании не иных каких-либо, а тех самых правил, которые делают построение приятным. Средства в обоих случаях одинаковы: благородство мелодики, величавость ритма, роскошь разнообразия и всему этому сопутствующая уместность. Ибо совершенно так
же, как становится одна речь приятной, другая становится благород- 71
ной; и как бывают одни ритмы нежными, так бывают другие важными; и как в разнообразии заключена прелесть, так в нем же заключена и убедительность; а уж уместность, пожалуй, способствует красоте более, нежели чему-либо иному. Поэтому я и говорю, что вкладывать красоту в строй речи надлежит всеми теми же средствами, какими сообщаем мы ей и приятность. Причиною служит и тут природа букв и свойство слогов, составляющих слово. Об этом и пора нам поговорить теперь, как было обещано.

XIV. МЕЛОДИЯ: БУКВЫ И ИХ КАЧЕСТВА

Началом человеческой членораздельной речи, уже не поддающимся делению, являются так называемые элементы, или буквы. Буквами (grammata) они называются, потому что обозначаются посредством начертаний (grammai), а элементами (stoicheia) — потому что именно из них всякая речь возникает и на них разлагается.

Природа элементов, или букв, не у всех одинакова. Во-первых,
72 как это изъясняет Аристоксен[66], автор сочинений о музыке, различаются они тем, что одни из них передают голоса, а другие — шумы: голоса передаются так называемыми гласными, шумы — всеми остальными. Во-вторых, негласные буквы делятся на такие, которые могут сами по себе передавать некоторые шумы, как свист, шипенье, сопенье и некоторые другие подобного рода звуки, и на такие, которые совершенно не имеют ни голоса, ни шума и звучать сами по себе не могут. Поэтому-то последние называются иногда безгласными, а первые — полугласными. Некоторые же самогласными называют все те буквы, которые обладают голосом и в сочетании с другими и сами по себе, будучи полнозвучными; полугласными — те, которые в сочетании с гласными звучат сильнее, чем взятые одни, сами же по себе звучат хуже
73 и неполнозвучно; безгласными — те, которые сами по себе не имеют ни полного, ни неполного звука, а звучат лишь в сочетании с другими[67].

Сколько существует букв, нелегко решить с точностью; труден был этот вопрос и для наших предшественников. Некоторые полагали, что звуковых элементов имеется всего лишь тринадцать, прочие же образуются из них; другие считали, что их больше даже тех двадцати
74 четырех букв, которыми мы в настоящее время пользуемся. Впрочем, это вопрос скорее из области грамматики и метрики или, если угодно, даже философии; нам же достаточно считать, что основных звуков — двадцать четыре, не меньше и не больше[68]. Итак, изложим, что в этих звуках происходит, начиная с гласных.

Гласных букв существует семь: две краткие: e и o, две долгие ē и ō и три двоякие: a, i и y. Последние три могут быть и долгими и краткими, почему и называют их двоякими буквами или, иначе, переменными. Все они произносятся горлом одновременно с выдохом,
75 при простом изменении рта и без всякого участия языка, остающегося спокойным. Долгие, а из двояких такие, которые произносятся долго, требуют длительного напряжения дыхательного горла; а краткие и произносимые кратко выговариваются отрывисто, одним лишь толчком дыхания и недолгим напряжением горла.

Самые лучшие из гласных и самые приятные по звуку — это дол-
76 гие и те из двояких, которые при произношении протягиваются: они звучат продолжительно, не прерывая силы дыхания. Хуже краткие и произносимые кратко, потому что голос в них слаб, и звук обрезанный.

Самая благозвучная среди долгих — а, когда она произносится долго: рот при ней раскрывается шире всего, а дыхание направлено вверх, к нёбу. За нею следует ē — в ней звук напирает не вверх, а вниз, к основанию языка, и рот раскрыт умеренно. На третьем месте — ō: рот при ней округляется, губы выпячиваются, и напор дыхания бывает на- 77
правлен на край рта. Еще слабее у: при ней сильно стягиваются самые губы, и звук удушается и выходит жидким. На самом же последнем месте стоит i: при ней дыхание разбивается о зубы, рот раскрывается мало, а губы не усиливают звучности. Из кратких гласных нет ни одной благозвучной; но о менее безобразна, чем е, потому что при ней шире раскрывается рот и напор в дыхательном горле получается более сильным. Такова природа гласных букв.

Полугласные буквы природу имеют такую. Всего их восемь, в том 78
числе пять простых — l, m, n, r и s — и три двойные — z, x, ps. Двойными называют их или потому, что z составлена из d и s, x из c и s, ps из p и s и обе буквы сохраняют при сложении свой звук, или же потому, что в составе слогов каждая из них занимает место двух букв. Двойные полугласные лучше простых: они значительнее их, и, по-видимому, ближе подходят к совершенству. Простые буквы хуже, потому что напряжение звука в них более краткое. Произносится каждая из простых букв примерно так: при l — дыхание сжато в горле, язык упирается в нёбо; при m — губы сжимают рот, а воздух постепенно выходит через ноздри; при n — язык запирает движение воздуха и относит звук в ноздри; при r — дыхание отражается кончиком языка, приподнятого 79
у зубов к нёбу; при s — язык подводится к нёбу и между ними проходит воздух, прибиваясь сквозь зубы легким и сжатым свистом. А остальные три полугласные дают составной звук, складывающийся из полугласной s и одной из трех безгласных — d, c или p. Таковы формы произношения полугласных букв.

Буквы эти действуют на слух неодинаково. L ласкает слух: из всех полугласных она самая сладостная. R раздражает слух: из однородных ей букв она самая крепкая. Среднее действие на слух производят про- 80
износимые через нос m и n, похожие на звучание рога. Некрасива и неприятна s: слышимая в большом количестве, она раздражает ухо, ее свист кажется ближе бессмысленному звериному реву, чем осмысленной речи. Иные из древних пользовались s редко и с осторожностью, а некоторые даже целые стихотворения сочиняли без s, как это явствует из слов Пиндара:

В оное время
Рушились тростниковые гласные дифирамбов
И обманчивая буква «сан»...[69]

Наконец, среди трех остальных полугласных букв, которые назы- 81
ваются двойными, z ласкает слух больше, чем две другие: x из-за c, а ps 82
из-за p производят свист, так как и c и p лишены придыхания, а z произ-

носится с некоторым придыханием и потому является среди однородных ей букв более крепкой. Сказанного достаточно о полугласных.

Безгласных букв всего имеется девять, в том числе три без придыхания,
83 хания, три с придыханием и три промежуточные. Не имеют придыхания c, p и t; имеют придыхание th, ph и ch; среднее место занимают g, b и d. Способ произношения каждой из них следующий.

Три буквы произносятся краями губ, когда при закрытом рте вырывающийся из дыхательного горла воздух размыкает этот запор. Из числа этих букв p лишена придыхания, ph имеет придыхание, а b занимает среднее место: придыхание в ней меньше, чем в ph, но больше,
84 чем в p. Это первая тройка среди безгласных букв; все они произносятся сходно и различаются лишь наличием или отсутствием придыхания. Три другие буквы произносятся, когда язык вверху рта упирается в верхние зубы, а затем отбрасывается от них дыханием и дает ему выход у зубов книзу. Различаются эти буквы между собой присутствием или отсутствием придыхания: не имеет придыхания t, имеет th, среднее место занимает d. Это вторая тройка среди безгласных букв. Остальные же три буквы произносятся, когда язык поднимается к нёбу близ гортани, причем дыхание образует звук внизу, в горле. И эти буквы по способу произношения различаются лишь тем, что c не имеет приды-
85 хания, ch имеет, а g занимает среднее место между ними. Из всех этих букв наиболее сильны произносимые с сильным придыханием; за ними — произносимые с средним придыханием; самые слабые — те, которые придыхания лишены. Последние обладают лишь собственной своею силой, тогда как первые получают еще добавление от придыхания, так что они как бы ближе к совершенству.

XV. МЕЛОДИЯ: СЛОГИ И ИХ КАЧЕСТВА

Вот из стольких-то букв и с такими-то их качествами образуются так называемые слоги. Из них долгими являются те, которые состоят из гласных долгих или долго произносимых двояких, а также те, которые оканчиваются на долгую или долго произносимую букву из числа полугласных или безгласных. Краткими же являются те слоги, которые состоят из краткой гласной или кратко произносимой двоякой и которые на краткую букву заканчиваются. Но природа этой долготы и краткости не одна и та же: среди долгих слогов есть более долгие,
86 среди кратких — более краткие, что мы увидим из примера.

Ясно, что слог, образуемый одной лишь краткой гласной ŏ, будет
87 кратким, например: hodos. Если прибавить полугласную r, мы получим rhodos: слог по-прежнему краток, но уже не в такой степени, потому что получил небольшое добавление спереди. Если добавить еще немую t, получится tropos, слог станет еще больше, хотя и останется кратким.

Прибавим третью букву, s, чтобы получить strophos; с этим внятным уху тройным прибавлением слог станет в своей краткости еще дольше, но все же останется кратким. Эти четыре кратких слога одинаково ощутимо отличаются друг от друга постепенным удлинением. То же 88
самое можно видеть и в долгих: слог ē долог по природе, но, будучи увеличен в слове splēn тремя согласными перед гласной и одной согласной после нее, он неизбежно станет еще дольше, чем когда он состоял только из гласной; а отбрасывая одну за другою добавленные согласные, мы заметим, что он ощутительно укорачивается.

По поводу этого наблюдения можно спросить, почему долгие, даже растянутые семью согласными, остаются теми же долгими, а краткие, даже лишенные многих согласных, остаются теми же краткими; то есть почему долгие всегда звучат вдвое дольше кратких, а краткие вдвое 89
короче долгих? Этот вопрос мы сейчас не обязаны рассматривать: здесь по ходу нашего изложения нам достаточно указать, что есть разница в продолжительности между одним кратким и другим кратким, между одним долгим и другим долгим и что не все долгие и не все краткие производят один и тот же эффект как в прозе, так и в стихах и песнях с их ритмами и метрами.

Это первое видоизменение слогов, а вот и второе. Так как буквы чрезвычайно разнообразны, отличаясь одна от другой не только долготой и краткостью, но и звуками, о чем я сказал немного выше, то и составляемые или сплетаемые из букв слоги должны с неизбежностью сохранять одновременно как свойства каждой буквы в отдельности, так и получаемые вследствие слияния или соположения букв свойства общего их объединения. Отсюда возникают звуки мягкие и твердые, гладкие и шероховатые, усладительные для слуха и неприятные, резкие и 90
расплывчатые и бесчисленные иные, вызывающие всякого рода другие естественные ощущения.

МЕЛОДИЯ: ИСКУССТВО ПОЭТОВ В ВЫБОРЕ И СОЧЕТАНИИ БУКВ И СЛОГОВ

Именно этим руководствовались самые изящные поэты и прозаики, когда, строя свои слова, они сплетали нужным образом буквы и на разный лад обрабатывали слоги, добиваясь их соответствия возбуждаемым чувствам. Так часто поступает Гомер: изображая наветренный берег, он самой долготою слогов стремится выразить непрестанный шум:

Воют брега от валов, изрыгаемых морем на сушу[70];

а в ослеплении киклопа изображает, как велика его боль и как мед- 91
ленно нащупывают руки выход из пещеры:

Охая тяжко, с кряхтеньем и стоном ошарил руками
Стены киклоп...[71];

а в третьем месте так желает изобразить моление сильное и страстное:

92 Сколько ни будет о том Аполлон стрелометный трудиться,
Распростирающийся пред могучим отцом громовержцем[72].

Таких примеров у него тысячи, а изображают они продолжительность времени, огромность тела, силу страсти, тишину пристани и пр., и все это — только путем построения слогов. Точно так же изображается и противоположное с помощью кратких слогов — и быстрота, и напор, и все в подобном роде, например:

93 Горестная зарыдала и так услужавшим вещала...
В ужасе были возницы, увидя огонь негасимый...[73]

Здесь слышится и прерывистое дыхание, и смятенный голос, там — исступление ума и неожиданность вида; а производят и то и другое укороченные слоги и буквы.

XVI. Стремясь воочию представить свой предмет, поэты и прозаики сами составляют для того уместные и наглядные слова, как уже было мною сказано, или перенимают наиболее изобразительные слова, составленные прежними писателями, например:

Волны кипели и выли, свирепо на берег высокий
94 С моря бросаясь, и весь он был облит соленою пеной;
Не было пристани там, ни залива, ни мелкого места;
В круть берега поднимались; торчали утесы и рифы[74].

А истоком и великой наставницей в этом была природа, которая создала нас способными к подражанию и к установлению слов, обозначающих предметы по сходству их с мыслями, сходству разумному и тем возбуждающему мысль. Это сходство и научило нас передавать
95 мычание быков, ржание коней, блеяние козлов, шум и свист ветра, скрип канатов и все подобное, подражая звуку и виду, действию и страданию, движению и покою и пр. Об этом много сказано у древних писателей; наибольшую же я воздаю честь Платону-сократику, который первый писал о происхождении языка во многих местах, особенно в
96 «Кратиле»[75].

К чему же сводится наше рассуждение? Сводится оно к тому выводу, что благодаря сплетению букв получается различный склад слогов, а благодаря сочетанию слогов — разнообразие природы слов, а благодаря построению слов — многообразность речи. Отсюда, таким образом, необходимо следует, что красива та речь, в которой слова красивы, а слова красивы благодаря слогам и буквам; точно так же и

приятна та речь, в которой приятно действуют на слух слова, слоги и буквы; и даже те особенности каждого единичного случая, в которых выявляются и характеры, и чувства, и настроения, и действия лиц, и то, что со всем этим связано, проистекают от первичного построения букв.

Ради ясности я приведу несколько примеров; остальные же, а их 97
много, ты отыщешь и сам. Велеречивейший из всех поэтов, Гомер, желая представить образ прекрасного лица и красоту, вызывающую наслаждение, пользуется самыми звучными гласными, самыми мягкими полугласными, не загромождает слогов согласными, не укорачивает звучания стыками труднопроизносимых букв, но создает некое плавное построение букв, сладостно вливающееся в слух, например:

> Вышла разумная тут из покоев своих Пенелопа,
> И с Артемидою, и с золотой Афродитою схожа...

> В Делосе только я — там, где алтарь Аполлонов воздвигнут, 98
> Юную, стройновысокую пальму однажды заметил...

> После явилась Хлорида: ее красотою пленяся,
> С ней сочетался Нелей, обольстив дорогими дарами...[76]

И, напротив, желая представить зрелище жалостное, страшное или дикое, он выбирает из гласных не самые звучные, а самые шумные, из безгласных же — самые труднопроизносимые, и наполняет ими слоги. Вот пример:

> Страшен, ужасен, покрытый морскою засохшею тиной[77].

И еще:

> Там Горгона свирепообразная щит повершала,
> Страшно глядящая, окрест которой и Ужас и Бегство[78].

А желая изобразить слияние рек воедино и рев смешивающихся вод, 99
он выставляет слоги не плавные, а сильные и противные слуху:

> Словно когда две реки наводненные, с гор низвергаясь,
> Обе в долину единую бурные воды сливают[79].

А там, где у него герой в оружии борется с течением реки и то удерживается, то отступает, поэт прибегает к усечению слогов, сдвигам долгот и столкновениям букв:

> Страшное вкруг Ахиллеса волнение бурное встало;
> Зыблют героя валы, упадая на щит; на ногах он 100
> Боле не мог удержаться; руками за вяз ухватился...[80]

И показывая, как людей разбивают о камни, шум и жалкую их смерть, он нарочно задерживается на самых неприятных и неблагозвучных буквах, не смягчая их и не сглаживая:

Разом меж нами двоих, как щенят, подхватил и ударил
Оземь; их череп разбился; обрызгало мозгом пещеру[81].

Впрочем, приводить все относящиеся сюда примеры (на чем иные, пожалуй, настаивали бы) — это труд непомерный; поэтому я, ограничившись сказанным, последую дальше.

Итак, говорю я, кто желает выработать красивую речь, тот должен
101 при соединении звуков сочетать воедино такие слова, которые обладают красивостью и величием или важностью. О сочетании слов сказал коечто в общей форме и философ Феофраст в своем сочинении «О слоге»[82] в том месте, где он дает определение, какие слова красивы по самой своей природе, так что при соединении их и слог будет красивым и величавым, и какие другие слова ничтожны и низменны, так что не дадут, по его словам, ни хороших стихов, ни прозы. И, клянусь Зевсом, говорит он это не зря. Если бы все части речи, которыми обозначаются предметы, могли бы быть красивы и благозвучны, то было бы безумием искать худшего. Но так как в большинстве случаев это невозможно, то надо стараться сплетением, смешением и сопоставлением скрыть
102 природу худших слов. Гомер обычно так и делает. Если спросить какого-нибудь поэта или ритора, какую важность и красоту имеют названия беотийских городов Гирии, Микалесса, Греи, Этеона, Скола, Фисбы, Онхеста, Эвтреза и прочих, подряд упомянутых поэтом, всякий сказал бы, что никакой. Гомер же так искусно их соткал, перемежив благозвучными вставками, что эти названия кажутся величественными:

Рать беотийских мужей предводили на бой воеводы
103 Аркезилай и Леит, Пенелей, Профоэнор и Клоний.
Рать от племен, обитавших в Гирии в камнистой Авлиде,
Схен населявших, Скол, Этеон лесисто-холмистый,
Феспии, Греи мужей и широких полей Микалесса,
Окрест Илезия живших и Гармы и окрест Эрифры,
Всех обитателей Гил, Элеон, Петеон населявших,
Также Окалею, град Медеон, устроением пышный...[83]

Полагаю, что для понимающего нет нужды затягивать примеры: таков и весь этот перечень и многие другие, где поэт, принужденный
104 брать слова, некрасивые от природы, украшает их словами красивыми и растворяет шероховатость первых в благообразии вторых. Однако об этом довольно.

XVII. РИТМ

Далее, достоинство и величавость соединения слов во многом зависят от их мерности; но так как здесь может показаться опрометчивым, что я ввожу ритмы и метры, составляющие предмет теории музыки, в такую речь, которая не знает ни ритма, ни метра, то я должен представить и об этом свои соображения.

Дело обстоит вот как. Всякое имя и всякий глагол, равно как и всякая иная часть речи длиннее одного слога, образуют при произнесении некоторый ритм (ритмом я называю то же, что и стопою).

Слова двусложные бывают трех родов: или из двух кратких, или
из двух долгих, или из краткого и долгого, причем в этом третьем 105
случае краткий может стоять впереди долгого или долгий впереди краткого.

Стопа из двух кратких называется гегемоном или пиррихием и не имеет ни величавости, ни важности:

> Повелеваю: мало-помалу
> Стопы к стопам прибери!..[84]

Стопа из двух долгих называется спондеем; он благороден и важен:

> Где путь мне лег: здесь, там иль там? не ведаю[85].

Стопа из краткого и долгого называется ямбом, если краткий стоит 106
впереди; и это достойнейший ритм. И она же называется трохеем, если долгий стоит впереди; это ритм более низменный и менее достойный. Вот пример ямба:

> От всех забот я волен, сын Менетия!..[86]

Вот пример трохея:

> Сердце, сердце, злой бедою ты обуреваемо![87]

Таковы виды, ритмы и формы в двусложных словах.

Трехсложных слов имеется больше, и учение о них сложнее. Трехсложник, состоящий из всех кратких, называется трибрахием (а у иных — хореем); пример его:

> Копиеносец, о Бромий, кликом воюющий...[88]

Он слаб, лишен важности и достоинства, чужд благородства. Напротив, 107
та стопа, которая у метристов называется молосс, звучит возвышенно, важно, обладает широкою поступью. Пример:

> О, вы, те, в ком жив плод Зевса и Леды...[89]

13 Заказ № 637

Долгий между двух кратких называется амфибрахий; вряд ли его можно причислить к благообразным ритмам — он как бы оборван и имеет в себе что-то робкое и женственное:

108 **Иакх-Дифирамб, предвождающий хор...**[90]

Стопа, начинающаяся двумя краткими, именуется анапест: она исполнена величия и пригодна для выражения великих действий и страстей; вид ее таков:

Тяжело мне венок возносить на чело...[91]

Но та стопа, которая начинается долгим и кончается двумя краткими, а называется дактиль, особенно благородна и придает построению больше всего красоты: это лучшее украшение героического стиха. Вот ее образец:

Ветер от стен Илиона принес нас ко граду киконов...[92]

109 Ритмики заявляют, что долгий слог в этой стопе не совершенно долог; и так как они не могут указать, чем он короче, то они называют его иррациональным. Точно так же они отличают от анапеста соответственную стопу, начинающуюся двумя краткими и кончающуюся иррациональным долгим: эту стопу они называют киклической, приводя такой пример:

Пышный град пал во прах всею врат высотой...[93]

Но об этом лучше сказать в другом месте. Во всяком случае, обе эти стопы принадлежат к самым красивым ритмам.

Наконец, последний род трехсложников — это те, которые состоят из двух долгих и краткого. Таких стоп три. Если краткий находится
110 в середине, а долгие по краям, стопа называется кретик и не лишена известной силы; пример ее:

Резал вал медный клюв тех судов, мчавших вдаль...[94]

Если два долгих стоят в начале, а краткий в конце, как в стихе:

К вам, Музы, к вам с Фебом зов взносим...[95],

то получается мужественный ритм, придающий речи много достоинства. То же происходит, если краткий предшествует двум долгим: в
111 таком ритме тоже есть достоинство и величие, например:

Какой брег, какой лес в беде мне приют даст?..[96]

Из этих двух ритмов метристы называют первый бакхием, второй — гипобакхием.

Эти двенадцать ритмов, или стоп, суть начальные меры, употребляемые во всякой речи, как в стихах, так и в прозе: из них состоят как стихи, так и члены периодов. Все остальные ритмы и стопы составляются из этих, а простой ритм, или стопа, не может иметь ни меньше двух, ни больше трех слогов. Полагаю, что об этом излишне говорить долее.

XVIII. ИСКУССТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ВЫБОРЕ И СОЧЕТАНИИ РИТМОВ

Почему я вдался в такие предызъяснения? Ненапрасно, но потому, что рассмотрение ритмов и метров предстояло мне по необходимости. Дело в том, что благородные, исполненные достоинства и величавости ритмы дают сильные, достойные и величавые сочетания, 112
неблагородные же и низкие ритмы дают сочетания, лишенные величия и важности, безразлично, будут ли эти ритмы взяты сами по себе, одни, или же в сплетении друг с другом. Итак, если представится нам возможность сложить всю речь из одних только лучших ритмов, то это будет исполнением заветнейших наших желаний; но если будет необходимо давать вперемежку ритмы и получше и похуже (как это обычно и бывает, ибо свои названия вещи носят случайно), то придется искусно распределять ритмы, прелестью сочетаний скрадывая необходимость, тем более, что мы это можем делать вполне безнаказанно: ведь прозаической речи ни один ритм не противопоказан, не то что стихам.

Остается привести примеры, чтобы утверждение стало убедитель- 113
ней; ограничусь лишь немногим для многого. Итак, кто не согласится, что величав и полон достоинства склад речи Фукидида в его «Надгробном слове»:

> Большинство уже говоривших с этого места воздает похвалы тому, кто прибавил к отряду эту речь, ибо прекрасно произносить ее при погребении павших от 114
> войн[97].

Что придает величавость такому соединению слов? То, что члены здесь составлены из величавых ритмов. Hoi men polloi tōn enthade ēdē eirēcotōn, первые три стопы в этом начальном члене — спондеи, четвертая — анапест, затем — спондей, потом—кретик; все это достойнейшие ритмы, оттого и весь член так важно звучит. Следующий член: epainoysi ton prosthentă tōi nomōi ton logon tonde, две первые стопы — гипобакхии, третья — кретик, потом еще два гипобакхия и заключительный слог; неудивительно, что и этот член важно звучит, также составленный из благороднейших и прекраснейших ритмов. Третий 115

член: hōs calon epi tois ec tōn polemōn thaptomenois agoreyesthai ayton, первая стопа — кретик, вторая — анапест, третья — спондей, четвертая — опять анапест, потом подряд два дактиля, два спондея и заключительный слог. Так и этот член обретает благородство. И так у Фукидида написано очень многое; лучше сказать, лишь немногое написано иначе. Поэтому по заслугам он представляется нам возвышенным, красноречивым и благородным: он умеет выбирать ритмы.

А слог Платона? Отчего он кажется прекрасным и полным достоинства, как не оттого, что украшен прекраснейшими и достойнейшими ритмами? Я говорю о столь известном и знаменитом начале его «Над-
116 гробного слова»: «В наших делах получают они должное им; и достигнув, пускаются в сужденный путь»[98]. Здесь два члена, составляющие полный период, а разъединяются они вот на какие ритмы. Ergōi men hēmin hoid' echoysi ta prosēconta sphisin aytois — сперва бакхий (не могу допустить, чтобы этот член начинался с ямба), ибо помню, что скорбным предметам подобают меры не торопливые и быстрые, а затянутые и медленные, затем спондей, затем дактиль (если не делать
117 слияния), после него спондей; затем — скорее кретик, чем анапест, и после него, по моему счету, спондей и гипобакхий (а если угодно, то анапест и заключительный слог). Ни один из этих ритмов не низмен, ни один не бессилен. Следующий член: hōn tychontes poreyontai tēn heimarmenēn poreian, две первые стопы — кретики, две следующие — спондеи, за ними — кретик и в заключение — гипобакхий. Понятно, что речь, слагающаяся только из прекрасных ритмов, неизбежно и сама будет прекрасна. Таких примеров у Платона тысячи: понимание хорошей мелодии и ритма было у этого мужа поистине божественно. Если бы он и в отборе слов был так же искусен, как в соединении, то красотою речи он самого Демосфена «обскакал бы иль равною сделал
118 победу»[99]. Но именно в отборе слов он и погрешает, особенно там где гонится за высоким, искусным и отделенным слогом, как это показано нами в другом месте. Зато соединение слов у него вернее, оно и складно и прекрасно, клянусь в этом Зевсом; по этой части его никто ни в чем не мог бы упрекнуть.

119 И еще один образец слога представлю и здесь, потому что по мощи речи почитаю его за подвиг. Как в отборе слов, так и в красоте их сочетания высшим пределом является Демосфен. В речи его «О венке» начальный период состоит из трех членов:

> Прежде всего, граждане афинские, я молю всех богов и богинь, чтобы такая же благожелательность, какую я всегда питаю по отношению к государству и всем вам, была и мне оказана вами в настоящем процессе...[100]

Вот каковы размеряющие эту речь ритмы. Prōton men, ō andres Athēnaioi, tois theois eychomai pasi cai pasais — начинается член бакхием, за ним следует спондей, затем анапест, еще спондей, три кретика подряд и заключительный спондей. Второй член: Hosēn eynoian echōn egō

diatelō tēi te polei cai pasin hymin, первая стопа — гипобакхий, потом
бакхий (или, если угодно, дактиль), потом кретик, потом две составные
стопы, именуемые пеонами[101], за ними молосс (или бакхий: можно
выбрать и то и другое) и в заключение — спондей. Третий член: То- 120
saytēn hyparxai moi par' hymōn eis toytoni ton agōna, в начале два
гипобакхия, затем кретик, с которым сцеплен спондей, затем бакхий
(или кретик), на последнем месте опять кретик и заключительный слог.
Как же не быть прекрасным такому строю речи, в котором нет ни
пиррихия, ни ямба, ни амфибрахия, ни хорея, ни трохея — ни единого!

Я вовсе не говорю, будто из названных писателей никто и никогда не пользовался более низкими ритмами: пользовались, конечно, но умело скрывали их, сплетая в единую ткань худшие стопы с лучшими.

Писатели же, которые по этой части беззаботны, являют миру со- 121
чинения низменные, изломанные или запятнанные иными пороками и
уродствами. А среди них и первое место, и последнее, и среднее зани- 122
мает Гегесий, софист из Магнесии. Клянусь Зевсом и всеми богами,
я не знаю, что и сказать о нем: то ли он был так бесчувствен и груб,
что не понимал, какие ритмы — благородные, а какие — низкие, то ли
боги его обидели и так повредили в уме, что он знал, какие ритмы
лучше, а выбирал, какие хуже? Думается, скорее — последнее: ведь в
незнании случается подчас и хорошо сказать, с умысла же — никогда.
А у него среди всех им оставленных писаний не отыщется и странички,
сложенной удачно: кажется, будто он почитает достоинством и делает 123
предметом своего стремления то, чего разумный человек, держа речь,
и в необходимости бы устыдился. Я приведу образец слога из его
«Истории», чтобы простое сопоставление показало, какое достоинство
заключено в благородстве ритмов и какой позор в их убожестве.

Какой же предмет избирает здесь наш софист? Вот какой. Александр[102], осаждая Газу, укрепленный город Сирии, получил рану во время приступа и овладел городом не сразу. В гневе он приказывает македонцам убивать всякого встречного, чтобы извести всех, кто уцелел; а пленного военачальника, человека достойнейшего и положением и видом, он повелел привязать живым к колеснице и гнать коней, пока тот на виду у всех не испустил дух. Более ужасных страстей и устрашающих зрелищ невозможно и поведать. Потому и надобно посмотреть, как повествует о них наш софист: возвышенно и важно или низменно
и смехотворно? 124

Царь же, имея за собой строй, двинулся вперед, помышляя противустать в сече лучшим из недругов, чтоб одолеть единого и сокрушить все их полчище (так полагал он). Надежда сама сопутствовала дерзновению: никогда дотоль не бывал Александр в столь великой опасности. Было так: некий вражеский муж, на колена склонясь, являл вид мольбы Александру; но ближе его подпустив, едва Александр от меча уклонился, под панцирем втайне пронесенного для рокового удара. Посягнувшего сам поразил царь мечом в темя; на остальных же вспылал свежим гневом. Безумье дерзнувшего всякую жалость исторгло из всякого серд-

125 ца — у тех, кто сам видел, и у тех, кто лишь слышал; и вот, по единому трубному звуку шесть тысячей варваров в прах полегло. Самого же владыку живым привели Леонат и Филот. Был он тучен, огромен и мерзок, а кожею черен. Из ненависти, как к злодействам его, так и к виду, велел Александр медным прутом пронзить ему ноги и за колесницей нагого повлечь. И вращаясь во зле, от вели-
126 ких невзгод возопил он; на крик тот премного народу стеклось; как росли его муки, по-варварски он «Господин!» — восклицал, умоляя, и выговором чужестранным смеша; а брюшина и толщь его чрева являли очам вавилонян не слабую тварь. Потешалась толпа, измываясь над недругом, грубым по нраву и с виду[103].

А между тем разве это не подражание Гомеру в том месте, где у него Ахилл бесчестит сраженного Гектора? Правда, страдание здесь меньше, ибо оскорблению подвергается бесчувственное тело; но все-таки стоит посмотреть, какова разница между поэтом и софистом.

127 Рек — и на Гектора он недостойное дело замыслил:
Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие
Сзади от пят и до глезн и, продевши ремни, к колеснице
Тело его привязал, а главу волочиться оставил;
Стал в колесницу и, пышный доспех напоказ поднимая,
Коней бичом поразил; полетели послушные кони.
Прах от влекомого вьется столпом; по земле, растрепавшись,
Черные кудри крутятся; глава Приамида по праху
Бьется, прекрасная прежде; а ныне врагам олимпиец
128 Дал опозорить ее на родимой земле илионской!
Вся голова почернела под перстию. Мать увидала,
Рвет седые власы, дорогое с себя покрывало
Мечет далеко, и горестный вопль подымает о сыне.
Горько рыдал и отец престарелый; кругом же граждане
Подняли плач; раздавалися вопли по целому граду.
Было подобно, как будто от края до края высокий
Весь Илион от своих оснований в огне рассыпался![104]

Вот с каким благородством и силой подобает изображать страсти мужам разумным и рассудительным. А магнесиец говорил, как говорят бабы или дурни, да и то не всерьез, а в шутку и на смех. В чем же
129 причина, что стихи эти благородны, а проза — пустопорожняя и низкая? Конечно, прежде всего в разнице ритмов, хотя и не только в ней. Среди стихов здесь нет ни одного недостойного, ни одного небезукоризненного; а среди прозы — ни одного периода, который бы не резал слух.

Итак, о ритмах и об их значении я сказал; перейду теперь к дальнейшему.

XIX. РАЗНООБРАЗИЕ

Третий наш предмет рассмотрения из того, что делает склад красивым,— это разнообразие. Под этим словом я разумею не перемену от лучшего к худшему — это было бы совсем нелепо! — но и не перемену от худшего к лучшему, а разнообразие однородного. Ибо при неизменном повторении надоедает даже и всяческая красота, как и вообще все приятное; а в разнообразии перемен она продолжает вечно оставаться новой.

Сочинители стихов и песен могут переменять не все, и не во всем,
и не настолько, насколько они желают. Например, слагатели эпоса не 130
могут менять ни метра — все их стихи непременно должны быть шестистопными,— ни ритма: они могут пользоваться лишь ритмами, начинающимися с долгого слога, да и то не всеми. Сочинители мелических песен не могут изменять мелодию строф и антистроф: раз приняв тональность или энгармоническую, или хроматическую, или диатоническую, они должны соблюдать ее во всех строфах и антистрофах; нельзя также менять ритмов целых строф и антистроф: они тоже должны оставаться одними и теми же. В так называемых эподах можно менять как мелодию, так и ритм; даже члены, из которых состоит период, можно разнообразить с большой свободой, придавая им то одни, то другие размеры и сочетания,— но лишь до тех пор, пока не будет сложена строфа; а затем опять-таки метры и члены должны быть одни и те же[105]. Древнейшие мелики — я имею в виду Алкея и Сафо[106] — слагали строфы короткими, так что лишь в немногие члены вводили немногие перемены, и эподами тоже пользовались лишь немногими. Ученики же Стесихора[107] и Пиндара только из любви к переменам увеличили свои периоды, распространив их на много метров и членов. А сочинители дифирамбов[108] меняют даже лады, употребляя в одном и том же пес-
нопении и дорийский, и фригийский, и лидийский; меняют и мелодии, 132
употребляя то энгармоническую, то хроматическую, то диатоническую; и даже ритмы они меняют с полной свободою, словно в неком вдохновении,— по крайней мере, таковы последователи Филоксена, Тимофея и Телеста[109], между тем как у древних дифирамб был построен строго.

Что же касается прозаической речи, то она может совершенно свободно распоряжаться разнообразием перемен по своему желанию. Речь эта сильнее всех прочих, поскольку она вольна давать неограниченное число пауз и перемен в построении: тут она укладывается в период, там выходит из периода; один период сплетен из большего числа членов, другой из меньшего; самые члены бывают то короче, то длиннее, то быстрее, то медленнее, то утонченнее; ритмы то одни, то другие, фигуры разнообразные, напряжения голоса — так называемые ударения — различные, и такая пестрота делает невозможным всякое пресыщение. Есть особая прелесть в таком складе, в котором и склада не заметно.

ИСКУССТВО ПИСАТЕЛЕЙ В РАЗНООБРАЗИИ

Думаю, что для этого не требуется много лишних слов: я уверен, что все уже убедились: перемена — самое приятное и красивое в слове. В качестве примера я могу привести всю речь Геродота, Платона, Демосфена. Трудно найти других, кто шире пользуется богатством эпизодов, полнотой разнообразия, многоликостью фигур, нежели первый из
134 этих — в построении истории, второй — в прелести диалогов, третий — во владении состязательными речами. И совсем непохожа на это была школа Исократа[110] и его учеников: хоть они и достигали приятности и величественности во многих своих соединениях, но в переменах и разнообразии были не столь удачливы: у них всегда один и тот же круг периода, однообразное построение фигур, одинаковое сплетение звуков и многое другое в том же роде, раздражающее слух. В этом отношении я и не могу одобрить эту школу. Конечно, у самого Исократа многие красоты скрывают своим цветом эти недостатки; но у его учеников меньше иных достоинств, и поэтому такая погрешность выступает ярче.

XX. УМЕСТНОСТЬ

135 Мне остается еще один вопрос — об уместном. Действительно, уместность должна присутствовать и во всех остальных формах; и если какое-нибудь произведение несовершенно в этом отношении, то оно несовершенно хоть и не во всем, но в самом главном. Здесь не место рассматривать это понятие в целом, ибо такое рассмотрение глубоко и требует многих рассуждений. Однако надо сказать, сколько возможно, пусть не обо всем и даже не о большей части, но хотя бы о том, о чем зашла речь.

Если общепризнано, что уместность — это то, что соответствует данным лицам или предметам, тогда, подобно тому как один выбор слов будет уместен для данного содержания, а другой неуместен, точно
136 так же и соединение слов. Примером тому может служить сама действительность. Я имею в виду то, что ведь не одни и те же употребляем мы соединения слов, когда сердимся и когда радуемся, когда сетуем и когда страшимся, когда постигнуты каким-нибудь горем и несчастьем и когда предаемся размышлению, не смущаемые и не печалимые ничем. Я говорю это ради пояснения и примера, немногое о многом: ведь если захотеть перечислить все виды уместности, то причин их окажется бесчисленное множество. Из них я назову лишь одну, самую обычную: одни и те же люди, в одном и том же состоянии духа, рассказывая о событиях, которых они были свидетелями, не обо всем го-

ворят одинаковыми соединениями слов, а невольно подчиняются есте-
ственному стремлению и подражательно передают рассказываемое даже
самым соединением слов. Присматриваясь к этому, должен и хороший
поэт, так же как и хороший оратор, подражать тому, о чем он говорит, 137
не только подбором слов, но и их соединением.

ИСКУССТВО ПИСАТЕЛЕЙ В УМЕСТНОСТИ

Так обычно делает божественный Гомер: хотя метр у него один и 138
тот же, а ритмов немного, однако он всегда вводит что-нибудь новое
и искусное, так что кажется, нет никакой разницы между событием и
описанием. Приведу немного примеров, которые можно применить ко
многим случаям.

Одиссей, повествуя феакам о своем скитании и говоря о нисхож- 139
дении в Аид, являет взгляду аидовы горести, и между ними рассказы-
вает и о страдании Сизифа. По преданию, подземные боги положили
его мучениям кончиться тогда, когда он вкатит камень на некую гору;
но это несбыточно, потому что всякий раз этот камень, достигнув вер-
шины, обрушивается снова. Не мешает посмотреть, как поэт подража-
тельно изъясняет это самим соединением слов:

> Видел я также Сизифа, казнимого страшною казнью:
> Тяжкий камень снизу обеими влек он руками
> В гору; напрягши мышцы, ногами в землю упершись,
> Камень двигал он вверх...[111]

Соединение слов здесь таково, что все происходящее предстает перед
глазами: и тяжесть камня, и труд, с каким его отрывают от земли, и
Сизифа, напрягающего члены и всходящего на гору, и еще вздымаемую 140
глыбу. Никто не скажет, чем создана каждая из этих картин; однако
явились они не случайно и не наудачу. Прежде всего, в двух стихах,
где камень вскатывается, все слова, кроме двух,— или двусложные, или
односложные; далее, в обоих стихах в полтора раза больше долгих
слогов, чем коротких; далее, все переходы в сочленении слов рассчи-
таны по величине, и стыки их хорошо ощутимы, благодаря столкнове-
ниям гласных или сочетаниям полугласной с безгласной, а ритмы, из
которых это состоит,— дактили и спондеи, то есть самые долгие и широ-
ко ступающие. Каково же значение этих средств? Односложные и дву-
сложные слова, разделяясь большими промежутками, воспроизводят 141
медлительность действия; долгие слоги, твердо упирающиеся и прочно
сидящие,— сопротивление, тяжесть и трудность; придыхание между сло-
вами и шероховатые сочетания букв — непрерывность напряжения, за-
держки, огромность труда; долгота ритма — вздутые мышцы, усилия

катящего, сопротивление камня. И все это создалось не случайной игрой природы, а старанием искусства воспроизвести события. Это ясно видно из последующих строк: там поэт изображает камень, вновь срывающийся и катящийся с горы, и слог у него уже не прежний, а убыстренный и сжатый в соединениях. Продолжив прежним складом:

> Но едва достигал до вершины
> С тяжкой ношей...—

142 он заканчивает так:

> ...назад устремленный невидимой силой,
> Вниз по горе на равнину катился обманчивый камень.

Разве не вместе с тяжестью камня катится соединение этих слов? или, лучше сказать, разве не опережают самый камень своей быстротою эти речи о нем? Мне представляется, что именно так. И опять-таки не мешает посмотреть: какая тому причина? Стих, изображающий падение камня, не содержит ни одного односложного слова и только два двусложных; уже это не позволяет затягивать время и велит торопиться. Далее, в стихе этом 17 слогов, из них 10 кратких и только 7 долгих, да и то не совершенно долгих; поэтому приходится сжимать
143 и сокращать фразу, и без того уже стиснутую краткостью слогов. Далее, имя от имени здесь нигде не отделяется сколько-нибудь заметным промежутком; гласная к гласной, полугласная к полугласной или безгласной нигде не примыкает и не прибавляется так, чтобы от того разрушалась гладкость и связность построения речи. Здесь нет ощутимых промежутков, потому что между словами нет зазоров: они вместе скользят и падают, словно безошибочное согласование придало всем им единый облик. Более же всего удивительно, что ни один ритм, содержащий два долгих слога (а такие возникают в героическом размере вполне естественно), будь то спондей или бакхий, не примешивается в этот стих, разве что на конце его: все стопы здесь — дактили, и притом настолько близкие к иррациональным, что почти не отличаются от
144 трохеев. Таким образом, ничто не препятствует составленной таким образом фразе нестись течением быстрым и плавным[112].

Примеров такого рода можно много указать у Гомера; но мне довольно было указать на этот, чтобы при случае иметь возможность вернуться и к остальным. Итак, вот каковы, по моему мнению, главнейшие и важнейшие предметы, о которых должен заботиться всякий, кто стремится к красивому и приятному соединению слов как в стихах, так и в прозе. А то, что я не смог включить в сочинение — по причине ли чрезмерной мелкости, или темноты, или обширности,— я предложу тебе в наших повседневных занятиях, и приведу примеры из многих лучших поэтов, историков и риторов.

ПЕРЕХОД К НОВОЙ ТЕМЕ

Теперь же я остановлюсь, чтобы добавить то, чего я еще не ска- 145
зал, но обещал сказать и должен сказать. Прежде всего — о том, какие бывают различные соединения, в чем основные особенности каждого, и кто в каком из них отличился: об этом нужно упомянуть и показать на примерах из каждого. А когда я дойду до конца, то нужно разъяснить другой вопрос, для многих сомнительный: что заставляет прозу, оставаясь прозой, казаться похожей на стих, а поэтический слог — укладываться в прозу, не теряя поэтической важности. Дело в том, что у лучших прозаиков и поэтов достоинства речи бывают одни и те же. Я попытаюсь и об этом сказать, что думаю; но начну я по порядку.

XXI. КАКИЕ БЫВАЮТ ТРИ РОДА СОЕДИНЕНИЯ

Я полагаю, что видовых различий соединения имеется великое множество, и они не поддаются ни обозрению, ни точному подсчету; думается, что каждый из нас имеет особенный склад не только в наружности, но и в соединении своих слов. Хорошим примером может служить
живопись: как в живописи все художники берут одни и те же краски, 146
но смешивают их по-разному, совершенно так же и в нашей речи, как художественной, так и во всякой иной, мы пользуемся все одними и теми же словами, но слагаем их в совсем не одинаковые соединения.

Однако родовых различий соединения, по моему убеждению, насчитывается три. Подходящие названия для них пусть придумает, кто хочет, выслушав описание их особенностей и различий; я же, не располагая особыми для них названиями, приложу к ним как к безыменным переносные обозначения, назвав один род соединений строгим, другой — гладким или цветистым, а третий — общим. Как получается этот последний, путем или устранения крайностей первого и второго или путем их смешения, я решить не могу, и «хочется мне правду изречь
двояко»[113]: к ясным догадкам здесь нелегко прийти. Не поможет нам 147
и ссылка на то, что в очень многих случаях среднее образуется вследствие ослабления или растяжения крайностей. Ведь это не то, что в музыке, где средняя струна равно удалена от нижней и от верхней: в речи средний род не так ровно держится между крайностями, а рассматривается в некоторой протяженности, подобно стаду, куче и т. п. Но для такого рассмотрения здесь не место, а надо лишь сказать, как было обещано, об особенностях трех родов; да и то я скажу не все, что мог бы, потому что это потребовало бы слишком долгих разборов, но лишь самое явное.

XXII. ОСОБЕННОСТИ СТРОГОГО СОЕДИНЕНИЯ

Строгое построение имеет вот какой характер. Хочет оно, чтобы
148 слова утверждались прочно, стояли крепко, чтобы каждое было видно
издали и чтобы куски речи отделялись друг от друга заметными пау-
зами. Столкновения шероховатые и противные слуху оно допускает
нередко и относится к ним безразлично: так при кладке стен из от-
борных камней в основание кладут камни неправильной формы и неоте-
санные, дикие и необработанные. Оно любит растягиваться как можно
шире за счет больших размашистых слов; а стеснять себя краткостью
слогов ему противно, разве что по необходимости. Вот что преследует
и к чему стремится суровое построение в разработке слов.

Такова же цель его и в разработке членов. Ритмов оно ищет важ-
ных и величественных, и от членов не требует ни равенства между
149 собой, ни сходства, ни непреложной последовательности, но только
благородства, красоты и свободы. Оно предпочитает походить на при-
роду, а не на искусство, и звучать скорее пафосом, чем этосом[114].
Составлять периоды, соразмеренные с мыслью, оно вообще не любит.
Если иной раз оно к этому невольно и склонится, то спешит показать,
что сделано это неумышленно и в простоте; не пользуется ради закруг-
ления периода никакими добавками лишних слов, ничего не прибавля-
ющих к смыслу; не заботится ни о театральности, ни о гладкости
периодов, нимало не соразмеряет их с дыханием говорящего, чтобы
придать им законченность, и вообще ничем подобным не занимается.
150 Оно не соблюдает единства построения, часто меняет падежи, пестрит
фигурами, пропускает союзы и член, сплошь и рядом нарушает после-
довательность, лишено цветистости, возвышенно, прерывисто, бесхитрост-
но, и красота его в застарелости и патине.

Было много ревнителей такого построения, непохожих друг на дру-
га: и в поэзии, и в истории, и в речах. В эпосе — это Антимах Колофон-
ский и Эмпедокл-физик[115] ; в мелосе — Пиндар; в трагедии — Эсхил; в
151 истории — Фукидид; в публичных речах — Антифонт. Здесь предмет тре-
бует привести побольше примеров от каждого из названных; конечно,
наша речь от этого, словно испещренная весенними цветами, не стала
бы хуже, но все сочинение наше оказалось бы сверх меры большим и
служило бы скорее отдохновению, чем наставлению. Однако нельзя
и тут пройти без разбора мимо сказанного, словно тут все ясно и не
требует обоснований. Надобно найти середину между тем и другим
и, не превышая меры, привести доказательства. Это я и постараюсь
сделать, приведя немногие примеры из виднейших писателей. Из поэтов
152 довольно будет взять Пиндара, из прозаиков Фукидида, ибо эти пи-
сатели наиболее искусны в строгом соединении.

Начнем с Пиндара. У него есть дифирамб, начинающийся так:

В круг наш 153
Светлую радость свейте, олимпийцы,
Шагающие там, где курится фимиамом
Пуп святых Афин, средоточие всех путей,
И блещет всеискусная площадь!
В венках из фиалок и вешних песен
Склонитесь ко мне — 154
Выступающему от Зевса в блеске моем
К сугубой песне
Во славу бога, венчанного плющом,
Бромием и Эрибоем называемого меж смертных!
Мы поем
Отпрыска вышнего родителя и кадмейской жены[116].
Зримые его знаки не скрыты от провидца,
Когда Оры[117] в багреце своем распахнули чертог,
И весна благоухает нектарными злаками.
Тут и рассыпаться по бессмертной земле фиалковым купам,
Тут и вплестись розам в пряди кудрей,
Прозвенеть голосу певучих флейт,
И поющим взойти к Семеле с перевитой головой![118]

Вот слог сильный, крепкий, полный достоинства; в нем немало су-
ровости, но задевает слух он безболезненно и уязвляет его умеренно;
он задерживается звучанием на каждом шагу, чтобы разом досягнуть
до величайшей гармонии; в нем видна не театральная лощеная красота, 155
а древняя и строгая — не сомневаюсь, что с этим согласится всякий,
у кого есть хоть какое-то чувство слова. Черты эти явились, конечно,
не случайно и не сами собой, а с помощью какого-то расчета и искус-
ства; и я постараюсь показать, какими же заботами было достигнуто
такое устроение.

Первый член Deyt'en choron, Olympioi состоит здесь из четырех
частей речи: глагола, предлога и двух нарицательных имен. Глагол
и предлог, соединенные стяжением слогов, создают построение, не ли-
шенное благозвучия. Зато нарицательное имя, примыкающее к предлогу,
производит в построении значительную шероховатость: сочетание en
choron труднопроизносимо и противно слуху, потому что предлог здесь
кончается на полугласную букву n, а имя начинается с безгласной ch,
буквы же эти в течение речи не сливаются и не смешиваются: никогда 156
внутри одного слога n не стоит перед ch. Поэтому слог распадается
на две части, не связанные по звучанию, а между ними неизбежно
возникает пауза, разгораживая эти буквы с их особенностью. Вот по-
чему первый член по положению своему оказывается шероховат. (Чле-
ны я здесь имею в виду не те, на которые Аристофан и другие метристы
разделили песнопения ради красоты, а те, на которые разделила речь
сама природа и которыми племя риторов размеряет свои периоды.)

Следующий за этим член epi te clytan pempete отделен от пер-
вого заметным переходом. В нем немало построений, противных слуху.
157 Начинается он с гласной e, которая следует за другой гласной, i, за-
мыкающей предыдущий член. Стяжения между собою они не образуют,
потому что никогда внутри одного слога i не стоит перед e; вместо
этого между ними возникает пауза, обе части речи опираются на нее,
и движение речи получает устойчивость. Далее, в последовательном
соединении частей внутри этого члена, за начальными союзами epi te
(впрочем, epi лучше, пожалуй, назвать предлогом) следует часть нари-
цательная, clytan. Соединение это шероховато и противно слуху. На-
чальный слог слова clytan стремится к краткости, а вынужден тянуться
дольше краткого, ибо состоит из безгласной, полугласной и гласной;
и возникающая таким образом неясность краткого в этом труднопроиз-
носимом нагромождении букв вызывает задержку и запинку в постро-
ении. А вот если бы от этого слога отбросить c и сказать: epi te lytan,
158 тогда бы замедленность и шероховатость построения сразу снялась.
Далее, за нарицательным clytan следует глагол pempete. Звуки здесь
не согласованы и плохо сливаются: голос неизбежно напирает на n,
сильно нажимает на эту букву, а потом вдруг раздается p. Между тем,
n не может стоять перед p из-за разного положения рта, ибо обе эти
буквы n и p, не одинаковы ни по месту, ни по способу произношения:
при n звук возникает под нёбом, язык упирается в кончики зубов, а
дыхание постепенно выходит через ноздри, при p рот сомкнут, язык
бездействует, а дыхание, скопившись, с шумом вырывается при раскры-
159 тии губ, как я описал это выше. А на перемену рта от положения к
положению, если положения эти несходные и неоднородные, требуется
промежуток времени, разрывающий гладкое и плавное построение речи.
Вдобавок и первый слог слова pempete звучит не мягко, а шероховато
для слуха, так как начинается с безгласной, а кончается на полуглас-
ную. Далее, сочетание слов charin theoi тоже разрывает звук, образуя
заметный рубеж между словами: первое кончается на полугласную n,
второе начинается с безгласной th, а по природе полугласные ставятся
перед безгласными.

Затем следует третий член: polybaton hoi t'asteos omphalon thyoenta
en tais hierais Athēnais oichneite. Здесь слово omphalon кончается на
160 n, а за ним слово thyoenta начинается с th, и это так же неприятно
для слуха, как и ранее. Слово thyoenta кончается на гласную a, при-
мыкающее слово en tais hierais начинается с гласной e, и она от нема-
лой паузы между словами растягивается из краткой в долгую. Далее
идет: pandaidalon t'eycle' agoran — сочетание грубое и противное слуху,
потому что здесь опять с полугласной n сочетается безгласная t, и от-
того происходит заметный разрыв между нарицательным pandaidalon
и последующим стяжением гласных. Обе они долгие; а стяжение двух
слогов, состоящее из безгласной и двух гласных, затягивается свыше
меры; правильная мера, дающая более правильное построение, явилась
бы, если отбросить t и оставить pandaidalon eycle' agoran.

Подобно этому и сочетание iodetōn labete stephanōn. Здесь оказы- 161
ваются смежными полугласные n и l, а такое соединение неестественно,
потому что произносятся они при разном положении рта. В следующем
сочетании stephanōn tōn earidreptōn тоже растягиваются слоги и по-
строение сильно удлиняется: опять сталкиваются два слога, выходящие
из меры: последний слог слова stephanōn с долгою по природе гласной
между двух полугласных и следующий за ним затянутый трехбуквен-
ный слог из безгласной, долгой гласной и полугласной. Из-за протя-
женности слогов возникает разрыв речи, а из-за соседства несозвучных
букв n и t — противность слуху, как о том было сказано ранее. Затем
к слову loiban, кончающемуся на n, примыкает сочетание diothen te
me, начинающееся с безгласной; а к syn Aglaiai, кончающемуся на i,—
idete poreythentes aoidais, начинающееся с i. Если рассмотреть всю 162
песнь от начала до конца, то в ней можно и еще немало найти подоб-
ного.

О Пиндаре достаточно; теперь пора перейти к остальному. Возьмем слова Фукидида в его предисловии:

> **Фукидид афинянин записал войну между пелопоннесцами и афинянами, как они 163
> вели ее друг против друга. Приступил он к труду своему тотчас по началу вой-
> ны, в той уверенности, что война эта будет великой и достопримечательнейшей
> из всех прежних. Заключал он так из того, что обе стороны совершенным образом
> были к ней во всем приготовлены, а прочие эллины на глазах у него стали при- 164
> мыкать к воюющим, иные тотчас, иные подумав. И доподлинно, война эта яви-
> лась величайшим движением среди эллинов, а отчасти и среди варваров, и
> можно даже сказать, среди большинства народов. То, что было до войны и еще
> того ранее, за давностью времени невозможно было исследовать с ясностью;
> однако же свидетельства, дающие достоверно проникнуть рассмотрением в самое
> дальнее прошлое, убеждают, что и тогда не случилось великого ни на войне,
> ни в чем другом.**
>
> **По-видимому, земля, именуемая ныне Элладою, прочно заселена не с давних
> пор: раньше в ней происходили переселения, и каждый народ легко покидал
> свою землю, будучи тесним каким-либо другим, всякий раз более сильным. Дело
> в том, что в отсутствие торговли и безопасных взаимных общений по суше и
> морю, каждый имел лишь столько, чтобы прожить: никто не имел избытка в
> средствах, никто не возделывал землю, потому что неизвестно было, когда на- 165
> падет на него другой и обездолит беззащитного; а насущное пропитание пола-
> гали они возможным без труда добыть повсюду[119].**

В этом слоге тоже нет построений гладких и тщательно пригнанных, он не сладкоречив, не проскальзывает в слух неуловимо; нет, он обнаруживает немало неприятного, грубого, резкого, он нисколько не гонится за хвалебной или театральной прелестью, а являет красоту старинную и горделивую как для сведущих читателей, так и для невежд. Впрочем, мне нет нужды об этом говорить, потому что сам историк объявил, что сочинение его неласкательно для слуха: «Труд мой со-

ставлен не столько чтобы прозвучать в состязании на мгновение, сколь-
166 ко чтобы стать достоянием навеки»[120]. А вот какими правилами воспользовался наш писатель, чтобы создать построение строгое и подернутое налетом старины,— это я должен показать хоть немногими примерами. Не так уж трудно обнаружить великое в невеликом, если правила прилагаются к тому и другому последовательно и сходно.

С самого начала пристроенный к нарицательному Athēnaios глагол xynegrapse создает заметный разрыв построения; s не может стоять перед x, потому что они не могут произноситься разом в одном и том же слоге: чтобы слышался x, после s необходима остановка, а такое действие производит неприятную шероховатость. Далее, в словах ton polemon tōn Peloponnēsiōn cai Athēnaiōn четырехкратное столкновение звуков n с t, p и c подряд сильно поражает слух и заметно рас-
167 шатывает стройность. Здесь ни в одном слове последняя буква не сжимается и не складывается в устах так, чтобы следующая приобретала звучание ясное и чистое. Кроме того, сочетание гласных в конце члена cai Athēnaiōn разымает и разрывает связность построения заметной внутренней паузой, потому что звуки i и a не смешиваются и звучание дают рубленое.

Второй период начинается членом arxamenos eythys cathistamenoy, он вносит умеренную стройность, потому что вид имеет благозвучный и мягкий. Но следующий член опять расслабляет связи построения,
168 делая его шероховатым и разорванным: cai elpisas megan te esesthai cai axiologōtaton tōn progegenēmenōn. Три гласных соседствуют здесь друг с другом на малом расстоянии, образуя столкновения и пресечения и не позволяя слуху улавливать цельный облик всего члена. Да и весь период, кончающийся словами tōn progegenēmenōn, не имеет основания выведенного и закругленного, в нем не видно ни вершины, ни перелома, словно концовка его принадлежит не к тому, что ей предшествует, а к тому, что за нею следует.

То же самое происходит и в третьем периоде. У него основание тоже неочерченное и неустойчивое, потому что оканчивается оно словами to de cai dianooymenon, в которых тоже неоднократно гласные сталкиваются с гласными и полугласные с полугласными, отчего возникают
169 сочетания, по природе своей несозвучные и шероховатые. Короче можно сказать так: в отрывке, мною приведенном, содержится двенадцать периодов (которые можно легко размерить дыханием); а в них — не менее тридцати членов, среди которых благозвучно сложены и гладко построены, если поискать, разве что шесть или семь; а столкновения гласных в этих двенадцати периодах встречаются раз тридцать, а неприятные, резкие и труднопроизносимые стыки полугласных и безгласных (от которых в течение речи возникают остановки и перерывы) — в таком количестве, что едва ли не в каждом слове оказывается что-нибудь подобное. В членах здесь много несоразмерности, в периодах — неодинаковости, в формах — необычности, в порядке слов — небрежности; и

прочего, что я считаю отличительными признаками построения неприкрашенного и строгого. Но и тут представляется излишним тратить время на исчерпывающее перечисление всех примеров.

XXIII. ОСОБЕННОСТИ ГЛАДКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Гладкое же соединение, которое мы перечисляли вторым, имеет сле- 170
дующий характер. Оно не ищет для каждого слова видного места, не стремится утвердить каждое слово на основании широком и прочном и разделить их долгими промежутками, да и вообще ему не нравится медленность и устойчивость. Оно хочет, чтобы именования были в движении и чтобы слова неслись, настигая друг друга и друг в друге находя опору, словно поток, льющийся без остановки. Оно требует, что-
бы слова связывались и сплетались в общей ткани, самим видом являя 171
свою силу. Достигается это тщательным построением, не допускающим никаких ощутимых пауз между словами. Отчасти в этом отношении оно походит на хорошо вытканные ткани или картины, где светлое оттенено темным. Гладкое сочетание хочет, чтобы все слова сплошь были благозвучны, гладки, мягки и нежны; слоги шероховатые и неприятные ему противны, и всего, что смело и рискованно, оно остерегается.

Оно желает, чтобы не только слова к словам старательно подгонялись и притачивались, но чтобы и члены с членами хорошо сплетали общую ткань, замыкаясь периодом. Члены не должны по величине быть ни слишком короткими, ни слишком длинными, а размер периода — таким, чтобы одолеть его одним дыханием. Речь без периодов, периоды без членов, члены без соразмерности в гладком соединении невыносимы.
Ритмы употребляет оно не самые длинные, а средние или сравнительно 172
краткие; а период оно любит завершать стройной, как по мерке, концовкой. Соединения периодов и соединения слов строятся здесь противоположно: слова одни с другими сливаются, а периоды один от другого отделяются, словно чтобы каждый был на виду. Фигуры оно любит употреблять не старомодные, не те, в которых есть некоторая торжественность, вескость, патина, а фигуры нежные и мягкие, в которых много и обманчивого и театрального. Одним словом, этот второй род соединения во всем основном противоположен первому, и об этом нет надобности говорить вторично.

Следовало бы перечислить тех, кто стяжал в этом роде первенство. 173
Из эпических поэтов, по моему мнению, здесь больше всего отличился Гесиод; из лирических поэтов — Сафо, а после нее — Анакреонт и Симонид; из трагиков — только Еврипид; из историков в особенности никто, но больше других — Эфор и Феопомп[121]; из риторов — Исократ. Я приведу примеры и этого построения, взяв из поэтов Сафо, из риторов — Исократа.

Начну с поэтессы:

Пестрым троном славная Афродита,
174 Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя,— не круши мне горем
Сердца, благая!
175 Но приди ко мне, как и раньше часто
Откликалась ты на мой зов далекий
176 И, дворец покинув отца, всходила
На колесницу
177 Золотую. Мчала тебя от неба
Над землей воробушков милых стая;
Трепетали быстрые крылья птичек
В далях эфира.
И, представ с улыбкой на вечном лике,
Ты меня, блаженная вопрошала,—
В чем моя печаль, и зачем богиню
Я призываю,
178 И чего хочу для души смятенной.
«В ком должна Пейфо[122], укажи, любовью
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою
Кто, моя Псапфа?
179 Прочь бежит? Начнет за тобой гоняться.
Не берет даров? Поспешит с дарами.
Нет любви к тебе? И любовью вспыхнет,
Хочет — не хочет».
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши, и со мной союзна
Будь, о богиня![123]

Благозвучие и прелесть этого слога порождены благозвучием и гладкостью построения. Слова здесь прилегают друг к другу и ткутся в естественную связь соответствующих букв. Гласные при полугласных и согласных стоят на протяжении почти всей песни именно те, которым
180 свойственно стоять перед ними и после них. Сочетания полугласных с полугласными и гласных с гласными, разрывающие звучание, крайне немногочисленны. Посмотрев всю песню, я нашел среди ее имен, глаголов и других слов всего лишь пять или шесть сплетений таких полугласных букв, которым от природы не свойственно смешиваться, да и те, по-моему, не так уж сильно нарушают благозвучие; сочетаний гласных внутри членов здесь столько же, если не меньше, а на стыках членов — лишь немногим поболее. Поэтому понятно, что речь получается плавная и мягкая: ведь ничто в построении имен не замутняет ее звучания. Я бы мог и больше сказать об особенностях такого соединения, пока-

зывая их на примерах, если бы сочинение мое от этого не растянулось 181
и не показалось бы, что я повторяюсь. Но ты, милый Руф, как и всякий другой, на досуге и во благовременье сможешь сам перебрать и рассмотреть на примерах все частности, которые я перечислил, описывая характер этого слога. Я же сейчас этого сделать не могу, а должен лишь показывать далее то, что мне нужно, и пусть, кто может, следует за мной.

Я добавлю пример еще из одного писателя, украшавшего слог на тот же лад,— из оратора Исократа, который, как мне кажется, среди 182
всех писавших этим слогом прозу довел его построение до наивысшего совершенства. Вот отрывок из его «Ареопагитика»:

Многие из вас, наверное, удивляются, почему пришло мне в ум выступить с речью о спасении государства, словно оно находится в опасности или положение его ненадежно, между тем как кораблей у нас более двухсот, на земле нашей царит мир, на море держится наша власть, и много у нас союзников, готовых прийти на помощь в нужде, и еще больше тех, которые платят нам подати и выполняют наши повеления. Иной сказал бы, что при таких делах ничто нам не грозит, и нам незачем бояться,— скорее уж это наши враги должны страшиться
и размышлять о своем спасении. И я отлично знаю, что именно эти соображения 183
и побуждают вас к выступлению моему отнестись свысока, в надежде, что сила ваша покорит вам всю Элладу. А я того и боюсь: я ведь вижу, что государства, выше всех мнящие себя благополучными, хуже всех пользуются советами, и что государства, ничего не боящиеся, более всего и подвержены опасностям. Дело в том, что счастье и несчастье приходят к людям не врозь: спутником при богатстве и могуществе является неразумие и с ним своеволие, а при убожестве и нужде — умеренность и здравый смысл. Поэтому нелегко решить, который удел предпочесть и оставить на долю детям; ибо мы видим, что когда дела кажутся
худшими, то обычно из них открыт прибыток к лучшим, а когда кажутся лучшими, 184
то нередко случается от них срываться к худшим[124].

Как эта речь собрана в лад и расцвечена в тон, как в ней каждое слово не сидит на видном месте, не шагает широким шагом, не отделено и не оторвано от соседнего долгими перегонами, но вся она является слуху в непрерывном движении, стремлении, течении, и все скрепляющие ее построения замечательны плавностью, мягкостью, легкостью,— тому свидетельством служит само ощущение нашего неразумного слуха. А причиною тому, как легко заметить,— перечисленные нами особенности движения этой речи, и ничто другое. В самом деле, среди гласных здесь нет ни единой противности слуху из числа нами указанных, да такова, пожалуй, и вся речь, если только от меня в ней ничто
не ускользнуло; среди полугласных и безгласных букв таких противно- 185
стей мало, да и те неявные, да и те не подряд. Вот каковы причины благозвучия этого слога; а кроме них следует назвать и соразмерность членов, и закругленность периодов, в которой есть ясность, выписан-

ность и упорядоченность, достигаемая точною мерой; в особенности же — фигуры речи, полные юношеской свежести: и противоположения членов, и подобие их, и равенство их, и прочее подобное, из чего и составляется совершенная торжественная речь. Нет надобности задерживаться на этом и перечислять все остальное: об этой части предпо-
186 ложенного мною сказано столько, сколько было кстати.

XXIV. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО СОЕДИНЕНИЯ

Третье построение, среднее между двумя другими, мною описанными,— то, которое я за отсутствием лучшего, специального обозначения называю умеренным,— никакого собственного вида не имеет, являясь смешением обоих других и представляя как бы выборку всего лучшего, что в том и другом имеется. Именно по срединному своему положению, думается мне, оно и должно стяжать пальму первенства, потому что и Аристотель и другие философы его школы учат, что середина есть добродетель и в жизни, и в действиях, и в искусстве[125]. Впечатление производит оно не отдельными совершенствами, а, как я сказал, всей своей цельностью.

Этот род имеет множество разновидностей. Те, кто обращались к этому роду, разрабатывали не все одно и то же и не все одинаковым образом, но одни усиливали или ослабляли одно, другие — другое, и
187 даже одним и тем же пользовались разные по-разному. И все они оказались достойнейшими во всех формах речи. Вершиной и образцом — «тем, из которого всякий источник и всякое море»[126] — по справедливости следует назвать Гомера. Все, чего он ни коснется, прекрасно расцвечивается строгим и гладким слогом. Из остальных, кто держался того же среднего рода, все, как посмотреть, оказываются много ниже Гомера, но если взять их самих по себе, то и они достойны внимания. Это, среди лириков, Стесихор и Алкей; из трагиков Софокл; из историков Геродот; из ораторов Демосфен; из философов же, по моему мнению, и Демокрит[127], и Платон, и Аристотель. Не найти других, кто
188 лучше умел бы смешивать слова. Но думаю, что о различных особенностях этого соединения сказано достаточно, чтобы обойтись без примеров из этих писателей: все это так ясно, что не нуждается в словах.

Если кто рассудит, что это стоит немалого труда и усердия, тот будет совершенно прав, Демосфен тому свидетель. Но если он подумает, как сладки плод таких забот и похвалы, следующие за успехом, тот сочтет, что такие труды не жаль претерпеть. Не будем же обращать внимание на толпу эпикурейцев, которым нет дела до этих предметов: ведь и утверждение самого Эпикура[128] — «писание не стоит
189 труда» — это лишь оправдание великой лени и невежества тех, кто не заботится о понимании своих непрерывных ошибок.

XXV. КАК ПРОЗА УПОДОБЛЯЕТСЯ ПОЭЗИИ

Теперь, когда мы покончили со сказанным, ты стремишься, думается мне, услышать о том, каким же образом нестихотворная речь становится подобна прекрасному стихотворению или песне и каким образом песнь или стихотворение походят на прекрасную прозу. Я начну с прозы и возьму для примера того из писателей, который, по моему мнению, больше всего выделяется поэтической силой; хотелось бы взять и больше примеров, но время не позволяет.

Итак, кто не согласится, что речи Демосфена — особенно же речи 190
против Филиппа, а также публичные и судебные — не подобны лучшим
стихотворениям и песням? Довольно будет привести начало одной из 191
них:

> Пусть никто из вас не полагает, граждане афиняне, будто я выхожу обвинять
> этого Аристократа из какой-нибудь личной вражды, или будто я усмотрел за 192
> ним какую-то пустую мелочь и пользуюсь ею, чтобы на него озлобиться,— нет, 193
> если только правильно я гляжу и сужу, дело здесь идет о том, чтобы вы владе- 194
> ли Херсонесом без помехи и не лишились его, обманутые, вновь. Вот о чем вся
> моя забота[129].

Я взялся высказать, что я думаю об этом предмете,— а ведь он
подобен таинствам, которые не пред всяким позволено раскрывать;
и я не настолько груб, чтобы призывать к святыням слова лишь тех, 195
кто посвящен, а непосвященным повелевать: «замкните врата вашего
слуха!» — хоть и есть такие, кто по невежеству важнейшие вещи поднимает на смех и не терпит ничего непривычного. Итак, я хочу сказать вот что.

Никакая сложенная без размера речь не в состоянии приобрести ни стихотворной музыкальности, ни песенной прелести в силу одного лишь соединения слов. Выбор слов, конечно, также имеет большое значение: существует особое поэтическое словоупотребление, когда в лишенную метра речь обильно вмешивают те редкие или непривычные или образные или новосозданные слова, которыми роскошествует по-
эзия,— так поступают многие, особенно же Платон; но сейчас я говорю 196
не о выборе слов и вопрос о нем оставляю в стороне. Рассмотрению нашему подлежит само соединение слов, открывающее нам прелесть поэзии в словах обиходных, избитых и совсем не поэтических. Так вот, я сказал, что прозаическая речь может уподобиться стихотворной речи или песенной, только если в нее будут незаметно примешаны какие-либо размеры и ритмы. Она не должна, понятным образом, производить впечатление сплошь метрической или ритмической речи, потому что тогда она станет стихотворением или песней и попросту утратит

собственный свой облик: достаточно, чтобы ритмы и метры являлись в ней лишь в меру, тогда окажется она поэтической, не являясь поэмой, и будет певучей, не делаясь песней.

В чем здесь разница, понять очень просто. Бывает такая речь, которая содержит однородные размеры и, соблюдая заданные ритмы, укладывает их одинаковым образом в каждый стих, период или строфу,
197 а затем, в последующих стихах, периодах или строфах повторяет опять те же ритмы и те же размеры, и это делается много раз подряд; такая речь и будет ритмической и метрической, и название ей — стихи или песнь. А бывает речь, вбирающая в себя размеры непостоянные и ритмы беспорядочные, и ни их последовательности, ни сопряженности, ни строфичности не соблюдающая; и о ней можно сказать, что она ритмична в меру, так как ритмы пестрят в ней повсюду, но ритмом не связана, так как ритмы эти неодинаковы и встречаются не в одних и тех же местах. Такова, говорю я, всякая размеренная речь, являющая поэтичность и напевность; ею-то и пользовался Демосфен.

Что сказанное верно и даже не ново, в том убеждает свидетельство Аристотеля. В третьей книге «Риторики», рассказывая о том, ка-
198 кова должна быть публичная речь, он говорит и о ритмичности, образующей ее; здесь он называет самые удобные ритмы, указывает места, где каждый из них полезен, и приводит речения в подтверждение своего взгляда[130]. Но и помимо свидетельства Аристотеля, самый опыт убеждает, что проза непременно должна включать какие-то ритмы, чтобы расцвести поэтическою красотою.

Так, речь «Против Аристократа», недавно мною упомянутая, начинается с комедийного стиха — анапестического тетраметра, которому
199 одной только стопы недостает до полноты: «Афинские граждане, пусть никто из вас не сочтет меня...» Если прибавить к этому еще одну стопу в начале, в середине или в конце, то тетраметр будет полным — «аристофановским», как некоторые его называют: «Афинские граждане, пусть никто из вас не сочтет меня дерзким...» Это тот же размер, что и в стихе:

Старинное вам поведаю я ученье, каким оно было...[131]

Иной, быть может, возразит, что это получилось не намеренно, а само
200 собой: ведь часто природа сама рождает метры. Пусть будет так; но ведь и следующий за этим член, если только устранить в нем второе слияние, подгоняющее его к третьему члену и скрадывающее метр, ока-
201 жется полным и безукоризненным элегическим пентаметром: «Не из какой-нибудь личной вражды выхожу...» Это созвучно стиху:

Девы оставят след быстро вздымаемых ног[132].

Если же предположить, что и это случилось само собой и без умысла, то пропустим один только член, составленный прозаически («к обвинению вот этого Аристократа...»), и следующий опять окажется состоящим из двух метров: «я не пустую и малую вижу за ним провинность и с ней выхожу бороться». В самом деле: если взять стих из эпиталамия Сафо

В мире еще не бывало, жених, такой невесты![133]

да отделить три последние стопы от комедийного тетраметра, называемого «аристофановским», 202

Когда цвела правдивая речь и была в чести добродетель[134]

и соединить их друг за другом следующим образом:

В мире еще не бывало, жених, такой невесты — была в чести добродетель!

— то не будет никакой разницы с ритмом слов: «Я не пустую и малую вижу за ним провинность и с ней выхожу бороться...»

Следующий стих тождествен ямбическому триметру, от которого отнята последняя стопа: «...готовый и вражду за это встретить»; будь здесь стих полный, он звучал бы так: «Готовый и с враждой за это встретиться». Но пропустим мимо глаз и это соединение: может быть, оно не намеренное, а само собой возникшее. Что же представляет со- 203
бою следующий член? Тоже ямбический триметр, и притом совершенно правильный: «Но ежели я рассуждаю правильно...» — нужно только затянуть слово «если» в «ежели» и отбросить из середины слова «думаю и», затемняющие размер. Следующий стих состоит из анапестов, укладывающихся вот в какую восьмистопную форму: «...сейчас в безопасности ваш Херсонес, и вы безобманно владеете им»; это сходно со стихом Еврипида:

Киссей, властелин многоплодной земли, огнем занимаются нивы твои...[135]

Следующий член «и вновь потерять его не намерены»—это тоже ям- 204
бический триметр, только без полустопы в середине; полностью он звучал бы: «И вновь потерять его вы не намерены». Неужели мы будем утверждать, будто все эти случаи, столь многочисленные и разнообразные, явились случайно и непредусмотренно? Я так считать не могу. А ведь подобное этому скопление многих и разных метров и ритмов мы можем найти и далее.

Но чтобы не возникло подозрения, будто так построена одна лишь эта речь, я возьму другую — речь за Ктесифонта[136], наилучшую, по моему мнению, из всех речей, слог которой кажется поистине божественным. И я вижу: тотчас за обращением к афинянам в ней возникает ритм, называемый кретиком, а если угодно — пеаном (разницы между
205 ними нет, потому что оба состоят из пяти единиц времени); и уж тут, клянусь, он не случайно возник, а выплетен в целом члене с величайшей тщательностью: «всех богов и богинь я молю, чтобы...» Разве это не тот же ритм, что в стихе:

Критский ритм поведем в честь твою, мальчик...[137]

По-моему, тот же: за исключением последней стопы, все остальные совершенно тождественны. Если же и тут кто-нибудь скажет, будто это само собой, то ведь и следующий за этим член представляет собою правильный ямб, которому для сокрытия метра недостает до полноты одного лишь слога; а если этот один слог прибавить, получится полный стих: «Такая же была благожелательность...» А далее следует подряд тот же пеан или кретик, стопа из пяти единиц времени: «...выказана вами мне, что и я выказывал всегда по отношению к отечеству и вам
206 самим». Если бы здесь не были надломлены две стопы в начале, все остальное звучало бы, как у Вакхилида:

Медлить не пристало нам —
Но пора прошествовать теперь во храм блистательный
Итонии[138] о золотом щите...[139]

Я подозреваю, что против этого возразят те, кто не тронут общим образованием, кто усвоил только площадную часть риторики, не зная ни метода, ни искусства. От этих обвинений я должен оправдаться,
207 чтобы не показалось, будто я веду пустой спор. Они говорят: «Значит, Демосфен был так убог, что при сочинении своих речей, как какой-нибудь мозаист, составляя метры и ритмы, старался оформить свои члены этими мерками, поворачивая слова то так, то этак, соблюдал долготы и доли, заботился о падежах имен, о наклонениях глаголов, и обо всех изменениях частей речи? Глуп же был человек, с таким тщанием предающийся безделкам!» На эти и подобные насмешки и выводы нетрудно было бы вот как возразить.

Прежде всего, нет ничего странного в том, что человек, удостоенный такой славы, как ни один из ранее названных искусников слова,
208 отдавая себя на суд всетерзающей зависти и времени, брал предметы и слова не наобум. Нет, он проявлял великую заботу как о разработке мыслей, так и о благообразии слов: тем более, что и другие мужи того времени изрекали слова, будто не писанные, а чеканенные или ваянные — я говорю о премудрых Исократе и Платоне, из которых первый сочинял «Панегирик»[140] десять лет по самому скромному счету,

а второй свои диалоги всячески приглаживал, расчесывал и завивал вплоть до восьмидесятого года[141]. Ведь всем, изучающим словесность, известны рассказы о трудолюбии Платона, в том числе и о том, как 209
после его смерти нашли, говорят, дощечку с разными вариантами начала «Государства»: «Вчера шел я в Пирей с Главконом, сыном Аристона...»[142]. Что же странного, если и у Демосфена явилась забота о благозвучии и плавности и о том, чтобы ни слова, ни мысли не ставить насильственно, наудачу? Гораздо естественнее, по-моему, чтобы писатель, сочиняющий публичные речи, вечный памятник своего гения, не пренебрегал бы даже малейшей мелочью, чем художник или ваятель, который стремится выказать искусство и опытность рук на своем бренном материале, отделывая каждую жилку, перышко, волосок и прочие мелочи. Так возразив, думаю я, мы не выскажем ничего выходяще- 210
го из пределов действительности. Но к этому можно добавить еще вот что.

Когда Демосфен был еще отроком и впервые подступал к науке, он, как можно предположить, присматривался ко всему, что входит в человеческое образование. Затем, когда долговременное упражнение со всею своей силой наложило отпечаток на все, чем он занимался, он стал это делать уже по навыку с тем большей легкостью. То же бывает и в других искусствах, имеющих целью какое-нибудь достижение или дело. Так, человек, хорошо выучившийся играть на кифаре или на лире, или на флейте, без особого труда подберет услышанную незнакомую мелодию не только на инструменте, но даже мысленно, потому что долговременный опыт познакомил его со всеми свойствами звуков. Конечно, их руки не сразу смогут исполнить любую указанную вещь, но лишь много позже, когда долгое упражнение преобразит привычку в природ- 211
ную способность, станут они удачливы в этих делах. Но зачем брать примеры так далеко? Общеизвестный пример отклонит от нас все обвинения в пустой мелочности. Какой же это пример? А вот какой: когда мы учимся грамоте, то сперва затверживаем названия букв, потом — очертания, потом — значения; затем — слоги и их изменения; затем — слова и все, что к ним относится, растяжения, сокращения, ударения и т. п.; усвоив эти знания, мы начинаем писать и читать по складам, сначала еще медленно; когда же время глубже запечатлеет эти образы у нас в душе, мы делаем это уже совсем легко, и какую нам книгу ни дай, пробегаем ее без труда и с невероятной ловкостью и скоростью. Следует понять, что такое же искусство в соединении слов и благозвучии периодов приобретает каждый, кто закалился в этом деле. И 212
неудивительно, что людям неопытным и неискушенным в каком-нибудь мастерстве кажется невероятным и удивительным, если кто стяжает рукоплескания при помощи искусства. Это я говорю против тех, кто имеет обыкновение издеваться над правилами искусства.

XXVI. КАК ПОЭЗИЯ УПОДОБЛЯЕТСЯ ПРОЗЕ

Что касается соединения слов в песнях и стихотворениях, имеющего большое сходство с соединением в прозаической речи, то я должен сказать, что и здесь, как и в поэтике прозы, главное дело — построение самих слов, во-вторых — соединение членов и, в-третьих — размеренность периодов. Кто желает здесь преуспеть, тому следует части речи всячески поворачивать и слаживать, а члены размерять равными промежутками, стараясь не кончать члены вместе с концом стиха, а
213 рассекать ими стих, чтобы они были не тождественными и не сходными, а иной раз сжимались даже в отрезки, которые короче самих членов; так же и смежные периоды не надо строить одинаковыми по размеру или похожими друг на друга по форме — такое отклонение от размера и ритма производит впечатление, особенно близкое прозе.

Тем, кто пишет гексаметром или ямбом или иным каким-либо единообразным размером, перебивать свои произведения множеством других размеров и ритмов никак нельзя: им необходимо держаться всегда одной неизменной формы. Но поэтам, слагающим песни, можно вводить в один и тот же период различные размеры и ритмы. Таким образом, когда пишущие одним размером разлагают свои стихи, ломая их членами, то они уничтожают четкость размера, размывают ее; когда же они разнообразят величину и форму периодов, то они заставляют нас
214 забывать о метре. А поэты мелические, пишущие свои строфы разнообразными размерами и отделяющие неодинаковыми и различной величины интервалами неодинаковые и различной величины члены, благодаря этому двойному средству не позволяют нам ощутить однообразие ритма, сообщая песням великое сходство с прозой. И хотя в стихотворениях и встречаются и образные, и непривычные, и редкие выражения, это не мешает им походить на прозу.

Да не заподозрят меня в том, будто я не знаю, что так называемая прозаичность почитается в стихах пороком, и да не обвинят меня в том, что я по невежеству своему причисляю некий недостаток к достоин-
215 ствам стихов или прозы: пусть выслушают меня и поймут, что отличать хорошее от негодного в данном случае совершенно необходимо. Я знаю, что существует речь обиходная — разумею болтовню, шутки — и что существует речь публичная, в которой главная доля приходится на то, что искусственно выработано; так вот, стихотворение, которое я найду похожим на болтовню и шутку, я сочту достойным посмеяния, стихотворение же, похожее на речь, искусственно выработанную, я признаю достойным ревностного подражания. И если бы, таким образом, та и другая речь носила каждая особое название, то было бы вполне последовательно и стихотворения, на них похожие, обозначать особыми для того и другого рода наименованиями. Но так как и дельная речь и ничтожная речь равно называются речами, то не ошибется тот, кто

стихотворения, похожие на хорошую речь, будет считать хорошими, а похожие на плохую — плохими, не смущаясь тождеством наименований. Общность обозначения одинаково прилагаемого к двум различным вещам не помешает нам распознать природу и той и другой.

Но довольно об этом: теперь я приведу примеры сказанному и на 216
том закончу речь. 217

Из эпической поэзии достаточно указать такое место:

> Он же пошел каменистой тропинкою вверх от залива...[143]

— это один член;

> Через лесистые горы...

— это другой, он короче первого и рубит стих пополам;

> ...по кручам...

— это третий отрезок, он короче члена;

> ...туда, где Афина
> Кров свинопаса ему указала...

— этот член состоит из двух полустиший и поэтому не похож на предыдущие; далее:

> ...который превыше
> Прочих рабов Одиссея радел о добре господина...

— что недоговорено в третьем стихе, то в четвертом дополняется до законченного завершения. Продолжаем:

> Он застал свинопаса сидящим в сенях...

— член здесь не совпадает в своем движении со стихом; 218

> ...был за ними
> Двор высокий, построенный крепко...

— этот член тоже не равен предыдущему. Следующая за тем речь не уложена в период и произносится по членам и отрезкам; сперва сказано:

> ...на месте заметном;

потом:

Видный, большой...

— это отрезок, он короче члена;

...обходимый...[144]

— здесь, наконец, смысл сосредоточивается в едином отдельном слове. Таким же образом построено и прочее дальнейшее повествование; нужно ли о нем говорить дольше?

Из ямбической поэзии возьмем стихи Еврипида:

219 Земля моих отцов, межа Пелопова,
Привет тебе![145]

— до сих пор простирается первый член;

Знай, скалы попирающий
Аркадии суровой...

— до сих пор второй;

...род мой — здешний род!

— это третий; первые члены были длиннее стиха, этот короче.

220 Рожден я Авгой, дочерью Алеевой,
Тиринфскому Гераклу...

и далее:

...в том свидетелем
Девичий холм...

— ни один из этих членов не совпадает со стихом; также и далее иное следует короче стиха, иное длиннее:

...где втайне роды матери
Разверзла Илифия...[146]

и прочее таким же образом.

Из мелической поэзии возьмем стихи Симонида: они написаны с
221 расчленением, но не на те члены, которые строил, например, Аристофан, а на такие, которых требует прозаическая речь. Прислушайся к этой песне, прочти ее по расчленениям и заметь, что ритм напева останется при этом скрыт, в нем не совпадут ни строфа, ни антистро-

фа, ни эпод, а будет видна простая речь, разделенная таким-то образом. Это — плач; Даная, носимая по волнам, оплакивает свою судьбу:

Когда в чеканном челне
Зашумел дующий ветер, 222
Когда взволнованная зыбь
Закачала его течением,
То обнявши нежной рукой
Персея с заплаканными щеками,
Сказала она:
«Как тяжко мне, сынок!
Млечною твоею душой
Ты дремлешь в нерадостном тереме,
Сбитом медными гвоздями, 223
Под лунным светом сквозь синий мрак.
Над кудрями твоими ты не чуешь
Соленые глуби встающих волн,
Не слышишь воющего ветра,
Лежишь, пригожий,
Закутанный в красную шерсть,
Не повернешь и ушко к словам моим,
Словно тебе и страх не в страх.
Спи, маленький, спи —
Пусть заснет и море,
Пусть заснет и горе.
Праздною мнится мне воля твоя,
Родитель Зевс,—
Прости мне это дерзкое слово ради сына»[147].

Вот каково сходство стихов и песен с хорошими речами, а каковы тому причины, об этом я уже сказал.

Прими же этот наш дар, мой Руф, «иных превосходнейший мно- 224
гих»[148], если ты захочешь не выпускать его из рук, как все, что полезно, и будешь упражняться с ним в каждодневных своих занятиях. Ведь правила искусств сами по себе, без упражнения и навыка не в силах сделать славных ораторов из желающих: от труда и тяжких испытаний зависит, будут ли эти предписания дельными и достойными внимания, или пустыми и бесполезными.

ПИСЬМО К ПОМПЕЮ

I

750 R Гнея Помпея приветствует Дионисий!

Я получил твое ученое послание, премного меня порадовавшее, в котором ты пишешь, что наш общий друг Зенон передал тебе мои сочинения, прочитав и должным образом изучив их, ты восхищаешься ими в целом, однако с некоторыми местами ты не согласен, например, с моими суждениями о Платоне[1].

Ты правильно поступаешь, что относишься к Платону с таким
751 благоговением, но в том, как ты понял меня, ты неправ. Знай же те-
перь твердо, что я как раз из тех, кто находится под обаянием
стиля Платона. Я объясню тебе, как я отношусь ко всем тем, кто на-
правлял свои помыслы на общее благо и стремился к исправлению
наших жизней и помыслов, и попытаюсь убедить тебя, что я не открыл
ничего нового, ничего невероятного, ничего противоречащего обще-
принятому мнению.

Однако я полагаю, что когда стоит задача написать похвалу ка-
кому-нибудь деянию или человеку, то в любом деле следует выдвигать
вперед преимущественно достоинства, а не недостатки. Когда же пре-
следуется цель выяснить, что именно было наиболее достойным в чьей-
либо жизни или какое произведение лучше в ряду подобных ему, то
тогда нужно прибегнуть к самому точному исследованию, при котором
ни одно свойство предмета,— ни хорошее, ни плохое,— не должно быть
752 обойдено молчанием, ибо только так можно установить истину, а ведь
это — самое ценное.

После этого предварительного замечания я продолжаю. Я признаю свое кощунство, если мне принадлежит хоть одно сочинение, содержащее нападки на Платона, как у ритора Зоила[2]. Или если я, стремясь написать в его честь энкомий, примешиваю к похвалам упреки, то я согласен, что здесь я нарушаю законы, установленные нами для энкомия, поскольку в них, я полагаю, не место ни обвинениям, ни оправданиям.

Если же, задавшись целью рассмотреть различные виды стиля, а также изучить наиболее выдающихся в этом отношении философов и ораторов, я выбрал из всех только троих, признанных наиболее блестящими — Исократа, Платона и Демосфена, и из них, в свою очередь,

я отдал предпочтение Демосфену, то я полагаю, что я сделал это не
во вред ни Платону, ни Исократу.

«Пусть так,— возражаешь ты,— но зачем же выставлять оплош- 753
ности Платона в стремлении восхвалить Демосфена?»

Но в таком случае, каким образом стиль мог бы подвергнуться самому тщательному испытанию, если бы я не сравнил лучшие речи Исократа и Платона с самыми сильными речами Демосфена и не показал во всей правде, в чем именно они слабее, не утверждая, конечно, что эти писатели во всем допускали промахи (это было бы просто глупостью), но говоря, что им не все одинаково удавалось? Если бы я этого не сделал, если бы я просто расхвалил Демосфена, перечислив все его достоинства, то тем самым я, конечно, убедил бы своих читателей, что перед ними прекрасный оратор, но в том, что он самый лучший среди первейших ораторов, я бы никого не убедил без сопоставления его с сильнейшими.

Ведь многие вещи, сами по себе прекрасные и изумительные, при
сопоставлении с другими, еще лучшими, кажутся как бы несколько по- 754
меркнувшими. Заметь, что так же и золото в сравнении с золотом
бывает лучше или хуже, и то же самое происходит с любым изделием
ручной работы и вообще всеми вещами, сделанными, чтобы производить впечатление великолепия.

Если исследование с помощью сравнения в области политического красноречия считать делом неподобающим и требовать, чтобы все рассматривалось только само по себе, то ничто не мешает распространить это требование и на все остальное, и, стало быть, не стоит сравнивать между собой и поэтические произведения, и исторические труды, и государственные устройства, и законы, и полководцев, и царей, и жизни людей, и различные учения. Но ведь с этим не согласится ни один здравомыслящий человек!

Далее, если тебе, чтобы яснее понять, что наилучшим способом
исследования является сравнение, нужны еще доказательства, подкрепленные свидетельствами, то я, оставив в стороне всех остальных, воспользуюсь свидетельством самого Платона. Стремясь показать свое
мастерство в политическом красноречии и не удовольствовавшись про- 755
чими собственными сочинениями, а также соперничая с другими выдающимися ораторами своего времени, он сочинил в «Федре» речь о любви. Не углубляясь слишком далеко, он вскоре бросает эту тему и останавливается, предоставляя своим читателям решать, чья речь лучше; сам же Платон обсуждает недостатки Лисия, отмечая достоинства его изложения и критикуя содержание[3].

Таким образом, раз уж сам Платон, взявшись за такую тягостную
и неблаговидную задачу — похвалить собственное ораторское искусство — не счел предосудительным рассматривать свою речь наряду с речами лучших ораторов и выделять неудачные у Лисия и удачные у себя места, то что же удивительного, что и я сравниваю речи Демосфена с речами Платона и отмечаю то, что мне кажется в них неудач-
ным? 756

Я позволю себе оставить в стороне те его сочинения, где он выставляет в смешном виде своих предшественников: Парменида, Гиппия, Протагора, Продика, Горгия, Пола, Феодора, Фрасимаха и многих других и пишет о них так не из добросовестности, а, если угодно, из тщеславия. Ведь было, да, при всех многочисленных достоинствах, было в характере Платона и нечто тщеславное[4]. Особенно это проявляется в зависти, какую он питал к Гомеру, изгнанному им из его вымышленного государства, причем Платон предварительно увенчал его венком и помазал мирром, словно в таких почестях нуждался его изгнанник, тот человек, благодаря которому вообще вся образованность, кончая философией, вошла в нашу жизнь[5]. Впрочем, давай будем думать, что Платон говорил все это из лучших побуждений и для полноты истины.

Итак, все-таки почему же нельзя и нам, следуя его собственным правилам, сравнивать произведения Платона с творениями столь же прославленных писателей?

757 Затем я вовсе не являюсь ни первым, ни единственным, кто отважился сказать что-то против Платона. Никто к тому же не упрекнет меня, что я попытался исследовать самого прославленного из философов, жившего более чем за 12 поколений до меня для того, чтобы таким образом стяжать себе славу. Ведь были многие другие, кто поступал так до меня, и жившие в одно время с Платоном, и много позже его. Многие отвергали его учение и находили недостатки в его произведениях, в первую очередь его ближайший ученик Аристотель, затем Кефисодор, Феопомп, Зоил, Гипподам, Деметрий[6] и многие другие, которые выставляли его в смешном виде не из зависти или недоброжелательства, а из стремления установить истину.

По примеру стольких достойных мужей, и в первую очередь самого Платона, я решил, что нисколько не погрешу против ученой риторики, если буду сравнивать одного хорошего писателя с другим.

Таким образом, полагаю, что в защиту способа сравнения я сказал уже вполне достаточно даже для тебя, мой дорогой друг.

II

758 Итак, мне теперь следует сказать, что я писал о Платоне в своем сочинении об аттических ораторах[7]. Приведу этот отрывок в тех же выражениях, что писал там.

Язык (dialectos) Платона тяготеет к смешению обоих стилей (charactēr) — простого (ischnos) и возвышенного (hypsilos), как я уже раньше говорил, однако в обоих случаях с разным успехом.

Когда Платон употребляет простые, бесхитростные (aphelēs) и безыскусные (apoiētos) выражения, это звучит необыкновенно мило (hēdeia) и приятно (philantropos). Его язык становится таким чистым и ясным, как самый прозрачный ручей, он точен (acribēs) и утончен
759 (leptē) гораздо больше, чем язык других, писавших в таком же роде.

Он применяет общеизвестные (coinotēs) слова и стремится к ясности (saphēneia), пренебрегая всякими затейливыми украшениями. Его язык сохраняет налет старины и незаметно распространяет вокруг себя что-то радостное, словно распустившийся, полный свежести цветок, от него исходит аромат, будто доносимый ветерком с благоуханного луга, и в его сладкозвучии нет пустозвонства, а в его изысканности — театральности.

Когда же Платон безудержно впадает в многословие и стремится выражаться красиво, что нередко с ним случается, его язык становится намного хуже, он утрачивает свою прелесть, эллинскую чистоту и кажется более тяжелым. Понятное он затемняет, и оно становится совершенно непроглядным; мысль он развивает слишком растянуто; когда требуется краткость, он растекается в неуместных описаниях. Для того 760
чтобы выставить напоказ богатство своего запаса слов, он, презрев общепонятные слова в общеупотребительном смысле (cyriōn cai en tēi coinēi chrēsei), выискивает надуманные (pepoiēmena), диковинные (xena) и устаревшие слова (archaioprepē).

Особенно бурно разошелся он в области фигуральных выражений (tropicē phrasis): многочисленные эпитеты, неуместные метонимии, натянутые и не соблюдающие аналогию метафоры, сплошные аллегории без всякого чувства меры и порой совершенно не к месту.

Ребячливо и неуместно красуется он поэтическими оборотами (schēma poiēticon), придающими его речи крайнюю нудность (aēdia), это особенно относится к тем, что взяты из Горгия.

«В подобных вещах в нем многое от жреца»[8],— сказал как-то Деметрий Фалерский, и многие другие: «не мое это слово»[9].

Однако я не хочу, чтобы кто-нибудь истолковал мои слова как осуждение вообще искусно отработанного необычного слога, которым 761
пользуется Платон. Ведь я не настолько глуп, чтобы придерживаться подобного мнения о столь знаменитом муже, тогда как я хорошо знаю, что им написаны очень многие произведения — великие, замечательные и выдающиеся по силе.

Нет, я только хочу показать, что и он допускал промахи в своих сочинениях и становился ниже самого себя, когда пытался придать своему слогу величие и необыкновенность, и он же намного превосходил других, когда пользовался простым и точным языком, который при кажущейся безыскусности был тщательно и безупречно отделан, и в этом случае или вовсе не имел погрешностей, или имел совсем незначительные. Я полагаю, однако, что такой великий писатель должен всегда остерегаться любого порицания, а ведь в этом его порицали все его современники, имена которых не стоит называть, и что самое замечательное, даже он сам. Чувствуя чрезмерное обилие красот, он 762
называл это «дифирамбом»[10]. Сейчас, однако, мне неловко говорить об этом, хотя это и правда.

Я полагаю, что все это произошло потому, что хотя Платон и вырос на беседах с Сократом, очень простых и точных, однако в даль-

нейшем он не остался под их влиянием, а оказался под воздействием приемов Горгия и Фукидида. Нет ничего удивительного, что он, очевидно, следовал им, впитав в себя вместе с тем хорошим, что было в стиле этих двух писателей, и некоторые их ошибки.

В качестве примера простого и возвышенного стиля я сошлюсь на книгу, которая решительно всем известна, в ней Сократ произносит речь о любви, обращенную к его приятелю Федру, по имени которого и назван диалог...[11].

764 В этом отрывке мои упреки относятся не к области содержания, а к области стиля, которому свойственна образность и дифирамбичность без всякой меры. Я сужу о Платоне не как о каком-то заурядном человеке, а как о великом муже, который возвысился до природы божественного, и я осуждаю его за то, что он внес в философские сочинения выспренность поэтических украшательств в подражание Горгию, так что философские труды стали напоминать дифирамбы, и притом Платон не
765 скрывает этот недостаток, а признает его[12].

Ты сам, мой дорогой Гемин, выразил мнение об этом муже, близкое к моему, в своем письме, где ты пишешь так:

«При других способах выражения часто встречается то, что может вызывать и похвалу, и порицание, в украшенной же речи все, что не является явным успехом,— крайне неудачно.

Поэтому мне кажется, что о таких великих людях нужно судить не по сомнительным и слабым местам, а по их многочисленным удачам»,— и немного спустя ты опять добавляешь: «Хотя я и не защитил все или по крайней мере большинство из критикуемого тобой, то это только потому, что я не осмеливаюсь противоречить тебе. Однако я решительно утверждаю, что добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны».

Таким образом, мы ничуть не расходимся во взглядах друг с другом, ведь ты же признаешь, что тот, кто берется за большие дела, может когда-нибудь потерпеть и неудачу, а я говорю, что Платон в своей приверженности к возвышенному, пышному и смелому слогу не
766 всякий раз достигает успеха, но его промахи тем не менее составляют малую долю его удач. И только в том смысле, я говорю, Платон был ниже Демосфена, что у него возвышенность слога иногда оборачивается пустотой и скукой, чего у Демосфена не бывало никогда или было крайне редко.

Вот все, что я хотел сказать о Платоне.

III

Что же касается Геродота и Ксенофонта, то ты хотел узнать, каково мое к ним отношение, и изъявлял желание, чтобы я тебе о них написал. Я уже сделал это в моих сочинениях о подражании, посвященных Деметрию[13].

Первое из них содержит общее исследование о подражании, второе сочинение — о том, каким именно поэтам, философам, историкам и ораторам следует подражать. Третий трактат, посвященный тому, каким именно образом должно подражать, до сих пор не окончен. 767

Во втором трактате, касаясь Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Филиста[14] и Феопомпа, которых я выбрал как наиболее достойных подражания, я писал следующее:

Если я должен высказаться о Геродоте и Фукидиде, то вот то, что я по этому поводу думаю.

Самая первая и необходимая задача любого историка — выбрать достойную и приятную для читателя тему (hypothesis). Ее, мне кажется, Геродот выполнил лучше, чем Фукидид. Ведь Геродот избрал своей темой историю деяний греков и варваров, «чтобы ни события, ни дела не изгладились из памяти людей»[15],— как говорил он сам. Это вступление есть начало и конец его истории. Фукидид же описывает только одну войну[16], и притом такую, которая не была ни славной, ни победо- 768
носной, не случись которой, было бы гораздо лучше, но раз уж она все-таки произошла, то потомкам лучше о ней не вспоминать, предав ее забвению и обойдя молчанием.

Фукидид и сам дает понять во вступлении, что он выбрал тягостную тему, ведь он говорит, что варвары, да и сами греки, опустошили многие греческие города, что было сослано и погибло столько людей, как никогда прежде, что случались землетрясения, засуха, мор и многие другие бедствия[17]. Таким образом, подобное вступление у читателей, которые собрались слушать греческую историю, вызывало предубеждение против этой темы.

И насколько сочинение, описывающее замечательные дела эллинов и варваров, превосходит произведение, изображающее страдания и страшные муки греков, настолько же благоразумнее выбор темы у Геродота, нежели у Фукидида. Ведь решительно нельзя сказать, что он выбрал эту тему по необходимости, чтобы не повторять других, прекрасно понимая, что прошлое гораздо достойнее. Как раз наоборот, во 769
вступлении он с насмешкой говорит о минувших делах, считая происходящее при его жизни гораздо более замечательным, и, таким образом, становится ясно, что он сознательно выбрал именно эту тему.

Геродот поступил совсем иначе, его не остановило то обстоятельство, что до него писатели Гелланик и Харон[18] выпустили сочинения на ту же тему, напротив, он верил, что может создать нечто лучшее — и он это сделал.

Вторая важная для исторического труда задача — определить, с чего начать и где следует кончить. И в этом отношении Геродот намного осмотрительнее Фукидида, потому что он начинает с тех причин, которые побудили варваров впервые причинить вред эллинам, и кончает, дойдя до возмездия и кары за это.

Фукидид начинает уже с того времени, когда грекам пришлось 770
скверно. Эллин, афинянин и тем более [гражданин] не из последних, а

один из тех, кому в числе лучших афиняне доверили руководство военными действиями и почтили другими почестями, Фукидид не должен был так поступать. К тому же он до такой степени недоброжелателен, что даже представляет свой родной город явной причиной войны, тогда как у него были и другие поводы, которые можно было бы выставить причиной и начать рассказ, таким образом, не с событий на Керкире, а с тех великих свершений, которые произошли вскоре после Персидской войны[19]. Об этом он позднее все же упоминает, правда, в неподобающем месте и притом как-то скупо и бегло. Далее, со всей благожелательностью патриота своего города следовало бы добавить, что спартанцы вступили в войну от зависти и страха перед ними, прикрываясь, в свою очередь, другими основаниями. И уже только после этого можно было говорить о событиях на Керкире, о решении против
771 мегарцев[20] и обо всем прочем, что он хотел сказать.

В конце сочинения еще больший промах. Ведь хотя Фукидид и говорил, что наблюдал полный ход войны, а также обещал осветить все события, тем не менее он кончает свое повествование морским сражением при Киноссеме[21], случившимся между афинянами и спартанцами на двадцать втором году войны. Однако было бы гораздо лучше, если бы в конце своей истории он описал какое-нибудь замечательное и весьма приятное для слушателей событие, например возвращение изгнанников из Филы[22], положившее начало освобождению города.

Третья задача историка — обдумать, что следует включить в свой труд, а что оставить в стороне. И в этом отношении Фукидид отстает. Геродот ведь сознавал, что длинный рассказ только тогда приятен слу-
772 шателям, когда в нем есть передышки; если же события следуют одно за другим, как бы удачно они не были описаны, это [неизбежно] вызывает пресыщение и скуку, и поэтому Геродот стремился придать своему сочинению пестроту, следуя в этом Гомеру.

Ведь беря в руки его книгу, мы не перестаем восторгаться им до последнего слова, дойдя до которого, хочется читать еще и еще. Фукидид же, описывая только одну войну, напряженно и не переводя дыхания нагромождает битву на битву, сборы на сборы, речь на речь и в конце концов доводит читателей до изнеможения. «Можно пресытиться даже медом и сладким цветком любви»,—говорит Пиндар[23].

То, о чем я говорю, а именно, что перемена темы в историческом сочинении — вещь весьма приятная и вносящая разнообразие, понимал уже и сам Фукидид, который в двух или трех местах так и делал, например, когда говорил о причинах возвышения царства одрисов и о городах Сицилии[24].

773 Следующая задача историка — распределить материал и расставить все по своим местам. Каким же образом каждый из них распределяет и располагает сообщаемое? Фукидид следует хронологии, а Геродот стремится схватить ряд взаимосвязанных событий. В итоге у Фукидида получается неясность и трудно следить за ходом событий. Поскольку за каждое лето и зиму в разных местах происходили различные события,

то он, бросая на полдороге описание одного дела, хватается за другое, происходившее одновременно с ним. Это, конечно, сбивает нас с толку, и становится трудно следить за ходом рассказа, когда внимание то и дело отвлекается.

Геродот же, начав с царства лидийцев и дойдя до Креза, сразу переходит к Киру, который сокрушил власть Креза, и затем начинает рассказ о Египте, Скифии, Ливии[25], следуя по порядку, добавляя недостающее и вводя то, что могло бы оживить повествование.

Сообщая о военных действиях между эллинами и варварами, происходившими в течение двухсот двадцати лет на трех материках, и 774
дойдя в конце истории до бегства Ксеркса[26], Геродот нигде не разбивает повествования.

Таким образом, получается, что Фукидид, избрав своей темой только одно событие, расчленил целое на много частей, а Геродот, затронувший много самых различных тем, создал гармоническое целое.

Я упомяну еще об одной черте содержания, которую не меньше, чем уже рассмотренные нами, мы ищем в любом историческом труде,— это отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность, вызванная его изгнанием из отечества[27]. Ведь неудачи своих соотечественников он описывает во всех подробностях, а когда следует сказать об успехах, он или вообще о них не упоминает, или говорит как бы нехотя.

Таким образом, в области содержания Фукидид слабее Геродота, 775
в области же стиля он в чем-то хуже, в чем-то лучше, в чем-то равен ему. Я выскажу свое мнение и об этом. Первое достоинство, без которого вообще бесполезно говорить о стиле,— это язык, чистый в словоупотреблении и бережно лелеющий греческую речь. В этом щепетильны оба, представляя лучшие образцы: Геродот — ионийского, а Фукидид — аттического диалекта...[28].

...Третье по порядку — так называемая сжатость (syntomia). В этом, кажется, Фукидид превосходит Геродота. Мне могут возразить, однако, что сжатость хороша только в сочетании с ясностью, а без нее она вызывает досаду. Однако не будем думать, что стиль Фукидида от 776
этого становится хуже.

Вслед за этим самое главное из дополнительных достоинств — живость (enargeia), в этом преуспели оба.

Далее — умение изображать чувство и характеры людей. В этом отношении писатели разделяются таким образом: Фукидид сильнее в изображении чувств, в то время как Геродот с большим совершенством рисует характеры.

Далее следуют достоинства, вызывающие размах и своеобразие разработки,— в этом оба писателя равны.

Затем — та сторона мастерства, которая включает в себя силу (ischys), напряженность (tonos) и другие подобные достоинства стиля,

в этом Фукидид сильнее Геродота. Что же касается приятности, убедительности (peitho), обаяния (terpsis) и тому подобного, то здесь Геродот намного выше Фукидида. В выборе выражений Геродот стремится к естественности, а Фукидид — к мощи (deinos).

Из всех достоинств речей самое главное — соответствие [повествованию] (to prepon). Здесь Геродот намного тщательнее Фукидида, который однообразен во всем, а в сочинении речей даже больше, чем
777 в повествовании.

Мы с моим другом Цецилием[29] находим, что Демосфен подражал его энтимемам и даже стремился их превзойти.

Таким образом, подводя итог, я говорю, что поэтические произведения — я без стеснения называю их поэтическими — оба прекрасны, но весьма различаются между собой только в том, что красота Геродота приносит радость (hilaros), а красота Фукидида вселяет ужас (phoberos).

Пожалуй, я уже достаточно сказал об этих историках, о которых можно было бы еще многое сказать, но об этом в другой раз.

IV

Ксенофонт и Филист, которые достигли расцвета славы уже после Геродота и Демосфена, не схожи друг с другом ни по натуре, ни по направлению, которого придерживались. Ксенофонт был последователем Геродота и в области содержания, и в области стиля. Во-первых, как и подобает философу, он избрал прекрасную и величественную тему
778 своей истории: воспитание Кира, где он дает образ доброго и счастливого царя, и поход Кира-Младшего, будучи в прошлом участником которого, Ксенофонт слагает громкую хвалу греческим союзникам Кира[30]. Ему принадлежит еще третье сочинение — греческая история, которую Фукидид оставил неоконченной, где Ксенофонт описывает свержение тирании Тридцати и восстановление в Афинах городских стен, разрушенных спартанцами[31].

Ксенофонт заслуживает похвалы не только за удачно выбранную им в подражание Геродоту тему, но и за умелое расположение материала. Он начинает и кончает всегда самым подходящим образом, прекрасно распределяет и расставляет материал и привносит разнообразие в свое произведение.

Он изобличает благочестие, справедливость, стойкость, одаренность, словом, все лучшие качества, украшающие человека. Вот то, что можно сказать о содержании у Ксенофонта.

Что же касается стиля, то в этом отношении он в чем-то равен Геродоту, а кое в чем ниже его. Его стиль чист, точен и ясен в вы-
779 боре слов, как и у Геродота; он подбирает слова, родственные и созвучные предмету, и слагает их с неменьшей приятностью и прелестью, чем Геродот. Но у Геродота были к тому же величие, красота и пыш-

ность, и то, что называется «исторической жилкой» (plasma historicon), чего Ксенофонт не только не мог перенять, но даже когда и пытался так выражаться, то у него не хватало дыхания, которое прерывалось и стихало так же быстро, как ветер с суши.

Во многих местах он длиннее, чем следовало бы; далеко не так успешно, как Геродот, он вкладывает речи в уста действующих лиц, и если исследовать по-настоящему, то он во многом небрежен.

V

Филист, мне кажется, скорее походит на Фукидида и вырабатывает свой стиль под его влиянием[32]. Подобно Фукидиду, он избирает не общеполезную и касающуюся всех тему, а довольно-таки частную и пред- 780
ставляющую местный интерес, и разрабатывает ее в двух сочинениях, первое под названием «О Сицилии», а второе «О Дионисии», но оба об одном и том же, что явствует из заключения части «О Сицилии». Филист придерживается далеко не лучшего порядка изложения событий, и за ними невозможно следить, еще труднее, чем у Фукидида. Как и Фукидид, он не допускает ничего не относящегося к теме и потому однообразен. При этом он обнаруживает льстивый и раболепный нрав, низменный и мелочный. Он избегает того, что в стиле Фукидида было особенным и необычным, и стремится воспроизвести его закругленность, сжатость и энтимематичность. Однако до красоты и богатства энтимем 781
Фукидида ему далеко. Он отстает не только в этом, но и в отношении построения повествования, ведь стиль Фукидида исполнен многообразия (это так очевидно, что я не думаю, чтобы об этом нужно было долго рассуждать), а у Филиста все выражения ужасно однообразны и бедны. Часто можно найти подряд несколько предложений, совершенно одинаково составленных, как, например, в начале второй книги о Сицилии:

«Сиракузяне, присоединившиеся к мегарцам и эннейцам, а камаринейцы, влившиеся к сицилийцам и другим союзникам, кроме гелонов. Гелоны же отказались воевать против сиракузян. Сиракузяне же, узнав, что камаринейцы перешли через Гирмин...»[33] и т. д.

Мне все это кажется весьма скверным. Филист столь же мелок и незначителен совершенно во всем, описывает ли он осаду города или его постройку, хвалит он или порицает. 782

Он вкладывает в уста ораторов речи, не соответствующие их величию, и по его воле ораторы, охваченные робостью, теряют свою силу и отступают от своих правил.

Однако в его выражениях все же есть природное благозвучие и чувствуется владение ритмом.

Однако в отношении ведения настоящей тяжбы — он более подходящий [образец], чем Фукидид.

VI

Феопомп Хиосский, самый знаменитый ученик Исократа, сочинил много хвалебных и совещательных речей, написал «Хиосские послания» и другие, заслуживающие внимания сочинения. Как историк он стоит
783 похвал, во-первых, за выбор тем, которые обе хороши: одна освещает конец Пелопоннесской войны, а другая — деяния Филиппа[34]; во-вторых, за распределение материала — оба сочинения ясны и легко следить за ходом событий; более всего, однако, похвальны его тщательность и трудолюбие. Ведь совершенно ясно, хоть сам он об этом и не пишет, что он провел самую полную подготовительную работу, затратил огромные силы на сбор материала — ведь он сам был очевидцем многих событий и завязывал отношения со многими видными людьми того времени — военачальниками, политиками, философами, чтобы пополнить свое сочинение, ведь он в отличие от некоторых не считал написание истории чем-то не относящимся к жизни, а самым необходимым делом из всех.

Чтобы оценить затраченный им труд, достаточно обратить внимание на многосторонность его сочинения. Ведь он рассказывает об образовании племен и городов, изображает жизни царей и особенности
784 обычаев, включает в свое сочинение все, что только есть диковинного на суше и на море. Но не надо думать, что все это только развлечения ради, это вовсе не так, но все направлено, так сказать, на наибольшую пользу.

Как не согласиться, что, занимаясь ученой риторикой, совершенно необходимо, не говоря уже об остальном, также изучить обычаи греков и варваров, быть сведущим в законах и различных видах государственного устройства, знать жизни и деяния людей, их смерть и участь. Изучающим это Феопомп щедрою рукой предоставляет богатые сведения, к тому же не вырванные из хода событий, а связанные с ним.

Все это составляет завидный успех писателя, к которому присоединяются разбросанные по всему сочинению философские рассуждения о справедливости, благочестии и других добродетелях, которые часто и хорошо рассматривает писатель.

В завершение скажем о наиболее характерном свойстве его работ,
785 которое с такой силой и тщательностью не развито ни у одного писателя ни старших, ни младших поколений. Что же это за свойство? А свойство это состоит в том, что Феопомп видит и говорит не только то, что очевидно многим, но изучает неявные причины поступков, побуждения и движения души тех, кто их совершает, которые большинству увидеть нелегко; он всегда разоблачает все тайны мнимой добродетели и нераскрытых пороков. Мне кажется, что мифический суд, который при разлучении души с телом вершат в Аиде тамошние судьи[35], так же строг, как и тот, что вершит Феопомп в своих сочинениях. Из-за того и прославили его клеветником, что он добавляет к необходимым упрекам по отношению к видным лицам еще и не необходимые

обстоятельства так же, как это делают врачи, которые отсекают и выжигают больные части тела, стремясь достать и вырвать их поглубже, не нанося при этом никакого вреда здоровым и нормальным орга- 786 нам. Вот такого вида у Феопомпа содержание.

В отношении стиля он весьма сходен с Исократом[36]. Его язык понятен, ясен, величав, торжествен, пышен, он выдержан в среднем тоне, приятно и плавно течет. Он отличается от Исократа по остроте и напряженности, когда дает волю страстям, особенно там, где он упрекает город или полководцев в злых умыслах и несправедливых делах. Таких мест у него много и в них он ничуть не уступает силе Демосфена, что можно видеть из многих сочинений и из «Хиосских посланий», которые он написал, вдохновленный патриотическими чувствами.

И если бы там, где он достигает особого накала, Феопомп обращал поменьше внимания на сочетания гласных[37], ритмическое закругление 787 периода и единообразие конструкций, он был бы намного лучше самого себя.

Впрочем, и в области содержания у него есть кое-какие промахи, особенно в отношении отступлений, поскольку в некоторых из них нет нужды, и они употреблены не ко времени, а многие кажутся очень детскими, например, история о Силене, который появился в Македонии, о драконе, вступившем в бой с триерой, и немало других в таком роде.

Таким образом, изучение взятых нами писателей будет необходимой основой для осваивающих политическое красноречие и предоставит примеры всех образцов стиля.

ДЕМЕТРИЙ

О СТИЛЕ

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОЛОНАХ

1. Подобно тому как поэтическую речь определяет размер—двустопный, шестистопный или иной, так и прозаическая речь определена и разграничена так называемыми колонами (ta cōla)[1]. Они-то и как бы дают отдых говорящему, и прерывают сам поток речи, распределяя его на множество частей. В противном случае речь показалась бы слишком длинной и нескончаемой, а говорящему просто не хватило бы дыхания.

2. Цель этих колонов — обозначить мысль (dianoia), иногда всю целиком, как, например, в начале истории Гекатея: «Гекатей Милетский рассказывает так»[2]. Здесь цельный колон полностью охватывает цельную мысль, и они исчерпывают друг друга.

Иногда же колон охватывает не всю мысль целиком, но некую законченную часть ее. Так, ведь и рука, представляя собой некое законченное целое, делится на части — пальцы, локоть, которые, в свою очередь, являются своего рода законченным целым, так как имеют свои размеры и делятся уже на свои части. Так же и с мыслью — являясь неким крупным целым, она включает в себя части, сами по себе законченные и целые.

3. Например, начало «Анабасиса» Ксенофонта[3] от слов «у Дария и Парисатиды» и до слов «младший Кир» представляет собой всю законченную мысль. Два колона, содержащиеся в ней, и составляют две части, причем каждая из них наполнена собственным содержанием и имеет свои границы. Так, [в словах] «у Дария и Парисатиды были сыновья» содержится определенная целостная сама по себе мысль о рождении сыновей у Дария и Парисатиды. Точно так же и второй колон: «старший — Артаксерес, младший — Кир». Таким образом, как я уже говорил, колон во всех случаях подразумевает в себе законченную мысль или всю целиком, или же некую цельную часть ее.

4. Не следует делать колоны слишком длинными, так как такое построение (synthesis) кажется несоразмерным и с трудом воспринимается. Ведь и в [эпической] поэзии не выходят за пределы гексаметра, разве только в немногих случаях. И действительно, было бы смешно, если бы именно [стихотворный] размер был без размера, а, заканчивая стих, мы забывали бы, когда начали. Но вследствие отсут-

ствия меры непригодны в речи и слишком длинные колоны, и слишком короткие, так как в последнем случае получается так называемый «сухой» (xēros) строй речи (synthesis). Вот пример такого построения: «Жизнь коротка, искусство длинно, удача мимолетна»[4]. Речь здесь кажется как бы разрубленной, искромсанной на куски и производит незначительное впечатление, так как все в ней измельчено.

5. Но и длинные колоны могут оказаться кстати — например, в величавом стиле. Так, у Платона мы читаем: «Иногда же само божество берет на себя заботу о вселенной и само способствует ее круговращению»[5]. Возвышенности выражения здесь соответствует и величина колона. Так, ведь и гексаметр называют героическим потому, что по своей величине он пригоден для изображения героического. И вряд ли Гомерова «Илиада» могла бы быть написана короткими стопами Архилоха, как его «палка больно бьющая»[6] и «кто разума лишил тебя»[7] или Анакреонта «Дай воды, вина дай, отрок»[8], где ритм вполне подходит для изображения пьяного старика, но никак не героя на поле брани.

6. Далее, как бывает иногда необходимость в длинных колонах, так случается нужда и в коротких, когда мы хотим поговорить о каком-то незначительном предмете. Так, к примеру, Ксенофонт изображает прибытие эллинов к реке Телебой: «Нет, она [река] не была велика, но красива — весьма»[9]. Краткость и усеченность ритма указывают здесь и на небольшую величину реки и на ее красоту. Допустим, автор развернул бы фразу и построил ее следующим образом: «По величине она [река] уступала многим, но зато красотой превосходила всех». В таком случае он погрешил бы против вкуса (to prepon) и показался бы выспренним (psychros)[10]. Но о выспренности стиля нам следует поговорить позже.

7. Короткие колоны используют и в мощном (deinos) стиле, так как большое содержание проявит себя сильнее и выразительнее в сжатом виде. Потому-то так лаконична мощная речь спартанцев, и всегда краток и быстр приказ, и односложен господин со слугою, но длинны слова просьб и молений. Так, Гомер, изображая Мольбы хромыми и морщинистыми дочерьми Зевса[11], состарившимися от своей медлительности, имеет здесь в виду их многословие. И многословие гомеровских старцев происходит от их немощности[12].

8. А вот пример краткого соединения (synthesis): спартанцы — Филиппу: «Дионисий в Коринфе»[13]. От краткости построения речь выигрывает в выразительности много больше, чем если бы было сказано полностью и многословно, что, мол, Дионисий некогда столь же великий правитель, как и ты, Филипп, сейчас проживает в Коринфе на положении частного лица. Ведь, действительно, многословное обращение скорее подобает в [спокойном] рассказе, чем в угрозе, и больше уместно в устах желающего поучать, а нежели испугать. Страстность и сила [выражения] исчезают в растянутой речи. И как животные сжимают тело, вступая в драку, так речь как бы стягивается в кольцо для усиления выразительности.

9: Такого рода короткое соединение называется коммой (comma). Ее определяют как короткий уменьшенный колон. Она встречается в приведенных нами примерах: «Дионисий в Коринфе» и в изречениях мудрецов «познай самого себя» или «следуй за божеством». Краткость выражения характерна для апофтегм и гном[14], а значительная мысль, выраженная в сжатой форме, приобретает вид мудрости подобно тому, как уже в семени прозревает большое дерево. Если же распространить гномическое выражение, то вместо гномы мы получим нечто из области риторики и поучения.

10. Из сопоставления колонов и комм относительно друг друга выстраивают так называемые периоды[15]. Период и есть объединение колонов и комм, содержащее выражаемую мысль. Вот пример периода: «Прежде всего потому, я полагаю, следует забыть о законе, что это в интересах города, но также и потому, что ради сына Хабрия согласен я помогать им, насколько это в силах моих»[16]. Этот период состоит из трех колонов и имеет определенным образом закругленное завершение.

11. Аристотель определяет период так: «Период есть высказывание, имеющее начало и конец»[17]. Определение это весьма точное и соответствует сути дела, так как употребление самого слова «период» указывает на то, что речь в одном месте возникла, в другом закончится, стремясь при этом к определенной цели. Это похоже на состязание в беге: ведь точно так же и бегун уже в начале пути предполагает его конец. Поэтому и в самом названии периода заключено уподобление его кругообразному кольцевидному пути[18]. В целом же период не что иное, как определенное соединение слов. И если, нарушив кругообразное построение, переставить слова, то содержание не изменится, но периода не будет. Так, мы изменим упоминавшийся ранее период Демосфена и скажем следующим образом: «Я помогу им, о афиняне, ведь мне дорог сын Хабрия, а еще более, чем он, мне дорог город, и справедливость требует, чтобы я защищал в суде его дело». Здесь мы не найдем уже и следа периода.

12. Происхождение периода таково. Существует два вида речи (he hermēneia). Первый из них называют закругленным (catestrammenē), ибо он сплошь состоит из периодов. Таковы речи Исократа, речи Горгия и Алкидаманта[19]. Периоды здесь следуют друг за другом с неменьшей частотой, чем гексаметры в поэмах Гомера. Другой вид речи называют разорванным (dieremenē hermēneia), так как такую речь «разрывают» колоны, плохо пригнанные друг к другу. Таковы многие места из Гекатея, Геродота и вообще вся архаика. Вот пример разорванной речи: «Так рассказывает Гекатей Милетский. Я пишу о том, что кажется мне правдивым. Что же касается сказок греков, то они и длинные и нелепые, так, по крайней мере, мне кажется»[20]. Колоны здесь как бы нагромождены и набросаны друг на друга. Они не связаны и не оказывают друг другу ни сопротивления, ни поддержки, как это бывает в периодах.

13. Периодическую речь можно уподобить камням, подпирающим и несущим сводчатую кровлю, а колоны разорванной речи — камням, лишь лежащим рядом, но не соединенным в постройке.

14. Поэтому речи древних присуща некая суховатость и собранность (eystales), точно так же, как и их статуям, где искусство составляют строгость и простота. Речь же поздних авторов можно сравнить уже с творениями Фидия[21], где величие (megaleion) [формы] соединено с тщательностью (acribes).

15. Я же не одобряю ни речи, сплошь сплетенной из периодов, как у Горгия, ни целиком разорванной, как у древних, но предпочитаю речь, соединяющую то и другое. Тогда она будет одновременно и тщательно отделанной и безыскусственной, а исходя из двух этих качеств приятной (hēdys) — и не совсем проста (idiōticos) и не слишком изысканна (sophisticos). Ораторы, строящие свои речи сплошными периодами, мотают головой, как пьяные, а слушателей просто тошнит от неправдоподобия. Тогда же они громко выкрикивают конец периода, предвидя его прежде, чем оратор успевает до него дойти.

16. Самые малые периоды состоят из двух колонов, самые большие — из четырех. Соединение свыше четырех колонов выходит за пределы периода.

17. Встречаются и периоды трехчленные, а также одночленные, которые называют простыми (haploi) периодами. Итак, всякий колон может стать одночленным периодом, если он имеет определенную длину и закругленное завершение, как, например, здесь: «Геродота Галикарнасского истории изложение таково»[22] или здесь: «Ясное выражение в умах слушающих много проливает света»[23]. Но колон становится простым периодом лишь при выполнении обоих условий — должной длины и закругленности на конце. При невыполнении хотя бы одного из них периода не будет.

18. В сложных периодах завершающий колон должен быть длиннее прочих — он как бы обнимает и вмещает в себя остальные: период, заканчивающийся торжественным длинным колоном, и сам будет величественным (megaloprepēs) и торжественным (semnē). В противном же случае он покажется обрубленным и как бы хромым. Вот пример правильного периода: «Не в том прекрасное, чтобы говорить о прекрасном, но в том, чтобы, сказав, сделать по-сказанному»[24].

19. Существуют три рода периодов: повествовательный (historicē), разговорный (dialogicē) и ораторский (rhētoricē). Повествовательный период не слишком отделан и не слишком свободен, а средний между тем и другим, так чтобы закругленность не придала бы ему ничего риторического и неправдоподобного, а, напротив, простота сделала его торжественным и [уместным] в [описательном] повествовании. Примером такого периода может послужить следующее место от слов «у Дария и Парисатиды» до слов «младший Кир»[25]. Закругленное завершение периода здесь напоминает твердое и уверенное завершение стиха.

20. Ораторский период имеет сосредоточенную и закругленную форму (eidos) и при произнесении требует от оратора округленного положения губ и отбивания ритма рукою, как, например, при построении следующего периода: «Прежде всего потому, я полагаю, следует забыть о законе, что это в интересах города, но также и потому, что ради сына Хабрия согласен я помогать им, насколько это в силах моих»[26]. Такой период почти с самого начала обнаруживает эту сосредоточенность [формы] и как бы обещает, что и его завершение не будет завершением простого [периода].

21. Разговорный период — это период еще более свободный и простой, чем период повествовательный, и он очень мало заявляет себя периодом. Как пример мы можем привести место, начинающееся словами «Я спустился к Пирею вчера» до слов «поскольку они сейчас праздновали это впервые»[27]. Колоны здесь разбросаны по отношению друг к другу, как в отрывистой речи. И лишь заканчивая высказывания, мы с трудом можем догадаться, что сказанное было периодом. Поэтому при составлении повествовательного периода следует обращаться к способу изложения, среднему между обрывочным и закругленным, соединяющему в себе черты того и другого способа. Таковы виды периодов.

22. Бывают периоды, составленные и из противостоящих колонов. Противопоставление может заключаться в содержании, например: «Проплывая по суше и проходя по морю»[28]. Колоны могут быть противопоставлены друг другу двояко: и по форме и по содержанию, как раз так обстоит дело в том же приведенном периоде.

23. Встречаются колоны, где противопоставление исключительно словесное. Так, например, построено сравнение Елены с Гераклом: «Ему он назначил жизнь полную трудов и опасностей, а ей дал красоту, заставляющую восхищаться и вожделеть»[29]. Здесь член противополагается члену, союз — союзу, подобное — подобному и точно также от начала до конца остальное. «Назначил» противополагается «дал», «полную трудов» — «заставляющую восхищаться», «полную опасностей» — «заставляющую вожделеть». Соответствие одного другому, подобного подобному происходит через все высказывание.

24. Бывает, что колоны, не заключающие в себе никакого противопоставления по существу, все же создают впечатление противопоставления, так как форма, в которой они написаны, образует фигуру противопоставления, как, например, в шутливом стихе поэта Эпихарма: «Однажды среди них я был, в другой же раз среди них находился»[30]. Здесь высказывается одна мысль, нет никакого противопоставления, но способ выражения, подражающий противопоставлению, походит на желание ввести в заблуждение. И, может быть, поэт пользуется этим противопоставлением, чтобы пошутить, а заодно и подразнить ораторов.

25. Встречаются и созвучные (paromoia) колоны, одни из них созвучны в начале, как, например: «Все же, однако, дары их смягчали,

16 Заказ № 637

дары убеждали»[31]. Другие колоны созвучны в конце. Таково, например, начало «Панегирика»: «Часто я дивился людям, что празднества играют и гимнастические состязания собирают»[32]. Разновидностью этого созвучия будет такое равенство колонов, когда они имеют равное количество слогов, как, например, в следующем месте из Фукидида: «Те, у кого спрашивают, не знают об этом деле, кому полагалось бы знать, те не порицают его»[33]. Вот пример равенства колонов по количеству слогов.

26. Сходноконечные колоны (homoioteleyta) — это колоны, имеющие одинаковое завершение. Оно может заключаться в окончании колонов на одно и то же слово, например, таким образом: «Ты есть тот человек, кто о живом говорил о нем дурно, а теперь о мертвом пишешь дурно»[34]. Колоны могут оканчиваться и на один и тот же слог, как в уже упоминавшемся примере из «Панегирика».

27. Употребление таких колонов довольно рискованно. Оно не пригодно в том случае, когда хотят произвести особенно сильное впечатление, потому что сама излишняя забота о слоге, связанная с употреблением этих колонов, ослабляет впечатление. Это становится нам ясным на примере из Феопомпа[35]. В обвинительной речи против друзей Филиппа он говорит: «Мужеубийцами были они по натуре, мужеблудниками стали по образу жизни. Они назывались сообщниками, а были соложниками»[36]. Созвучие колонов и противопоставление в них уменьшают силу речи, так как в них много искусственности. Гнев не нуждается в искусной отделке. В обвинениях такого рода должно говорить естественно и простыми словами.

28. Итак, я показал, что подобные приемы непригодны ни для [придания] речи мощи (deinotēs), ни для [выражения] страсти, ни для [раскрытия] характера. Страсть требует простоты и естественности выражения, точно так же и характер. Например, в диалоге Аристотеля «О справедливости» оплакивают судьбу Афин. И если скорбная речь будет передана в следующей форме: «Какой большой город взяли они у врагов, он так же велик, как их собственный, который они потеряли»[37], — то слова эти прозвучат с чувством печали и скорби. Если же ввести сюда созвучия сходноконечных колонов и перестроить фразу следующим образом: «Какой большой город у врагов они взяли, он так же велик как их собственный, который они потеряли», — то в таком виде слова эти вызывают не чувство печали или скорби, а повергают в то состояние, о котором мы говорили «и смех, и грех»[38]. Изобретательность дурного тона при выражении чувства — это примерно то, что пословица называет «веселиться на похоронах».

29. Но иногда полезно употребить и [симметричные колоны] как, например, в следующем месте у Аристотеля: «Из Афин в Стагиру я прибыл из-за царя, ибо он был велик, из Стагиры в Афины из-за урагана, ибо был велик»[39]. Если убрать отсюда повторение слов «он был велик», то исчезнет и вся прелесть выражения. Именно в силу этой своей симметричности противостоящие колоны, в изобилии встречаю-

щиеся у Горгия и Исократа, способствуют величавости речи. Итак, о созвучии и симметрии колонов сказано достаточно.

30. От периода следует отличать энтимему. Отличие состоит в том, что период — это форма закругленного построения, от которого он и несет свое наименование, в то время как сутью (dynamis) и содержанием (systasis) энтимемы является сама мысль. При периодическом построении энтимема, как и все прочее в периоде, получит закругленное завершение. Энтимема — [всегда] мысль, высказывается ли она [как реплика] в споре, или в последовательном [изложении].

31. Это означает, что если нарушить порядок слов энтимемы, то уничтожится период, но сама энтимема останется неизменной. Попробуем, например, расстроить энтимему в следующих словах Демосфена: «Как ты не стал бы делать этого предложения, будь бы кто-нибудь из них изобличен ранее, так и другой не сделает этого впредь, будь сейчас изобличен ты»[40]. Круг периода здесь разрушен, но энтимема осталась та же. Пусть строй энтимемы будет изменен следующим образом: «Не спускайте тем, кто, пытаясь обойти закон, делает незаконные предложения. Ведь если бы их подвергнуть проверке, то и подсудимый не стал бы сейчас делать эти незаконные предложения, да и никто другой в будущем не стал бы заниматься ими, будь только этот изобличен сейчас».

32. В целом же энтимема — это некоторое риторическое умозаключение (syllogismos), тогда как период — нисколько не способ рассуждения, а только лишь определенный порядок слов. Энтимема — это как бы то, что подразумевается в речи, тогда как период — самая форма речи. И энтимема может оказаться незаконченным умозаключением, период же будет им ни в незавершенном, ни в завершенном своем виде.

33. Случается, что энтимема является в то же время и периодом, когда ее построение оказывается периодическим, но в то же время она не будет периодом полностью. Так, здание может быть белым, коль скоро оно выкрашено в белый цвет, однако это не означает, что здание как таковое должно быть белым. Итак, о различии между энтимемой и периодом мы сказали достаточно.

34. Аристотель дает такое определение колона: «Колон есть одна из двух частей периода». И затем добавляет: «бывает и простой период»[41]. Такое определение колона как одной из двух частей ясно указывает на то, что, по Аристотелю, период состоит из двух колонов. Архедем[42], соединив основное положение Аристотеля и последующее добавление к нему, предложил свое определение — еще более ясное и законченное: «Колон есть или простой период, или же часть сложного периода».

35. Что такое простой период, мы уже говорили. Называя колон частью сложного периода, Архедем, очевидно, делит период не только на два, но и на три и большее число колонов. Мы же полагаем определенную меру периода. А теперь перейдем к описанию различных стилей речи.

II. ЧЕТЫРЕ ТИПА СТИЛЯ. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

36. Существует четыре основных стиля (haploi charactēres): простой (ischnos), величественный (megaloprepēs), изящный (glaphyros) и мощный (deinos) и сверх того различные их сочетания[43]. Но не всякий стиль может вступать в сочетания с любым другим. Так, изящный стиль сочетается с простым и величественным, мощный с ними обоими. И только стиль величественный не сочетается с простым, напротив, эти два стиля противоположны друг другу, несовместимы и как бы исключают один другой. Поэтому некоторые полагают, что и существуют только эти два стиля речи, которые достойны считаться самостоятельными, прочие же — промежуточные между ними. Изящный стиль в таком случае сближают с простым, а мощный с величественным, ибо изящному стилю присуща некая легкость (microtēs) и изысканность (compseia), а мощному — пышность (oncon) и величие (megethos).

37. Такая точка зрения нелепа. Ведь мы видим, что, за исключением двух противоположных друг другу стилей, прочие могут вступать в любое сочетание друг с другом. Так, например, в стихах Гомера и в повествовании Ксенофонта, Геродота, да и многих других величавость соединяется с мощностью и вместе с изяществом выражения. Таким образом, число стилей речи, очевидно, таково, какое указано нами. А воплощение их должно соответствовать случаю и иметь определенную форму.

38. Обращусь прежде всего к величественному стилю, который теперь называют стилем красноречия. Величественность проявляется в трех отношениях: в смысле (dianoia), в словах (lexis) и в том, чтобы соединение (synthesis) было подходящим (prosphorōs). По Аристотелю, величественным является соединение пеоническое[44].

Существует два типа пеонов: первый — пеон начальный, он начинается долгим слогом и заканчивается тремя краткими, как, например, «начались же» (ērxătō dĕ). Другой тип пеона заключительный — противоположный первому; он начинается тремя краткими слогами и оканчивается долгим, например, «Аравия» (Ărăbĭā)[45].

39. В величественном стиле речи начальный пеон должен открывать колон, а заключительный—заканчивать его. Примером такого построения может служить место из Фукидида: «Зло началось с Эфиопии, вот откуда пришло»[46] (ērxătŏ dĕ tŏ căcŏn ēx Aīthĭŏpĭās). Почему же Аристотель советует расставлять слоги таким образом? Да потому, что колон, начинающий речь величественного характера, должен и в начале, и в конце производить это впечатление величественного, что и будет достигнуто, если, начав речь долгим слогом, мы долгим же и закончим. Ведь долгий слог сам по себе порождает впечатление чего-то величественного. И будучи поставлен в начале речи, сразу же как бы поражает слушателя, а при постановке на конце закрепляет в слушающем

ощущение величественного. И действительно, мы все особенно запоминаем самые первые и самые последние слова; они-то и производят на нас наибольшее впечатление, тогда как слова, стоящие между ними, много меньшее — они как бы спрятаны и затеряны.

40. Особенно ясным это становится на примере [стиля] Фукидида. Ведь всю величественность ему создают именно слоги, образующие ритм его повествования. И хотя повествование этого автора величественно во всех отношениях, все же сохраняет ему эту величественность исключительно или, по крайней мере, по преимуществу соединение [слов].

41. Следует, однако, иметь в виду, что если мы и не можем точно снабдить колоны пеонами обоих видов с той и другой стороны, мы, по крайней мере, можем создать впечатление пеонического построения, начав с долгого слога и закончив им же. Как раз так, по-видимому, и предписывает поступать Аристотель, хотя для того, чтобы быть совершенно точным, он представил подробное описание пеона обоих видов[47]. Феофраст приводит как образец величественного стиля колон, построенный таким образом: «Философствуют же они все по поводу тех материй, достоинство которых ни в чем»[48] (tōn mēn peri ta mēdenos axia philosophoyntōn). Строго говоря, здесь нет пеона, но есть нечто пеоническое. Причиной использования пеонов в прозаической речи является то, что пеон — метр смешанный и весьма надежный: длинный слог придает ему величественность, а короткие делают пригодным для прозаического повествования (logicos).

42. Среди прочих стоп, стопа героическая — торжественна и годится для прозы (logicos). Она также шумна — и в то же время не ритмична, а напротив, лишена ритма. Обратимся к такому примеру: «И я пришел в нашу страну...» (hēcōn hēmōn eis ten chōran). Плотность долгих слогов здесь выходит за пределы прозаического метра[49].

43. Что же касается ямба — то он прост и напоминает обычную речь. Многие ведь употребляют в разговоре ямбический размер и не подозревая этого. Пеон же занимает как раз серединное место — он и соблюдает надлежащую меру, и в то же время является как бы смешанным метром. Что же касается пеонического соединения, то его можно использовать в величественном стиле речи по образцу, нами указанному.

44. Длина колонов также способствует впечатлению величественности речи, как, например, здесь: «Фукидид Афинский описал войну, что вели пелопоннесцы с афинянами»[50] или «Что же касается Геродота Галикарнасского, то его изложение истории таково»[51]. Ведь, действительно, частые паузы, следующие после коротких колонов, умаляют величественность речи, пусть даже будут высоки содержащаяся в ней мысль и выражающие ее слова.

45. Речь приобретает величественность и от закругленного построения, как, например, у Фукидида:

«Дело в том, что река Ахелой, вытекающая из горы Пинда, проходит по Долопии, и по земле агреев, амфилохов и по Акарнанской

равнине в глубине материка мимо города Страта и изливается в море подле Эниад, образуя озера в окрестностях города; обилие воды в зимнюю пору делает поход затруднительным»[52]. Все величественное здесь проистекает из кругового построения, а также из того, что и сам автор, и его читатель, и слушатель едва имеют возможность передохнуть.

46. Можно нарушить такое закругленное построение и, разбив высказывание на ряд отдельных фраз, представить его в следующем виде: «Река Ахелой начинает свое течение с горы Пинда. Она изливается в море близ Эниад. Разлив реки превращает долину города в стоячее болото. Так что при трудности подступов в зимнее время вода становится для жителей опорой и прикрытием от врагов». В самом деле, если, излагая это содержание, произвести подобное изменение в [построении пауз], то в речи добавятся передышки, но величественность ее исчезнет.

47. Подобно тому как частые остановки в дорожных гостиницах сокращают даже и большой путь, а пустынность места заставляет казаться длинным и маленький путь, точно такое же происходит с колонами в речи.

48. Во многих случаях впечатление величественности создает труднопроизносимость (dysphōnia) сочетания слов, как, например, здесь: «Aias d'ho megas aien eph'Hectori chalcocorystēi»[53].

И хотя обычно нагромождение звуков неприятно для уха, здесь избыток лишь подчеркивает величие героя. Ведь, действительно, гладкость и благозвучие завершений не совсем приняты в величественном стиле и встречаются разве только в немногих случаях. И Фукидид почти всюду избегает гладкого (leion) и ровного (homales) соединения; и почти везде производит это такое впечатление, будто он спотыкается, как спотыкаются люди, идущие по неровной дороге. Так, к примеру, он говорит: «И свободен оказался, как согласятся все, год этот от болезней других»[54]. Конечно, было бы проще и приятнее для слуха сказать так: «Как согласятся все, этот год оказался свободен от других болезней». Но тогда фраза утратила бы величие.

49. Как [отдельные] резкие слова придают речи величественность, так и соединение [слов]. Резкие слова — это «кричащий» вместо «зовущий» или «сокрушенный» вместо «отягощенный». Всем этим пользуется Фукидид, подбирая слова, пригодные для соединения, и соединения, подходящие для [этих] слов.

50. Расставлять же слова надо следующим образом: пусть первыми идут слова не слишком заметные, а на втором и на последнем месте — все более и более выразительные. При таком расположении и первое слово, которое мы услышим, покажется нам выразительным, а последующие за ним еще более сильными. В противном же случае будет казаться, что силы наши иссякли и речь ослабевает.

51. Примером может послужить следующее место из Платона: «Если кто-то позволяет музыке звучать флейтой и вливаться в него через

слух...». Второе выражение намного живее первого. И опять далее: «И когда этот поток, не иссякая, [продолжает] чаровать, то он уже размягчает и расплавляет...»[55]. Слово «расплавляет» выразительнее, чем «размягчает», и оно ближе к поэзии. А ведь, если бы слово «расплавляет» было вынесено на первое место, то слово «размягчает», стоящее за ним, показалось бы более слабым.

52. И Гомер в описании киклопа увеличивает силу гиперболы тем, что она как бы нарастает, например: «...не сходен был с человеком, вкушающим хлеб, и казался вершиной лесом поросшей горы»[56]. Кроме того, что здесь вводится сравнение с вершиной горы, эта гора далее изображена возвышающейся над всеми другими. И действительно, как бы ни было само по себе значительно стоящее впереди, оно всегда покажется меньшим, если то, что за ним последует, будет более значительным.

53. Связующие слова, такие, как (men) «насколько» и (de) «настолько», не должны слишком точно соответствовать друг другу. Подобная точность граничит с мелочностью. Напротив, расставляя их, следует несколько нарушать порядок. Так, в одном месте у Антифонта сказано: «Что же касается острова, которым мы владеем, то и на расстоянии он кажется настолько же скалист и малодоступен, и настолько же малопригоден для возделывания и использования, насколько много там при всей его малости невозделанного»[57]. Двум союзным словам «настолько» здесь только однажды соответствует «насколько».

54. Впрочем, часто союзы, поставленные один за другим, заставляют и незначительное казаться значительным. Так, у Гомера названия беотийских городов, которые сами по себе малы и незначащи, приобретают некую весомость и величественность именно из-за стоящих подряд союзных слов:

И на лесистых холмах Этеона, и в Схене, и в Сколе[58].

55. Дополняющие союзные слова следует употреблять не в качестве пустых добавлений или, если можно так выразиться, приращений и растяжений в речи, как это делают некоторые со словами (dē) «и вот», (ny) «итак» или (proteron) «прежде чем», употребляя их без всякой нужды, в то время как ставить их надо лишь в том случае, когда они придают речи величественность.

56. Так, например, мы читаем у Платона: «Вот (men dē) великий предводитель на небе — Зевс»[59] или у Гомера: «Но лишь (dē) приехали к броду реки, водовертью богатой»[60]. Здесь частица, поставленная в начале и оттеняющая последующие слова от первых, придает речи нечто величественное, ведь замедленное вступление создает торжественность. А если бы у Гомера было сказано так: «Лишь приехали к реке...», то казалось бы, что поэт обыденными словами говорит о каком-то определенном событии.

57. Такой союз выбирают часто и при изображении чувства, как, например, встречается он в обращении Калипсо к Одиссею:

Благорожденный герой Лаэртид, Одиссей многохитрый!
Значит, теперь же, сейчас, ты желаешь домой возвратиться[61].

А если союз здесь убрать, то исчезнет и сила изображенного чувства. Вообще же, как говорит Праксифан[62], подобного рода слова вводят вместо вздохов и стонов, например, «ай, ай», «увы» или «ах» и пр. Так, говорит он, уместно употребление повторяющихся союзов «и», «ну и» при слове «плачущих»[63], так как в них самих есть что-то вызывающее представление о плаче.

58. Тех же, кто употребляет вводные слова без нужды, Праксифан уподобляет актерам, наугад ставящим восклицания при совершенно не соответствующих словах. Так, например, кто-нибудь из них мог бы, пожалуй, прочесть и так:

...вот Калидон, земля Пелопса (увы!).
Среди проливов лежат ее счастливые равнины (ай, ай!)[64].

Так обстоит дело здесь, где некстати притянуты «ай, ай» и «увы», так же будет и повсюду, где только союзное слово введено без всякого на то основания.

59. Итак, как уже говорилось, союзы придают величественность соединению. Что же касается словесных фигур (schēmata tes lexeōs), то они по самой своей сущности являются видом соединения (eidos syntheseōs). И действительно, что же иное, как не способ распределения и расположения, обозначает возможность выразить одну и ту же мысль путем употребления различного вида фигур: или повторения, или единоначатия, или замены выражения. При этом для каждого стиля речи предназначены свои фигуры. Так, для величественного стиля, о котором у нас идет речь, предназначается, например, замена грамматической формы слова (anthypallagē).

60. Вот, к примеру, употребление этой фигуры у Гомера:

Два есть утеса, один достигает широкого неба[65].

Стих выглядел бы гораздо менее величественным, не будь здесь фигуры с измененным повторением падежной формы, а будь сказано так: «Из двух утесов один — до широкого неба». Таков ведь обычный строй речи, а все обычное мелко и потому не вызывает восхищения.

61. А путем употребления в смешанном виде двух словесных фигур — начального повтора и расчленения — Гомер изобразил Нирея, фигуру в [действительности] незначительную, величественным, а его весьма скудное снаряжение, в три корабля и несколько человек, внушительным

и включающим не малое, а большое число предметов. Так, поэт говорит:

Три корабля ... Нирей предоставил...
этот Нирей был Аглаей рожден...;
этот Нирей...
... был человеком ... красивейшим...[66]

Повторение в речи самого имени Нирея выделяет героя, а расчленение способствует впечатлению множества средств, тогда как в действительности здесь два или три предмета.

62. И Нирея, едва ли ни однажды названного в действии поэмы, мы запоминаем ничуть не меньше, чем Ахилла и Одиссея, упоминаемых почти на каждом шагу. И причиной тому — сила (dynamis) этой фигуры. Ведь если бы сказать просто: «Нирей, сын Аглаи привел из Симы три корабля» — это равнялось бы умолчанию о Нирее. Потому что в речи, как и в угощении: малое [количество блюд] может показаться большим, [если их умело расположить.]

63. Но часто и противоположный расчлененному связующий способ построения может оказаться причиной большей величественности изображаемого, как, например, здесь: «Сражались и эллины, и карийцы, и ликийцы, и памфилийцы, и фригийцы»[67]. Введением повторяющегося союза подчеркивается как бы неисчислимость множества.

64. Но в таком предложении, как «волн... горбатых, пятнистых [от пены]»[68], отсутствием союза *и* создается впечатление более величественное, чем если бы сказать: «волн горбатых и пятнистых [от пены]».

65. Впечатления величественности в построении фразы можно достичь иногда и путем введения фигуры с изменением падежных форм, как это делает, например, Фукидид: «Он, первый поднявшийся, потерял сознание, и у него, упавшего, [щит вывалился в море]»[69]. Это звучит гораздо весомее, чем если бы оставить построение с неизменными падежными формами: «Он упал на палубу, и он уронил щит».

66. Но и [двукратное] повторение одного и того же слова способствует величавости речи, как, например, в следующем месте из Геродота, где он говорит о змеях: «И были они на Кавказе огромны, огромны и в великом множестве»[70]. Дважды повторенное здесь слово «огромны» как раз и придает фразе значительность.

67. Однако не следует и злоупотреблять речевыми фигурами. Такая речь перенасыщена и указывает на отсутствие чувства меры. Во всяком случае, писатели древние, хотя и часто пользовались многими приемами, стоят ближе к естественной речи, чем авторы, совсем не употреблявшие фигур, так как древние делали это искусно.

68. Что касается столкновения гласных звуков в речи, то об этом существуют разные мнения. Исократ, например, избегает зияния (sygcroysis)[71], как и его последователи. Иным же случается допускать

зияние и притом постоянно. Конечно, не следует делать речь шумной, как получается, если позволить гласным встречаться произвольно и случайно. Такая речь будет производить впечатление беспорядочно разбросанной. Но и зияния нужно избегать не во всех случаях.

Конечно, в речи, построенной таким образом, прибавится гладкости, но зато убавится искусства и выразительности, так как она лишится многозвучия, производимого зиянием.

69. Прежде всего также следует принять во внимание, что зияние внутри слова допускается даже в обыденной речи, хотя именно здесь особенно заботятся о гладкости. Примером могут служить такие слова, как Aiacos[72] и chiōn[73]. Встречаются, кроме того, и слова, составленные только из гласных, как, например, Aiaiē и Eyios[74], и они не только не лишены благозвучия прочих, но даже музыкальнее их.

70. Более того, в поэзии форма ēelios[75] с неслитным произношением и сохранением зияния по благозвучию предпочтительнее формы hēlios, как форма oreōn[76] формы orōn. Ведь неслитная форма произношения гласных и зияние содержат в себе нечто близкое песне. И есть множество примеров, когда слитное произношение гласных — синалефа — делало речь неприятной для слуха, а при неслитном произношении и сохранении зияния те же слова звучат более приятно. Так, если во фразе Panta men ta nea cai cala estin[77] устранить зияние между словами и употребить слитную форму cala'stin, строй речи станет менее музыкальным и более обыденным.

71. А, например, у египтян в гимне, который поют жрецы, прославляя богов, следуют друг за другом семь гласных звуков[78]. И звучание этих гласных в результате создаваемого ими благозвучия воспринимается, как звучание флейты или кифары. Поэтому уничтожающий зияние совершенно уничтожает не что иное, как саму музыку и поэзию речи. Но сейчас не время продолжать рассуждение об этом.

72. Что же касается величественного стиля речи, то здесь более всего уместным будет столкновение (sygcroysis) долгих звуков, например: «laan anō ōthesce»[79]. Зияние увеличивает длину стиха, а также воссоздает образ поднимаемого камня и прилагаемой при этом силы. То же мы наблюдаем и в следующем месте из Фукидида:«mē ēpeiros einai»[80]. Встречается и зияние, образуемое дифтонгами: «taytēn catōicēsan men Cercyraioi; oicistēs de egeneto»[81].

73. Итак, с одной стороны, величественности слога способствует столкновение одинаковых гласных и одинаковых дифтонгов, но, с другой стороны, при столкновении звуков разного качества, в силу их многозвучия, к величественности присоединяется еще и разнообразие (poicilia), как, например, в слове ēōs[82]. Действительно, в таком слове, как hoiēn[83], звуки различаются не только по качеству, но и по высоте звучания — один низкий, другой высокий, так что [звуки] несхожи во многом.

74. И в пении один и тот же протянутый звук создает напевность, что и делает песню песней, так что стечение (sygcroysis) одинаковых

[гласных] будет как бы малой частью пения, напевом. Итак, о зиянии гласных и о способах соединения в величественном стиле речи сказано достаточно.

75. Величие бывает и в самом [излагаемом] предмете (pragma), к примеру, великое и славное сражение на суше или на море, либо [когда] речь [идет] о небе или земле. Ведь слушающий речь о великом тут же решает, что и оратор говорит величественно, но он ошибается, ведь, [чтобы судить о величии стиля], нужно смотреть не на то, что говорится, а на то, как это говорится. Ведь случается, что, говоря низменным слогом о высоком, умаляют и принижают достоинство самого предмета. Поэтому и говорят о некоторых, писавших в мощном стиле, например, о Феопомпе, что они о мощном говорили немощно.

76. Справедливо говорил и живописец Никий[84], что немалая часть искусства живописца проявляется в том, чтобы выбрать предмет высокого характера и не разменяться на изображение столь незначительных явлений, как птицы или цветы. Советовал же он выбирать сюжеты с конными или морскими сражениями, где можно показать множество положений с лошадью — с одной стороны, лошади нападающие, лошади встающие на дыбы, лошади приседающие, а с другой — возможны также изображения всадников, мечущих копья или же, наоборот, падающих с лошади. Таким образом, по мнению Никия, сама по себе тема изображения уже является частью искусства живописи, точно так же как древние предания были частью искусства поэзии. И потому неудивительно, что и прозаическая речь при обращении к высокому предмету становится величественной.

77. Слова (lexis) в этом стиле должны быть высокие, особенные и возможно менее обыденные. Тогда в нем будет пышность (oncon). Правда, слова общепринятые (cyrios) и обыденные отмечены ясностью (saphēs), но они незначительны и мелки.

78. Прежде всего, следует пользоваться метафорами, ведь они [как раз] больше всего и делают речь приятной и величавой. Однако они не должны быть слишком частыми, иначе вместо речи напишем дифирамб. Метафоры не должны быть взятыми [слишком] издалека, но отсюда же (aytothen) и основанными на подобии (ec homoioy). Так, сходны друг с другом [понятия] — вождь, кормчий, возница. Все эти слова обозначают людей чем-то управляющих, и всегда будет понятной речь, где вождя назовут кормчим государства, а кормчего — вождем корабля.

79. Но не все сходные между собой понятия так взаимозаменяемы, как упомянутые выше. Поэт, например, мог называть подножие горы Иды подошвой[85], но тем не менее не мог бы назвать подошву человека подножием.

80. Если же метафора кажется слишком опасной, то ее легко превратить в сравнение. Ведь сравнение, будучи по существу своему развернутой метафорой, кажется более привычным. Так, если во фразу «Тогда ритору Питону, обрушившемуся на нас»[86] вставить «как бы»:

«Тогда ритору Питону, как бы обрушившемуся на нас» — то речь станет более спокойной. Прежнее выражение без этого «как бы» было метафорой и [казалось] более рискованным. Так и стиль Платона производит впечатление чего-то рискованного — он больше пользуется метафорами, чем сравнениями, а Ксенофонт, напротив, предпочитает сравнения.

81. Аристотель считает лучшей метафорой так называемую метафору действия (cata energeian), когда неодушевленные предметы представляются как одушевленные[87]. Так, например, о стреле говорится:

Понеслася острая, в гущу врагов до намеченной жадная жертвы[88].

Или такой пример:

... волн ... горбатых, пятнистых [от пены][89].

Оба эти слова — и «жадная» и «пятнистые» — напоминают о живых существах.

82. В некоторых случаях метафорическое употребление слова больше способствует ясности и определенности (cyrios) выражения, чем употребление его в точном собственном смысле, как, например, в фразе: «Бой ощетинился»[90].

Ведь если бы переменить здесь метафорическое выражение на буквальное, то к изображению не прибавилось бы ни правды, ни ясности. Поэт обозначил выражением «ощетинился бой» и столкновение копий, и производимый ими медленно нарастающий звук. Вместе с тем он обращается здесь к метафоре действия, о которой шла речь ранее: о бое сказано, что он «ощетинился», как это могло бы быть с живым существом.

83. Мы, однако, не должны терять из виду и того, что иные метафоры больше способствуют незначительности, чем величию [стиля], хотя обращаются к ним для того, чтобы создать впечатление пышности (pros oncon). Так, например, в стихе

Небо великое звуком трубы зазвучало повсюду[91].

Конечно, не следовало уподоблять весь небесный свод звуку трубы, разве только какой-нибудь ревнитель Гомера скажет в его защиту, что, мол, так зазвучало великое небо, как если бы оно само затрубило.

84. Обратим внимание и на другой вид метафоры, способствующий впечатлению скорее незначительности, чем величественности стиля. Дело в том, что лучше употреблять метафоры, где значение переносится с большего на меньший предмет, а не наоборот. Так, например, мы читаем у Ксенофонта: «Во время похода часть фаланги несколько выплеснулась»[92]. Ксенофонт, таким образом, уподобил выход из границ воинского строя выходу моря из берегов и так обозначил действие.

Если бы кто-нибудь, перевернув [это], сказал, что «море вышло из строя», то эта метафора не только не получилась бы удачной, но была бы в высшей степени убогой.

85. Некоторые [авторы] подкрепляют метафоры, кажущиеся им [слишком] смелыми, добавлением эпитетов. Так, Феогнид, говоря о стрелке из лука, употребляет [метафору] «бесструнная лира»[93], [имея в виду] лук. Ведь в самом деле, слово «лира», рискованное применительно к луку, с помощью эпитета «бесструнный» становится более безопасным.

86. Как во всем остальном, так особенно в употреблении метафор наставницей служит обиходная речь. Ведь переносное значение почти всех ее выражений скрыто благодаря устоявшимся метафорам. Так, и «чистый звук», и «горячий человек», и «крутой нрав», и «большой оратор», и другое в этом роде — столь искусные метафоры, что кажутся почти буквальными выражениями.

87. За правила употребления метафор в прозаической речи я принимаю те, которые, будучи приобретенными или природными, существуют в обиходной речи (synētheia). Обиходная речь так удачно использует некоторые метафоры, что пропадает нужда в словах в прямом смысле, и метафора, занимая их место, так и остается [в языке], например, «глазок виноградной лозы» и пр. в таком роде.

88. Что же касается частей тела, то позвоночник, ключицы, ребра получили свои наименования не от метафор, а вследствие уподобления сходным предметам соответственно оси, на которой вращается веретено, ключам и гребню.

89. Ну, а если мы превращаем метафору в сравнение (eicasia) по способу, рассказанному выше, то здесь следует позаботиться о краткости и кроме союза «как» более ничего не вставлять, иначе вместо сравнения у нас получится поэтическая парабола[94], как, например, в следующем месте у Ксенофонта: «подобно тому, как породистая гончая, не раздумывая бросается на кабана...»[95] или здесь: «подобно тому, как горделиво скачет по равнине освобожденная от пут лошадь...»[96].

Такое [выражение] уже походит на поэтическую параболу, а не на сравнение.

90. Подобного рода параболу (parabolē) нельзя употребить в прозаической речи необдуманно и без величайшей предосторожности. Итак, основное, что касалось метафоры, я изложил.

91. Следует употреблять сложные слова, но только составленные не как в дифирамбической поэзии: «богодивные планеты» или «звезд огнемечущее войско»[97], а подобно сложным словам в обиходной речи, ведь мерилом вообще всякого поименования (onomasia) выставляю обиходную речь, употребляющую слова «законодатель», «градостроитель» и много других надежно составленных слов такого же рода.

92. Сложное слово именно потому, что оно сложное, будет казаться каким-то богатым (poicilia) и большим и вместе с тем сжатым. Действительно, ведь [это одно] слово может заменить целое предложение,

например, подвозы зерна можно назвать «зерноподвозами». И это будет намного значительнее. Однако возможны случаи, когда усиление может произойти и от противоположного способа выражения, если, например, распустить слово в предложение и вместо «зерноподвозы» сказать «подвозы зерна».

93. Пример слова, заменяющего целое предложение, есть у Ксенофонта; в том месте, где он говорит, что дикого осла «не было никакой возможности настигнуть, разве только в том случае, если всадники становились в разных местах и охотились поочередно»[98]. Одним словом «поочередно» как бы обозначено, что одни охотники преследовали осла сзади, другие же шли ему навстречу, так чтобы осел оказался окруженным. Вместе с тем, должно остерегаться соединять слова, уже соединенные. Такие удвоенные сложные слова не соответствуют прозаической речи.

94. В число новообразованных (ta pepoiēmena) слов входят и те, что созданы в подражание аффекту или действию, как, например, слова «зашипел»[99] или «лакающий»[100].

95. [Гомер] достигает особого величия тем, что [с помощью таких слов] добивается сходства со звуками, [существующими в природе] (psogos), и особенно с [наиболее] чуждыми (xenos) [человеческой речи]. Ведь он произносит слова, которые, не существуя раньше, рождаются в этот момент, и рождение [этих] новых слов представляется таким же мудрым, как и [употребление слов] в обычной речи, и таким образом, [Гомер]-словотворец подобен тем, кто первым дал названия вещам.

96. Первое, о чем следует позаботиться при образовании новых слов — это ясность и естественность, затем идет соответствие уже существующим словам, чтобы не создавалось впечатления, будто посреди греческих слов автор вставил фригийские или скифские.

97. Создавать новые имена нужно или для вещей, еще не названных, так, [некий автор] называет тимпаны и другие музыкальные инструменты женоподобных «орудием кинедии»[101]; Аристотель рассказывал о некоем «слонопасе»[102]; или же можно образовывать новые слова вне зависимости от уже существующих, как, например, кто-то из авторов[103] называет перевозчика на лодке «челночник», а Аристотель говорит о человеке, живущем в одиночестве, что он «одиночничал»[104].

98. Ксенофонт же говорит о войске, что оно «за-аляля-ло»[105], передавая этим словом непрерывный клик «а-ля-ля», издаваемый воинами. Однако, как я уже говорил, это прием небезопасный даже для самих поэтов. Кроме того, можно сказать, что сложное слово является как бы разновидностью придуманных слов, ведь всякое составное составляется из чего-то уже существующего.

99. Иносказательному способу выражения (hē allēgoria) также свойственна особая выразительность, в особенности это относится к высказываниям угрожающего характера, как, например, угроза Дионисия: «Цикады запоют у вас с земли»[106].

100. Если бы Дионисий прямо сказал, что намерен опустошить Локриду, то он показался бы человеком легко впадающим в гнев и довольно ничтожным. Однако здесь он, воспользовавшись иносказанием, как бы одел покровом свои слова. А все слова, о смысле которых лишь догадываются, производят впечатление особенно сильное, и каждый толкует их по-своему. И, наоборот, все ясное и открытое обыкновенно не вызывает уважения, [например], раздетые люди.

101. Недаром и в мистериях пользуются иносказательными выражениями, чтобы поразить и привести в трепет, какой бывает в темноте и ночью. Иносказание как раз и напоминает темноту и ночь.

102. Однако и здесь следует остерегаться излишества, так чтобы наша речь не становилась загадкой, как это произошло в [знаменитой] надписи на склянке врача.

Мужа видела я, что медь припаял к человеку[107].

И лаконцы, когда желали внушить страх, часто прибегали к иносказательному способу выражения, например, слова́, обращенные к Филиппу: «Дионисий в Коринфе»[108], и немало других подобных высказываний.

103. В одних случаях краткость (hē syntomia) и особенно умолчание (hē aposiōpēsis) способствуют величавости (megaloprepēs) речи, ведь порой не высказанная, но подразумеваемая мысль кажется более значительной, в других случаях это приводит к обратному. В самом деле, ведь и повторение (dilogia) бывает величаво, как у Ксенофонта: «Колесницы понеслись — одни сквозь ряды самих же неприятелей, а другие сквозь ряды своих»[109].

Мысль, сказанная таким образом, производит много более сильное впечатление, чем если бы высказать ее так: «сквозь ряды неприятелей и своих».

104. Часто косвенное построение действует сильнее, чем прямое; так, «План [персов] состоял в том, чтобы вклиниться в ряды эллинов и расколоть их на части»[110] лучше, чем «Они хотели вклиниться в ряды эллинов и расколоть их на части».

105. [Величавости] содействует как сходство [звучания] слов, так и явная трудность произнесения слова. Ведь произносимое с трудом часто [производит впечатление] значительности (oncēron), как здесь: «Aias d'ho megas aien eph'Hectori»[111].

Столкновение двух [сходно звучащих слов] Aias—aien здесь выражает величие Аякса [гораздо ярче], чем его семикожный щит.

106. Так называемая эпифонема[112], определяемая как украшающий словесный оборот (lexis), в высшей степени способствует величавости, ведь одни словесные обороты служат [выражению мысли], а другие [употребляются] для украшения. [Приводимая фраза] служит для [выражения мысли]: «...Как гиацинт на полях, что в горах пастухи попирают ногами», а заключение служит для украшения: «и — помятый —

к земле цветок пурпурный никнет»[113], ведь оно явно придает стройность (cosmos) и красоту (callos) предшествующим стихам.

107. Этими приемами изобилует поэзия Гомера, например:

Я их от дыма унес. Не такие они уж, какими
Здесь Одиссей, отправляясь в поход, их когда-то оставил:
Обезображены все, до темна от огня закоптели.
Соображенье еще поважнее вложил мне Кронион:
Как бы вы меж собой во хмелю не затеяли ссоры
И безобразной резней сватовства и прекрасного пира
Не опозорили...

Затем он заключает:

Тянет к себе человека железо[114].

108. В целом же можно сказать, что эпифонема подобна тем вещам, которые служат приметами богатства, то есть карнизам, триглифам, порфирной кайме на одежде[115],— точно так же и эпифонема является признаком богатства речи.

109. Может показаться, что энтимема — некая разновидность эпифонемы, но это неверно, ведь энтимема употребляется не для красоты, а для доказательства, и разве что заключительные [энтимемы] [выглядят] эпифонематично.

110. Точно так же и гнома подобна эпифонеме, которая есть некое заключение к вышесказанному, но все-таки гнома не является эпифонемой, ведь она часто стоит в начале высказывания, хотя порой и занимает то же место, что эпифонема.

111. Так не будет эпифонемой стих:

Глупый! Совсем уже близко ждала его жалкая гибель[116],

ибо он не завершает высказывания и не имеет украшательной цели. Да и вообще он больше напоминает не концовку (epiphōnēma), а задиристое обращение или издевку.

112. Поэтические обороты в прозе также усиливают впечатление величавости — это, как говорится, видно и слепому, за исключением тех случаев, когда пользуются неприкрытым подражанием поэтам, и [порой] не [просто] подражают, а прямо переписывают их, как, например, Геродот [117].

113. А вот Фукидид даже если и берет что-то у поэта, использует взятое по-своему и делает своей собственностью. К примеру, Гомер говорит о Крите так:

Крит — такая страна посреди винноцветного моря,—
он и красив, и богат, и омыт отовсюду волнами[118].

Поэт пользуется выражением «омыт отовсюду волнами», чтобы указать на величину острова. Фукидид же имеет в виду, что греческим поселенцам в Сицилии должно было бы объединиться, ибо они происходят из одной земли, и земля эта омыта волнами отовсюду. И хотя Фукидид так же, как и Гомер, называет остров землей и говорит, что она «омыта волнами отовсюду»[119], кажется, будто он выражается иначе. А происходит это оттого, что эти слова употреблены не для того, чтобы обозначить величину, а для того, чтобы призвать к единству.

Итак, о величественном стиле мы сказали достаточно.

114. Подобно тому как хорошее (asteios) очень тесно граничит с дурным, как смелость с дерзостью, скромность с [чрезмерной] застенчивостью, точно таким же образом каждый вид стиля соседствует со [своим] искаженным соответствием. Сначала мы обратимся к типу речи, соседствующему с величественным. Его называют выспренним (psychrōs), а, по определению Феофраста, выспренним считается способ высказывания, превышающий свой предмет, например, когда говорят: «Да не поставится на стол чаша без днища», вместо «чаши без дна на стол лучше не ставить»[120]. Столь незначительное содержание совсем не требует возвышенного слога.

115. Выспренность выражения так же, [как и величественность], проявляется в трех отношениях — и прежде всего в самом содержании, как, например, в одном описании киклопа, бросающего камень вслед кораблю Одиссея: «И пока камень летел, козы паслись на нем»[121]. Невероятное преувеличение в содержании рождает выспренность в стиле.

116. Аристотель говорит[122], что существует четыре источника выспренности: [первый — необычные слова, второй — эпитеты]..., когда, например, Алкидамант говорит: «мокрый пот», третий — сложные слова, если они образованы по способу, принятому в дифирамбах, подобно придуманному кем-то выражению «пустынноблуждающий» и другим сверхпышным выражениям в том же роде; четвертый источник выспренности — метафоры, например, «дела дрожащие и бледные»[123]. Итак, выспренность в выражении может возникнуть в четырех случаях.

117. Выспренним будет соединение [слов], в котором в должной мере нет ритма (mē eyrhythmos) или нет его вовсе (arhythmos) и в котором идут подряд долгие слоги. Например: «hēcōn hēmōn eis tēn chōran, pasēs hēmōn orthēs oysēs»[124]. [Ритм этого предложения] не имеет ничего прозаического, а также является очень неустойчивым из-за непрерывности долгих слогов.

118. Выспренним будет и встречающееся у некоторых писателей употребление [целого] стиха (to metron) в [прозаическом тексте], который бросается в глаза именно из-за такой последовательности, ведь неуместное сочинение стиха так же безвкусно (psychron), как и несоблюдение размера в стихе.

119. Вообще же [можно сказать], что выспренность [в стиле] походит на хвастовство. Ведь хвастун уверяет, что ему принадлежит то, что на самом деле ему не принадлежит, так и писатель, сообщающий

величавый вид ничтожному, сам уподобляется человеку, раздувающему что-то ничтожное. Высокий слог при ничтожном содержании напоминает тот самый украшенный пестик, о котором говорит пословица.

120. Некоторые, правда, полагают, что и о незначительном следует говорить возвышенно, считая такой способ выражения признаком особенной силы. Что касается меня, то я готов простить это ритору Поликрату, когда он восхваляет...[125] словно Агамемнона, прибегая к антитезам, метафорам и всем прочим уловкам восхваления — ведь он шутит, а не говорит серьезно — и сама возвышенность его сочинения — шутка. Как я уже сказал, шутить можно, но во всем следует блюсти уместность (to prepon), то есть стиль должен быть подходящим предмету: для низкого — низким, для высокого — высоким.

121. Именно этому правилу следует Ксенофонт, когда говорит о небольшой и красивой речке Телебое: «она не была велика, но красива — весьма»[126]. Сжатостью фразы и постановкой слова «весьма» на конце он почти наглядно явил нам эту маленькую речку. А вот другой писатель о реке вроде Телебоя сказал так: «С Лаврикийских холмов несется она в море»[127] — можно подумать, что это сказано о низвержении вод Нила или впадающем в море Истре[128]. Выражения такого рода и называются выспренними.

122. Однако в некоторых случаях незначительный предмет можно возвысить иным путем, и это не только не станет неуместным, но, [напротив], будет необходимым, когда, например, мы хотим возвеличить небольшую победу полководца, изобразив ее как победу великую, или если утверждаем правоту спартанского эфора, который подверг наказанию человека, играющего в мяч с излишними ухищрениями, не так, как подобает уроженцу Спарты. Сначала наше ухо воспринимает сказанное как ничтожное, но постепенно мы проникаемся важностью той мысли, что маленькие проступки открывают дорогу большим преступлениям, и поэтому за малые прегрешения следует наказывать не меньше, чем за большие. Мы могли бы привести здесь пословицу: «Начало — половина дела»[129]. Она как раз говорит об этом малом зле, вернее, о том, что зло малым не бывает.

123. Итак, можно возвысить небольшую победу, не прибегая при этом ни к каким недостойным приемам, ведь если можно, а часто и с пользой, снизить нечто высокое, то возможно и возвысить незначительное.

124. Более всего способствует выспренности гипербола. Сама гипербола может быть трех видов: или это гипербола по схожести (например, в выражении «быстротою ветру подобны»), или гипербола по превосходству («снега белее»), или гипербола по невероятности изображаемого («головою в небо уходит»)[130].

125. На самом деле, всякая гипербола указывает на то, чего не бывает в действительности — правда, разве может быть что-нибудь белее снега или быстрее ветра?! Однако есть особые гиперболы (мы о них только что говорили), преимущественно носящие название «невероят-

ных» гипербол. Именно потому гиперболы и придают стилю более всего выспренности, что они имеют дело с чем-то невероятным в действительности.

126. Потому-то гиперболу особенно любят употреблять комические поэты,— невероятное они представляют смешным. Например, кто-то (из них) так выразился о прожорливости персов: «они опустошили все равнины» или «они таскали быков в челюстях»[131].

127. Такой же характер носят выражения «яснее ясного неба» и «круглее тыквы»[132]. Что касается выражения Сафо «более золотое, чем золото»[133], то хотя это гипербола и она указывает на невероятное в действительности, однако невероятность здесь делает речь не выспренней, а изящной, и нельзя надивиться божественной Сафо, умеющей наполнить очарованием такие опасные и с трудом поддающиеся предметы.

Итак, о выспреннем стиле и гиперболе я сказал достаточно. Теперь перейдем к описанию изящного стиля.

III. ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ

128. Изящная речь — это речь приятно шутливая (charientismos), веселая (hilaros). Одни шутки (charites) бывают более возвышенны и исполнены достоинства (такие шутки встречаются у поэтов), другие— более просты и ближе к шутовству, например, те, что встречаются у Аристотеля, Софрона и Лисия: «пожалуй, легче сосчитать ее зубы, чем пальцы» (о старухе) или «он достоин получить столько же ударов, сколько получил драхм»[134]. Эти остроты ничуть не отличаются от насмешек и недалеко отстоят от шутовства.

129. [Обратимся, однако, к таким строкам:]

Там же и нимфы полей...
Следом за нею несутся. И сердцем Лето веселится.

И:

Сразу узнать ее можно, хотя и другие прекрасны[135].

Это как раз тот род шутливости (charis), который называют высоким и торжественным.

130. К этим благородным и высоким шуткам часто прибегает Гомер, когда хочет быть более мощным и выразительным (emphasis), тогда, шутя, он одновременно страшен. Кажется, он первым и придумал страшные шутки. Например, слово «подарок» в устах такого устрашающего существа, как киклоп:

Самым последним из всех я съем Никого. Перед этим[136]
Будут товарищи все его съедены. Вот мой подарок!

И ничто другое — ни проглоченные на ужин два товарища Одиссея, ни камень у входа, ни дубина — не внушает такого ужаса, как это остроумие (asteismoy).

131. Такого рода [шутливость] использует и Ксенофонт, он тоже говорит грозное под видом шутки, рассказывая, например, о вооружённой танцовщице: «Пафлагонцы спросили, уж не сражаются ли у эллинов вместе с мужчинами и женщины. Эллины ответили, что вот эти самые женщины и прогнали царя из лагеря»[137].

Сила (deinotēs) этой шутки проявляется в двух отношениях: во-первых, она намекает, что здесь следуют за ними не просто женщины, но амазонки, а во-вторых, она задевает царя, который оказывается настолько слаб, что бежит все-таки от женщин.

132. Есть определенные и разные виды изящного (tōn charitōn). Один из них заключается в самом предмете, каким, например, являются сады нимф, свадьбы и любовь, а также все темы поэзии Сафо. Такое содержание и в устах Гиппонакта[138] будет исполнено изящества, в нем самом заключено нечто радостное. Действительно, никто не запоет свадебную песнь в сердитом настроении и ни один способ выражения не сделает из Эроса Эринию или Гиганта[139], а смех не обратит в слезы.

133. Итак, в одном случае изящество заключено в предмете, в другом — способ выражения придает речи очарование, например:

Как Пандареева дочь, соловей бледно-желтый Аэда
С новым приходом весны заливается песнью прекрасной[140].

Конечно, очарование тут заключается, во-первых, в изображении поющей птицы, во-вторых, же радостное настроение вызывается изображением весны. Однако главным украшением здесь является стиль, и эти веселость и очарование связаны более всего с тем, что эпитеты «бледно-желтый» и «Пандареева дочь» употреблены по отношению к птице — приемы, придуманные самим поэтом.

134. Часто случается и так, что содержание, по природе своей отталкивающее и мрачное, становится у писателя источником шутки. Это открытие принадлежит, кажется, Ксенофонту. Так, при изображении столь мало веселого и мрачного человека, как перс Аглаитад, Ксенофонт сумел весело пошутить и на его счет, сказав: «из тебя легче высечь огонь, чем улыбку»[141].

135. Такого рода шутка есть шутка самая сильная, и она более всего связана с талантом рассказчика — ведь предмет по природе своей мрачен и враждебен веселости, каков и был Аглаитад. Ксенофонт же здесь как бы доказывает, что и подобные предметы могут вызывать смех, как можно замерзнуть от теплого и согреться холодным.

136. А теперь, когда мы показали виды изящного в речи, их сущность и особенности, покажем и их источники.

Как мы уже говорили, изящное в речи, с одной стороны, заключено в способе выражения, с другой — в содержании. Итак, обратимся теперь к тем и другим источникам и покажем сначала те из них, что основаны на способе выражения.

137. Первое, что делает речь изящной (charis),— это краткость. Так, одна и та же мысль, выраженная более пространным образом, показалась бы лишенной изящества, но когда ее касаются лишь походя, она становится привлекательной. Обратимся к следующему примеру из Ксенофонта: «Но у этого человека решительно ничего нет общего... с Элладой. Я заметил, у него, как у лидийца, проколоты оба уха. Так оно и оказалось»[142].

Краткость заключительных слов «Так оно и оказалось» составляет всю прелесть речи. А будь та же мысль растянута и изложена следующим образом: «Это оказалось правдой, и у человека действительно уши были проколоты», повествование было бы вместо приятного голым (psilos).

138. Часто соединение двух [мыслей] в одном высказывании придает речи изюминку (charis). Так, существует чье-то описание спящей амазонки: «Натянут лежит лук (ее), полон стрелами колчан, щит под головой — а пояса они не развязывают никогда»[143]. Одно высказывание здесь объединяет две мысли — о принятом обычае носить воинский пояс и о том, что амазонка и в этом случае не развязала пояс. Из этой-то сжатости [выражения] и его изящество [glaphyron.]

139. Второй источник [изящного] в речи — порядок слов (taxis), а именно: слова, стоящие в начале или середине и не казавшиеся приятными, будучи поставлены на конец, приобретают изящество. Примером может послужить место из Ксенофонта, где он говорит о Кире: «Кир одарил Синнесия такими дарами: конем с золотой уздой, золотой гривной, браслетом, золотым акинаком и персидским платьем, и обещал больше не грабить его страну»[144]. Вся прелесть (charis) высказывания содержится здесь в заключении, где говорится о таком диковинном и необычном подарке, как «обещал не грабить его страну». И всей своей красотой (charis) это высказывание обязано именно тому месту, какое занимает в предложении. Действительно, будь эти слова поставлены на первое место, например, таким образом: «Кир одарил Синнесия такими дарами: обещал не грабить его страну, дал коня, браслет и платье...» — и высказывание лишилось бы своей прелести. Но нет, [Ксенофонт] сначала говорит о привычных подарках, а в конце — о даре необычном и невиданном — отсюда и проистекает красота [высказывания].

140. Нет нужды доказывать, сколько прелести сообщают речи фигуры — особенно часто они встречаются у Сафо. Так, она пользуется фигурой удвоения, изображая невесту, взывающую к своему девичеству: «О невинность моя, невинность моя, куда от меня уходишь?..» И ответ заключает в ту же фигуру: «Теперь никогда, теперь никогда к тебе не вернусь обратно»[145].

Мысль, выраженная таким образом, имеет красоты (charis) больше, чем если бы она была сказана единожды и не заключена в фигуры. Правда, удвоение придумано более для того, чтобы придать речи мощность, но у Сафо и мощность соединена с грацией (epicharitōs).

141. А иногда речь Сафо наполняется прелестью (charientidzetai) от употребления анафоры, например, в обращении к вечерней звезде:

О вечера звезда, многое ты возвращаешь.
Возвращаешь коз, возвращаешь овец,
Возвращаешь матери деток[146].

Красота выражения заключается здесь в повторении слова «возвращаешь», которое начинает каждое предложение.

142. Существует множество других способов придать речи изящный характер (charites), и они также основаны на способах выражения. Прежде всего это может быть употребление метафор, как, например, в таком описании цикады: «Из-под крыльев изливает она свою звонкую песнь, и та струится куда-то вверх к огненному мареву, опускающемуся на землю»[147].

143. [Другим источником изящного в речи] являются слова, сложенные по образцу, принятому в дифирамбической поэзии, например, так:

О Плутон, чернокрылатых хозяин...[148]

Подобные шутки в языке более всего подходят для комедии и сатиры.

144. [Придать речи изящество может] и самый обыденный оборот, как, например, у Аристотеля: «Чем больше я скучал... тем больше увлекался мифами»[149].

Новообразованные слова также [являются источником изящного в речи], например, в том же месте и у того же Аристотеля: «Чем больше я скучал и одиночничал, тем больше увлекался мифами». Слово «скучал» характера обыденного, а «одиночничал» образовано от слова «одиночество».

145. Многие слова придают речи прелесть только потому, что приложены к какому-то определенному предмету. Так, в предложении «...ведь эта птица и льстец, и хитрец»[150] птицу бранят, как бранят человека, и прилагают к ней слова для нее необычные — это и создает в речи изюминку (charis). Таково изящество, порождаемое самими словами.

146. Парабола (parabolē) [также может сообщить выражению прелесть], например, Сафо так говорит о человеке, первенствующем над окружающими: «Он среди них как лесбосец-певец среди прочих»[151]. Парабола сообщает [здесь речи] больше изящества, чем величия, иначе можно было бы говорить о первенстве, подобном главенству луны

над прочими светилами, или о несравнимой яркости солнечного сияния, а то и найти другие, еще более поэтические образы.

147. Подобные же выражения можно встретить у Софрона, который, например, говорит: «Смотри, милая, как листвой и ветвями засыпают мальчишки мужей, так, по рассказам, засыпали троянцы Аякса в бою»[152]. Вся прелесть высказывания заключена здесь в сравнении, осмеивающем троянцев, уподобляя их детям.

148. Особое очарование, присущее Сафо, возникает от свойственных ей поправок (metabolē) [сказанному], когда, что-нибудь сказав, она тут же поправляется, [словно] раскаявшись. Например, в стихах:

Эй, потолок поднимайте,
Выше, плотники, выше!
Входит жених, подобный Арею,
Выше самых высоких мужей[153]

она как бы спохватывается, употребив «невероятную» метафору — ибо никто не может быть равен Арею.

149. Того же характера и следующее место о Телемахе:

«Два пса были привязаны перед домом, и я могу назвать их клички. Но что мне за дело до их кличек?»[154]. Оборвав речь на середине и так и не назвав кличек, [автор] тем самым пошутил.

150. Привести чужой стих — значит также способствовать прелести речи. Так, Аристофан, насмехаясь над Зевсом за то, что он не поражает своей молнией грешников, говорит: «Почему он сжигает свой собственный храм и вершину Афинскую — Суний»[155]. И уже кажется, что высмеивается не Зевс, а сам Гомер и гомеровский стих — от этого еще большая прелесть.

151. Однако некоторые аллегорические выражения (allēgoriai) отдают вздорным пустословием, например: «Дельфийцы, эта ваша сука несет щенка»[156]. Такого же рода место из Софрона о старике: «Я здесь среди вас, чьи волосы, как и мои, белы как снег, собираясь вывести в море свой корабль, дожидаюсь попутного ветра, ибо у таких стариков как я, якорь всегда наготове»[157].

Подобного же характера и его иносказательные выражения о женщинах, когда он называет их рыбами: «меч-рыба, сладкие устрицы, вкус вдовы...»[158]. Все это гнусно и годится скорее для [низкопробного] мима (mimicōtera).

152. [Шутка] может быть смешна (charis) и по своей неожиданности, как, например, слова киклопа: «Самым последним из всех я съем Никого»[159]. Такого «подарка» Одиссей ожидал так же мало, как и читатель. Или, к примеру, Аристофан говорит о Сократе, что тот «...воск растопивши, взяв блоху..., из палестры плащ стянул»[160].

153. Изюминка этого выражения состоит в двух вещах, а именно: этих слов здесь не только не ожидаешь, но они просто никоим образом не связаны с предыдущими. Подобное непоследовательное построе-

ние называется «грифом». У Софрона, например, ритор Булий[161] произносит речь, где нет никакой последовательности в построении. Так же построен пролог в «Женщинах из Мессении» Менандра[162].

154. Часто сходные колоны делают речь приятной, так, например, сказано у Аристотеля: «Из Афин я прибыл в Стагиру, ибо царь был велик, а из Стагиры в Афины, ибо ураган был велик»[163]. Оба колона завершают одни и те же слова, ибо «был велик», в этом и заключается вся прелесть выражения, и оно сразу лишится ее, стоит только лишить какой-либо из колонов этого «ибо... был велик».

155. Скрытое осуждение также может придать речи остроту. Так, Ксенофонт рассказывает о Гераклиде, который на обеде у Севфа подходил к каждому гостю и уговаривал его подарить, что может, Севфу[164]. Здесь проявляется смешное (charis) наряду со скрытым неодобрением.

156. Таково изящное в речи и таковы его области (topoi). К тем видам изящного, которые основаны на предмете [изображения], относятся пословицы. Ведь по самой своей природе пословицы заключают в себе нечто веселое (charis).

Софрон, например, говорит: «Эпиол душит своего отца», или в другом месте «по одному коготку нарисовать льва», или «мешалку шлифовать» или «расщепить волосок»[165]. Правда, Софрон ставит три-четыре пословицы подряд, так что подобные приятные украшения у него избыточны. Вообще же почти все существующие пословицы собраны из его сценок.

157. Удачно вставленный миф также прибавит речи очарования. Мифы могут быть давно устоявшимися, как тот миф об орле, что передает Аристотель: «Он умирает от голода, клюв его все больше и больше загибается книзу. Наказан же он за то, что, еще будучи человеком, однажды нарушил закон гостеприимства»[166]. Так использует Аристотель этот давний и общеизвестный миф.

158. Часто мы можем переделывать мифы на нужный нам и соответствующий предмету лад. Так, один писатель передает, что кошки тучнеют или худеют в зависимости от состояния луны, а затем добавляет от себя: «Отсюда и поверье, что кошка дитя луны»[167]. Забавное (charis) заключается здесь не только в переделке мифа, но и в самом поверье, делающем луну матерью кошки.

159. Смешным может быть и ложный страх испугавшегося человека, когда, например, он ошибочно принимает пояс за змею, а отверстие для земляной печи за разверзшуюся пропасть. Такие недоразумения довольно комичны сами по себе.

160. Смешным бывает и сравнение, если, например, мы сравним с петухом мидийца из-за его торчащей вверх тиары или персидского царя из-за его пурпурных одежд, а также из-за того, что при крике петуха мы вскакиваем и пугаемся, словно слышим крик царя.

161. Смешное в комедии связано в основном с гиперболами, а всякая гипербола имеет дело с невероятным [в действительности.] Так,

Аристофан о прожорливости персов говорит: «...кормил быками целыми на вертеле»[168]. Другой же писатель говорит о фракийцах: «А царь Медок в зубах держал целого быка»[169].

162. Такого же рода выражения «крепче тыквы» и «ясней ясного неба»[170]. Сюда же можно отнести и выражение Сафо: «звук сладкий более, чем звук лиры, золотой более, чем золото»[171].

Все эти украшения основаны на гиперболе, но имеют и некоторое различие.

163. Смешное (geloiōn) и изящное (eycharis) имеют различие прежде всего в самом предмете. Предмет изящного — это сады нимф, любовь— все то, что не вызывает смеха, в то время как Ир и Терсит[172] смех вызывают. Область смешного отлична от области изящного так же, как Терсит отличен от Эроса.

164. Но есть различие и в словах. Так, изящная речь отличается нарядными и красивыми словами — они-то и придают ей прелесть. Например, «цветет многовенчанная земля» или «соловей бледно-желтый»[173]. Смешное же выражается в словах низких и обычных, как, например, здесь: «Чем больше я скучал и одиночничал, тем больше увлекался мифами»[174].

165. Украшения в речи убивают смешное, и вместо смеха является недоумение. Изящный стиль требует меры, а украшать смешное это то же, что наряжать обезьяну.

166. Когда Сафо поет о прекрасном, то и сами стихи ее исполнены красоты и прелести. Так, она поет и о любви, и о весне, и о ласточке, и всякое красивое слово вплетает в ткань своей поэзии, а некоторые из них придумывает сама.

167. По-другому она высмеивает неуклюжего жениха или привратника на свадьбе. Здесь язык настолько обыденный и пригодный более для прозы, чем для поэзии, что эти ее стихи лучше читать, а не петь — их не приспособишь к хору или к лире, если только тогда не существовало какого-нибудь декламационного (dialecticos) хора.

168. Но главное, что [различает изящное и смешное] — это заключительная цель, ибо не может быть одного и того же намерения у того, кто смешит, и у того, кто радует: один из них заставляет смеяться, другой — испытывать удовольствие. Различна и награда для каждого — смех одному и одобрение другому.

169. Область употребления (topos) также отделяет смешное от изящного. Соединяются они только в сатировской драме и в комедии. Трагедия часто использует изящные средства выражения, но смешное — это враг трагического. Ну, а если кому-нибудь и пришла в голову мысль о веселой трагедии, то вышла бы у него не трагедия, а сатировская драма.

170. Но людям серьезным случается пошутить, например, на праздниках и на пирах, или же в виде предостережения назвать особенного кутилу и обжору «мешком мяса, видным издалека». Подобного рода поэзия Кратета[175]. Неплохо также напомнить «Похвалу чечевице» гу-

лякам. Таков большей частью кинический способ выражения. Смешное такого рода занимает свое место в ряду гном и метких изречений (chreia).

171. В какой-то мере и характер человека выражается в шутке — ведь она может быть весела или разнузданна. Так, один человек пробормотал по поводу пролитого вина: «Ойней (Oineys) превратился в Пелея (Peleys)»[176]. Здесь игра на собственных именах и надуманность (phrontis) изобличают наклонность к выспренности и [вкус], мало воспитанный.

172. В шутке (scōmma) заключено и какое-то сравнение, если ее острота строится на игре слов (hē anthitesis eytrapelos). Так, можно пользоваться следующими сравнениями: «сучок египетский» о длинном и смуглом человеке или «морской баран» о дураке, пустившемся в плаванье по морю. Такими шутками еще можно пользоваться, но если они [становятся не безобидными], то их следует избегать, как и брань.

173. Так называемые красивые слова (cala onomata) тоже способствуют прелести речи. Феофраст считает красивым слово, которое радует наше представление и слух или указывает на возвышенную мысль, заключенную в нем[177].

174. К выражениям, вызывающим приятные зрительные образы, относятся такие, как «розовоцветное» или «цветочного оттенка». Подобные слова приятно читать глазами, и они так же красивы при чтении вслух. Для слуха приятно звучит «Каллистрат» и «Анноон», где в первом случае сталкиваются два *л*, а во втором два *н*.

175. Да и вообще звук *н* по благозвучию своему привлекал аттических писателей, и они говорили Dēmosthenēn и Sōcratēn[178]. К словам, указывающим на возвышенную мысль, заключенную в них, относится такое слово, как, например, «древние», которое более возвышенно, чем «давнишние», и вызывает более почтения.

176. Сведущие в мусическом (moysicoi) называют одни слова гладкими (leion), другие — резкими (trachy), третьи — складными (eypagēs), а четвертые — громоздкими (oncēron). «Гладкое» слово целиком или по большей части состоит из гласных, как, например, Aias[179]. А, например, слово bebrōcen[180] — слово резкое, как и [выражаемое им] действие. «Складное» слово соединяет в себе и гладкость, и резкость, и в нем равно смешаны согласные и гласные.

177. Громоздкость заключается в трех [вещах]: растянутости (platos), долготе [звуков] (mēcos) и способе образования (plasma). Рассмотрим как пример слово bronta, употребляемое вместо bronte[181]. Первый слог делает слово «резким», второй — долгим, так как сам он долог, а дорическая форма — растянутым, ведь дорийцы все слова произносят растянуто. Потому-то комедии и пишутся не на дорийском, а на отточенном аттическом диалекте. Аттический диалект отличает сжатость и общедоступность (dēmoticon), а потому он и пригоден для сценических шуток.

178. Однако не будем более отступать от темы. Из всех же перечисленных мною типов слов нужно выбирать лишь слова «гладкие», потому что в них есть некоторое изящество.

179. Изящным может быть соединение [слов]; нелегко рассмотреть все его виды, ибо никто из предшественников моих не говорил об этом. Так, попытаюсь сделать это, насколько буду в силах.

180. Часто получается приятно (hēdonē) и изящно, если мы соединяем слова, целиком или наполовину метрическим образом (ec metrōn), однако нужно, чтобы эта метричность при слитном чтении не бросалась в глаза, а проявлялась лишь при расчленении речи на части и рассмотрении каждой из частей.

181. Метрическая [речь] (metroeidē) приятна (charis), и под ее очарование попадаешь незаметно. Это было излюбленным приемом перипатетиков, а также Платона, Ксенофонта и Геродота. Довольно часто он встречается и у Демосфена, однако Фукидид избегал применять его.

182. За примером можно обратиться к Дикеарху. Так, он говорит: «В Элею италийскую прибывший, он старый человек, уже на возрасте»[182]. Каждый колон здесь метрически закончен, однако это скрыто в связном ряду слов, что и придает речи немалую прелесть.

183. Однако Платон во многих случаях достигает изящества только благодаря ритму, который как бы растянут и равно лишен твердой определенности, так и долготы — ведь первая способствует простоте и мощи, а вторая — величию. Напротив, у Платона колоны как бы скользящие — и стих, и нестих (oyte emmetros oyte ametros), например, в рассуждении о музыке он говорит: «...nyn dē elegomen»[183].

184. Или: «...minyridzōn te cai geganōmenos hypo tēs ōdēs diatelei ton bion holon»[184].

Или: «...to men prōton, ei ti thymoeides eichen, hōsper sidēron emalaxen»[185].

[Из этих примеров] совершенно ясно видны изящество и музыкальность (ōdicon). А если переставить слова emalaxen hōsper sidēron или diatelei holon ton bion, то утратится в речи прелесть, которая именно в ритме, а не в смысле или словах.

185. Также говоря о музыкальных инструментах, он опять очень красиво складывает [фразу]: «lyra de soi leipetai cata polin»[186]. Здесь переставить слова cata polin leipetai — все равно, что спеть другую мелодию. Далее он добавляет: «cai ay cat' agroys tois poimesin syrinx an tis eiē»[187] — здесь протяженностью и долготой он очень красиво подражает звуку свирели. Это будет ясно каждому, кто переставит слова, как мы делали выше.

186. Итак, о том, как проявляется изящество в соединении слов, сказано достаточно, ибо вопрос этот труден. Так же уже говорилось и об изящном стиле вообще, обо всех случаях, где он проявляется и как получается.

Далее, как рядом с величественным стилем стоит выспренний, точно так же имеется искаженный вид и у стиля изящного. Я назову его

обычным именем «безвкусный стиль» (cacodzēlos). Подобно всем прочим стилям, и он проявляется в трех отношениях.

187. Прежде всего «безвкусным» может быть содержание, как, например, здесь: «Кентавр, оседлавший сам себя»[188], или когда некто, прослышав, что Александр собирается участвовать в скачках в Олимпии, воскликнул: «Александр, скачи по имени собственной матери»[189].

188. Далее, безвкусным может быть выбор слов, например, «улыбалась сладкоцветная роза». Здесь совсем неуместна и метафора «улыбалась», а, кроме того, человек с понятием не осмелился бы и в поэзии употребить такое словосочетание, как «сладкоцветная». То же можно сказать и о выражении «сосна подсвистывала легкому ветерку». О выборе слов я сказал достаточно.

189. Безвкусным будет анапестическое построение, подобное тем разбитым и непристойным размерам, какими являются в особенности со своей изнеженностью сотадеи: «scēlas caymati calypson»[190], а также: «seiōn meliēn Pēliada dexion cat' ōmon» вместо «seiōn Pēliada meliēn cata dexion ōmon»[191].

Кажется, будто здесь произошло то же превращение, что и с мужчинами, ставшими женщинами, о чем рассказывает нам миф. Вот и все о «безвкусном» стиле.

IV. ПРОСТОЙ СТИЛЬ

190. Что касается простого (ischnos) стиля, то здесь и содержание должно быть незначительным и подходящим данному стилю, примерно такое, как мы имеем у Лисия: «Дом у меня двойной, и верх точно соответствует низу»[192]. Все слова должны быть обыденными и в прямом смысле, ведь незначительное — это то, что является самым обычным, а необычное — метафорично и величаво.

191. Не следует, кроме того, употреблять ни слов сложных (они принадлежат противоположному стилю), ни новообразований, да и вообще ничего из того, что напоминает о величественном стиле. Но главное для простого стиля — это ясность. Ясность же зависит от многого.

192. Прежде всего следует употреблять слова в прямом смысле (cyrios), а кроме того, они должны быть соединены союзами. Бессоюзное отрывистое построение приводит к полной неясности: вследствие отсутствия связи нельзя будет и различить начало каждого следующего колона. Это особенно видно на примере Гераклита, у которого темнота выражения связана, в основном, с отсутствием союзов (lysis)[193].

193. Прерывистая манера (hē dialelymmenē lexis) подходит больше для споров, ее называют также и сценической (hypocriticē), поскольку она сообщает движение сценической игре.

Что же касается письменной речи, то ее прежде всего должно быть легко прочесть, а такой будет только речь связная, как бы скрепленная

союзами. Именно поэтому Менандра с его прерывистостью по большей части ставят на сцене, а Филемона читают[194].

194. Обратимся к примеру сценической прерывистой манеры: «Я принял, вынянчил, вскормил тебя, мой милый»[195]. При такой отрывистости речь непременно будет иметь характер сценический, пусть даже это и не входило в намерения писателя. Если же вставить союзы и сказать так: «Я ведь принял, вынянчил и вскормил тебя» — это сделает речь совершенно вялой, а вялое не может быть сценическим.

195. Есть и другие стороны актерского искусства, что заслуживают внимания. Вот, к примеру, Еврипидов Ион хватает лук и грозит лебедю, пятнающему пометом статую храма[196]. Здесь у актера множество движений — ведь он и бросается за луком, и поворачивается лицом к небу, разговаривая с лебедем, тут и вообще все [приемы], создающие образ на сцене. Однако сейчас наша речь не об актерском мастерстве.

196. В ясной письменной речи (saphēs graphē) следует избегать также двусмысленностей (amphibolia), а из фигур лучше всего употреблять так называемый эпаналепсис. Эпаналепсис — это повторение одного и того же связующего союзного слова в длинном высказывании, например: «Все то, что сделал Филипп — и то, как он разрушил Фракию, и как захватил Херсонес, и как осадил Византий, и как отказался вернуть Амфиполь,— все это я опускаю»[197]. Здесь повторенные в конце слова «все это» как бы напоминают нам о введении и возвращают к началу речи.

197. Для ясности довольно часто требуется повторить одно и то же, ибо краткость скорее делает речь приятной (hēdys), чем ясной. И подобно тому как не замечаешь бегущих мимо людей, так можно не расслышать и быструю речь.

198. Желательно также избегать и нанизывания косвенных падежей, так как это лишает речь ясности. Примером может служить стиль речи Филиста[198]. И у Ксенофонта мы найдем построение с косвенными падежами, затемняющее смысл сказанного. Так, он пишет: «Ему сообщили о триерах спартанцев и Кира, плывущих из Ионии в Киликию и имеющих на борту Тамоса»[199]. А ведь избежав нанизывания косвенных падежей, можно было бы изложить это более простым образом: «В Киликии ожидалось много спартанских триер, и столь же много персидских. Последние были построены для самого Кира. Триеры отправились из Ионии. Командовал ими Тамос из Египта». Конечно, такая фраза стала бы длиннее, но зато [настолько же] и понятнее.

199. И вообще лучше придерживаться естественного порядка слов, как, например, в таком предложении: «Эпидамы — это город, находящийся по правую руку, если плыть в Ионийский залив»[200]. Здесь сначала просто названо то, о чем идет речь в предложении, затем определено, что это город, а уже далее в должном порядке следует остальное.

200. Однако порядок слов может быть и обратным, как, например, в предложении: «Есть город Эфира»[201]. Предлагая только придержи-

ваться естественного порядка слов, мы не всегда настаиваем на нем одном и не совсем отвергаем другой.

201. В повествовании (diēgēma) предложение лучше начинать со слова в именительном падеже (как в примере «Эпидамы — это город...») или в винительном: «Эпидамы называют городом...». Прочие же падежи затемняют смысл речи и доставляют немало мук и говорящему, и слушающему.

202. При закругленном построении фразы (periagōgē) надо постараться, чтобы она не оказалась слишком растянутой, как, например, следующая: «Ведь с горы Пинда начинает течение река Ахелой и, омывая неподалеку находящийся город Стратон, впоследствии вливается в море»[202]. При произнесении вслух следует сразу же приблизить конец фразы и дать слушателю передышку, представив предложение примерно в таком виде: «Ведь с горы Пинда начинает течение река Ахелой, вливаясь впоследствии в море». В этом отношении для слушателя с речью дело обстоит так же, как для путника с дорогой. Ведь на дороге, как и в речи, встречается множество указывающих знаков и мест для передышки в пути. И вот эти-то дорожные знаки подобны вожатым для путников, а лишенная их однообразная дорога как бы ни была она мала, покажется труднодоступной и полной неизвестности.

203. Сказанное нами — лишь немногое из того, что вообще можно сказать о ясности, которую прежде всего следует блюсти в простом стиле.

204. Также в этом стиле следует прежде всего избегать построения предложений длинными колонами, так как любимые длинноты напоминают о величавом стиле. Ведь и среди стихотворных размеров героическим назван гексаметр, потому что длина как раз и делает его пригодным для изображения героического. А вот комедию, в частности «новую»[203], заключают в короткие триметры.

205. Итак, большей частью мы будем пользоваться трехстопными колонами и некоторыми видами комм с частыми паузами, как, например, у Платона: «Вчера// вместе с Главконом//пришел я к Пирею»[204]. Частые паузы здесь как раз совпадают с концом каждой коммы. Подобное место мы находим и у Эсхина: «Ecathēmetha men epi tōn thacōn en Lyceiōi hoy hoi athlothetai ton agōna diatitheasin»[205].

206. Пусть окончания колонов имеют надежное основание (hedra) и устойчивость (basis), как в приведенных выше примерах. Растянутые завершения больше тяготеют к величавому стилю, что [мы уже встречали] у Фукидида: «Дело в том, что река Ахелой, вытекающая из горы Пинда...»

207. В этом стиле следует избегать столкновения долгих гласных и дифтонгов. Ведь всякая протяженность отдает напыщенностью (oncēron). Но при допущении зияния пусть, по крайней мере, краткие гласные сталкиваются с краткими (как в предложении «panta men ta nea cala estin»[206]) или краткие с долгими (как в слове ēelios[207]), а лучше всего вообще выбирать по возможности слова с краткими гласными.

Да и в целом этот стиль речи должен являть собой нечто малозаметное и обыденное, ведь для того он и предназначен.

208. Примечательных фигур (sēmeiōde schēmata) нужно избегать, ведь все особенное непривычно и непросто. Более же всего этот стиль проявляет себя в живости (enargeia) и убедительности (pithanon), так что теперь нам и следует поговорить о живости и убедительности.

209. Итак, сначала о живости: она достигается прежде всего точностью выражений (acribologia) и отсутствием каких-либо сокращений и пропусков. Вот, например, начало гомеровского сравнения: «Поток устремился, как человек» и далее все сравнение[208]. Наглядность (enargeia) его как раз и вызвана тем, что здесь названо все происходящее и ничто не обойдено молчанием.

210. Можно привести еще один пример такого же рода из Гомера — описание поминальных конных игр в честь Патрокла, где говорится, что жеребцы

и спину и шею ему согревали горячим дыханием
так, что, казалось, хотели вскочить в колесницу к Эмвелу[209].

Вся живость (enargeia) изображения заключается здесь в том, что ни один момент из происходящих событий не пропущен поэтом.

211. Часто и повторение способствует большей живости, чем сказанное однажды. Например, в предложении «О нем и живом ты зло говорил, а теперь и о мертвом пишешь зло»[210]. Дважды сказанное «зло» с большей живостью выражает злословие.

212. Однако Ктесия[211] как раз за его повторения упрекали в болтливости, порой, быть может, и справедливо, но порой оттого, что не чувствовали живости [стиля] этого мужа, ведь повторы употребляются для того, чтобы как можно чаще добиться большей выразительности (emphasis).

213. Приведем еще пример такого же рода: «Один мидийский воин, некто Стриангей, в схватке сбросил с лошади женщину-сакидянку — а надо сказать, что женщины в Сакии сражаются на скаку, подобно амазонкам. Пораженный красотой и юностью сакидянки, он дал ей возможность спастись. А после того как заключено было перемирие, влюбился в нее, но ответа на любовь свою не получил, и тогда он решил лишить себя жизни, но прежде написал письмо к этой женщине и так укорял ее: «Ведь это я спас тебя, ведь мною ты спасена, и вот теперь из-за тебя же погиб я»[212].

214. Здесь, пожалуй, кто-нибудь, почитающий свой стиль образцом краткости, может, конечно, поставить Ктесию в упрек, что повторять «я спас тебя» и «мною ты спасена» не имеет никакого смысла — ведь то и другое выражает одну мысль. Однако попробуйте убрать один из повторов, и сразу же исчезнет впечатление живого чувства. Точно так же и то, что глагол поставлен в прошедшем времени («погиб», а не

«погибаю»), придает речи больше живости, и она заключается как раз в завершенности действия. Ведь то, что уже произошло, производит гораздо более сильное впечатление (deinoteron), чем то, что происходит или ему еще предстоит произойти.

215. Вообще же поэт этот (а Ктесия, по справедливости, можно назвать и поэтом) просто мастер в умении живо передать происходящее — и таковы все его творения.

216. В [добавление] ко всему [можно сказать], что нужно не прямо говорить о случившемся, что это произошло, но подготавливать читателя понемногу, как бы держа его в состоянии напряжения и заставляя постепенно проникаться тревогой. Это как раз и делает Ктесий, изображая известие о смерти Кира. Пришедший вестник, отвлекая Парисатиду, не говорит сразу же по прибытии, что Кир умер. Это было бы, что называется, по-скифски. Он же сначала сообщает ей о победе Кира, и она радостно ликует, а затем спрашивает: «А как царь?» «Он бежал»,— отвечает на это вестник. «Да, и Тиссаферн — виновник»,— подхватывает царица. И вновь спрашивает: «А где же Кир сейчас?» «Он там, где отдыхают храбрейшие»,— отвечает вестник. Так, постепенно, мало-помалу движет свое повествование Ктесий, и только под конец у него, как говорится, «вырывается» главное. При этом очень естественно (ēthicōs) и живо (enargōs) изображая нежелание вестника сообщать о несчастье, он заставляет и читателя разделить горе матери[213].

217. Живости может способствовать и [описание подобных обстоятельств], сопутствующих [главному] действию (pragma). Так, например, встречается следующее описание идущего крестьянина: «Когда он приближался, топот его ног слышался еще издали»[214]. Здесь изображение не идущего, а как бы топочущего по земле человека.

218. А вот, как Платон описывает Гиппократа: «Он покраснел — уже занимался день, так что стало легко разглядеть его»[215]. Изображение здесь до крайности живо, это ясно каждому, и происходит это оттого, что, заботясь о впечатлении от всего рассказа, автор не забывает напомнить и о такой частности, что Гиппократ пришел к нему ночью.

219. Часто нестройное звучание слов (cacophōnia) также способствует живости изображения, как, например, у Гомера: «copt', ec d' encephalos»[216] или «polla d' ananta, catanta»[217], где разбросанность звуков (cacophōnia) подражает «разбросанной» местности (anōmalia), а ведь всякое подражание имеет некоторую живость.

220. И новообразованные слова сообщают речи живость, ведь сама основа их — «подражание» (mimēsis), например, слово laptontes «лакающие». Ведь если бы Гомер сказал просто «пьющие», то ему не удалось бы представить звук, производимый пьющей собакой[218], и никакой бы жизненности изображения не было. А добавив слово glossēsi «языками» к слову «лакающие», Гомер добился еще большей живости стиля. Итак, о живости в этом стиле сказано достаточно.

221. [Что же касается] убедительности (pithanon), то [ее составляют] два [качества]: ясность и привычность (synēthēs). Действительно, все неясное и непривычное не убеждает. А потому, если речь преследует цель быть убедительной, слова в ней должны подбираться не слишком высокие (perittē) и пышные (hyperoncon), а соединение должно быть устойчивым (bebaios) и лишенным ритма.

222. Вот в этом и состоит убедительность, и сюда же мы отнесем слова Феофраста о том, что не следует дотошно договаривать до конца все, но кое-что оставлять слушателю, чтобы он подумал и сам сделал вывод[219]. Ведь тот, кто понял недосказанное вами, тот уже не просто слушатель, но ваш свидетель, и притом доброжелательный. Ведь он самому себе кажется понятливым, потому что вы предоставили ему повод проявить свой ум. А если все втолковывать слушателю, как дураку, то будет похоже, что [вы] плохого мнения о нем.

223. Поскольку эпистолярный стиль (epistolicos charactēr) тоже требует простоты (ischnotēs), скажем и о нем. Так, Артемон[220], описывая письма Аристотеля, замечает, что письмо должно быть написано тем же слогом, что и диалоги. Ведь письмо — это как бы одна из сторон в диалоге.

224. Но если в мнении Артемона и есть доля истины, то все же это не вся истина. Письмо требует большей отделанности, чем диалог. Ведь диалог подражает импровизации, тогда как письмо заранее составляется письменно и бывает послано как некий подарок.

225. И правда, ну кто бы стал так беседовать с другом, как Аристотель с Антипатром, когда Аристотель пишет [в письме] о престарелом изгнаннике: «Если же изгнанник этот ушел в тот дальний край земли, откуда уже нет возврата, то ведь ясно, что не может быть осуждения людям, пожелавшим вернуться домой — в Аид»[221].

И конечно, если человек заговорит таким слогом, это больше будет походить на декламацию оратора, чем на разговорную речь.

226. Также и перебивы, часто встречающиеся в диалоге, не годятся для писем. Да и подражание разговорной свободе больше свойственно устной речи, чем письму. Вот пример из платоновского диалога «Эвтидем»: «Кто это был, Сократ, с кем ты вчера разговаривал в Ликее? Вокруг вас собралась настоящая толпа», и немного далее Платон добавляет: «Он, мне кажется, чужеземец, тот, с кем ты разговаривал, не так ли?»[222]. Весь этот строй речи (hermēneia), подражающий [разговору], уместен более в [устах] актера [на сцене], чем в написанном письме.

227. В письме, однако, так же, как и в диалоге, проявляется человеческий характер. Почти каждый из нас запечатлевает в письмах свой образ. Конечно, и в других видах письменной речи проявляется характер пишущего, но нигде так очевидно, как в письмах.

228. В письме одинаково важны и слог (lexis) его, и длина (megethos). Письма слишком длинные и к тому же отягощенные пышным

слогом настолько лишаются естественности, что из писем превращаются в трактаты, разве только начинаются они, как и письма, с приветствия, и как раз так написаны письма Платона, да и одно из писем Фукидида[223].

229. Письмо должно отличаться и свободой построения. Нелепо выстраивать в письме ряды периодов, будто вы пишете не письмо, а составляете речь для судебного процесса. Заниматься такими вещами в письмах не только смешно, но это и не по-дружески, ведь между друзьями принято, как говорит пословица, «называть смокву смоквой».

230. Следует хорошо знать, что письму присущ не только свой стиль (hermēneia), но и своя тематика (pragmata epistolica). Например, в одном письме Аристотеля — а он, по-видимому, обладал особенным даром к писанию писем — встречается следующее замечание: «Об этом я не пишу тебе, так как это [неподходящая тема] для письма (оу epistolicon) [224].

231. Поэтому, если кто-то изложит свои софизмы (sophismata) или рассуждения о природе (physiologia), то, хотя он все это и напишет, но напишет он никак не письмо: ведь письмо — это сжатое выражение дружеского расположения и рассказ о простых вещах простыми словами.

232. Однако красоту письма могут создать дружеские любезности, [особенно если] в них много пословиц. И пусть это будет единственным мудрствованием в письме — ведь пословицы общедоступны и общеупотребительны. [Когда] же кто-нибудь изрекает гномы и предается увещеваниям, то похоже, что он не беседует в письме, а вещает с театральной машины.

233. Правда, Аристотель иногда использует в письмах [логические] доказательства, делает это подходящим для письма образом. Например, желая дать поучение [своему воспитаннику], что следует оказывать благодеяния одинаково и большим и малым городам, он говорит: «Боги равны и в тех, и в других городах, а поскольку Хариты — богини, они будут благосклонны к тебе равным образом и в тех, и в других [городах]»[225]. Мысль, которую он здесь хочет доказать, уместна в письме так же, как и само доказательство.

234. Когда же мы пишем, обращаясь к целому городу или к царям, то эти письма должны быть как бы немного приподнятыми. Ведь следует отдавать себе отчет, какому именно лицу письмо обращено, но и приподнятость не должна превращать письмо в трактат, подобно письмам Аристотеля к Александру и Платона к близким Диона[226].

235. Вообще же стиль (hermēneia) письма смешивает два стиля (charactēr): изящный (charieis) и простой (ischnos). Вот и все, что можно сказать о стиле писем, да и, пожалуй, вообще о простом стиле.

236. Рядом с простым [стилем] существует его искажение — так называемый сухой (xēros) стиль. Как и остальные стили, он проявляется трояко: в содержании, например, кто-то так выразился о Ксерксе:

«Явился Ксеркс вместе со всеми своими»[227]. Ведь здесь измельчили саму мысль [высказывания], сказав «вместе со всеми своими», вместо того, чтобы сказать «и с ним вся Азия».

237. В [подборе] слов (lexis) сухой стиль проявляется, когда о великом событии говорится мелкими словами, как это делает, например, Феодор из Гадары[228] в описании битвы при Саламине, а также некий автор, рассказывающий о тиране Фалариде: «Фаларид вроде как надоел акрагантцам»[229]. Ведь о столь знаменитой битве, и о жестокости тирана следует говорить не такими словами, как «надоел» или «вроде как», но словами значительными и уместными по отношению к предмету.

238. При соединении [слов] сухость получается, когда коммы идут плотно, например, в афоризмах: «жизнь коротка, искусство долго, удача мимолетна, опыт обманчив»[230]. Или когда при изложении важной темы встречается колон обрубленный и не [выражающий мысль] полно, например, некто, обвиняя Аристида в том, что он не вступил в морской бой при Саламине, сказал: «Но прийти по собственному зову — ведь и Деметра пришла и сражалась за нас, Аристид же — нет»[231]. Такая обрубленность здесь неуместна и несвоевременна. Подобного рода обрывистость следует использовать в других случаях.

239. Часто мысль, как таковая, представляет собой нечто выспреннее и, как мы теперь говорим, дурного вкуса (cacodzēlon), а изложение ее (synthesis) обрывисто и скрадывает отвратительность смысла. Например, некий автор говорит о соединившемся с мертвой женщиной: «Он соединяется с той, которая уже не человек»[232]. Мысль, в самом деле, ясна и слепому, однако сжатость [формы] хотя и скрадывает мерзость содержания, но создает то, что теперь называют «сухобезвкусицей» (xērocacodzēlia), состоящей из двух зол: содержания дурного вкуса и сухого соединения.

V. МОЩНЫЙ СТИЛЬ

240. На основании всего, что было сказано выше, нам уже ясно относительно мощности стиля, что и она проявляется трояко так же, как и в рассмотренных прежде стилях. Мощным может быть сам предмет, так что излагающие его тоже кажутся мощными, хотя бы они и говорили вовсе не так, как полагается в мощном стиле. Так, Феопомп [рассказывает] о пирейских флейтистках, шлюхах и [молодчиках], которые играют на авле, горланят песни и отплясывают, и [поскольку] все эти слова — крепкие (deina), то и [автор] кажется мощным, хотя [на самом деле] говорит он [весьма] слабо[233].

241. В соединении [слов] этот стиль проявляет себя прежде всего в том, что вместо колонов в нем коммы, ведь длинноты губят напряженность (sphodrotēs). Пример этого — [слова] спартанцев к Филиппу: «Дионисий в Коринфе»[234].

Если это растянуть: «Дионисий, отрешенный от власти, ведет нищенский образ жизни в Коринфе, обучая [детей] грамоте», то это будет целый рассказ, а не оскорбительный [намек] (loidoria).

242. Пожалуй, спартанцам было дано от природы кратко говорить с другими, ведь краткость обладает большей мощью еще и потому, что она повелительна, тогда как пространность уместна в мольбах и просьбах.

243. Поэтому и иносказательные выражения (ta symbola) обладают той же силой, что и немногословность, ведь когда сказано немногословно, основное подразумевается так и при иносказании. Таким образом, [уже известное нам] «у вас цикады запоют с земли»[235], выраженное иносказательно (allēgoricōs), более мощно, чем попросту сказанное «ваши деревья срубят».

244. Периоды в этом стиле должны быть сомкнуты к концу, ведь сомкнутость (periagōgē) мощна, а разомкнутость (lysis) выглядит простовато и выдает наивность, каким и был весь старинный способ выражения: ведь древние были бесхитростны.

245. Поэтому в мощном стиле следует избегать всего старомодного по сути или по ритму и для создания мощи прибегать к средствам, применяемым в наши дни. Стало быть, вот такие окончания колонов более всего ритмичны, о которых я говорил: «hōmologēsa toytois hōs an hoios te ō, synerein»[236].

246. Создает мощь и усилие, [требующееся] для соединения, ведь во многих случаях мощно и то, что так же трудно для произнесения, как неровная дорога [для езды].

Пример — фраза Демосфена: «hymas to dynai hymin exeinai[237].

247. В периодах надо избегать антитез и созвучий: они придают речи пышность, а не силу и часто вместо мощи получается выспренность. Так, например, Феопомп в речи, направленной против товарищей Филиппа, антитезой разрушил силу: «...будучи мужеубийцами по натуре, они были мужеблудниками по образу жизни»[238]. Ведь слушатель, поглощенный таким сверхискусством (perissotechnia), а вернее лжеискусством (cacotechnia), уже далек от всякого гнева.

248. Однако во многих случаях сам предмет [изложения] вынуждает нас соединять слова закругленно и мощно, как в следующем примере у Демосфена: «Будь осужден кто-нибудь из них, ты бы не внес предложения, как, будь осужден ты, другой его не внесет»[239]. Совершенно ясно, что такое соединение [слов] является прирожденным для данного предмета и порядка его [изложения], и даже при усилии нелегко составить это как-нибудь иначе. Ведь существует много таких тем, излагая которые мы так составляем слова, словно сами темы нас [к этому] подталкивают, как бегущих вниз с горы.

249. Чтобы достичь мощности речи, самое сильное выражение следует приберегать к концу, ведь сказанное в середине, оно теряет свою силу, например у Антисфена: «Ведь почти до боли [пугает] человек из чащи, [как призрак], восставший (anastas)»[240]. Но если кто-то пе-

реставит слова так: «Ведь человек, восставший, [как призрак], из чащи, пугает почти до боли», то хотя он и скажет то же самое, но будет казаться, что сказал он не то.

250. Антитезы [такого рода], о каких я говорил применительно к Феопомпу, не годятся и у Демосфена, как, например: «Ты посвящал в таинство, а я был посвящаем, ты был учителем, я учеником, ты был третьим актером, а я зрителем, тебя выгнали со сцены — и я шикал»[241]. Из-за этого противопоставления [Демосфен] уподобился [здесь] лжеискусному оратору, и притом скорее забавляющемуся, а не выражающему негодование.

251. Зато мощному стилю подобает уплотненность (pycnotēs) периодов, хотя в других стилях она выглядит не лучшим образом. Ведь поставленные подряд периоды могут стать похожими на стихотворение, читаемое подряд и притом написанное мощным размером, вроде холиямба.

252. Однако пусть эти частые (pycnai) периоды будут [сами по себе] сжатыми (syntomoi), я думаю, лучше из двух колонов, поскольку периоды, состоящие из многих колонов, способствуют скорее красоте (callos) [речи], чем ее силе.

253. Сжатость (syntomia) же до такой степени имеет силу в этом стиле, что и умолчание (aposiōpēsis) зачастую еще мощнее. Например, Демосфен говорит: «Я, конечно, [мог бы]..., но я не хочу говорить ничего неприятного. Это он, [противник], в изобилии сыплет брань[242]. Здесь [Демосфен], умолчав, был сильнее любого, сказавшего бы [все].

254. И неясность — готов поклясться — пожалуй, нередко — [сама] мощь, ведь подразумеваемое [действует] сильнее, а «разжеванное» (exaplōthen) вызывает пренебрежение.

255. Бывает, что и какофония производит мощь, особенно, если этого требует предмет изображения, например, у Гомера:

Trōes d'errigēsan, hopōs idon aiolon ophin[243].

Конечно, можно было бы облагозвучить стих, не губя его размера следующим образом:

Trōes d'errigēsan, hopōs ophin aiolon eidon[244].

Но теперь нам уже не покажутся страшно сильными ни [искусство] поэта, ни сама змея.

256. По примеру этого мы, конечно, могли бы предпринять и другие попытки в том же роде: исправить panta an egrapsen на panta egrapsen an[245] или oy paregeneto на paregeneto oychi[246].

257. Иногда же мы заканчиваем фразу такими союзными словами, как de «напротив» или te «также». И хотя в этом стиле речи принято избегать подобных завершений, однако часто они оказываются весьма полезными, о чем свидетельствуют, например, такие примеры: «Доброго

слова он не сказал о нем, хотя тот и заслуживал этого, что же до худых — то напротив» или «и в Схене, и в Сколе (Scōlon te)»[247]. Да и многие места из Гомера обязаны своей мощью подобным завершениям фраз союзными словами.

258. Пожалуй, можно добиться некоторой мощи, сказав так: «нарушил он по глупости и нечестию законы божеские и человеческие»[248], хотя вообще-то гладкость и благозвучие — особенности изящного стиля, а не мощного, ведь эти стили считаются самыми противоположными.

259. Но также из-за примеси шутки появляется некая мощность, как это бывает в комедиях, и такова же вся киническая манера, например, у Кратета: «Сумка — такая страна посреди винноцветного дыма»[249].

260. Такое же действие произвели и слова Диогена в Олимпии, когда во время состязания гоплитов в беге он подбежал сзади, крича, что это он победил всех людей на Олимпийских играх своей «калокагатией» (calocagathia)[250]. Слова эти и смешат, и восхищают, и немного как бы кусаются.

261. Обратимся еще к примеру из Диогена — его словам, сказанным красавцу. Однажды Диоген боролся с этим красивым юношей и в ходе борьбы принял неприличную позу. Когда же юноша в испуге отшатнулся, Диоген сказал ему: «Не бойся, юноша! В этом я тебе не товарищ». Ведь смешными эти слова делает находчивость, а сильными — скрытый смысл. И вполне можно сказать, что всякий вид речи киника напоминает собаку, которая, виляя хвостиком, может укусить.

262. Этим же самым пользовались и будут пользоваться [в своих речах] ораторы. Лисий, например, говоря любовнику одной весьма престарелой женщины: «Легче было сосчитать ее зубы, чем пальцы»[251], тем самым выставляет старуху самым ужасным и самым смешным образом.

Таков же и Гомер: «Самым последним я съем Никого»[252], о чем мы уже говорили.

263. Теперь поговорим о том, как способствуют фигуры (schēmata) мощи [стиля]. [Во-первых], рассмотрим фигуры мысли (schēmata dianoias), например, так называемую фигуру опущения (paraleipsis). Вот образец ее: «Я не буду говорить ни об Олинфе, ни о Метоне, ни об Аполлонии, ни о тех тридцати двух городах, что лежат на пути во Фракию»[253]. Здесь [автор], высказав все, что хотел, все же говорит, что он это опускает, словно у него есть и другое, более сильное, что он мог бы сказать.

264. И фигура умолчания, уже нами упомянутая,— того же свойства и способствует и усилению выразительности.

265. Для усиления мощи можно также использовать фигуру мысли, называемую просопопеей (prosōpopoiia). Например: «Представь себе, что эти слова и упреки эти обращают к вам ваши предки, или Эллада, или родина, только приняв вид женщины»[254].

266. Так и Платон в надгробной речи употребляет эту фразу: «О дети, те, что происходят от знатных отцов...»[255] и т. д.— он говорит здесь не от своего лица, а как бы от лица этих отцов. [Излагаемое] кажется намного более живым и мощным благодаря [введению этих] действующих лиц, и более того, получается попросту драма.

267. Таким образом фигуры мысли используются так, как мы [уже] сказали, ведь примеров мы привели достаточно.

Что же касается фигур речи (schēmata lexeōs), то чем они разнообразнее, тем сильнее будет и выразительность речи.

[Полезно], например, прибегать и к фигуре удвоения, например: «О Фивы, Фивы — сосед наш, отторгнутый от самого сердца Эллады»[256]. Выразительность речи сообщает здесь повторение слова.

268. [То же действие производит и] так называемая анафора, например: «Вы действовали против себя, вызвав его в суд, вы действовали против законов, вызвав его в суд, вы действовали против правления народа, вызвав его в суд»[257]. Речь здесь строится из трех фигур. Есть здесь фигура единоначатия (epanaphora), о которой мы говорили, и она заключается в том, что начала каждого из предложений одинаковы; есть здесь такая фигура, как бессоюзие (asyndeton), когда предложения не соединены союзами; есть, наконец, и единоконечие (homoioteleyton), при котором все предложения оканчиваются одними и теми же словами: «...ты вызвал его в суд». И эти-то фигуры построения и сообщают речи усиленную выразительность. Скажите это так: «Вы действовали против самих себя, законов и демократии, вызвав его в суд» — и вместе с фигурами исчезнет и выразительность.

269. Следует помнить и о том, что более всех других фигур способствует мощности стиля отсутствие связующих слов. Как, например, здесь: «[Он идет] через площадь, надув щеки, подняв брови, в ногу с Пифоклом»[258]. Будь здесь скрепляющие союзы, речь стала бы спокойной.

270. Можно использовать и фигуру, называемую лестницей (climax). Вот пример ее у Демосфена: «Не скажи я этого устно, я не добился бы такого решения дела, не стал бы посланником, а не ставши посланником, не склонил бы фиванцев»[259]. Кажется, будто говорящий это поднимается со ступеньки на ступеньку все выше и выше. А если сказать просто: «Заявив свое мнение устно и добившись решения дела, я стал посланником и склонил фиванцев», то перед нами предстанет лишь изложение [событий], но в нем никакой не будет силы.

271. Вообще же словесные фигуры помогают говорящему и со сцены, и в споре, более всего сообщая речи порывистость, что как раз и составляет мощь. Однако о двух этих видах словесных фигур сказано достаточно.

272. Слова в этом стиле можно выбирать те же, что и в величественном, но с другой целью. Так, с помощью метафор можно придать речи особую силу, как, например, [в таком выражении]: «Разбушевавшийся и хлынувший на вас потоком оратор Пифон»[260].

273. Употребляются и сравнения, например у Демосфена: «Постановление это заставило опасность, угрожавшую городу, рассеяться, подобно облаку»[261].

274. Но параболы не пригодны для этого стиля из-за [своей] длины, например: «Подобно тому как породистая гончая, не считаясь с опасностью и не раздумывая, бросается на кабана...»[262]. Пожалуй, есть некая красота точности в подобных сравнениях, но для неожиданно сильного воздействия речи требуется стремительность и сжатость, чтобы создавалось впечатление ударов, сыплющихся один за другим.

275. Мощь создают и сложные слова. В повседневной речи так же много выразительных сложных слов, например: «ложесмесительница» или «сумасшедший» и другие подобного же рода. Многие из них встретишь и в речи ораторов.

276. Следует стараться, чтобы слова были [полностью] соответствующими предмету. Так, о человеке, который действует силой и неразборчив в средствах, можно сказать, что он «пробивает себе дорогу»; о человеке, который также действует силой, но откровенно и опрометчиво, что он «идет напролом». О том же, кто соединяет силу с коварством и скрытностью, говорят: «пробрался» или «проскользнул» или подобного же рода выражение, соответствующее своему предмету.

277. Но и некоторая приподнятость (to exairesthai) может придать речи не только величественность, но и мощь, как, например, в следующих словах: «Я не говорю, что тебе нельзя ораторствовать с протянутой рукой, но что нельзя быть посланником с протянутой рукой»[263].

278. Таково же: «...и он, присваивающий Эвбею...»[264]. Ведь здесь подъем (epanastasis) направлен не на то, чтобы создать от речи впечатление величественности, а на то, чтобы воздействие речи было особенно мощным. Этого можно достичь, если при построении речи как раз посередине возвышения тона мы вводим какое-нибудь обвинение. Так, в указанных нами примерах было построено обвинение против Эсхина в первом и Филиппа во втором.

279. Способствует большей силе воздействия речи и такой прием — обратиться к слушателям с вопросом, не высказывая при этом собственного взгляда на предмет, как в следующем примере: «Но присвоив Эвбею и устроив там укрепления против Аттики, этими деяниями попрал он справедливость и нарушил мир или же нет?»[265]. Слушатель при этом попадает в затруднительное положение человека, которому как бы задают задачу, а он не знает ответа на нее. Если же изменить построение фразы и сказать просто: «Он совершил несправедливое дело и нарушил мир», то перед нами будет точное разъяснение, а не нечто, подобное испытательной задаче.

280. [Фигура замедления] (epimonē) — более полное и подробное изложение факта — в высшей степени способствует мощи, например, у Демосфена: «Ведь ужасный недуг, о афиняне, пал на Элладу...»[266]. Скажи он это иначе, было бы не так мощно.

281. Пожалуй, не чужд мощности и так называемый эвфемизм, превращающий брань в похвалу, а нечестие — в благочестие. Так, когда один из граждан советовал использовать золотые статуи Ники для нужд войны, расплавив их, он не сказал прямо: «Давайте разрубим статуи Ники на части для нужд войны», ибо такие слова показались бы оскорбительными и нечестивыми по отношению к богиням, и человек этот выбрал выражение более мягкое. Он сказал: «Давайте же вместе с богинями принесем общую пользу в войне». А такой способ выражения создает впечатление, что статуи богинь как бы и не разрубают на части, а превращают в союзников.

282. Есть мощь и в стиле Демада[267], хотя и считалось, что в нем есть чудачество и необычность, и мощь его заключается в трех [вещах]: подтексте (emphasis), иносказании (allēgoria) и гиперболе.

283. Вот образчик его стиля: «Александр не умер, афиняне, иначе бы весь мир почуял запах его трупа»[268]. Выражение «почуял запах» вместо «узнал» одновременно и иносказание, и гипербола. А то, что весь мир должен узнать о смерти Александра,— это намек (emphasis) на его могущество. Таким образом, из трех этих приемов и складывается впечатление чего-то ошеломляющего. Действительно, ошеломительность мощна, когда она страшна.

284. В таком же роде и следующие выражения: «Не я написал об этом решении, а это война написала копьем Александра» или: «Македоняне, потеряв Александра, по силе стали равны киклопу, потерявшему глаз»[269].

285. И снова в другом месте мы читаем: «И это уже не государство морских побед, каким оно было при наших предках, а какая-то дряхлая старуха, шаркающая подвязанными сандалиями и прихлебывающая свой горячительный напиток»[270]. Слово «старуха» здесь поставлено иносказательно и заменяет такие слова, как «слабое» и «вялое», что применительно к понятию бездействующего государства, одновременно является и гиперболой. Что же касается выражения «прихлебывающая свой горячительный напиток», то оно подразумевает, что государство занималось пирами и возлияниями, растрачивая на это средства, которые пригодились бы в дни войны.

286. Но мы уже достаточно сказали о силе слога Демада, хотя его стилю и свойственна некоторая неосновательность и он довольно труден для подражания. Действительно, ему присуще и нечто от поэзии, если только иносказание, гипербола и подтекст относятся к области поэзии, правда, к поэтическому здесь примешано что-то комическое.

287. Выражаться фигурально (eschēmatismenon) не значит говорить намеками (meta emphaseōs) о простых и само собой разумеющихся [вещах], как это до смешного делают сейчас ораторы. Нет, по-настоящему фигурально выразиться — это говорить так, чтобы соблюсти две [существенные вещи]: благовидность и безопасность.

288. [Вот пример первого] — благовидности. Платон хочет резко осудить Аристиппа и Клеомброта, пировавших на Эгине, в то время

как Сократ уже много дней был в тюрьме, ведь они так и не сели на корабль, чтобы навестить своего друга и учителя, хотя от Афин их отделяло не более двадцати стадий. Из соображений благовидности Платон не говорит всего в ясных выражениях (а ведь речь шла именно о том, чтобы осыпать их бранью), но [он достигает этого] неким весьма благовидным образом. Федону задают вопрос, кто был около Сократа, он перечисляет всех, и когда его снова спрашивают, оставались ли около Сократа Аристипп и Клеомброт, он отвечает: «Нет. Ведь они же были на Эгине»[271]. И впечатление от слов здесь оказывается гораздо более сильным именно потому, что оно будто бы происходит от самого события, а не от слов, описывающих его. Итак, хотя Платон мог бы и прямо, без всякого риска, бранить Аристиппа и его окружение, он выразил порицание фигурально.

289. И в разговоре с правителем или иным лицом, неограниченным в своей власти, если пытаемся порицать их, мы часто вынуждены прибегать к [маскирующим] ухищрениям (schēma) в построении речи. Такой способ речи избрал, например, Деметрий Фалерский в обращении к правителю Македонии Кратеру, который в пурпурном одеянии, высоко восседая на золотом троне, с высокомерием принимал послов из Греции. Прибегнув к косвенному построению, Деметрий уколол Кратера такими словами: «И мы в свое время приветствовали как послов и этих людей, и того вознесшегося Кратера»[272]. Все высокомерие Кратера обозначено этим указанием «вознесшегося». Намеком здесь выражено и неодобрение.

290. Тот же тип построения встречается и у Платона в обращении к Дионисию, который, дав обещание, обманул Платона, да еще лгал, что ничего не обещал. Платон же в такой форме изобличил его ложь: «Я, Платон, ничего не обещал тебе, вот что касается тебя, то пусть рассудят боги»[273],— это сказано и с достоинством, и осмотрительно.

291. Часто и двусмысленная форма выражения допускается в речи. Для тех же, кто желает научиться этому искусству и хочет уметь наносить удары, но так, чтобы они казались непредумышленными, существует образец у Эсхина, в том месте, где он говорит о Телавге[274]. И действительно, это место может служить образцом. Ведь чтобы ни говорил о Телавге рассказчик, мы не можем решить, восхищается ли он им или, напротив, насмехается. Такой двусмысленный тип речи хотя и не является полностью иронией, но заключает в себе намек на иронию.

292. Можно и в других случаях говорить фигурально (schēmatizein), например, поскольку правители и правительницы неохотно слушают речь о своих дурных поступках, то, убеждая их исправиться, мы ведь не станем адресовать наши упреки непосредственно к ним, а выбраним кого-нибудь другого, совершившего нечто подобное. Так, к примеру, иметь в виду мы будем тирана Дионисия, а направлять речи против тирана Фаларида и порицать жестокость Фаларида или, наоборот, начнем восхвалять тех, чьи поступки были противоположны поступкам

Дионисия, к примеру, Гелона или Гиерона[275], за то, что они, мол, были как отцы и наставники для Сицилии. И вот слова подействовали на слушателя и вместе с тем не оставили в нем впечатления, что он был предметом порицания, зато Гелон, ставший предметом похвалы, вызывает у него зависть, и теперь уже он сам хочет заслужить похвалу.

293. К такому способу выражения часто приходится прибегать в разговорах с людьми, облеченными властью. Так, например, Филипп[276], будучи одноглазым, приходил в ярость, если при нем упоминали киклопа, да и вообще произносили слово «глаз». А Гермий, правитель Атарнея[277], хотя и был, как говорится, человеком легкого нрава, но и он, будучи евнухом, с трудом переносил, когда кто-нибудь в разговоре упоминал о кинжале или о чем-нибудь, связанном с резанием или вырезанием. Все это я сказал для того, чтобы показать нрав людей, облеченных властью, а также и то, как наилучшим образом пользоваться при разговоре с ними тем осторожным способом выражения, который называют фигуральным.

294. Однако часто и народы, когда они сильны и могущественны, требуют с собой того же словесного обхождения, что и тираны. Так, например, афинский народ, этот владыка Эллады, вырастил таких льстецов, как Клеон и Клеофонт[278].

Но так как льстить — постыдно, а обвинять прямо — небезопасно, то наилучшим путем будет средний, то есть фигуральный способ выражения.

295. Иногда же нам случается похвалить и человека, заблуждающегося не тогда, когда он совершил проступок, а когда ему удалось избежать его. Примером этому могут послужить похвалы человеку раздражительному, которого вчера хвалили как раз за то, что он оказался снисходителен к прегрешениям одного из нас. При этом его называли образцом для своих сограждан. А ведь каждому приятно служить образцом для подражания и хочется получать похвалу за похвалой, причем со всех сторон равные.

296. Вообще же, как из воска один вылепит собаку, другой быка, а третий коня, так же обстоит дело и с языком.

Допустим, некая тема излагается в тоне осуждения, примерно таким образом: «Люди оставляют детям средства, но не оставляют при этом наставления, как пользоваться оставленным». Манеру, в которой изложена тема в данном случае, называют Аристипповой. Другой изложит то же самое в форме наставления, столь часто встречающейся у Ксенофонта. Это будет выглядеть примерно так: «Следует оставлять детям не наследство только, но также и наставление, как наилучшим образом им воспользоваться».

297. А в так называемой сократической манере изложения, которой более всего, кажется, подражали Эсхин и Платон, содержание, о котором мы говорили, приняло бы совсем новую форму, примерно такую: «Какое же наследство оставил тебе отец, юноша? Наверное,

довольно большое, и его нелегко оценить?» — «Да, много, Сократ».— «Но, ведь тогда, наверное, он оставил тебе и наставление, как лучше им воспользоваться». И вот, таким образом, незаметно Сократ ставит юношу в трудное положение, напоминает ему, что тот неопытен, и побуждает его найти наставника. И все это у него получается естественно, тактично и, как говорится, не по-скифски[279].

298. Этот вид речи имел успех сразу же при своем возникновении, и более всего поражали слушателей его близость к действительности, живость изображения и вместе с тем наставительность. Что же касается построения и распределения фигур в речи, то об этом сказано достаточно.

299. Гладкость в соединении слов, какой всегда пользуется Исократ, избегающий столкновения гласных, не совсем пригодна в речи мощного стиля. Ведь во многих случаях впечатление силы от речи и возникает в результате столкновения гласных, как, например, в таком предложении: «Toy gar Phōcicoy systantos polemoy, oy di'eme oy gar egōge epoliteyomēn pō tote»[280]. Если же изменить порядок слов в предложении: «Toy polemoy gar oy di'eme toy Phōcicoy systantos; oy gar epoliteyomēn egōge pō tote», то при этом в немалой степени уменьшится и впечатление силы, так как добрая толика самого впечатления возникла от шума, производимого столкновением гласных.

300. Слова, не имеющие тщательной продуманности, а как бы вытекающие сами собой, также способствуют впечатлению силы, особенно же в том случае, если мы выказываем гнев или чувство справедливого негодования, и, наоборот, излишняя забота о гладкости и стройности речи создает впечатление не гнева, а игры и более всего говорит о желании покрасоваться своим искусством.

301. Как бессоюзное построение речи способствует впечатлению большей силы (об этом мы уже говорили), так и вообще отрывочное соединение. Доказательством этому может служить стих Гиппонакта. Там, где он хочет обругать своих врагов, он ломает размер и делает стих из стройного хромым и лишенным ритма, что как раз и создает впечатление сильной брани. Ведь мерность и сладкозвучие связаны скорее с восхвалением, чем с бранью. Вот и все, что мы хотели сказать о столкновении гласных.

302. Наряду с мощным стилем существует и его искажение, так называемый назойливый (acharis). Прежде всего эта назойливость заключается в содержании, когда открыто называют вещи постыдные и неприятные для произнесения вслух. Так, например, один человек, обвиняя некую Тимандру в том, что она ведет распутную жизнь, предает поношению и ее таз, и ее подстилку, и ее деньги, и множество прочих знаков ее дурной славы[281].

303. Построение может показаться назойливым, если слова разъединены, как, например, «и так, и так — все смерть». Назойливо и такое построение, когда колоны не имеют друг с другом никакой связи, а представляют собой как бы обрывки. Также и непрерывный ряд длин-

ных периодов, затрудняющий дыхание говорящего, вызывает доходящее до отвращения пресыщение.

304. Но часто предметы сами по себе приятные кажутся неприятными из-за слов, выбранных для их обозначения. Так, Клитарх, описывая осу, насекомое, вроде пчелы, выбирает такие выражения: «Она опустошает возвышенности и устремляется к дуплистым дубам»[282]. Это было бы уместно сказать разве что о диком быке или эриманфском вепре, но уж никак не о какой-то пчелке. Таким образом, вся речь становится напыщенной до назойливости. И эти два качества как-то всегда сопутствуют друг другу.

КОММЕНТАРИИ УКАЗАТЕЛИ

АРИСТОТЕЛЬ

(384—322 гг. до н. э.)

«РИТОРИКА» И ЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

Предмет и задачи риторики. «Риторика» Аристотеля, состоящая из трех книг, посвящена, по общепринятой традиции, искусству красноречия. Правда, этот большой трактат имеет особую логическую направленность, что вполне естественно для теории красноречия как искусства убеждения. Однако и здесь аристотелевская теория логических доказательств, основанная на силлогизмах с их абсолютно достоверной действительностью реального бытия, не может выразить во всей полноте специфику «Риторики».

Этот трактат, возможно, гораздо больше, чем широко известная «Поэтика» Аристотеля, оперирует именно категориями эстетическими, а не узкологическими, доказательными, или аподиктическими. «Риторика» по самой сути своей есть замечательный образец аристотелевской эстетики, неразрывно связанной с силлогистикой, которую необходимо понимать широко, включая сюда выводы не только относительно полной достоверности, но и относительно кажущегося возможного и вероятного бытия, без чего немыслимо ни одно подлинное произведение искусства.

Аристотель определяет риторику как искусство убеждения, которое использует возможное и вероятное в тех случаях, когда реальная достоверность оказывается недостаточной. Таким образом, аристотелевская риторика не довольствуется достоверным знанием, так как человеческая жизнь и человеческое общение не ограничиваются только точно проверенными силлогизмами, а, наоборот, полны неожиданных суждений и мыслей, придающих речи особую убедительность и даже воздействующих на других людей и на целое общество. В риторике Аристотеля, таким образом, объединяются процессы логические и нелогические, рациональные и иррациональные, как это и необходимо для передачи всего многообразия жизненной и творческой практики человека.

Риторика как искусство убеждения базируется у Аристотеля на диалектике, понимаемой им в данном случае специфически, а именно как логическое учение о вероятных умозаключениях, о том, что необязательно существует на самом деле и не всегда соответствует нормам человеческого разума, а устремлено на нечто кажущееся, правдоподобное, возможное, условное, но отнюдь не осуществленное и абсолютно завершенное. Собственно говоря, так понятая диалектика ориентирует нас на теорию подлинного искусства, лишенного наивной абсолютизации позитивной реальности. Аристотель, исследуя область риторики, погружается в диалектику как логику чистой возможности, которая специфична для всякого художника и всякого человека, переживающего художественное произведение. Таким образом, риторика, по глубокому убеждению Аристотеля,— это то же искусство, то же творчество, выросшее на диалектической логике возможного бытия. Оно закономерно включает и риторику и диалектику

в сферу эстетики Аристотеля, не ограничивая риторику только учением об ораторском искусстве или о красноречии вообще. Задача риторики — искусство убедительно говорить на основе методов внелогических доказательств, а потому риторика больше всего применима к художественной области и творчеству, имеющему мало общего с формальной техникой оратора, т. е. техникой красноречия.

Прекрасное — желательное и достойное. Одна из главных проблем риторической эстетики Аристотеля — это проблема прекрасного. Прежде всего в «Риторике» (I 9) Аристотеля важно не прекрасное само по себе, но его желательность, его вероятность. Риторика, целью которой является логика убеждения, должна убедить кого-то в красоте того или иного человека или предмета, причем совершенно необязательно, чтобы красота была реально присуща человеку и предмету. Аристотель прекрасно понимает, что если предмет желателен, то это еще не значит, что он красив. Иногда бывает достаточно доказать желательность данного предмета, и собеседник уже из-за одного этого станет понимать предмет как прекрасный. Кроме того, для убеждения слушателя важно доказать, что данный предмет вполне достоин похвалы, хотя не все похвальное обязательно прекрасно. С логической точки зрения желательность и похвальность не являются главными признаками прекрасного, так как они не всегда прекрасны. Однако с точки зрения риторической эстетики вполне достаточно сказать, что прекрасное желательно само по себе и похвально. Прекрасное точно так же можно назвать и благим.

Отсюда — первый вывод из риторической эстетики: прекрасное желательно ради себя самого, прекрасное похвально и прекрасное есть благо (I 9, 1366 a 33—36). Но если прекрасное есть благо, то его можно назвать и добродетелью, которая, по Аристотелю, есть не что иное, как возможность приобретать и сохранять благо, а также возможность наделять этим благом других. Однако добродетель представляется Аристотелем дифференцированно, и, значит, все виды добродетели: справедливость, мужество, благоразумие, щедрость, великодушие, бескорыстие, кротость, рассудительность, мудрость (a 36—b 3) — прекрасны так же, как их последствия (награды за прекрасные поступки, b 24—35).

Прекрасное как нечто самодовлеющее. С точки зрения позиции, занятой Аристотелем в «Риторике», прекрасно и все то, что делается человеком не для себя самого, но для других, т. е. для добра. Так, прекрасны все добрые дела, которые совершаются, например, для защиты отечества, и вообще все то, в чем заинтересован не сам делающий, но и те, для кого он делает что-нибудь доброе (b 36—1367 a 6). В этом смысле прекрасное всегда противоположно постыдному (a 6—14), оно всегда бесстрашное (a 15—16), справедливое (a 19—23, куда Аристотель относит месть врагам, победу и почет, особенно если они бескорыстны). Прекрасно то, о чем люди помнят; то, что характерно только для одного человека, а не для всех; то богатство, которым обладает человек бескорыстно, не принося этим зла другим людям (a 23—27). Прекрасное, будучи почетным, есть признак свободы, и притом свободы от низкого ремесла, свойственного рабам, заставлявшей лакедемонян носить длинные волосы, мешающие как раз низким занятиям (a 27—32). Все эти особенности прекрасного характеризуют его как нечто самодовлеющее, как нечто не нуждающееся ни в чем другом. Но, разумеется, это вовсе не то прекрасное, которое Аристотель формулировал в своей теоретической философии. Это такое прекрасное, которое только кажется прекрасным, которое необходимо в речах и разговорах и для того, чтобы убеждать своих собеседников и слушателей в красоте разных предметов, при том, что предметы эти с точки зрения строго логической и теоретико-эстетической вовсе не являются прекрасными. Но людям такие псевдопрекрасные предметы часто кажутся подлинно прекрасными. Значит, соответственно, надо убеждать таких людей и не распространяться о таком прекрасном, которое выводится в теоретической философии и которое прекрасно уже в абсолютном смысле этого слова.

Прекрасное вовсе не обязательно есть моральное, но часто даже противоположно морали. Риторическая эстетика трактует прекрасное часто на основании не прекрасного, взятого самого по себе, но на основании чего-нибудь близкого к прекрасному, которое в то же время ему противоположно; и это делается как для восхваления, так и для порицания людей. «Человека осторожного нужно принимать за холодного и ко-

варного, человека простоватого за доброго, а человека с тупой чувствительностью за кроткого, и каждое из свойств нужно перековывать в наилучшую сторону, так, например, человека гневливого и необузданного [должно считать] человеком бесхитростным, человека своенравного — полным величавости и достоинства, и вообще людей, обладающих крайнею степенью какого-нибудь качества, [должно принимать] за людей, обладающих добродетелями, например, человека безрассудно-смелого за мужественного, а расточительного за щедрого, так как такое впечатление получится у толпы» (а 32—b 3). И тут тоже возможно своего рода умозаключение, которое нужно назвать паралогизмом: если человек бросается в опасность безрассудно, то можно заключить, что он с гораздо большим нравственным сознанием сделает это там, где того требует долг, а не безрассудство; и если человек щедр ко всем, то можно заключить, что он особенно будет щедр к своим друзьям (b 3—7).

Прекрасное может выходить за пределы красоты в точном смысле слова. Так, прекрасное в одном месте может не трактоваться как прекрасное в другом месте; и в старании убедить людей в том, что данный предмет прекрасен, надо учитывать то место, где мы пользуемся этим доказательством. Также нужно учитывать и класс людей, которые выслушивают наши доказательства, а также и то понятие почета, которое свойственно этому обществу людей и не свойственно другому обществу (b 7—12). Имеет значение слава предков тех людей, которых мы хвалим, а также и все обстоятельства, которые ввиду превратности судьбы из одних стали другими (b 12—20). Имеет значение приписывать какие-нибудь хорошие неожиданные или даже роковые события намерению тех людей, которых мы хвалим или порицаем. Похвала людей — это самое главное. Достигается же она не только указанием на их подлинное похвальное свойство, но и при помощи, например, совета, как поступить в данном деле, потому что уже небольшое изменение словесного выражения превращает в данном случае совет человеку в самое настоящее его восхваление. Приводят такие разного рода усиливающие или оправдывающие доводы, как: самостоятельное совершение действия, неблагоприятное стечение обстоятельств, первенство в совершении данного действия, неоднократное исполнение какого-нибудь действия и настойчивость в этом исполнении и т. д., и т. д. (b 20—1368 а 26).

Условность риторически прекрасного. Изучив все подобного рода рассуждения Аристотеля, вероятно, всякий скажет, что это есть вовсе не учение о прекрасном, а только — об искусном использовании одной лишь терминологии прекрасного при точном понимании того, что здесь имеется в виду вовсе не прекрасное, а вообще все, что угодно, включая даже и всякое безобразие. Действительно, в сравнении с онтологией прекрасного у Аристотеля риторическая эстетика отличается здесь некоторого рода условным характером и часто на самом деле этот термин «прекрасное» применяется только для условного наименования того, что сознательно вовсе не считается прекрасным. Однако мы ошибемся, если будем сводить аристотелевскую риторическую эстетику только к какой-то софистике.

Не раз Аристотель вполне определенно характеризует различие между необходимостью и вероятностью, утверждая, например, в «Топике» (I 1, 24 а 22—b 12) силу диалектического, т. е. риторического, доказательства. Если чистая логика имеет дело с предметами необходимыми, то диалектика основана на вероятности и правомерности противоречивых суждений. Аристотель противопоставляет эристические, или софистические (основанные на недиалектическом споре), доказательства диалектическому доказательству с его вероятностными суждениями и умозаключениями, которыми оперируют люди в повседневной практике («Топика», VIII 11, 158 а 12—18) и которые отличаются вполне правдивым характером, выявляя истину в меру доступности и добросовестности доказывающего, ибо абсолютная истина вовсе недоступна человеку. Небольшой трактат Аристотеля «О софистических опровержениях» посвящен критике и классификации мнимой софистической доказательности.

Таким образом, риторические доказательства, будучи диалектическими, т. е. вероятностными, вполне отражают картину реального мышления человека и в эстетике Аристотеля имеют решающее значение. Художественные произведения основываются именно на этих доказательствах, не ограничиваясь буквальной действительностью, но

и не претендуя на абсолютную истинность высшего разума. Они вырастают на бытии возможном или вероятном — и в этом заключается пафос «Риторики» Аристотеля.

Стиль как предмет риторической эстетики Аристотеля и как искусство. Другая основная проблема риторической эстетики, кроме проблемы прекрасного,— это проблема стиля. Здесь очень важно подчеркнуть весьма здравое и очень трезвое отношение Аристотеля к данной проблеме. Анализу стиля посвящена вся третья книга «Риторики». Тем не менее, дух научной объективности пронизывает всю аристотелевскую теорию стиля, несмотря на чувствительность автора к стилю предшествующих ему писателей и на избирательное цитирование произведений разных писателей.

Аристотель относит стилистические приемы к той же области речи, куда относится также и учение о способах убеждения и о построении частей речи (III 1, 1403 b 6—8). Этим, правда, еще не дается определение стиля. Но уже и здесь становится ясным, что такое стиль для Аристотеля. Говоря нашим языком, стиль какого-нибудь произведения, по Аристотелю, есть не что иное, как его определенная структура, как способ и манера говорить, почему и термином «стиль» мы переводим аристотелевскую lexis (что буквально значит «говорение», «строй речи»). Аристотель недаром поместил свое учение о стиле именно в риторику. Ведь риторика, по его мысли, вовсе не говорит об объективных предметах в их абсолютной данности, но говорит о них только постольку, поскольку они восприняты человеком, поскольку он их понимает, поскольку они его убеждают.

Эта методологическая ясность эстетической позиции Аристотеля в проблемах стиля прямо и открыто формулируется им в следующем рассуждении: «Так как все дело риторики направлено к возбуждению [того или другого] мнения, то следует заботиться о стиле, не как о чем-то, заключающем в себе истину, а как о чем-то необходимом, ибо всего справедливее стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни печали, ни радости; справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы все, находящееся вне области доказательства, становилось излишним» (III 1, 1404 a 1—7). Итак, совершенно ясно, что учение Аристотеля о стиле вовсе не есть учение об объективных предметах или об объективной действительности (хотя действительность и ее предметы, по Аристотелю, тоже могут обладать своим стилем); но это есть учение о способе выражения предметов, о составлении речи по поводу этих предметов, об их словесных структурах. Взятая сама по себе, эта структура предмета вовсе не обладает свойствами самого предмета, она не радостна и не горестна, она не истинна и не ложна. Она просто относится к особой сфере, которую Аристотель трактует как сферу вполне нейтральную с точки зрения действительности в обычном смысле слова и с точки зрения действительности абсолютного и истинного разума. Стиль есть просто выражение. То, что он выражает собою, безусловно, на нем отражается, и этому как раз и посвящена вся третья книга «Риторики».

Насколько Аристотель понимает стиль структурно-технически, видно из таких его слов: «Искусство актера дается природой и менее зависит от техники; что же касается стиля, то он приобретается техникой. Поэтому-то лавры достаются тем, кто владеет словом, точно так же, как в области драматического искусства [они приходятся на долю] декламаторов. И сила речи написанной заключается более в стиле, чем в мыслях» (a 15—19). Особой трезвостью отличаются суждения Аристотеля о поэтическом, прозаическом, трагическом и подобных стилях. Он ровно ни в каком стиле не заинтересован как ученый и пытается анализировать их совершенно в одной плоскости, хотя мы и знаем многое о его чисто личных художественных вкусах и пристрастиях, никак не отраженных в его научной теории (a 19—36).

Аристотель до того трезво относится к проблемам стиля, что даже и не ставит вообще стиль, взятый сам по себе, очень высоко. С его точки зрения, стиль вообще нужен только для людей нравственно неустойчивых, которые не могут понять чистую мысль как таковую и которых нужно приучать к этой мысли только путем разного рода стилистических приемов. В конце концов, у Аристотеля получается, что если бы люди были достаточно высоки в моральном отношении, то они совсем не нуждались бы ни в каком стиле воспринимаемых ими художественных произведений (a 7—13).

Теория классического стиля. Сам Аристотель, будучи представителем греческой классики и почти еще не выходя за ее пределы, плохо себе отдавал отчет в том, что

он представитель именно классики, классической эстетики. Поскольку, однако, он был представителем поздней классики и определенно чувствовал наступление эллинизма, постольку он имел полную возможность формулировать общие особенности классической эстетики в целом, совсем не подозревая того, что все эти его формулы стиля были уже формулами завершенными и максимально осознанными.

Прежде всего, Аристотель требует от стиля принципиальной и глубочайшей ясности. Он еще не знает того, что ясность вообще является характерной чертой классики. Но мы-то теперь хорошо знаем, что классика не только в греческой, но во всякой другой культуре всегда отличается в первую голову именно ясным стилем, в противоположность нагромождениям архаики и утонченной манерности декаданса. Аристотель много и прекрасно говорит о ясности стиля в нашем трактате (III 2).

Далее, ясность, отчетливость, определенность классического стиля, по Аристотелю, не должны делать этот стиль холодным. В третьей книге (3) мы находим подробное рассуждение о том, что способствует холодности стиля, и о том, как нужно ее избегать.

Далее, можно ли себе представить классический стиль с таким языком, который отличается либо большой ходульностью, либо слишком большой мизерностью, либо какой-нибудь запутанностью или нагроможденностью? Классический стиль предполагает, конечно, и соответствующее построение речи. Оно должно быть ясное, простое, всем понятное, безыскусственное; в речи ничего не должно быть экстравагантного, варварского, бьющего в глаза своей оригинальностью или рассчитанного на сплошное удивление (III 5).

Весьма занимает Аристотеля вопрос о пространности и сжатости стиля. Хороший стиль допускает длинноты только в меру, а также и сжатость тоже в меру. Все слишком длинное и все слишком сжатое — это не соответствует хорошему стилю, по Аристотелю. А по-нашему, это вообще не соответствует классическому стилю (III 6).

Все предыдущие рассуждения Аристотеля о стиле могут навести читателя на мысль, что автор проповедует, вообще говоря, слишком сухой, неповоротливый и холодный стиль. Несомненно, классический стиль всегда обладает определенной правильностью, мерностью и отсутствием всякого излишества. Это и заставило Аристотеля в предыдущих пунктах говорить именно о такой соразмерности и мерности того, что он называет стилем. Однако подобное понимание классического стиля совершенно не соответствует действительности; не соответствует он также и взглядам Аристотеля. Классический стиль может быть не только суровым и слишком размеренным. Он вполне может отличаться также и наличием чувства, соответствием действительности и разнообразием характеров, с чем связано и разнообразие речи. Классический стиль скорее отличается моральной сдержанностью, благородством чувств и художественной простотой, а вовсе необязательно ему быть чем-то бесформенным, и развинченным. Это уже будет стиль неклассический. Но если брать чисто классический стиль, то всякие чувства, аффекты, разнообразие действительности, характеров и человеческой речи вполне ему свойственны при условии мерности и благородства. Поэтому Аристотель в дальнейшем указывает и на такие черты стиля, которые отличаются мягкостью, изяществом и благородством, а не только одной деревянной неподвижностью.

«Стиль будет обладать надлежащими качествами,— пишет Аристотель,— если он полон чувства, если он отражает характер и если он соответствует истинному положению вещей. Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорится торжественно и когда к простому имени [слову] не присоединяется украшение; в противном случае стиль кажется шутовским» (III 7, 1408 a 10—14).

По этому поводу необходимо сказать, что «надлежащее» (греч. prepon) есть технический термин античной эстетики, особенно поздней. Однако и у самого Аристотеля «прекрасное и надлежащее — одно и то же» («Топика», V 5, 135 a 13). «Надлежащее соответствует достоинству, оно — в космосе» («Евдемова этика», III 6, 1233 b 7; a 34). «Большое значение имеет способность надлежащим образом пользоваться каждым из указанных видов слов, и сложными словами и глоссами» («Поэтика», 22, 1459 a 4). Ясно, что термин этот даже и у Аристотеля имеет эстетическое значение. Далее, «стиль, полный чувства» (греч. patheticon) значит гораздо больше, чем это переведено

по-русски. Pathos по-гречески вовсе не «чувство», а «аффект». В данном случае, имеется в виду, конечно, аффект в положительном смысле слова. Таким образом, уже первая фраза приведенного текста свидетельствует о том, что стиль предполагает и красоту и эстетическую аффективность. Значит, это не просто «надлежащий» характер стиля и не просто «чувство».

Аристотель очень убедительно говорит о разнообразии речи в связи с возрастом, полом, национальностью (а 25—29). Убедительная речь, по Аристотелю, также должна соответствовать душевным качествам как слушающего, так и говорящего, пусть хотя бы даже не на самом деле (а 29—36).

Таким образом, Аристотель занимается в «Поэтике» и «Риторике» особого рода бытием, средним между «да» и «нет». Он прекрасно почувствовал эту нейтралистскую природу художественного произведения, и ее логику он как раз и назвал логикой «возможной», «нейтральной», нейтрально бытийной, поэтической, риторической и в конце концов диалектической. Без понимания этой художественной концепции Аристотеля нечего и думать хотя бы отчасти прикоснуться к его риторической эстетике.

Второе, на что мы должны обратить внимание, это то, что, создавая свою теорию стиля, Аристотель, собственно говоря, создал теорию того, что мы теперь называем чисто классическим стилем. Этот стиль — ясный, исключающий холодность, нехаотический, в меру сжатый, в меру длительный, соответствующий действительности (характерам, возрасту, полу, национальности), в меру патетический, общедоступно языковый.

Можно попросту сказать, что под именем стиля Аристотель рисует знакомый ему классический стиль, в котором пафос и необычность умело соединены с ясностью, мерой и общедоступностью. Это одинаково касается и поэзии, и ораторской речи, и всех вообще произведений искусства.

Вполне понятно, почему Аристотель так занят теорией стиля в области риторических проблем. Его эстетика динамической выразительности и его эстетика возможности находит свое практическое воплощение во всех потенциях, заключенных в слове, подразумеваемых в нем и формально в нем воплощенных.

А. Ф. Лосев

РИТОРИКА

Книга первая

«Риторика» печатается по изданию А р и с т о т е л ь. Риторика, перевод с греческого Н. Платоновой. Спб., 1894. Для настоящего издания перевод заново сверен О. В. Смыкой по изд.: Aristotelis ars rhetorica, ed. A. Roemer. Lipsiae, 1885, а также по изд.: Aristotelis ars rhetorica, rec. W. D. Ross. Oxonii, 1964.

Краткое содержание глав «Риторики» принадлежит переводчику. Нумерация текстов Аристотеля идет по классическому изданию: Aristotelis opera ex rec. I. Bekkeri, ed. Academia regia Borussica, ed. altera. Addendis instruxit, fragmentorum collectionum retractavit O. Gigon, v. I—V. Berlin, 1960—1963.

1

[1] *Диалектика* (греч. dialegomai «беседую», «веду разговор») основана на методе беседы и рассуждения для поисков объективной истины. Платон называет диалектиком того, «кто умеет ставить вопросы и давать ответы» (П л а т о н. Соч., в трех томах, под ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса, I 1. М., 1968, с. 390. Далее все ссылки на русские переводы Платона приводятся по этому изданию).

Диалектика обычно противопоставляется софистическому спору — софистике. Искусство диалектики, пишет Платон в «Федре», «в душе человека насаждает и сеет речи, способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть

семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным» (Платон. Федр, 277 а). Риторика также использует законы диалектики для нахождения способов убеждения или опровержения слушателя или собеседника. Мысль об общности наук, о «едином в отношении многого» вообще близка Аристотелю. Диалектику, которая «имеет дело со всеми науками», а не «с каким-либо одним определенным родом» он считает именно такой «общей наукой» («Аналитика вторая», II 11, 77 а 27—32) (Аристотель. Аналитики первая и вторая. М., 1952).— *15*.

[2] *Энтимема* (греч. enthуmema «то, что находится в уме» — en thуmōi) — логическое доказательство, высказанное неполностью, часть которого подразумевается. Это логическое умозаключение, в котором из двух высказываний, посылок, следует новое высказывание, заключение, той же структуры, что и посылки. Деметрий (см. в этом же издании его сочинение «О стиле», 32) считает энтимему «некоторым риторическим умозаключением», т. е. силлогизмом. У Аристотеля энтимема также относится к риторическим средствам убеждения в той же мере, как и вообще другие типы логических доказательств, которыми оперирует риторика.

Суть — в греческом тексте, принятом издателями Аристотеля, стоит sōma, т. е. «тело», хотя есть указание на недошедшее рукописное чтение rhōma (=e) «сила». Здесь характерное для греческого мышления телесное представление о философских, эстетических и этических категориях. Ср., например, у Ксенофонта в «Кинегетике» рассуждение о «теле добродетели»(II 19) (Xenophontis scripta minora, ed. F. Rühl, v. II. Lipsiae, 1912). В рукописи «Гиппия большего» Платона (301 b) также читаем о «телах сущности». Подробности см.: Платон. Соч., т. 1, прим. 35 к «Гиппию большему» — *15*.

[3] *Ареопаг* — высший судебный орган в Афинах по важнейшим уголовным делам. Назван по месту заседаний на «холме Ареса». Члены Ареопага избирались пожизненно. В 462 г. до н. э. по реформе Эфиальта утратил свое былое политическое значение. О том, что в Ареопаге запрещалось многословие, сообщает оратор Фемистий (26, 311 b) (Themistii orationes, ed. G. Downey et A. Norman, v. II. Leipzig, 1971). У Платона также находим сведения, что выступающего на суде связывает «противник и зачитываемый иск, сверх которого ничего нельзя говорить» («Теэтет», 172 е).— *16*.

[4] О *силлогизме* см. выше, прим. 2.— *17*.

[5] См. «Топика», I 2, 101 а 30—32, где говорится, что искусство доказательств «необходимо для обмена мыслей» и особенно «при общении с другими, учитывая мнения толпы».— *18*.

[6] В комментарии Прокла на платоновского «Кратила» читаем (prooem IV), что «Аристотель и софисты считают только риторику и только диалектику способными на то и другое, т. е. убедить кого-либо сделать выбор или опровергнуть» (Procli Diadochi in Platonis Cratylum commentarii, ed. G. Pasquali. Lipsiae, 1908).— *18*.

[7] Ср. замечание оратора Исократа о риторическом искусстве, которое «самое серьезное из всех, так как оно может решить то, что является более важным в отношении души, а не тела; таким образом, сведущие в ней люди хвалят больше тех из философов, кто в ней упражняется» (15, 250) (Isocratis orationes, ed. altera cur. F. Blass, v. II. Lipsiae, 1885).— *18*.

[8] Сравнивая *диалектику* и *софистику*, Аристотель пишет в «Метафизике»: «Софистика и диалектика занимаются тою же областью, что и философия, но эта последняя отличается от диалектики по характеру своей способности, а от софистики по избранному ею образу жизни. Диалектика только делает те или другие попытки в отношении тех объектов, которые познает мудрость, а софистика — это мудрость мнимая, а недействительная» (IV 2, 100 4 b 22—26).— *18*.

2

[9] Плутарх, сравнивая двух ораторов, Демосфена и Фокиона, говорит, что первый был величайший, но второй зато самый искусный. Он воздействовал на слушателей не только силой речей, но и безукоризненностью жизни, понимая, что «одно-единственное слово, один кивок человека, внушающего к себе доверие, весит больше многих про-

странных доводов» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах, т. III («Демосфен», X) М., 1964). Еврипидовская Гекуба, обращаясь к искусному оратору Одиссею, тоже убеждена в роли личности говорящего.

Не надо слов искусных: обаяньем
Своим ты греков покоришь сердца.
Из уст безвестных и вельможных уст
Одна и та же речь звучит различно.

(«Гекуба», 293—295, пер. И. Анненского) — *20.*

[10] О *страстях* Аристотель говорит во второй книге «Риторики».— *20.*

[11] Аристотель не раз утверждает эту мысль. В «Никомаховой этике» он считает *политику* наиболее общей, «архитектонической» наукой, которой служат стратегия, экономия и риторика, «наиболее уважаемые способности» (I 1, 1094 a 26—b 3).— *20.*

[12] *Наведение* (греч. epagōgē) есть не что иное, как индукция, которая на основании частных случаев делает общее заключение. Об индукции см.: «Первая аналитика», II 23.

Пример делает возможным частное заключение на основании частного случая. О доказательстве посредством примеров см.: «Первая аналитика», II 24.

О взаимоотношении *энтимемы* и *силлогизма* см. выше, прим. 2.— *20.*

[13] См. «Первая аналитика», II 23, 24.

В другом месте Аристотель, говоря об обучении на основании имеющихся знаний, ссылается на высказывания, которые что-либо доказывают посредством силлогизмов или индукции, и находит сходный с этим тип доказательства в ораторском искусстве, когда «ораторы убеждают других или посредством примеров, которые являются видом индукции, или посредством энтимем, которые представляют собою силлогизмы» («Вторая аналитика», I 1, 71 a 1—11).— *20.*

[14] «Топика», I 10. См. выше, прим. 12.— *20.*

[15] «Методика» до нас не дошла. Диоген Лаэртский в перечне сочинений Аристотеля упоминает «восемь книг «Методик» (V 23) (Diogenis Laertii. De clarorum philosophorum vitis, rec. C. Cobet. Parisiis, 1878).— *21.*

[16] *Сократ* (469—399 до н. э.) — афинский философ, основатель диалектического способа (посредством вопросов и ответов) нахождения истины. Ничего не писал, но его деятельность и беседы послужили материалом для диалогов учившегося у него Платона (см. Платон. Соч. в трех томах) и «Воспоминаний» Ксенофонта (см. Ксенофонт. Сократические сочинения. М., 1935). Речь Сократа на суде, где он был обвинен в развращении молодежи, непризнании старых богов и введении новых (Diog. Laert., II 40), а также его последние дни и часы перед казнью обрисованы Платоном в «Апологии Сократа», «Критоне» и «Федоне». Подробную характеристику деятельности Сократа см.: Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона.— В кн.: Платон. Соч., т. 1.

Каллий, сын Гиппоника,— богатый афинянин, тративший большие деньги на обучение у софистов. Упоминается у Платона («Апология Сократа», «Кратил»). — *21.*

[17] *Дорией* — сын атлета Диагора Родосского, воспетого Пиндаром (Ol., VII). Одержал три победы в Олимпии как панкратиаст и на других состязаниях. Сражаясь на стороне спартанцев, был взят афинянами в плен, но отпущен на свободу из-за своей славы. О статуях Диагора, Дориея и его братьев в Олимпии сообщает Павсаний (VI 7, 1).— *22.*

[18] «Первая аналитика», I 8, 13—14.— *22.*

[19] Греч. tecmar означает не только «знак», или «признак», но и «конец, цель»; peras — также «конец, граница».— *22.*

[20] См. «Первая аналитика», II 27 (об энтимеме).— *23.*

[21] Имеется в виду сиракузский тиран *Дионисий* Старший (431—367 до н. э.). О сиракузских тиранах Дионисии Старшем и Младшем см. у Плутарха в жизнеописании Диона. Платон в «Законах» рисует тип «тиранического» человека (VIII 565 d—569 c).

Писистрат (вторая половина VI в. до н. э.) — афинский тиран, в родстве с Солоном. Плутарх рассказывает о том, как Писистрат хитростью добился у афинян

разрешения иметь личную стражу. Он ее «открыто набирал и содержал сколько хотел, а народ спокойно смотрел на это, пока, наконец, он не занял Акрополь» («Солон», XXX).

Феаген, тиран Мегары (VI в. до н. э.), достиг власти, защищая на первых порах неимущих (см. Аристотель. Политика, V 5, I 305 a 24 сл.).— *23*.

[22] *Аподиктический* (греч. apodeicticos) — убедительный. В логике так называются суждения, утверждающие полную и безусловную необходимость чего-либо.— *23*.

[23] См. «Топика», I 1, 14; III 5. О методе доказательств в разных науках на основе только им присущих свойств см.: «Первая аналитика», I 30.— *24*.

3

[24] *Эпидейктическая* речь — торжественная, произносимая по специальному случаю.— *24*.

[25] *Ахилл*, сын Пелея и Фетиды,— главный герой «Илиады» Гомера.

Патрокл, сын Менетия,— друг Ахилла, убитый Гектором под Троей.

В «Илиаде» (XIX 401—418) один из коней Ахилла, бессмертный Ксанф, человеческим голосом пророчит Ахиллу смерть:

Сын могучий Пелид, тебя еще нынче спасем мы.
Но приближается день твой последний. Не мы в этом оба
Будем повинны, а бог лишь великий с могучей судьбою...*— *25*.

4

[26] Риторика близка к софистике, так как занимается вопросами не только истинного убеждения, но и убеждения кажущегося (см. конец первой главы).— *27*.

[27] Аристотель пишет, что из трех видов *правления* (монархия, аристократия, тимократия) «лучшее — монархия, худшее — тимократия». См.: Аристотель. Этика, пер. Э. Радлова. Спб, 1908 («Никомахова этика», VIII 12, 1160 a 31—1160 b 69).

Под тимократией (греч. timē «честь», «цена», «плата») понимается правление, основанное на цензе в соответствии с имущественным положением. В «Политике» (IV 4) Аристотель рассматривает демократическую форму правления; наследственную власть, или «династию» (IV 5, 1292 b 5 сл.); царскую власть, приобретаемую за деньги, наподобие той, что была в Карфагене (II 8, 1273 a 36); промежуточную форму правления «эсимнетов», пожизненно избранных монархов (IV 8, 1295 a 10—14); три формы тирании (IV 8, 1295 a 15—23). В «Риторике» Аристотель определяет тиранию как «неограниченную монархию» (I 8, 1366 a 2).

Олигархия — «власть немногих». Анализ олигархии дается Аристотелем в «Политике» (IV 5). При олигархии власть обеспечена высоким имущественным цензом, ограничивающим доступ к власти большинству граждан. Аристотель устанавливает четыре типа олигархии.— *28*.

5

[28] Разные представления о счастье, или благе, даны в «Никомаховой этике» Аристотеля (I 2). Автор считает, что «совершенное благо должно удовлетворять себя» (I 5, 1097 b 7 сл.), а «блаженство состоит в душевной деятельности (psyches energeia), сообразной с добродетелью» (I 13, 1102 a 5 сл.). В «Риторике» Аристотель перечисляет определения блаженства в духе сократическом (добродетель — aretē), стоическом (самоудовлетворение — aytarceia), эпикурейском (приятнейшая жизнь — hēdistos), а также дает распространенные обывательские представления о блаженстве как богатстве.— *29*.

[29] *Благородство происхождения* прославляет афинский оратор Исократ в хвалебной речи Евагору (Euag., 71).— *30*.

[30] Платон в «Законах» называет женский род ввиду его слабости «более скрытым и лукавым», «беспорядочным», «по достоинству хуже» мужского (VI 781 ab). Аристотель

---

* Здесь и далее цитаты из «Илиады» и «Одиссеи» приводятся в переводе В. Вересаева.

в «Политике» (II 9) осуждает своеволие спартанских женщин, их влияние на мужей, с чем не мог справиться даже Ликург, пытавшийся подвести женщин под свои законы.

Аристотель прямо считает, что свободное отношение спартанского законодательства к женскому вопросу «оказывается вредоносным», «не служит к благополучию государства вообще» (II 9, 1269 b 12—14) и «вносит не только своего рода дисгармонию в государственный строй», но и содействует «развитию корыстолюбия» (1270 a 11—15).— *30*.

[31] *Геродик* из Мегар — учитель Гиппократа Косского, содержал гимнасий в Афинах. Ввел гимнастику в лечебных целях. Удлинял жизнь больного, при этом не вылечивая его. Платон («Государство» 406 а) с негодованием пишет, что Геродик «сперва жестоко мучил самого себя, а потом и многих других».— *31*.

[32] *Пентатл* — пятиборье, куда входили бег, прыжки, борьба, метание диска, метание копья.— *31*.

[33] *Панкратий* — соединение кулачного боя с борьбой.— *32*.

[34] В «Физике» Аристотель рисует картину полного детерминизма, когда «ничто не делается случайно, но для всего, возникновение чего мы приписываем самопроизвольному или случаю, имеется некая определенная причина» (II 4). Для Аристотеля, «случай есть нечто второстепенное, чем и разум и природа» (II 6). Он основывается на причине, «неясной для человеческого разумения» (II 4). См.: Тахо-Годи А. А. Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии.— В кн.: Вопросы классической филологии, № 3—4. М., 1972, с. 246 и сл.— *32*.

6

[35] К *добродетелям* Сократ присоединяет благочестие, или справедливость, «честность» (Платон. Менон, 78 d). В «Государстве» Платона (VI 486 b) великодушие считается свойством истинного философа.— *34*.

[36] «Илиада», I 255.— *35*.

[37] «Илиада», II 176, 298.— *35*.

[38] Эта пословица нигде больше не засвидетельствована.— *35*.

[39] *Симонид* Кеосский (VI—V вв. до н. э.) — знаменитый греческий элегик и создатель хоровых песен. Здесь имеется в виду фр. 36 (Anthologia lyrica graeca, ed. E. Diehl, v. I—II, Lipsiae, 1925)*. Схолиаст Пиндара (Ol. XIII 78.— In: Pindari opera, ed. A. Boeckhius, v. II, pars. 2. Lipsiae, 1821) разъясняет, что некоторые коринфяне под предводительством Главка, сына Беллерофонта, были союзниками троянцев и потому их не порицали. Однако коринфяне как греки вообще мыслили себя врагами троянцев, и стихи Симонида должны были для них звучать оскорбительно.— *35*.

[40] Аристотель перечисляет всем хорошо известные мифологические мотивы и сюжеты греческого героического эпоса: *Афина*, богиня мудрости покровительствует *Одиссею* во всех его предприятиях; афинский царь и герой *Тесей* похитил *Елену*, совсем еще юную; *Александр*, или Парис, был избран судьей в споре трех соперниц — *богинь* Афины, Геры и Афродиты (см. речь Исократа «Елена», 18.41). *Ахилл* — любимый герой *Гомера* (ср. начало «Илиады»: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»).— *35*.

7

[41] *Леодамант* — известный афинский оратор, ученик Исократа, выступал обвинителем Каллистрата и Хабрия.

Каллистрат — известный афинский оратор, исполнял должность стратега вместе с Хабрием (377, 373 гг. до н. э.), пытался установить мир со Спартой.

Хабрий — афинский стратег, победитель спартанцев в 388 г. до н. э. Сведения о его жизни и мужественной смерти дает в своих жизнеописаниях К. Непот.— *38*.

---

* Все фрагменты греческих лириков в дальнейшем цитируются по данному изданию.

[42] *«Всего лучше вода»* — начало I Олимпийской оды Пиндара, за которым следуют слова: «а золото пылающим огнем... самое превосходное из богатств». Видимо, здесь намек на учение Фалеса о воде как материальной основе бытия.— *38*.

[43] Ср. Платон: «...если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить» («Горгий», 469 с). Эта позиция Сократа проводится также в «Критоне»: «...Нельзя и отвечать несправедливостью на несправедливость» (49 с). Противоположное этому читаем у Еврипида: «Я считаю, что человеку свойственно делать врагам зло» (фр. 1092) (Tragicorum graecorum fragmenta, rec. A. Nauck. Supplementum adjecit B. Snell. Hildesheim, 1964).— *39*.

[44] «Илиада», IX 592—594. Слова принадлежат жене этолийского героя Мелеагра, умоляющей его вступить в бой во время войны этолян и куретов.— *40*.

[45] *Эпихарм* — знаменитый сицилийский комедиограф (VI—V вв. до н. э.), близкий по взглядам к пифагорейцам. Его философские фрагменты см. в изд.: Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch, v. H. Diels, 9. Aufl., herausgeg. v. W. Kranz, Bd I—III. Berlin, 1959—1960)*, а комические — в изд.: Comicorum graecorum fragmenta, ed. G. Kaibel, v. I. Berolini, 1899.—*40*.

[46] Симонид Кеосский, фр. 110 (о победителе на Олимпийских играх, бывшем рыбаке).— *40*.

[47] *Ификрат* — известный афинский стратег (V—IV вв. до н. э.), сын простого кожевника (см. его жизнеописание у К. Непота).— *40*.

[48] «Одиссея», XXII 347. Слова певца Фемия, обращенные к Одиссею с мольбой о пощаде во время расправы последнего с женихами. Одиссей дарует Фемию жизнь, так как он «певец, и богам свои песни поющий и людям» и «само божество» вложило ему в сердце «всякие песни» (345 сл.).— *48*.

[49] *Перикл* (ок. 469—429 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель, глава демократов, стратег, блестяще образованный оратор. Способствовал военному и культурному возвышению Афин. Его биографию см.: П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания, т. I («Перикл»).

Здесь упоминается, видимо, первый год Пелопоннесской войны. Надгробная речь Перикла погибшим известна из «Истории» Фукидида (II 35—46). Однако данная метафора там отсутствует. У Геродота (VII 162) похожая метафора встречается в речи к афинянам сиракузского тирана Гелона, который потерю своей помощи Элладе уподобил *изъятию весны из времен года*.

Еврипид в «Просительницах» метафорически говорит:

Иной, как ниву о поре весенней,
Жнет храбрецов и косит молодых.
(448 сл., пер. С. В. Шервинского) — *49*.

8

[50] О *формах правления* см. выше, прим. 27. Платон упоминает также о смешанном виде правления, как, например, в Спарте. В «Законах» оно характеризуется как похожее то на тиранию, то «на самое демократическое из всех государств», хотя в нем «странно не признать и аристократию», и «пожизненную царскую власть» (IV 712 d—e).— *42*.

[51] См. «Политика», IV 4, 5, 8; II 8.— *42*.

9

[52] *Энкомий* — первоначально хвалебная песнь в торжественном шествии победителя на играх, затем — жанр хвалебной речи.

Аристотель пишет в «Никомаховой этике»: «Похвала же принадлежит добродетели, ибо она делает нас способными ко всему прекрасному; хвалебные же гимны [энкомии] относятся в одинаковой мере как к душевной, так и к физической деятельности» (I 12, 1101 b 31—34).— *43*.

* Фрагменты философов досократиков в дальнейшем цитируются по данному изданию.

[53] Подобное же определение находим у Аристотеля в «Евдемовой этике» (VII 15, 1248 b 18), а также в платоновском «Горгии», где прекрасное определяется через удовольствие и благо, или добро (475 а). В «Определениях», приписываемых Платону, прямо сказано: «прекрасное есть благо» (414 е). См. также прим. 28 и 35.— *43*.

[54] Определению *добродетели* посвящен диалог Платона «Менон» (70 а — 81 а и 86 с — 100 с). В «Никомаховой этике» Аристотель заключает: «Если блаженство состоит в душевной деятельности, сообразной с добродетелью, то мы должны исследовать добродетель» (I 13, 1102 а 5 сл.).— *43*.

[55] *Сафо* и *Алкей* (VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческие поэты с о-ва Лесбос, современники и друзья, основатели мелики, т. е. сольной песенной лирики. Здесь имеется в виду Сафо, фр. 149.— *45*.

[56] См. прим. 43 и Архилох, фр. 79 а, где выражается радость по поводу несчастий, обрушившихся на друга, изменившего клятвам верности.— *45*.

[57] Об этом обычае см.: Ксенофонт. О государственном устройстве лакедемонян, II 3. Элиан в «Пестрых рассказах» сообщает, что спартанцам «было запрещено заниматься недостойным трудом» (VI 6).— *45*.

[58] *Паралогизм* — непреднамеренная логическая ошибка, возникающая в доказательстве или споре.— *45*.

[59] В «Менексене» Платона Сократ говорит: «Вот если бы надлежало хвалить афинян в Лакедемоне или лакедемонян в Афинах, то, конечно, нужен был бы искусный ритор, умеющий убедить и представить предмет в хорошем виде. А кто подвизается среди тех, кого хвалят, тому хорошо говорить, кажется, дело невеликое» (235 d).— *46*.

[60] См. выше прим. 46.— *46*.

[61] Симонид Кеосский, фр. 85. Строка из эпитафии Архедике, дочери афинского тирана Гиппия, сына Писистрата. Гиппий бежал из Афин в г. Лампсак (М. Азия), где его дочь была замужем за тираном Эантидом (Фукидид, VI 59, 3—4).— *46*.

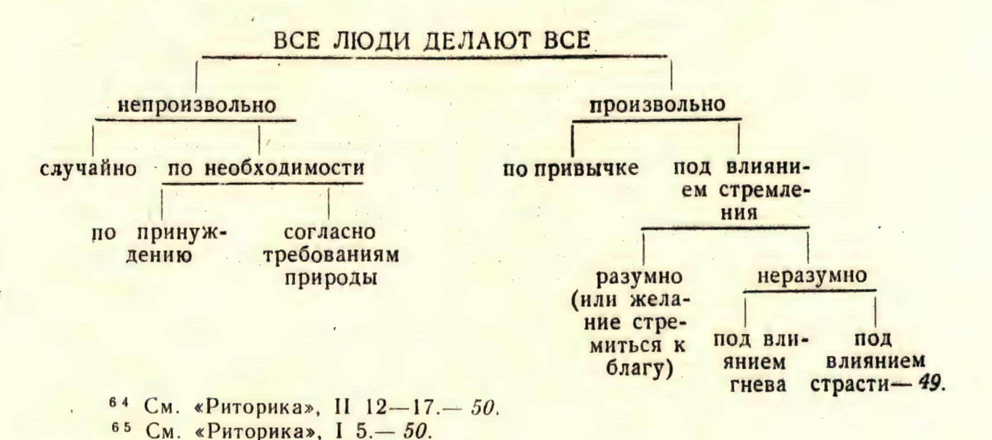
[62] *Гипполох* — лицо неизвестное.

Гармодий и *Аристогитон* прославились как убийцы тирана Гиппарха (514 г. до н. э.), брата Гиппия, который был предупрежден и сумел бежать.

Известна бронзовая группа работы Крития и Несиота, изображающая тираноубийц и поставленная на афинской площади — *Агоре*.— *47*.

10

[63] Эту классификацию Аристотеля можно представить таким образом:



[64] См. «Риторика», II 12—17.— *50*.

[65] См. «Риторика», I 5.— *50*.

[66] См. «Риторика», II 2.— *50*.

11

[67] Ср. об *удовольствиях*, или наслаждениях: «Никомахова этика», VII 12—13.— *51*.

[68] Эвен Паросский, фр. 8 Diehl.

Аристотель в «Никомаховой этике» (VII 11) приводит стихи элегического поэта Эвена о привычке как следствии упражнения, ставшей природой человека. Под именем Эвена существуют два поэта, один из которых — софист, старший современник Сократа — не раз упоминается Платоном («Апология Сократа», 20 bc, «Федон», 60 d; «Федр» 267 а).— *51*.

[69] Еврипид. Андромеда, 133 N.—Sn.— *52*.

[70] «Одиссея», XV 400—401.— *52*.

[71] «Илиада», XVIII 109.— *52*.

[72] «Илиада», XXIII 108; ср. «Одиссея», IV 183.— *53*.

[73] Еврипид. Орест, 234 (слова Электры к брату Оресту).

В «Никомаховой этике» Аристотель несколько иначе объясняет *приятность перемен*: «Природа человека испорчена, и подобно тому, как испорченный человек есть самый изменчивый, так природа нуждается в изменении, так как она непроста и несовершенна» (VII 15, 1154 b 28—31).— *54*.

[74] Ср. Платон. Федр, 240 с и пословицу, которую приводит схолиаст Платона к этому месту: «Сверстник радует сверстника, старик — старика». Ср. также:

Бог, известно, всегда подобного сводит с подобным.

(«Одиссея», XVII 218)

По Аристотелю, «натурфилософы приводят в порядок всю природу, взяв в качестве принципа стремление подобного к подобному» (31 A 20 a Diels). Атомист Левкипп тоже приводит принцип стремления подобного к подобному при образовании миров (67 A 1). Демокрит полагает, что подобное стремится к подобному (68 A 99 a; A 165). См. также: Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946, фр. 200.

Эта старая и весьма популярная мысль начиная с Гомера пронизывает всю натурфилософию.— *54*.

[75] Еврипид, фр. 183 из недошедшей трагедии «Антиопа».— *55*.

[76] Рассуждения Аристотеля *о смешном*, видимо, находились в недошедшей части «Поэтики». В известном нам тексте говорится о древней комедии (гл. 3, 5).— *55*.

12

[77] См. «Риторика», II 19.— *55*.

[78] Лицо неизвестное.— *57*.

[79] Имеется в виду отдаленность Карфагена. Данное место не очень ясно. Конъектура Гайсфорда, предлагающая читать «халкедоняне» (ср. греч. chalcēdonion — carchēdonioi «карфагеняне»), может быть, имеет основание, так как древние считали жителей Халкедона ловкими грабителями.— *57*.

[80] Эту фразу можно толковать двояко: как пословицу «добыча *мизийцев*», имеющую в виду предмет никому не нужный, на который даже мизийцы, известные своей трусостью, не претендуют, или же как сравнение с трусливыми *мизийцами*, которые легко становятся добычей врага.— *58*.

[81] *Дион* — государственный деятель и политик, брат жены сиракузского тирана Дионисия Старшего. Сочувствовал идеям Платона о «просвещенном монархе». Пытался совершить государственный переворот, но в результате заговора был убит Каллиппом, своим прежним другом. См. Плутарх. Дион, гл. LIV—LVIII, а также седьмое письмо Платона (Платон. Соч., т. 2).— *58*.

[82] *Гелон* (V в. до н. э.), тиран Сиракуз, опередил Энесидема, тирана Леонтин (там же в Сицилии), в захвате одного города, за что и получил от него сосуд для игры в коттабий, намекая на его ловкую победу.

Коттабий — известная среди греков игра, заключающаяся в попытках потопить маленькие сосуды на поверхности воды одного большого сосуда.— *58*.

[83] *Ясон* — тиран Фер в Фессалии (IV в. до н. э.). Он стремился овладеть рядом греческих городов, но смерть (370 г. до н. э.) помешала его планам.

Слова Ясона приводит Плутарх в «Предписаниях к руководству государством» (24) (Plutarchi Chaeronensis moralia, rec. G. Bernardakis, v. V. Lipsiae, 1893).— *59*.

13

[84] См. выше, «Риторика», I 10.— *59.*

[85] Ср. речь Лисия против Андокида, где указывается, что Перикл предписал применять к преступникам против религии законы писаные и неписаные и «которые отменить никто еще не был властен, против которых никто не осмеливался возражать, автора которого и сами они не знают» (VI 10). См. Лисий. Речи, пер. С. И. Соболевского. М., 1933.— *59.*

[86] Имеется в виду трагедия Софокла «Антигона», в которой героиня совершает погребальный обряд над телом своего брата Полиника, погибшего во время осады родного города.— *59.*

[87] Софокл. Антигона, 456 сл.— *60.*

[88] *Эмпедокл* из Акраганта в Сицилии, натурфилософ VI—V вв. до н. э., учил о царящих в мире любви и вражде, на которых основаны все природные и космические явления. Здесь упоминается фр. 115.— *60.*

[89] *Алкидамант* из Элеи (V—IV вв. до н. э.) — известный оратор, ученик софиста Горгия и учитель Исократа. Из речей Алкидаманта сохранились только две.— *60.*

[90] См. «Риторика», I 10.— *60.*

[91] См. там же, 6, 10 (начало).— *60.*

[92] См. «Риторика», II 2, I 11 и 12.— *60.*

14

[93] См. выше, прим. 41. Эта история нигде не засвидетельствована.

Обол — около 2 коп.— *62.*

[94] *Софокл* — оратор конца V в. до н. э.— *63.*

15

[95] Ср. во второй книге (25) то же самое выражение. Однако в «Политике» Аристотель говорит о «справедливейшем разумении» (III 16, 1287 а 26), так же как обычно было принято в речах Демосфена.— *64.*

[96] См. выше, прим. 86, 87.— *64.*

[97] Имеется в виду «Илиада» (II 557 сл.), где читаем:

Мощный Аякс Теламоний двенадцать судов саламинских
Вывел с собою и стал, где стояли фаланги афинян.

Из этих стихов делался вывод о древнем союзе Афин и о-ва *Саламин.*

Периандр — сын Кипсела, тиран Коринфа (VI—V вв. до н. э.). Его причисляли к семи мудрецам, хотя Геродот (III 48—53) рисует его жестоким и властным. Возможно, что Периандр-мудрец не имеет ничего общего с этим тираном. Во всяком случае уже античность сомневалась в мудрости сына Кипсела (Diog. Laert., I 7, 97). Платон тоже не считает его мудрецом («Протагор», 343 а).

Факт, упомянутый Аристотелем, неизвестен в литературе.— *65.*

[98] *Клеофонт* — известный оратор и политик эпохи Пелопоннесской войны, был казнен во время правления Тридцати тиранов в Афинах (404 г. до н. э.) под предлогом неявки на свой военный пост, а на самом деле потому, что он был против уничтожения стен. См. Лисий, XIII 5—14, а так же: Ксенофонт. Греческая история, I 2, 35 (пер. С. Лурье, М., 1935).

Критий, сын Каллесхра,— государственный деятель, участник олигархического переворота в 404 г. до н. э., глава так называемых Тридцати тиранов. Был поэтом и оратором, в юности слушавшим Сократа. Выступает как действующее лицо в диалогах Платона «Тимей», «Критий», «Хармид».

Солон — знаменитый афинский законодатель, мудрец и поэт (VII—VI вв. до н. э.). Ему приписывают изречение: «Ничего сверх меры» (10, 3 Diels).

Биографию Солона см.: Плутарх. Солон.

Здесь имеется в виду Солон, фр. 18.— *65.*

[99] *Фемистокл* — афинский государственный деятель и полководец (VI—V вв. до н. э.). Стоял во главе радикальной партии в греко-персидской войне. Создал афинский морской флот, укрепил город, основал гавань Пирей, разбил персов при Саламине. Аристотель упоминает толкование Фемистоклом оракула в выгодном для военных действий аспекте (см. Плутарх. Фемистокл, гл. X).— *65*.

[100] Византийский лексикон Свиды, или Суды, под словом achrēsta приводит эту поговорку, продолжая, что нельзя делать добро также «завистливому мальчишке, болтливой женщине, глупому ребенку, соседской собаке, болтливому гребцу» (Suidae lexicon graece et latine, rec. G. Bernhardy, v. I—II. Halis et Brunsvigae, 1853).

По Геродоту (I 155), персидский царь Кир говорит лидийскому царю Крезу, что, взяв его в плен и пощадив подданных Креза, он сделал так, «как если бы кто убил отца и пощадил детей».— *65*.

[101] *Эвбул* — аттический оратор и демагог (IV в. до н. э.), противник Демосфена. Издал закон о систематическом пополнении деньгами зрелищного, а не военного фонда. Подкупленный македонским царем Филиппом, заключил невыгодный для афинян мир.

Харет — афинский полководец (IV в. до н. э.), не отличавшийся храбростью и благородством, известный своим расточительством, подкупами и жестокостью. Видимо, погиб в битве при Херонее (338 г. до н. э.).

Здесь имеется в виду афинский комедиограф *Платон*, враждебный Аристофану. Фрагменты его комедии см. в изд.: Comicorum atticorum fragmenta, ed. Th. Kock, v. I. Lipsiae, 1880.

См. Платон, фр. 219. *Архибий* — имя это нигде больше не засвидетельствовано.— *66*.

[102] См. «Риторика», II 23.— *66*.

[103] *Ксенофан* Колофонский (VI—V вв. до н. э.) — философ и поэт, основатель школы элеатов, критик антропоморфного представления о богах в мифологии Гомера и Гесиода (В. 11). Здесь имеется в виду: Ксенофан, А 14.— *68*.

Книга вторая

1

[1] См. «Риторика», I 9.— *72*.

[2] Подразумевается данная вторая книга.— *72*.

2

[3] «Илиада», XVIII 109 сл. (слова Ахилла, проклинающего гнев и вражду).— *73*.

[4] «Илиада», I 356; IX 647 сл.— *74*.

[5] «Илиада», II 196, I. 82.— *74*.

[6] *Антифонт*, афинский трагик (V—IV вв. до н. э.), находившийся на службе у сиракузского тирана Дионисия Старшего и казненный им. Из его трагедий дошло всего несколько фрагментов, в том числе один из трагедии «Мелеагр».

Этолийский герой Мелеагр, сын Алфеи и Ойнея, прославился охотой на калидонского вепря, голову которого он отдал охотнице Аталанте, обделив братьев матери Плексиппа и Токсея. Это вызвало ссору, в результате чего Мелеагр убил своих родичей, а затем и войну между куретами и этолийцами. Разгневанная мать бросила в огонь головешку, в которой была заключена жизнь ее сына, и Мелеагр погиб (см. «Илиада», IX 529—598). В «Метаморфозах» Овидия (VIII 270—540) дается подробная и патетическая картина, рассказывающая о матери, проклявшей сына и терзаемой муками после его убийства.— *75*.

[7] Сущность гнева — причины многих бед и состояния гневающегося человека—занимала греков еще со времен Гомера. Бедствия ахейцев под стенами врага («Илиада») связаны с гневом Ахилла, честь которого была уязвлена Агамемноном. Гомер различает степень напряжения гнева, четко закрепляя его лексически. Так, например, бурный, разрушительный гнев (mēnis) близок к состоянию безумия, на что указывает общий корень с глаголами mainomai «безумствую», menaa «страстно стремлюсь, желая» или с существительным menos «сила, мощь». Быстро возникающий, но вместе с тем скоро проходящий гнев (cholos) есть не что иное, как «желчь» и буквально указывает на связь с физиологическим процессом разлития желчи, что делает человека раздражительным и возбудимым. Опасность представляет гнев затаенный (cotos), скрытый, постоянно питающий злобного человека (ср. укр. и старосл. *которá* или др.-русск. *котерá* «распря, ссора»).— *76*.

3

[8] Ср. «Одиссея», XIV 29—37:

Вдруг увидав Одиссея, сбежалися шумно собаки,
Лаем дающие знать о себе. Одиссей перед ними
Благоразумно присел, но из рук его выпала палка.— *77*.

[9] *Филократ* — оратор, современник Демосфена и его противник, главный инициатор мирного договора, заключенного с македонским царем Филиппом в 346 г. до н. э.— *77*.

[10] *Каллисфен* и *Эргофил* — афинские полководцы, обвиненные в измене и преданные суду в 362 г.— *78*.

[11] «Одиссея», IX 504.— *78*.

[12] «Илиада», XXIV 54.

Ахилл издевался над трупом Гектора, мстя за убитого им своего друга Патрокла.— *78*.

4

[13] Гесиод. Работы и дни, 25.— *80*.

[14] Любовь и вражда имела в греческой философии космогоническое значение. По Эмпедоклу, любовь объединяет сферос, шаровидный космос и делает его единым. Любовь, или дружба, она же Афродита, есть «некая соединительная сила» (31 В 17). Хотя «вражда и любовь без очереди господствуют над людьми, зверями и птицами» (В 20), но сферос «гордый в своей замкнутости» (В 28) является «царством любви» (В 27).— *80*.

5

[15] По Эсхилу, забвение смерти было одним из даров Прометея человеческому роду («Прометей прикованный», 248).— *82*.

[16] Страх и Ужас — Фобос и Деймос в греческой мифологии были демоническими существами, спутниками бога войны («Илиада», XIII 298, XV 119) Ареса, затем перешедшие в разряд поэтических тропов (Тиртей, фр. 7, 2; Эсхил. Семеро против Фив, 259). Страх, Ужас и родственные с ними — Безумие, Вражда, Преступление, Месть — рассмотрены в историческом аспекте в кн.: Gruber J. Über einige abstrakte Begriffe des frühen Griechischen. Meisenheim an Glan, 1963.— *83*.

6

[17] Еврипид, фр. 457 из недошедшей трагедии «Кресфонт».— *86*.

[18] Схолиаст к этому месту поясняет, что в ответ на отказ сиракузян заключить мир Еврипид, посланный для этого, пристыдил их, так как нельзя отказать тому, кто просит в первый раз. Возможно, такой рассказ основан на свидетельстве Плутарха об огромном влиянии таланта Еврипида, благодаря которому после поражения афинян

в сицилийской экспедиции 413 г. жители Сицилии отпускали пленных и кормили тех, кто знал наизусть стихи Еврипида («Никий», XXIX).— *86*.

[19] Раздел этот произошел в 439 г. после подавления Периклом восстания на о-ве Самос. *Кидий* — лицо малоизвестное (см. Плутарх. Перикл, 26).— *87*.

[20] Об *Антифонте* см. прим. 6 к кн. II. Плутарх рассказывает, что Антифонт был казнен после того, как на вопрос Дионисия, какая медь самая лучшая, ответил, что та, из которой сделаны статуи тираноубийц Гармодия и Аристогитона. (Quomodo adulator ab amico internoscatur, 27).— *87*.

7

[21] Греч. phormos означает «рогожа, плетенка, корзина, ноша, хлебная мера» (корень pher «несу»). Какой факт имеется здесь в виду, неизвестно.— *88*.

8

[22] Знаменитые слова Аристотеля в «Поэтике» о трагическом катарсисе связаны с понятиями страха и сострадания (6, 1449 b 27 сл.), от которых должен очиститься зритель в античном театре, переживая судьбу героя. Аристотель полагает, что сострадание вызывает герой, по характеру обязательно «соизмеримый» зрителю, «подобный ему», не лишенный недостатков («Поэтика», гл. 13). Эта мысль вполне совпадает с высказываниями в данной главе о страдании и печали в связи с бедствиями «близких нам», об их возможности для «нас самих», для «кого-нибудь из наших», «кого-нибудь из близких».

Софисты, и особенно Горгий, придавали огромное значение умению ритора «пробудить сострадание», «приумножить его». Горгию как мастеру красноречия важно овладеть слушателем, проверить на нем власть слова, в равной мере то внушая ему сострадание и жалость, то «изгоняя страх и уничтожая печаль» («Похвальное слово Елене», 8 Diels).— *89*.

[23] Неясно, о каком факте здесь упоминает Аристотель.— *90*.

[24] Ср. об этом рассказ Геродота (III 14) о сыне египетского царя *Амазиса* — Псаммените, побежденном персидским царем Камбизом, сыном Кира. Псамменит сдержался, увидев свою дочь в рабском одеянии и сына, ведомого на казнь, но разрыдался при виде друга, просящего милостыню. На вопрос Камбиза он ответил, что собственное горе его слишком велико для оплакивания, но «достойно слез бедствие друга, который на пороге старости от довольства и счастья перешел к нищете». Камбиз решил помиловать сына Псамменита, удивленный словами египетского царя, но тот, как оказалось, уже был казнен.— *90*.

[25] Ср. выше, прим. 22 о сострадании к близким.— *90*.

9

[26] В «Никомаховой этике» Аристотель дает такое определение: «Негодование — средина между завистью и злорадством, это душевное расположение касается страдания и наслаждения, которое мы испытываем при случайностях, коим подвержены наши ближние. Человек негодующий испытывает страдание при виде незаслуженного счастья дурных людей; завистливый идет далее, и всякое счастье ближних доставляет ему страдание; злорадный человек не только не страдает при виде бедствий других, а напротив, испытывает радость» (II 7, 1108 a 35 — b 6).— *92*.

[27] «Илиада», XI 543 сл. Речь идет о троянском герое, сыне царя Приама Гекторе.— *92*.

10

[28] Эсхил, фр. 305, из недошедшей трагедии, название которой не установлено.— *94*.

[29] *Геркулесовы столпы* — Гибралтар.— *94*.

[30] См. выше, прим. 13.— *94*.

12

[31] Здесь Аристотель противопоставляет страсть (pathos) и нрав, обычай (ethos), т. е. сильное душевное переживание противопоставляется устойчивости характера. Древние связывали с этосом не только понятие устойчивости, но и некую направляющую силу, которая как бы формирует сущность человека. Гераклит, например, говорит: «Этос человека есть его демон» (B 119). Пафос — необходимая часть трагедии, это «действие, причиняющее боль» («Поэтика», гл. 11). Однако этос как некая устойчивая сила также необходим для трагического героя, особенно так называемый chrēston ethos, т. е. хороший нрав без излишней идеализации, вызывающий сочувствие зрителя («Поэтика», гл. 13). См. об этом: Schütrumpf E. Die Bedeutung des Wortes ēthos in der Poetik des Aristoteles. München, 1970.

Аристотель развил художественное значение этоса ораторской речи, понимаемого как соответствие ее намерениям и замечаниям автора, а также этоса музыки, воспитывающей человека. Поздние теоретики искусства (Дионисий Галикарнасский, Лонгин, Квинтилиан) понимали пафос и этос как выражение двух типов стиля — аффективного и спокойного, того, что «причастен возвышенному» и «причастен удовольствию» (Лонгин, гл. 29).— *96.*

[32] Схолиаст к этому месту разъясняет, что здесь упоминается попытка склонить аргосского героя и прорицателя *Амфиарая* на союз с вождями, идущими войной против Фив. Амфиарай не взял денег или, по другой версии, отказался от сокровищ, предложенных его жене Адрастом, чем вызвал изречение Питтака, одного из семи мудрецов. В этом объяснении есть ряд несообразностей. Питтак — лицо историческое, выборный митиленский (о. Лесбос) верховный правитель «эсимнет» (VII—VI вв. до н. э.). О нем читаем у поэта Алкея, друга, а затем политического врага Питтака (фр. 72, 73, см. в изд.: Lyra graeca, ed. J. M. Edmonds, v. I. London, 1963). Поход же семерых вождей был за поколение до взятия Трои, т. е. относится к последней четверти II тысячелетия до н. э. По мифологической традиции, Эрифила, жена Амфиарая, приняла ожерелье от своего брата Адраста и склонила мужа участвовать в походе. («Одиссея», XI 326 сл.) Колесница Амфиарая была поглощена землей, а сам он обрел бессмертие за то, что увещевал вождей не разрушать Фивы.— *96.*

[33] *Хилон* — спартанец, один из семи мудрецов. Изречение «Ничего сверх меры» (10, 3 Diels) приписывают Солону; Клеобулу из Линда: «Мера — наилучшее» (там же). Хилону же, по традиции, принадлежат слова: «Познай самого себя» (там же). Изречения семи мудрецов помещены в издании Г. Дильса (т. 1, гл. 10).— *97.*

13

[34] *Биант* — один из семи мудрецов, родом из Приены (VI в. до н. э.) в Ионии. Прославился изречением: «Все мое с собой ношу». Упомянутые Аристотелем слова Бианта приводит Диоген Лаэртский (I 87), который дает в первой книге жизнеописание всех семи мудрецов.— *97.*

[35] Ср. это определение *прекрасного* с тем, которое дает платоновский Сократ в «Гиппии большем» (297 b): «Если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному». Здесь чувствуется телеологическое, целесообразное представление о прекрасном; выдвигается его этический смысл. У Аристотеля эта сторона несколько ослаблена.— *98.*

14

[36] Аристотель следует здесь известной античной традиции. В 19-й элегии Солона (VII—VI вв. до н. э.) находим символическое понимание числа 7 — гебдомады: ребенок в семь лет меняет зубы, вторая седьмица — зрелость, третья — возмужание, четвертая — расцвет, или акме, пятая — вступление в брак, шестая — укрепление разума.

Но лишь в седьмую седьмицу с восьмой вместе — будет в обоих
Равно четырнадцать лет — ум расцветает и речь.

В девятую седьмицу доблесть уступает мудрости, а десятая — ожидание смерти. По Платону, мужчина достигает полноты сил в 25—30 («Законы», VI 772) или в 30—35 лет (там же, 785 b). Данный возраст считался «цветущим» для вступления в брак, сообразуясь со старым предписанием поэта Гесиода: «До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли. Лет тридцати жениться — вот самое лучшее время» («Работы и дни», 696—698).— *99.*

15

[37] *Алкивиад* (ок. 450—403 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец, известный своим политическим авантюризмом. Прекрасно образованный и талантливый человек, в юности был близок к Сократу, но позднее отдалился от него. Ксенофонт («Воспоминания о Сократе», I 2, 12) писал о нем: «Алкивиад при демократии среди всех отличался невоздержанностью, заносчивостью, склонностью к насилию».

Сиракузский тиран *Дионисий Старший* имел сына, тоже тирана, Дионисия Младшего, к которому дважды приезжал Платон для философских наставлений. О жестокости обоих и тяжелых взаимоотношениях с Платоном см.: Плутарх. Дион, а также седьмое письмо Платона (Платон. Соч., т. 3, ч. 2).

Кимон (ок. 504—449 до н. э.) — известный государственный деятель и полководец времени греко-персидских войн, укрепивший морской союз греков во главе с Афинами. О нем см.: Плутарх. Кимон. О детях Кимона неизвестно.

В диалоге Платона «Протагор» говорится, что *Перикл* дал прекрасное и тонкое воспитание своим сыновьям — Паралу и Ксантиппу, но «в чем он сам мудр, в том ни сам их не воспитал, ни другим того не поручил» (319 e). В «Алкивиаде Первом» они названы глупыми (118 e).

У *Сократа* и Ксантиппы было три сына — старший Лампрокл и двое младших — Софрониск и Менексен. Плутарх в жизнеописании Катона Старшего сообщает, что этот последний уважал Сократа за то, что тот был снисходителен и ласков со сварливой женой и «тупыми детьми» (гл. 20).— *99.*

16

[38] *Гиерон* — тиран Сиракузский (ум. 467 г. до н. э.), известный своим покровительством искусствам и наукам. Его воспел Пиндар, к нему приезжали Эсхил и Симонид Кеосский.

Платон в «Государстве» пишет, что «неестественно... чтобы мудрецы обивали пороги богачей,— ошибался тот, кто так острил» (VI 489 c). Схолиаст и Аристотель отвергают принадлежность этих слов Симониду, приводя разговор между Сократом и неким Евбулом, которому Сократ остроумно возразил: мудрецы у дверей богатых знают, что им нужно из того, что раздают богачи, а эти последние не знают, что они получают от мудрецов. Близкий к этому рассказ о беседе философа киренаика Аристиппа и тирана Дионисия Сиракузского находим у Диогена Лаэртского (II 8, 69).— *100.*

18

[39] См. «Риторика», I 8.— *101.*
[40] См. там же, 3.— *101.*
[41] См. там же, 9.— *102.*

19

[42] *Просхизма, кефалида* и *хитон* — части обуви.— *102.*
[43] Агафон, фр. 8 из неизвестной трагедии.— *103.*
[44] *Евфин* — некий афинянин, выступивший с речью против знаменитого оратора Исократа. Известна речь Исократа против Евфина (XXI).— *103.*

20 Заказ № 637

20

[45] *Эзоп* — полулегендарный греческий баснописец VI в. до н. э., с именем которого связывают несколько сот басен. См. Басни Эзопа, пер. М. Гаспарова. М., 1968.

В «Прогимнасматических упражнениях» ритора Гермогена в главе о басне (peri mythoy) перечисляются некоторые древние авторы басен (Гесиод — басня о соловье и ястребе; Архилох — о лисице), а также дается разделение по местностям, где они распространялись впервые — кипрские, ливийские, сибаритские. Упоминаются те, что обычно именуются эзоповыми (I 9—11) (Rhetores graeci, ed. Ch. Walz, v. I. Stuttgart, 1832).— *104.*

[46] Возможно, идет речь об Артаксерксе III, который вторгся в Египет в 350 г. до н. э.

Дарий I — персидский царь (VI в. до н. э.), прославившийся укреплением и расширением своего государства. При нем начались греко-персидские войны.— *104.*

[47] *Ксеркс* — сын царя Дария, известный своей надменностью и деспотизмом. Возглавил войну против греков и был разбит ими при Саламине, Платее, Микале (485—465 гг. до н. э.). Позор поражения Ксеркса изображен в трагедии Эсхила «Персы».— *104.*

[48] *Стесихор* (VII—VI вв. до н. э.) из Гимеры в Сицилии — лирический поэт, автор хоровых песен и устроитель хоров (отсюда и его имя). К строфе и антистрофе хора добавил еще эпод, так называемый припев. У Суды (v. Stesichoros) читаем: «Говорят, что он, написав хулу на Елену, был ослеплен. По велению же во сне заново сочинил Елене хвалу, палинодию (букв. «обратную песнь») и вновь прозрел». То же в речи Исократа (X 64). Фрагменты Стесихора см. в издании Диля (т. II) и в издании Эдмондса (т. III).

Фаларид — тиран из Агригента в Сицилии (VI в. до н. э.). Стесихор предупреждал относительно него жителей Гимеры. Известен медный бык, в котором Фаларид сжигал приговоренных к смерти. Данное поучение Стесихора засвидетельствовал только Аристотель. Плутарх в жизнеописании Арата (гл. XXXVIII) приписывает близкий сюжет об охотнике, взнуздавшем коня, Эзопу.

Данная басня в издании «Басни Эзопа» (М., 1968) помещена под номером 370; в издании Хаусрата отсутствует (Corpus fabularum aesopicarum, ed. A. Hausrath, H. Hunger, v. I, fasc. 1—2. Lipsiae, 1959—1970).— *105.*

21

[49] Еврипид. Медея, 294—297.— *106.*

[50] Еврипид, фр. 661 из недошедшей трагедии «Сфенебея».— *106.*

[51] Еврипид. Гекуба, 864.— *106.*

[52] Там же; 865.— *106.*

[53] Эти стихи схолиаст к «Горгию» Платона приписывает поэту Симониду Кеосскому (фр. 4 сколия, т. е. застольной песни) или комику Эпихарму (фр. 262).— *107.*

[54] Еврипид. Троянки, 1051.— *107.*

[55] См выше, прим. 49.— *107.*

[56] Фр. 79 N.—Sn. adespoton, т. е. принадлежащий неизвестному трагику.— *107.*

[57] Эпихарм, фр. 263.— *107.*

[58] Ср.: Деметрий. О стиле, прим. 106.

Ссылка на это изречение Стесихора есть в изд.: Poetae lyrici graeci, ed. Th. Bergk, pars. III. Lipsiae, 1877, p. 996; в собрании Диля отсутствует.

Смысл поучения Стесихора таков: если локрийцы начнут войну, то страна будет разорена и даже кузнечики, вернее цикады, не смогут распевать на деревьях.— *107.*

[59] «Илиада», XII 243, XVIII, 309 (слова Гектора).— *108.*

[60] Ср. «Риторика», I 15, прим. 100, а также приписываемый поэту Стасину фр. 20, из собрания греческих эпиков (Epicorum graecorum fragmenta, ed. G. Kinkel, v. I, Leipzig, 1877).— *108.*

[61] Имеется в виду дурной сосед. Пословица возникла в связи с агрессивной политикой афинян.— *108.*

[62] См. выше, прим. 33.— *108.*

[63] Здесь, видимо, подразумевается полководец Ификрат, человек низкого происхождения, см. также прим. 47 к кн. I.— *108*.

22

[64] См. «Риторика», I 2; II 21.— *109*.

[65] Еврипид. Ипполит, 988. сл.— *109*.

[66] При *Саламине* в 480 г. до н. э. греки под руководством Фемистокла разбили персидский флот.

В битве при *Марафоне* в 490 г. до н. э. греки под руководством Мильтиада разбили персов.

Гераклиды — пелопоннесские цари, считавшие себя потомками Геракла и его сына Гилла и потому претендовавшие на наследственное владение страной.— *110*.

[67] Афиняне после битвы при Саламине, боясь возвышения о-ва Эгина, имевшего хороший флот, разбили *эгинетов*, заставили срыть городские стены и платить дань (457 г. до н. э.). *Потидейцы* — жители Потидеи — были союзниками афинян в борьбе против персов, но в Пелопоннесскую войну город сдался афинянам (432 г. до н. э.), жители были выселены и на их место пришли афинские колонисты.— *110*.

[68] «Топика», I 14.— *110*.

[69] *Диомед* — сын Тидея, один из ахейских вождей под Троей. Подвиги его описаны в «Илиаде» (V).— *111*.

[70] *Кикн* — сын Посейдона, союзник троянцев. Будучи неуязвимым для оружия, был задушен ремнем от шлема. Об его убийстве Ахиллом и превращении в лебедя (греч. cycnos «лебедь») см.: Овидий. Метаморфозы, XII 63—145.— *111*.

23

[71] Речь ритора Алкидаманта, ученика Горгия. См. «Риторика», I 13, прим. 89.— *112*.

[72] Фр. 80 неизвестного трагика.— *112*.

[73] Еврипид, фр. 396 из недошедшей трагедии «Фиест».— *112*.

[74] *Теодект* (IV в. до н. э.) — оратор и трагик, ученик Исократа, Платона и Аристотеля. Был автором 50 трагедий. Герой его одноименной трагедии Алкмеон, сын Амфиарая, убийца своей матери Эрифилы, затем муж Алфесибеи, удалившийся от нее и убитый впоследствии ее братьями. Здесь фр. 2 из «Алкмеона».— *112*.

[75] Знаменитого оратора *Демосфена* (385—322 до н. э.) предали суду, когда после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) он поднял греков против македонцев. Демосфен бежал на о-в Калаврия в храм Посейдона и принял яд (см. Плутарх. Демосфен, гл. XXIX).

Никанор — полководец Александра Македонского, после смерти которого претендовал на власть, но был убит.— *112*.

[76] Речь идет об *Евфроне*, историю которого рассказывает Ксенофонт в «Греческой истории» (VII 3, 5).— *112*.

[77] Фр. 81 из недошедшей трагедии.— *113*.

[78] *Тесей* впервые похитил Елену вместе со своим другом Перифоем, но в его отсутствие братья Елены освободили сестру (см. Плутарх. Тесей, гл. XXXI).

Александр — греческое имя троянского царевича Париса.

Тиндариды — Кастор и Полидевк, дети Тиндара и Леды, братья Елены, похитители дочерей Левкиппа, своих двоюродных сестер (Pind. Nem., X 60—170 — подробный рассказ о судьбе братьев).— *113*.

[79] *Ификрат* (о нем см. прим. 47 к кн. I) был обвинен неким Гармодием, потому что поставил себе статую. Речь Ификрата против Гармодия приписывалась оратору-логографу Лисию (fr. XVIII) (Oratores attici, ed. C. Müller, II, Parisiis. 1858).— *113*.

[80] Имеются в виду события, предшествовавшие Херонейской битве (338 г. до н. э.), когда греки потеряли свою самостоятельность, сражаясь с царем Филиппом II Македонским.— *113*.

[81] Трагедия Софокла «Тевкр», сохранились фр. 519—521.— *113.*

[82] Речь Ификрата против Аристофонта также приписывалась Лисию (fr. XVI). Аристофонт обвинял Ификрата в предательстве.— *113.*

[83] Имеется в виду, очевидно, знаменитый греческий полководец V в. до н. э. *Аристид*, прославившийся своей справедливостью, честностью и бескорыстием (см. Плутарх. Аристид).— *114.*

[84] «Демонион», или «гений», Сократа, внутренний голос, с детства предостерегавший его от разных поступков (Платон. Апология Сократа, 31 d; Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I 1, 2—5; Плутарх. О гении Сократа; Апулей. О боге Сократа).— *114.*

[85] Имеется в виду речь Ификрата против Гармодия (см. выше, прим. 79).— *114.*

[86] «Александр», видимо, речь, предметом обсуждения которой был Парис.— *114.*

[87] Диоген Лаэртский сообщает, что Сократ не принял приглашения македонского царя Архелая и других владетелей, Скопаса и Еврилоха (II 5, 25).— *114.*

[88] *Пепареф* — один из Кикладских островов с городами Панорм и Селинунт (не путать с Сицилией!). Царь Филипп II Македонский опустошил этот остров.

Ср. рассказ Геродота (VI 67—69) о матери спартанского царя Демарата, раскрывшей ему тайну его рождения.

У оратора Лисия есть речь против некоего *Мантия* (фр. 163). Оратор Эсхин в одном из писем упоминает ритора-грамматиста Мантия (IV, 2).

Здесь приводятся примеры судебных казусов частных лиц, нигде больше не засвидетельствованных.— *114.*

[89] О *Теодекте* см. выше, прим. 74. «Закон»,— может быть, наименование его речи.— *114.*

[90] Здесь перечисляются знаменитые античные поэты, философы и мудрецы.

Архилох — ямбограф с о-ва *Парос* (VII в. до н. э.), который оклеветал в стихах свою бывшую невесту и ее родных, так что вся семья, по преданию, повесилась.

О-в *Хиос* претендовал считаться родиной *Гомера.* На Хиосе существовали содружества певцов «гомеридов» со своими традициями, возводивших себя к Гомеру. Есть предание, что Креофил с о-ва Хиос был женат на дочери Гомера, получил от последнего в дар «Илиаду» и принял поэта в свой дом (схолиаст к «Государству» Платона, IX 600 b). По Страбону, Креофил — с о-ва Самос (XIV 1, 18).

Сафо — знаменитая поэтесса с о-ва Лесбос (VII—VI вв. до н. э.), основательница песенной любовной лирики. Почиталась как десятая муза, в ее честь были выбиты монеты.

Хилон — один из так называемых семи мудрецов.

Пифагор (VI в. до н. э.) из г. Регия (ю. Италия), с именем которого связано много легенд. В Кротоне основал школу, где уделялось особое внимание математике и аскетическим упражнениям.

Анаксагор из Клазомен (V в. до н. э.) — философ, современник Сократа и друг Перикла, был изгнан из Афин за свои взгляды. Писал, что Солнце — раскаленная глыба, а Луна — тело, подобное земле. В Афинах во время процесса над Анаксагором было внесено предложение «считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления» (59 А 17). Смертная казнь была заменена изгнанием по просьбе Перикла.

Жизнеописание *Солона* см: Плутарх. Солон.

Ликург — полулегендарный спартанский законодатель, известный своей суровостью. О нем см.: Плутарх. Ликург.— *115.*

[91] Упоминаются различные ораторы, философы, поэты, правители.

Автокл (V—IV вв. до н. э.), по словам Ксенофонта («Греческая история», VI 3, 7), пользовался репутацией очень остроумного оратора.

Имеется в виду суд афинского Ареопага над героем Орестом, убившим свою мать и вызванным на суд богинями мести Эриниями, или Евменидами (см. Эсхил. Орестея).

Сафо, фр. 137 Bergk.

В собрании Диля отсутствует. В русском переводе В. Вересаева читаем:

Смерть есть зло. Самими это установлено богами.
Умирали бы и боги, если б благом смерть была.

Аристипп — философ из Кирены, основатель школы гедонистов (греч. hedonē «наслаждение»). Ученик Сократа и современник Платона.

Гегесиполид, или Агесиполид, по Ксенофонту («Греческая история», IV 7, 2—7), спартанский военачальник, вопросил перед походом на Аргос Зевса в Олимпии и Аполлона в Дельфах, получив их одобрение.

Исократ (436—338 г. до н. э.) — афинский оратор, пользовавшийся большим влиянием в политической жизни. После победы македонцев над греками при Херонее (338 г. до н. э.) покончил с собой. Здесь имеется в виду его десятая речь, посвященная Елене.

Евагор (V—IV вв.) — кипрский царь, в честь которого Исократ написал девятую речь. Был просвещенным и талантливым человеком, распространял греческую образованность. Покровительствовал афинскому полководцу *Конону*, которого принял у себя во время падения независимости Афин. Конон восемь лет находился в изгнании, но с помощью персидских союзников восстановил Афины и ослабил роль Спарты.— *115*.

92 Видимо, у Теодекта была речь, представляющая апологию Сократа.— *115*.

93 *Каллипп* — афинский ритор, ученик Исократа, увенчанный согражданами золотым венком. Упоминается Исократом (XV, 93).— *115*.

94 Этот топ встречается также у ритора Григория Коринфского (VII р. 1153 Walz).— *116*.

95 Пословица предполагает, видимо, что вместе с полезной покупкой соли, обычно покупают никому не нужную грязь, от которой соль еще не очищена. По своему звучанию на греческом языке соль и болото близки (hals «соль», в вин. п. мн. ч. halas; helos «болото»). Таким образом, внешняя общность слов не мешает внутреннему различию.— *116*.

96 Ксенофан, 21 А 12.— *116*.

97 Фр. 82 неизвестного трагика.— *117*.

98 Фр. 2 из трагедии «Мелеагр».— *117*.

99 От «Аякса» Теодекта фрагментов не дошло. Сохранилось только свидетельство Аристотеля.— *117*.

100 *Памфил* — ритор, ученик Платона. Цицерон пишет в трактате «О природе богов» (I 26): «Эпикур признается, что, будучи на Самосе, он слушал некоего Памфила, Платонова ученика; однако этого платоника сам Эпикур презирает, боясь показать, что он у кого-нибудь учился».— *117*.

101 *Андрокл* — афинский демагог и оратор, ставший после устранения Алкивиада во главе демократов. Обвинил Алкивиада в святотатстве по делу о разбитых гермах, т. е. изображениях Гермеса (см. Плутарх. Алкивиад, XIX).— *117*.

102 О *Леодаманте* см. прим. 41 к кн. I.

Фрасибул из Коллита — оратор, современник знаменитого Фрасибула, свергнувшего власть Тридцати тиранов в Афинах. Тоже участвовал в освобождении Афин. Был в почете у фиванцев, стоял во главе флота, отправленного в Малую Азию в 80-х годах IV в. до н. э.— *118*.

103 Ксенофан, 21 А 13.

Левкотея — морская нимфа, в которую превратилась по воле богов Ино, дочь Кадма и жена Афаманта, бросившись в безумии в море.— *118*.

104 *Каркин* — афинский трагик V—IV вв. до н. э. из семьи драматургов, члены которой прославились своей посредственностью и подражанием Еврипиду. В комедиях Аристофана множество насмешек над этим семейством. Дошли фрагменты нескольких трагедий из числа около двухсот.

Медея — колхидская царевна, возлюбленная героя Язона, аргонавта, с ее помощью добывшего золотое руно, оставленная им и убившая из мести своих детей.— *118*.

105 *Феодор* — ритор из г. Византий, современник знаменитого оратора-логографа Лисия.— *118*.

106 Софокл, фр. 597 из недошедшей трагедии «Тиро». Здесь игра слов: греч. sidēros «железо» близко к женскому имени Sidērō «Сидеро».— *119*.

107 О *Кононе* см. выше, прим. 91.

Фрасибул — буквально «смелый на совет» (греч. thrasys «смелый», boylē «совет»).

Геродик — известный врач. О нем см. прим. 31 к кн. I.

Фрасимах — буквально «смелый в борьбе» (греч. thrasys «смелый», mache «борьба»).

Греч. pōlos «жеребенок».— *119.*

108 *Дракон* — легендарный афинский законодатель VII в. до н. э., греч. dracōn «змей», «дракон».— *119.*

109 Еврипид. Троянки, 999 сл. Афродита созвучна по греч. Афросине (aphrosynē «безумие»).— *119.*

110 *Херемон* — афинский трагик V—IV вв. до н. э. Здесь фр. 4 из недошедшей трагедии «Дионис».

Пенфей — царь Фив, внук Кадма и двоюродный брат Диониса, не признавший его богом и за это растерзанный вакханками. Имя его созвучно «скорби» (греч. penthos «скорбь», «печаль»).— *119.*

24

111 Речь Исократа в честь Евагора, IX 65—69.— *119.*

112 Пиндар, фр. 96 (Pindari carmina cum fragmentis, pars. I—II, ed. B. Snell, H. Maehler. Lipsiae, 1971—1975).

Имя бога Пана напоминает собой слово «все» (греч. pan), что близко к пониманию сущности этого божества, выражающего всеобщую изменчивость природных сил.— *120.*

113 *Гермес* — истолкователь воли богов, их вестник, покровитель путников на земле и водитель душ в загробном мире. Действительно, по своим функциям бог общий для всех областей, небесных, земных и подземных.— *120.*

114 *Поликрат* — софист, ритор. Вместо «тирании Тридцати» как некоего единства говорится «Тридцать тиранов».— *120.*

115 Фр. 5 из недошедшей трагедии Теодекта «Орест».— *120.*

116 Ср. Платон. Пир, 178 с, 182 с. (о любви Гармодия и Аристогитона).— *121.*

117 Ср. рассказ Геродота (II 141) о мышах, которые погрызли колчаны, луки, рукоятки от щитов у арабов, напавших на египетского царя Сета.— *121.*

118 Ср. «Хрестоматию» Прокла (p. 104), где говорится, что на о-ве Тенедос перед походом на Трою Ахиллес, позже приглашенный на пир, поссорился с Агамемноном (Homeri opera, rec. Th. Allen, v. V. Oxonii, 1912).— *121.*

119 Парис пас стада на горе *Ида* в окрестностях Трои.— *121.*

120 *Демад* — афинский оратор (IV в. до н. э.), современник и враг Демосфена, защитник идей македонской партии. Казнен Антипатром.— *121.*

121 У Еврипида в «Ифигении в Авлиде» читаем о словах царя Тиндара, отца Елены:

Любого, дочь, ты выберешь — плыви,
Куда влечет Киприды дуновенье.

(68 сл.) — *121.*

122 Фр. 9 из недошедшей трагедии Агафона.— *122.*

123 *Коракс* — сицилийский ритор (V в. до н. э.), учитель Тисия, вместе с которым они определили риторику как «демиурга убеждения» (IV, p. 9 Walz) и строили свои доказательства на основе «вероятности», установив технику разделения речи на части. Коракс и Тисий, учителя Горгия Леонтинского, заложили основы античной риторики (VI, p. 13).— *122.*

124 *Протагор* — афинский ритор и софист (V в. до н. э.), который довел диалектику Гераклита до крайностей релятивизма. В старости был обвинен в вольнодумстве, и книги его были сожжены в Афинах. Фрагменты Протагора см. в издании Г. Дильса (т. II, гл. 80). См. также: Платон. Соч., т. 1 («Протагор»).— *122.*

25

[125] Овидий в «Метаморфозах» (IX 450—665) рассказывает о любви Библиды к своему брату Кавну, отвергнувшему ее.— *123*.

[126] Об этом законе Питтака см.: Аристотель. Политика, II 12, 1274 b 18—23.—*123*.

[127] «Вторая Аналитика», II 27.— *124*.

[128] Там же.— *124*.

26

[129] *Топ* — общее положение, объективное наличие которого предполагается вне логического доказательства (силлогизма). Будучи введен в доказательство и став его элементом, топ нарушает вывод, формально получаемый из посылок силлогизма. Учение Аристотеля о топах приближает формальную логику к логике самой жизни, чреватой неожиданностями. Аристотель называет учение о топах настоящей диалектикой и риторикой.

Книга третья

1

[1] См. «Риторика», I 2.— *127*.

[2] См. «Риторика», II 22 и сл.— *127*.

[3] О *Главконе*, толкователе Гомера, упоминают Платон («Ион», 530 d) и сам Аристотель в «Поэтике» (гл. 25).— *127*.

[4] Извлечения из различных риторик, дающих наставления по стилю и его важнейшим компонентам, см. в сб.: Античные теории языка и стиля, под ред. О. Фрейденберг. М.—Л., 1936.— *128*.

[5] *Фрасимах* из Халкедона, ритор и софист, является одним из действующих лиц «Государства» Платона.

Это был самоуверенный и упрямый человек, которого, однако, ценили за «ясный, тонкий, находчивый» ум, за умение «говорить то, что он хочет, и кратко и очень пространно» (85 B 13). Фрасимах кончил жизнь самоубийством (там же, B 7).— *128*.

[6] *Горгий* — знаменитый ритор из Леонтин в Сицилии (483—375 гг. до н. э.), один из главных основателей софистики, с 427 г. жил в Афинах. См. диалог Платона «Горгий» (Платон. Соч., т. 1).— *128*.

[7] *Тетраметр* — четырехстопный хорей; *ямб* — двухсложная стопа, состоящая из краткого и долгого слогов (V —). Диалогические части трагедии обычно писались ямбом. Некоторые, особенно патетические, места писались тетраметром (см., например: Еврипид. Вакханки, 604—641).

Гексаметр — шестистопный дактиль с возможностью замены дактилических стоп спондеем и с усеченной последней стопой. Греческое стихосложение было основано на пропорциональном чередовании долгих и кратких слогов и различало три главных типа ритмических форм: равные, где долгая часть стопы равна ее краткой части (2 : 2 — дактиль — V V; анапест V V —; спондей — —); двойные формы, где долгая часть стопы вдвое длиннее, чем краткая (2 : 1 — ямб V —; трохей, или хорей — V; ионики V V — —); полуторные формы, где долгая часть стопы в полтора раза длиннее краткой (3 : 2 — все четыре вида пеонов — V V V, V — V V, V V — V, V V V —, кретик — V —, бакхий — — V). Об этих ритмических формах, так называемых двудольных, трехдольных и пятидольных, см. в кн.: Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. М., 1960—1961, с. 94—104. Древние авторы особенно отличали стилистическую окраску ритмов: «важность», «торжественность», «величавость» дактило-спондея, образующего гексаметр; «ужас» и «страшность» трохея; «быстроту» и «неукротимость» ямба; «расслабленность» иоников; «энтузиастичность» пеонов, связанных с оргиастическим культом фригийской Великой матери богов Кибелы и ее окружения.— *129*.

2

[8] Имеется в виду «Поэтика», гл. 22.— *129.*

[9] *Феодор* — знаменитый трагический актер, о могиле которого в Аттике на берегу Кефиса сообщает Павсаний (I 37, 3).— *129.*

[10] Творчество великого греческого драматурга *Еврипида* (480—406/405 гг. до н. э.) наряду с эпосом Гомера часто используется Аристотелем не только для подтверждения своих теорий, поэтики и риторики, но и политики, этики и учения о животном мире.—*130.*

[11] См. «Поэтика», гл. 21.— *130.*

[12] См. «Риторика», III 3 и 7.— *130.*

[13] О *метафоре* по учению Аристотеля см. ст.: Тахо-Годи А. А. Античные истоки традиционного представления о метафоре. В кн.: Иноземна філологія, 9. Львів, 1966.— *130.*

[14] См. «Поэтика», гл. 21, 22.— *130.*

[15] *Каллий*, сын Гиппоника, знатный и богатый афинянин, посвященный в Элевсинские таинства Деметры, носивший почетное звание дадуха, т. е. факелоносца. Об этом см.: Ксенофонт. Греческая история, VI 3, 4.

Жрецы фригийской богини Кибелы, Великой матери богов, в экстазе оскопляли себя. Таким образом, Ификрат намекает на отсутствие мужественности у Каллия.— *131.*

[16] *Дионисиевы льстецы* — художники, окружающие тирана сиракузского Дионисия Старшего.— *131.*

[17] Греч. poridzō «доставляю». Отсюда poristēs «сборщик налогов».— *131.*

[18] Фр. 705 из недошедшей трагедии Еврипида «Телеф».— *131.*

[19] *Дионисий* — аттический оратор V в. до н. э., советовавший афинянам чеканить медную монету.— *131.*

Каллиопа — муза, «прекрасноголосая», как и ее сестры, дочь Зевса, покровительница эпической поэзии.

[20] Эта загадочная строка приписывается поэтессе Клеобулине, фр. 1.

Плутарх («Пир семи мудрецов», X р. 154 b) говорит об Евметиде или Клеобулине.— *131.*

[21] *Ликимний* — греческий ритор, ученик Горгия (V в. до н. э.).— *131.*

[22] *Брисон* из Гераклеи — софист и математик, пытавшийся доказать квадратуру круга (Аристотель. Вторая аналитика, I 9).— *131.*

[23] Слова, характеризующие Ореста, убившего свою мать Клитемнестру, мстя за отца Агамемнона. См. Еврипид. Орест, 15.— *132.*

[24] Симонид Кеосский, фр. 19.— *132.*

[25] Комедия Аристофана не сохранилась, фр. 90.— *132.*

3

[26] *Ликофрон* — софист, которого не раз упоминает Аристотель (см., например, «Политика», III 5, 11).— *132.*

[27] *Скирон* — мифический разбойник, убивавший путников на границе, между Мегарой и Аттикой. Был убит афинским героем Тесеем.— *132.*

[28] *Дифирамб* — первоначально гимн в честь бога Диониса. Впоследствии — торжественная песнь на возвышенную тему.— *133.*

[29] Горгий, А 23. Дочь афинского царя Пандиона Филомела была превращена в соловья, ее сестра Прокна — в ласточку после совершенного ими вынужденного убийства (Овидий. Метаморфозы, VI 424—674).— *134.*

4

[30] *Андротион* — афинский оратор и деятель (IV в. до н. э.), ученик Исократа, современник Демосфена.

Идрией — Карийский династ (правитель), сын Гекатомна, брат известного царя Мавсола.— *134.*

[31] Лица, упоминаемые здесь, неизвестны.— *134.*

[32] П л а т о н. Государство, V 469 e.— *134*.

[33] П л а т о н. Государство, VI 488 b—d.— *134*.

[34] Фукидид (I 115) рассказывает об установлении афинянами под руководством Перикла на Самосе демократического правления вместо былой аристократии.— *134*.

[35] Это сравнение приписывается Периклу.— *134*.

[36] См. фрагменты речей Демосфена, p. 790 (Demosthenis opera, rec. J. Voemelius, Paris, 1878).— *134*.

[37] *Демократ* — аттический оратор и деятель, современник и соратник Демосфена (IV в.) — *134*.

[38] *Антисфен* — философ (V—IV вв. до н. э.), основатель кинической школы, один из учеников Сократа.— *134*.

[39] *Фиал* — чаша с широким дном.

Арес — бог жестокой и неупорядоченной войны в противовес Афине. *135*.

5

[40] Геродот рассказывает (I 53, 91) о лидийском царе *Крезе*, который перед походом на персов получил в Дельфах двусмысленный оракул, истолковал его в свою пользу, но был разбит Киром и тем самым разрушил свое великое царство.— *135*.

[41] Сочинения *Гераклита* (VI в. до н. э.) — знаменитого ионийского философа-диалектика — были полны загадочных метафор и символов, за что он сам получил прозвище Темного. Здесь 22 A 4 Diels: «К слову сущему всегда непонятливы люди» (пер. А. Маковельского).— *136*.

6

[42] Фр. 83 неизвестного трагика.— *136*.

[43] Е в р и п и д. Ифигения в Тавриде, 727.— *137*.

[44] *Антимах* из Колофона — эпический поэт и грамматик (V—IV вв. до н. э.), автор «Фиваиды», старший современник и друг Платона.

Тевмесса — гора в Беотии (ср. Греция).

Здесь Антимах Колофонский, фр. 2.— *137*.

7

[45] *Клеофонт* — аттический оратор и политик, о нем см. прим. 98 к кн. 1.— *137*.

[46] Имеется в виду «Федр» Платона, ср. I речь Сократа.— *139*.

8

[47] Аристотель в «Поэтике» (гл. 1) относит метр только к стихотворной форме, в то время как ритмическое чередование свойственно многим видам искусства и природе вообще. Ср. стихи Архилоха о «ритме человеческой жизни» (фр. 67 a). Само слово «ритм» первоначально обозначало особую разновидность протекания и, далее, форму движения (Э. Бенвенист).— *139*.

[48] О *пеоне* см. выше, прим. 7.— *139*.

[49] О характере ритмов см. там же.— *139*.

[50] Эти строки приписывались Бергком Симониду Кеосскому (фр. 26 B), однако в настоящее время они считаются фрагментами Дельфийских гимнов (3 a, b 4). Русский перевод (3 a) обращения к Аполлону: «Рожденный на Делосе или в Ликии»; (3 b) обращение к Гекате: «Златовласая Геката, дитя Зевса»; (4): «Ночь скрыла вслед за землей воды и океан».— *140*.

9

[51] Историк *Геродот* (V в. до н. э.) был родом из ионийского города Галикарнасса («История», т. I 1), а затем переселился на юг Италии, в Фурии.— *140*.

[52] Это стихи из недошедшей трагедии Софокла «Мелеагр» (фр. 515). Русский перевод:

Эта земля — Калидон
Пелоповой страны.

Слова «Пелоповой страны» относятся к следующей за этой строке. Однако данное строение стиха создает впечатление, что Калидон находился в Пелопоннесе (ю. Греция), хотя на самом деле он принадлежит Этолии (сев.-зап. Греция).— *140.*

[53] *Демокрит* Хиосский — музыкант.

Здесь, видимо, идет речь о *Меланиппиде* Старшем, дифирамбическом поэте V в. до н. э.

Первая строка — из поэмы Гесиода «Работы и дни» (265). Вторая — переделка следующего, 266-го, стиха: «Злее всего от дурного совета советчик страдает».— *141.*

[54] Этими словами оратор Исократ начал свой «Панегирик» (IV 1). Здесь и дальше примеры из данной речи Исократа.— *141.*

[55] Исократ, IV 35.— *141.*

[56] Там же, 41.— *141.*

[57] Там же, 48.— *141.*

[58] Там же, 72.— *141.*

[59] Там же, 89.— *141.*

[60] Там же, 105.— *141.*

[61] Там же, 149.— *141.*

[62] Там же, 181.— *141.*

[63] Там же, 186.— *141.*

[64] *Пифолай* и *Ликофрон* — братья жены тирана Александра из Фер, убившие его в 335 г. до н. э. и овладевшие Ферами, пока их не вытеснил Филипп Македонский, после чего Ликофрон и Пифолай, враждовавшие ранее с Афинами, искали их помощи, действуя подкупами.— *142.*

[65] Аристофан, фр. 649 из неизвестной комедии.— *142.*

[66] «Илиада», IX 526.

Далее Аристотель дает свои примеры на широко распространенные риторические фигуры.— *142.*

[67] Теодект был автором «Риторики», где развивал основные положения Аристотеля о риторическом искусстве. См. также прим. 74 к кн. II.— *142.*

[68] Эпихарм, фр. 147.— *142.*

10

[69] «Одиссея», XIV 214.— *143.*

[70] См. «Риторика», III 4.— *143.*

[71] Исократ, V 73.— *143.*

[72] См. прим. 49 к кн. I.— *143.*

[73] *Лептин* — афинский политик, современник Демосфена. Внес в народное собрание предложение ограничить освобождение от государственных податей, против которого выступил Демосфен в 356 г. до н. э. в речи «Против Лептина».

Лептин называет Афины и Спарту глазами Эллады, полагая, что афиняне должны помочь спартанцам, потерпевшим поражение от фиванцев. О посольстве лакедемонян в Афинах см.: Ксенофонт. Греческая история, VI 5, 33—49.— *143.*

[74] Оратор *Кефисодот* (середина IV в. до н. э.) выступил против полководца Харета, известного своим корыстолюбием. Войско, посланное во главе с ним на помощь городу Олинфу против Филиппа Македонского, не смогло оказать сопротивления и спасти город.— *143.*

[75] Имеется в виду *Демосфен*, призывающий идти на спасение Эвбеи так же, как некогда полководец Мильтиад (V в. до н. э.) без промедления выступил против Ксеркса.— *144.*

[76] *Парала* — афинский корабль, стоявший на якоре у мыса Суний. Употреблялся для посольства, священных обрядов и служил местопребыванием главы флота во время войны.

Сест — город и гавань во Фракии в самом узком месте пролива Геллеспонт против Абидоса.

Пирей — город и гавань вблизи Афин.

Метафора указывает на то, что от укрепленности Сеста зависит пропустить вражеские корабли дальше в центральную Грецию или нет.— *144.*

[77] Остров *Эгина,* вблизи Аттики, был соперником Афин благодаря своему флоту. С 457 г. до н. э. платил дань Афинам, стены города были срыты, а в 429 г. жители были выселены.— *144.*

[78] *Мирокл* — аттический оратор (IV в. до н. э.), противник македонской партии.— *144.*

[79] *Анаксандрид* — драматург эпохи средней комедии (первая половина IV в. до н. э.). См. фр. II 68.— *144.*

[80] Имеется в виду орудие для наказания преступников с отверстиями для головы, ног и рук.— *144.*

[81] *Полиевкт* — афинский оратор и политик, друг Демосфена, противник македонской партии.

Диоген Синопский — знаменитый философ-киник (V—IV вв. до н. э.), прославился своим остроумием.

Фидитии, или сисситии,— общие трапезы у спартанцев и критян.

Эсион — аттический оратор, современник Демосфена.— *144.*

[82] Лисий. Надгробная речь в честь афинян, павших при защите Коринфа, II 60. Имеется в виду гибель афинского флота в Геллеспонте. Аристотель ошибочно говорит о Саламине.— *144.*

[83] *Ликолеонт* — афинский оратор, ученик Исократа. Его речи, кроме одной — «В защиту Хабрия», неизвестны.

Хабрий — афинский полководец, победитель спартанцев при Эгине (388 г. до н. э.). Был оправдан от обвинения по поводу передачи Фивам Оропа (366 г. до н. э.) Погиб геройски в союзнической войне при Хиосе.

Статуя в честь Хабрия изображала его коленопреклоненным, так как он приказал войску в таком виде встретить врага. Здесь намек на умоляющую позу статуи.— *144.*

[84] Исократ, IV 150.— *144.*

[85] Там же, 172.— *144.*

[86] Там же, 180.— *144.*

11

[87] Слова из сколия, т. е. застольной песни, Симонида Кеосского (фр. 5). Перевод сколия см. в изд.: Платон. Соч., т. 1, с. 550.— *145.*

[88] Исократ, V 10, 127.— *145.*

[89] Еврипид. Ифигения в Авлиде, 80. Однако современные издатели Еврипида предпочитают другое чтение: «Тогда греки, потрясая стремительно копьями...».— *145.*

[90] «Одиссея», XI 598.— *145.*

[91] «Илиада», XIII 587, IV 126, XI 574, XV 542.— *146.*

[92] Одиссей («Одиссея», XI 593—600) видит в Аиде *Сизифа,* сына Эола, в наказание напрасно и бесконечно вкатывающего на гору камень.— *146.*

[93] «Илиада», XIII 797—799.— *146.*

[94] См. «Риторика», III 10.— *146.*

[95] *Архит* (V—IV вв. до н. э.) — философ-пифагореец из Тарента (ю. Италия), ученик Филолая, друг Платона.— *146.*

[96] *Крематра* — подвешенный короб, употреблявшийся в греческом театре как сценический аксессуар. См., например: Аристофан. Облака, 218.— *146.*

[97] Исократ, V 40.— *146.*

[98] См. прим. 58 к кн. II.— *146.*

[99] См. прим. 105 к кн. II.— *146.*

[100] Место, нигде больше не засвидетельствованное.— *146.*

[101] *Никон* — драматург времени новой комедии, автор комедии «Кифаред», от которой дошел единственный фрагмент (III 1 p. 389 Kock).— *147.*

[102] Игра слов, основанная на созвучии: thratto «тревожу», Thrattē «фракиянка».— *147*.

[103] Игра слов, основанная на созвучии: persai «погубить» и Persēs «перс».— *147*.

[104] Игра слов, основанная на двояком значении слова archē «начало» и «начальствование».— *147*.

[105] Исократ, V 61; VIII 101.— *147*.

[106] Игра слов, основанная на употреблении слова anaschetos «невыносимый» как имя собственное «Анасхет».— *147*.

[107] Фр. из комедии неизвестного автора (III 209).— *147*.

[108] Фр. II 64 Kock.— *147*.

[109] См. «Риторика», III 4 (начало).— *148*.

[110] См. там же (конец).

Ср. «Риторика», III 6 (конец): «Труба есть безлирная мелодия».

Ср. также у Гераклита (фр. B 51) о гармонии лиры и лука.

Форминга — струнный музыкальный инструмент.— *148*.

[111] *Никерат* — сын знаменитого афинского полководца Никия. Состязался с рапсодом Пратием в чтении «Илиады» и «Одиссеи». Никерат был казнен во время олигархии Тридцати тиранов (Ксенофонт. Греческая история, II 3, 39).— *148*.

[112] Фр. из комедии неизвестного автора (III 207).— *148*.

[113] Там же, 208.— *148*.

[114] На о. Карпат, между Критом и Родосом, были завезены зайцы, которые настолько там расплодились, что стали наносить огромный ущерб хозяйству.— *148*.

[115] Слова Ахилла, обращенные к посольству греческих вождей («Илиада», IX 385, 388—390).— *149*.

12

[116] О *Херемоне* см. прим. 110 к кн. II.

Логографы — ранние греческие историки, большей частью ионийцы, записывавшие предания и мифы о древних племенах и героях, об основании городов, их устройстве, святилищах и жертвоприношениях.

Ликимний с о-ва Хиос — поэт, писавший хоровые песни, от котороых дошло всего несколько фрагментов.— *149*.

[117] *Филемон* — известный актер (IV в. до н. э.).

О комедии *Анаксандрида* см. у Атенея (XIV 614 c).— *149*.

[118] *Амплификация* — риторическая фигура, так называемое усложнение.— *150*.

[119] «Илиада», II 671—673.— *150*.

[120] *Скиаграфия* — рисунок, оттененный таким образом, чтобы создать иллюзию пространства.— *150*.

13

[121] См. выше, прим. 21.— *151*.

14

[122] Исократ в речи, восхваляющей Елену, с осуждением говорит о софистах и их манере спорить, т. е. эристике (X 1—13).— *152*.

[123] Горгий, B 7 Diels.— *152*.

[124] Исократ, IV 1.— *152*.

[125] См. прим. 83 кн. II.— *152*.

[126] *Херил* — эпический поэт (V в. до н. э.), воспевший борьбу греков с персами. Он первый перешел к историческим темам, в то время как мифологические сюжеты остались достоянием традиционной поэзии (фр. 1 Kinkel).— *152*.

[127] Строка из дифирамба Тимофея, не дошедшего до нас (фр. 9).— *153*.

[128] «Илиада», I 1.— *153*.

[129] «Одиссея», I 1.— *153*.

[130] Ср. Херил фр. 1 а.— *153.*

[131] Софокл. Царь Эдип, 774.— *153.*

[132] *Продик* с о-ва Кеос (ок. 470 г. до н. э.) — софист, в учении которого преобладали моральные темы. Он занимался синонимикой языка, что характерно для софистов, придававших огромное значение слову.

Здесь имеются в виду идеи, которые сообщались только ученикам, уплатившим за обучение бо́льшую, чем обычно, сумму.— *154.*

[133] Софокл. Антигона, 223.— *154.*

[134] Еврипид. Ифигения в Тавриде, 1162.— *154.*

[135] См. «Риторика», II 1.— *154.*

[136] «Одиссея», VI 327.— *154.*

[137] Платон. Менексен, 235 d.— *154.*

[138] Горгий, В 10.— *155.*

15

[139] *Навсикрат* — оратор, ученик Исократа (IV в. до н. э.).— *155.*

[140] Возможно, здесь вспоминается обвинение Софокла в слабоумии, сделанное его сыном Иофонтом. В ответ на это Софокл прочитал перед судом свою последнюю трагедию «Эдип в Колоне».— *155.*

[141] Имеется в виду речь Еврипида (Oratores attici, ed. C. Muller, v. II, 1858, p. 306, frg. I) против некоего афинянина *Гигиенонта*, обвинившего его в безбожии. *Антидосис* — буквально «обмен», здесь «воздаяние, отплата за оскорбление».— *156.*

[142] Состязание в честь Диониса, здесь театральное состязание драматургов.— *156.*

[143] Недошедшая трагедия Софокла «Тевкр», фр. 519—521.

Тевкр — сын греческого героя Теламона и Гесионы, дочери троянского царя Лаомедонта, которую Теламон получил в виде добычи, сняв осаду Трои.— *156.*

[144] Имеется в виду «Илиада» (X), где Диомед вместе с Одиссеем отправляется ночью на разведку в лагерь троянцев.— *156.*

16

[145] Ахилл — герой «Илиады» Гомера — противопоставлен по своей славе Критию, главе Тридцати тиранов в Афинах (404 г. до н. э.).— *157.*

[146] *Геродот* (II 30) рассказывает о египетских воинах, возмущенных тем, что их не сменяли несколько лет в гарнизонах, и перешедших к эфиопам.

На увещевания египетского царя о брошенных женах и детях солдаты ответили, что иметь новых жен и детей зависит от них самих.— *157.*

[147] Одиссей («Одиссея», XXIII 310—341) кратко изложил Пенелопе свой рассказ («Аполог») на пиру царя Алкиноя, занявший в «Одиссее» четыре песни (IX—XII).

Ни *Фаилл*, ни поэма его больше нигде не засвидетельствованы.

Киклическими назывались поэмы VII—VI вв. до н. э., написанные на темы мифологического круга («кикла») о Троянской войне.

«Ойней» — недошедшая трагедия Еврипида, фр. 558—570.— *158.*

[148] Софокл. Антигона, 911 сл.— *158.*

[149] *Эсхин* — сын Лисания, ученик Сократа, живший некоторое время при тиранах Дионисии Старшем и Младшем в Сиракузах.

Кратил — философ, родом из Афин, последователь Гераклита. Ему Платон посвятил диалог «Кратил».— *158.*

[150] «Одиссея», XIX 361.— *158.*

[151] О драматурге *Каркине* и его семье см. прим. 104 к кн. II.— *159.*

[152] *Гемон* — герой трагедии Софокла «Антигона».— *159.*

17

[153] «Одиссея», IV 204.— *160.*

[154] *Эпименид* — полулегендарный критский мудрец, очистивший в 596 г. до н. э. Афины после чумы. Был другом Солона и помог ему в составлении законодательства (Плутарх. Солон, XII). Эпимениду приписывали поэму «Теогония».— *160.*

[155] Исократ, IV 110—114; VIII 27.— *160.*

[156] Горгий, В 17.— *161.*

[157] *Эак* — греческий герой, сын Зевса и Эгины, отец Теламона.— *161.*

[158] См. «Риторика», II 23.— *161.*

[159] См. там же, 25.— *161.*

[160] См. прим. 41 к кн. I.— *161.*

[161] Еврипид. Троянки, 969.— *161.*

[162] Исократ, V 4—7; XV 132—139 и 141—149.— *161.*

[163] Видимо, речь идет о *Ликамбе* и его дочери Необуле, бывшей невестой Архилоха, семью которой он высмеял в ямбах (фр. 74).— *161.*

[164] Архилох, фр. 25.

Гигес — полулегендарный сказочно богатый лидийский царь. О нем см. у Геродота (I 8—15) и Платона («Государство», X 612 b).— *162.*

[165] Софокл. Антигона, 688—696.— *162.*

[166] См. «Риторика», II 21.— *162.*

18

[167] *Лампон* — толкователь оракулов.

Имеются в виду Элевсинские таинства в честь богини Деметры.— *162.*

[168] См. Платон. Апология Сократа, 27 с.

Мелет — один из обвинителей Сократа.— *162.*

[169] «Топика», VIII 4.— *163.*

[170] *Писандр* — один из руководителей олигархического Совета 400 в 411 г. до н. э. Софокл был привлечен к пересмотру прежнего афинского законодательства.— *163.*

[171] *Эфоры* — высшие должностные лица в Спарте, ограничивающие власть царей.— *163.*

[172] См. «Риторика», I 11.— *163.*

[173] Горгий, В 12.— *163.*

[174] См. прим. 76 к. кн. I.— *163.*

[175] «Никомахова этика», IV 13: «ироничный тот, который отклоняет от себя славные дела или умаляет их значение».

Там же (IV 14): «шуты — рабы смешного и ради красного словца они не жалеют ни себя, ни других».— *163.*

19

[176] См. «Риторика», I 9.— *164.*

[177] См. «Риторика», II 19.— *164.*

[178] См. там же, 1—11.— *164.*

ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ

(ок. 55 — ок. 8 гг. до н. э.)

Дионисий (родом из малоазийского города Галикарнасса) — один из выдающихся риторов, прожил большую часть своей жизни в Риме (с 30 по 8 г. до н. э.), где преподавал ораторское искусство. Основательно изучив латинский язык, в результате тщательных разысканий он написал большой труд «Римские древности» в 20-ти книгах (из них дошли целиком первые девять), охвативший период истории Рима от легендарных времен до 264 г. и восполнивший, таким образом, эпоху, не затронутую Полибием. Однако, как высоко сам Дионисий ни ценил свой труд по истории, в сущности своей он был ритором, обладавшим, может быть, не столько пафосом творческих открытий, сколько основательной начитанностью, тонкой интуицией в понимании художественной речи и ее стилей, ясностью изложения, меткостью и изяществом характеристик и формулировок. Он не претендовал на философское обоснование риторики, что было присуще Аристотелю, перипатетикам и стоикам, но это ничуть не умаляло его значимости в то время, когда хорошее и умное освоение великих теорий прошлого с точки зрения римского практицизма ценилось не менее оригинальности мысли.

Дионисий приехал в Рим, когда уже не было в живых великого Цицерона, перед которым он всегда сохранял глубокий пиетет. И если риторика была для Дионисия искусством писать и говорить, то риторика Исократа, предмет постоянного его восхищения, была в его глазах «истинной философией» (I 61, 5 Usener — Radermacher), достойным продолжателем которой был и Цицерон.

«Риторика» самого Дионисия, как и его сочинение «Об ораторах древности» (Лисии, Исократе, Исее, Динархе), изобилующее историко-литературными фактами и филологической ученостью, унаследованной им от александрийцев, ясно указывает на традиционные генетические связи автора. Однако эстетические тенденции этого автора вырисовываются гораздо более систематично и внушительно в одном из значительнейших его сочинений — «О соединении слов», посвященном ученику его Мелетию Руфу, и в известном письме к другу Гнею Помпею Гемину, представляющем собою небольшой теоретический трактат в эпистолярном жанре.

В сочинении Дионисия «О соединении слов» сказалась старинная исторически сложившаяся традиция единства слова и музыкального сопровождения, столь характерная для греческой поэзии. Сочетание слов невозможно понять без учета музыкальности речи. Именно музыкальность с ее мелодикой, эвритмией, сменой разнообразных моментов (metabolē) и согласованностью изображаемого с его образцом лежит в основе науки соединения слов. Известное в риторике размещение элементов речи создают так называемые колоны (члены), в свою очередь составляющие периоды. От правильного сочетания слов зависит убедительность речи, хотя само сочетание и не являлось предметом столь оживленного обсуждения у философов и даже политиков, как проблема выбора слов. Дионисий привлекает для подтверждения своей мысли, как это было принято издавна, еще со времени Сократа и Платона, аналогию с обычными ремеслами — плотницким, слесарным, вышиванием, где тоже особенно важен выбор материала. Но сочетание слов у Дионисия по своей силе и своим возможностям не уступает выбору (7—10).

Сочетание является основой создания речи поэтической и прозаической, так как все дело не только в выборе словесной материи, но и в определенном чередовании и распределении компонентов. Мы бы сказали, что Дионисий выделяет здесь некий формальный момент, который, однако, тесно связан с содержательностью мысли. Красота слова для Дионисия важна в том случае, если она оформляет хорошую мысль, которая, в свою очередь, бесполезна вне красоты построения и благозвучия (11). План содержания и план выражения, таким образом, представляют у Дионисия нечто единое, без той гипертрофии формальных моментов, которыми часто страдали александрийцы.

Сочетание слов должно быть красивым по своей природе, а не благодаря технической изощренности, т. е. прекрасное соединение должно соответствовать своему

предназначению (39) и быть вполне целесообразным, как это и необходимо для классической эстетики.

Прекрасное (calos) у Дионисия выступает не в изолированно-абстрактном виде, но ему сопутствует приятное (hedys). Разделение на прекрасное и приятное (52—54), на наш взгляд, недостаточно обосновано автором. Обе эти категории наделены у него чисто физически ощутимыми свойствами, как будто они сами еще не утеряли старого своего предметного, материального значения, наподобие гомеровских эстетических представлений, где гармония есть не что иное, как скрепы, соединяющие бревна («Одиссея», V 248), а красота проливается Афиной наподобие жидкости («Одиссея», XXIII 156). У Дионисия приятное означает цветущее, зрелое (hōra), милое (charis), благозвучное (eystomia), сладость (glycytēs). В прекрасном выделяется возвышенное, нечто большое (megaloprgepeia), веское (baros), торжественное (semnologia) и важное (axiōma). Прекрасное и приятное могут сочетаться, но нет ничего удивительного, если они исключают одно другое.

Фукидид, например, пишет прекрасно, но неприятно; Ксенофонт — приятно, но непрекрасно, а Геродот — и прекрасно и приятно.

Прекрасное и приятное в слове имеет определенную аналогию в других видах искусства — в скульптуре, живописи и резьбе, и этому учит художника сама «действительность» (52).

Отсутствие именно логической четкости, которая уступает богатой интуиции Дионисия, не дает возможности внести полную ясность в разделение красоты и приятности и отнести красоту к объективно-выразительному оформлению предмета, а приятность — к его субъективному аналогу. Но, видимо, смысл этого отграничения несколько иной, выходящий за пределы известных философских объект-субъектных оппозиций. Скорее всего, здесь автором подчеркивается значительность и ощутимая, как бы физическая, весомость красоты и приятности. Первая — нечто крупное, широкое, объемное и торжественное, вторая — миниатюрное, но зато милое, благодаря свежему цветению и сладости. В этих характеристиках есть нечто художественно импрессионистичное, но зато они начисто лишены философско-логической мотивации.

Красота и приятность создаются, по Дионисию, с помощью ряда непременных элементов, которые, как увидим, тоже являются важными принципами греческой классической эстетики, так импонировавшей римскому классицизму I в. до н. э. Необходимость мелодии и ритма, создающих красоту и приятность, доказывается опытным путем, посредством чувства или ощущения (56). Вспомним Лукреция, для которого, вслед за Эпикуром, мелодия и ритм вытекали из жизненной необходимости человека и были связаны с многообразием чисто физических ощущений (V 1379—1408). Наряду с субъективностью ощущения Дионисий выделяет также и меру как один из лучших критериев удовольствия или неудовольствия, т. е. объективного соответствия эстетического предмета субъективной настроенности человека. Своевременные перемены (metabolai) вносят приятность и разнообразие в строй речи, который обязательно должен покоиться на «соответствии» или «строй речи должен быть свойственным и соответствующим содержанию» (69—70). Дионисий очень выразительно (это характерно для его собственного стиля) подчеркивает в красоте построения благородство мелодии, величавость ритма и роскошь разнообразия в сочетании с соответствием. В классическую строгость ритора вплетается небезосновательно эта роскошь разнообразия, столь близкая вообще духу эллинистического художественного творчества и выраженная там в качестве излюбленной александрийцами «пестроты» (poicilia).

Недаром Дионисий сам упоминает это «разнообразие перемен» (129), благодаря чему красота продолжает оставаться вечно новой.

Идеи Дионисия, как видим, носят явный отпечаток эллинистической рецепции классики. Его субъективно-сенсуалистский подход к художественной форме аналогичен его эмпирическому опытному подходу, учитывающему соответствие определенной ситуации или момента действительности этосу, или нраву, человека, который, в свою очередь, влияет на человеческие страсти и создает тот или иной способ убеждения, а значит, тот или иной тип речи. Дионисий, таким образом, использует классическое учение о страстях, этосе и формах убеждения, которое было блестяще разработано Аристотелем в «Риторике» (II 1—17).

Дионисий с большой убежденностью утверждает также знаменитое учение о трех стилях, одно из основных в элинистическо-римском эстетическом сознании, и в дальнейшей своей трансформации усвоенное новой Европой эпохи классицизма. Примечательно, что он употребляет здесь термин «характер» (charactēr), передаваемый на новые языки как «стиль». Уже в самом греческом слове «характер» выделяется нечто неповторимое, как бы означенное глубокой бороздой, чертой или царапинкой (ср. греч. charassō «царапаю», «провожу черту»). В разных видах речи, следовательно, есть присущая только им одним черта, создающая то, что мы называем стилем. У Дионисия это строгий стиль (aystera), изящный (glaphyra) и средний (coinē).

Обратим внимание на то, что строгий стиль буквально означает «острый», «едкий» и совершенно естественно он «суров» (trachys), т. е. буквально «шероховатый», «шершавый», содержащий в себе нечто «большое», «широкое», «длинное», «пышное», «грозное», «свободное» и «значительное». Именно так писали Эмпедокл, Пиндар, Эсхил, Фукидид.

Изящному стилю (glaphyrós), буквально «гладкому», «полированному», «выпуклому», присуща «цветущая свежесть» или «цветистая пестрота» (antherōs), «гладкость» (leia), «мягкость» (malaca), «девичество» (parthenopa), «изнеженность» (trypteros), «благозвучие» (eyphrona). Он-то и создает «поэтическую» и «мелическую» прелесть (charis) Гесиода, Сафо, Еврипида, Исократа. Средний стиль (coinē), собственно говоря, буквально «общедоступный», и даже «снисходительный», «родной» каждому, «простой», предназначенный для «общего блага» стиль Гомера, Геродота, Софокла, Демокрита, Демосфена, Платона, Аристотеля.

Меткость подобных характеристик у Дионисия удивительна. Каждое слово, определяющее стиль, чрезвычайно емко и, как мы видим, прямо физически ощутимо передает основную тенденцию в художественном своеобразии упомянутых авторов. Действительно, Эсхил архаичен, грозен и зрел, а Сафо цветет свежестью и девической мягкостью, в то время как Гомер всем родной, доступный и уж, конечно, предназначен для общего блага.

Характеристика стилей, данная Дионисием, поистине блестяща как образец античного, а точнее, эллинистическо-римского чувства формы. Ее можно пощупать и «обстучать» со всех сторон, как это предлагают сделать с изучаемыми идеями и бытием участники диалогов Платона («Филеб» 55 с; «Теэтет» 179 d). Правда, яркость и ясность мысли автора развиваются отнюдь не логически, вне сферы строго научного анализа и дифференциации эстетических категорий. Однако Дионисий не философ и не логик, а все его эстетические оценки обязаны своим существованием непосредственно интуитивному освоению действительности всеми чувствами, среди которых осязание, зрение и слух занимают почетное место.

С этих же позиций Дионисий блестяще выражает эстетическую значимость звуковых свойств языка (66 сл., 79—82, 96), имея перед собой, очевидно, один из первых образцов подобного рода — платоновский диалог «Кратил». Каждый звук для Дионисия значим: *л* — самый сладкий, *а* — самый благозвучный, *р* — самый благородный, *с* — самый безобразный. Одни из звуков ласкают слух, другие раздражают, третьи звучат наподобие рога (*м, н*), а иные близки к звериному голосу (*с*). Перевес гласных создает красоту, преобладание согласных — некрасивость. Здесь Дионисий любопытно объединяет эстетические, этические и физические характеристики звуков, что было примечательно вообще для античных теоретиков музыки и приобрело свойство устойчивой традиции вплоть до конца античности.

Учение Дионисия о «достоинстве и красоте» раскрывается в его теории ритмов, где проводится тот же принцип единства эстетическо-этических и физических характеристик. Отсюда «мужественность» бакхия, «возвышенность» (hypsēlos) молосса, «убыль благородства» в трохее, «величие» и «пригодность для выражения страстей» анапеста, «благородство» и «красота» (callos) дактиля, «женское» (thēly) «робкое» начало амфибрахия, «благородство и важность» спондея и, наконец, «недостойность» и «слабость таких размеров, как пиррихий и трибрахий» (105—111). И если Дионисию приходится говорить о слухе, который «испытывает наслаждение» от мелодий, то он не преминет сказать, что тот же слух «увлекается ритмом», «приветствует разнообразие» и «ищет во всем уместности» (57).

Все эти свои суждения, изложенные внутренне заинтересованно, Дионисий подкрепляет прекрасным анализом поэтического или прозаического текста, различая и выделяя в нем малейшие нюансы, детали, тонкости, иной раз как будто совсем неприметные, и тем самым демонстрируя не только свою недюжинную эрудицию и верный глаз, но и образец внимательного и умного изучения художественной ткани произведения, при котором все осмыслено: период, колон, строка, ритмическая стопа и даже отдельный звук.

Дионисий не боится иной раз критически отнестись к авторитетам и тонко критикует стиль Платона и, в частности, его метафоры («Письмо к Помпею», III). Он предпочитает слаженную целостность поэтического стиля Геродота раздробленности и разъятости исторического повествования прославленного аналитика Фукидида («Письмо к Помпею», III). Он всегда старается цитировать наиболее полно контекст, и благодаря этой добросовестности мы читаем у него знаменитый гимн Сафо к Афродите («О соединении слов», 174—179) или пеан о Данае Симонида Кеосского (222—223).

В отличие от александрийских критиков Дионисий лишен узкого филологизма и стремится учесть подлинно эстетические свойства языка, объединяя в своем анализе изучение формы слова с его внутренним содержанием. Даже если бы от Дионисия ничего не дошло, кроме его учения о трех стилях, и тогда он являл бы собою одну из значительнейших фигур в эллинистическо-римской эстетике.

О СОЕДИНЕНИИ СЛОВ

Перевод сделан по изд.: Dionysii Halicarnassensis. Opera omnia, ed. J. Reiske. Lipsiae, 1774—1777. Для настоящего издания перевод сверен О. В. Смыкой по изд.: Dionysii Halicarnassensis. Opera omnia, ed. I. Reiske, acced. fragmenta ab A. Maio, ed. stereotypa, t. V. Lipsiae, 1883. Наименования разделов и их распределение принадлежат переводчику. Перевод на русский язык публикуется впервые.

[1] Данный трактат можно было бы с полным правом назвать трактатом «О стиле», так как здесь «соединение» (synthesis) ничем не отличается от аристотелевского («Риторика», III) «способа выражения» (lexis), или, как мы бы сказали, «стиля». Дионисий явно не мыслит себе только техническое, внешнее соединение, а то, которое придает внутреннюю неповторимость повествованию автора.— *167*.

[2] «Одиссея»*, XV 125. С этими словами супруга царя Менелая вручила сыну Одиссея свадебный наряд для его будущей невесты.— *167*.

[3] Дионисий, проживший в Риме, по его словам, 22 года (Antiquitates Romanae, I 7) — с 30 до 8 г. до н. э. — в качестве учителя риторики, среди своих друзей имел и юного Мелетия *Руфа*, которому посвятил трактат «О соединении слов» ко дню его совершеннолетия. Это одно из ранних риторических сочинений (их известно десять), которыми Дионисий занимался в промежутках, остававшихся от работы над «Римскими древностями», ценимыми им как главный свой труд.— *167*.

[4] *Речью* (logos) древние называли предложение. Грамматик Дионисий Фракиец (II в. до н. э.), автор первой научной греческой грамматики, называл речью соединение слов, выражающее законченную мысль.— *168*.

[5] О *Теодекте* см.: Аристотель. Риторика, кн. II прим. 74.

Об *Аристотеле* см. вступительную статью и примечания к «Риторике». Аристотель, как и Теодект, различал в языке знаменательные (семантические) и незнаменательные (асемантические) слова, относя к первым имена и глаголы, а ко вторым союзы, или, как мы бы сказали, «частицы», «служебные части речи». В «Поэтике» Аристотеля (гл. 20, 21) даются определения имени, глагола, союза, предложения, слога, гласных,

* Здесь и далее цитаты приводятся в переводе М. Л. Гаспарова, кроме оговоренных.

полугласных и безгласных звуков. Учение древних риторов о языке представлено в извлечениях в изд.: Античные теории языка и стиля, под ред. О. М. Фрейденберг. М.—Л., 1936. Там же см. статьи И. М. Тронского «Проблемы языка в античной науке» (с. 7—28) и С. В. Меликовой-Толстой «Античные теории художественной речи» (с. 147—167). См. также: Тронский И. М. Учение о частях речи у Аристотеля.— «Учен. зап. Ленингр. ун-та», серия филол. наук, 1941, № 63, вып. 7, с. 20—36.— *168*.

[6] *Стоики* много занимались логикой и грамматикой (см.: Тронский И. М. Основы стоической грамматики.— В кн.: Романо-германская филология. Л., 1957, с. 299—310). Стоики признавали *четыре* части речи: имя, глагол, союз, член, которым они обозначали также местоимение. Эти части речи, пишет И. М. Тронский, соответствовали четырем категориям, разработанным в логике стоиков: 1) субстрат — «член», бескачественное родовое понятие; 2) существенное качество — «имя»; 3) случайная принадлежность — «глагол»; 4) случайная принадлежность, связанная с отношением к чему-либо другому,— «союз» (см: Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке.— В сб.: Античные теории языка и стиля, с. 26; Каракулаков В. В. К вопросу о соотношении частей речи стоиков с их логическими категориями.— In: Studii clàsice, VI. Bucureşti, 1964, p. 83—86). Ср. также: Каракулаков В. В. Первые греческие философы о роли языка в познании.— «Вопросы филологии Душанбинск. гос. пед. ин-та им. Шевченко» (43), сер. филол., 1963, т. 40, вып. 16, с. 73—91; он же. Проблема языка у Гераклита.— В кн.: Язык и стиль античных писателей. Л., 1966, с. 97—105.— *168*.

[7] В связи с разделением существенных качеств предметов на общие и единичные, стоик Хрисипп (III в. до н. э.) выделил имена *нарицательные* и *собственные*.— *168*.

[8] Грамматик и комментатор Гомера Аристарх Самофракийский (II в. до н. э.) называл *местоимениями* слова, сопряженные по лицам. Дионисий Фракиец, ученик Аристарха, называл местоимения указательными членами.— *168*.

[9] *Наречия* были выделены стоиком Антипатром из Тарса (II в. до н. э.) и названы «срединой» (mesotēs). Он был учеником Диогена Вавилонского (II в. до н. э.) и «человеком острейшего ума» (homini acutissimo). См. Цицерон. Об обязанностях, III 12, 51.— *168*.

[10] У грамматика Дионисия Фракийца уже восемь частей речи: имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие, союз. Нарицание как вид он подчиняет имени. См. Каракулаков В. В. Предмет и задачи античной грамматики.— В кн.: Язык и стиль античных писателей, с. 106—114; он же. К вопросу о принципах выделения частей речи у Дионисия Фракийца.— In: Studii clasice, VI, p. 327—330.— *168*.

[11] *Члены речи*, иначе «колоны» или «колена речи». Цицерон в «Риторике к Гереннию» писал: «Коленом речи называется краткое высказывание чего-то о какой-либо вещи без выявления целиком всей мысли, которая вновь подхватывается другим коленом речи» (IV 19, 26).

Цицерон определяет *период* как «густое и связное скопление слов с законченным выражением мысли» («Риторика к Гереннию», IV 19, 27).— *168*.

[12] *Геродот* из Галикарнасса (V в. до н. э.) — древнегреческий историк, оставивший художественное изложение истории Греции, полное преданий и мифов в связи с историей Египта, Персии, Скифии и других стран и народов. Писал на ионийском диалекте.

Дионисий не без умысла сравнивает полулегендарного *Гомера*, с именем которого связано создание героических эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», с вполне реальным писателем, автором тоже, можно сказать, широкого эпического повествования. Известно, что Аристотель, сравнивая поэзию и историческую прозу (имея в виду Геродота), счел поэзию «серьезнее и философичнее истории; поэзия говорит о более общем, история — об единичном» («Поэтика», гл. 9).— *169*.

[13] «Одиссея», XVI 1—16.— *170*.

[14] Аристотель так определяет *метафору*: «Метафора — перенесение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в род или из вида в вид, или в форме пропорции» («Поэтика», гл. 21; см. также: Аристотель. Риторика, кн. III прим. 13).

По словам Цицерона, риторы называют метонимию (замена одного названия предмета другим) *гипаллагой.* «Она обозначает изобретенные предметы именем изобретателя и вещи, принадлежащие кому-нибудь, именем их собственника. Так мы постоянно слышим, как говорят «Вулкан» вместо огня» (Квинтилиан, VIII 6).

Катахреза, или «злоупотребление», «состоит в том, что неточно пользуются похожим и родственным словом вместо определенного и точного» (Цицерон. Риторика к Гереннию, IV 33, 45).

Троп — буквально «поворот», «оборот», оборот поэтической речи, куда входят метафора, метонимия, синекдоха, сравнение и другие виды поэтически выразительной речи. Филодем пишет: «В речи различают три стороны: троп, форму (schēma) и тип. Троп — это метафора, аллегория и т. п.» («Риторика», кн. 4, III 18—25, IV 1—5). Троп как результат внутреннего поэтического мышления отличается от риторических, внешних фигур, «благодаря которым ярко проступает нарядность речи и ясно высказывается ее украшенность» (Гермоген. Об идеях, I 12).

Глосса — редкое, старинное, малоупотребительное слово. Их начали собирать с V в. до н. э. Уже у Демокрита находим трактат «О Гомере, или Правильной речи и глоссах».— *170.*

[15] Геродот, I 8—9.— *171.*

[16] «Илиада», XII 433—435 (перевод В. В. Вересаева).— *172.*

[17] Имеется в виду гексаметр.— *172.*

[18] *Тетраметр* — четырехстопный стих, который в ямбах и хореях распределяется по диподиям (диподия — объединение двух стоп) и, значит, становится как бы восьмистопным. Например, трохаический усеченный тетраметр:
— V/— V/— V̄/— V//— V/— V̄/— V/ .— 172.

[19] *Итифаллический* стих — трохаическая триподия (три стопы, объединенные вместе) встречается еще у древнегреческого лирика Архилоха: — V — V — V.— *172.*

[20] Эти стихи принадлежат александрийцу Евфронию Херронеситу (фрагменты см. в издании Э. Диля).— *172.*

[21] *Ионический тетраметр*, или ионики,— четырехстопный размер двух видов, «нисходящего» (ionicus a maiori, т. е. переход от долгой части стопы к краткой) — — V V и «восходящего» (ionicus a minori, т. е. переход от краткой стопы к долгой) V V — —. Чаще всего употребляются так называемые анакластические («переломленные») ионики, или анакреонтический стих, когда ионики заменяются ямбами или трохеями, например: V V — — V V — — = V V — V — V — V, сохраняя одинаковое количество.— *172.*

[22] «Илиада», XIII 392 сл.— *172.*

[23] *Сотадейский* (сотадов) стих приписывается поэту Сотаду Мароннту, автору очень вольных, доходящих до неприличия стихов. Они состоят большею частью из «нисходящих иоников»: — — V V / — — V V / — — V V / — — (фрагменты см. в издании Э. Диля, здесь фр. 5).— *173.*

[24] Еврипид, фр. 924 из трагедии неизвестного названия.— *173.*

[25] Геродот, I 6.— *173.*

[26] *Фукидид*, сын Олора (V в. до н. э.) — древнегреческий историк, оставивший «Описание Пелопоннесской войны» до 411 г. и известный своим сжатым, деловым стилем и стремлением объективно изложить факты.

Здесь имеется в виду Фукидид, I 24.— *174.*

[27] *Гегесий* из Магнесии (III в. до н. э.) — историк и ритор. Считается одним из основоположников азианского риторического стиля, изощренного и украшенного. Цицерон порицает Гегесия, считая, что он «мыслями так же скуден, как и словами, так что, право, кто узнал его, тому уже не надо искать оратора негоднее» («Оратор», 67, 226). В приверженцах азианского стиля Цицерон видел ораторов, «порабощенных ритмом», которые вставляют «пустые слова... как бы для заполнения ритма». Некоторые из них, пишет Цицерон, «дробят и рубят ритм, впадая в низменный род речи, похожий на стишки,— порок, берущий начало главным образом от Гегесия» (там же, 69, 230).— *174.*

[28] «Одиссея», VI 230—231. В «Одиссее» Афина, богиня мудрости, покровительствует мудрому Одиссею.— *174.*

[29] *Филарх* из Афин (III в. до н. э.) — историк, который написал сочинение в 28 книгах, бывшее авторитетным для Плутарха. См. Die Fragmente der griechischen Historiker, von F. Jacoby, II Teil, A 81. Leiden, 1962 (далее — FgH).

Дурид (Дурис) Самосский — греческий историк (III в. до н. э.). Сочинения его о событиях в Греции и Македонии дошли во фрагментах.

Полибий (III—II вв. до н. э.) — греческий историк, государственный деятель, полководец. В качестве знатного заложника находился много лет в Риме, сблизился с видными римскими политиками, выполнял в Греции ряд важных поручений после завоевания римлянами его родины. Его история в 40 книгах полностью не дошла. Прославил мощь римского владычества, деловой и практический характер римлян.

Псаон из Платей (III в. до н. э.) — историк и писатель.

Деметрий (III в. до н. э.) — историк из Каллатии в Мезии (сев. Греция).

Иероним Родосский (III в. до н. э.) — ученик Аристотеля, историк и философ, основавший свою эклектическую школу.

Антилох (III в. до н. э.) из Кардии (сев. Греция) — историк эпохи преемников Александра Македонского.

Гераклид (IV в. до н. э.) из Ким (М. Азия) — автор истории Персии, бывшей источником для Плутарха.— *174*.

[30] *Хрисипп* (III в. до н. э.) — один из основателей древней Стои, ученик Клеанфа и Зенона. Занимался главным образом этикой и практической философией жизни. Комментировал Гомера и Гесиода. Ему приписывают около 700 сочинений.— *174*.

[31] О занятиях *стоиков* языком и грамматикой см. выше, прим. 6.— *175*.

[32] Что понимали древние под *диалектикой* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 1.— *175*.

[33] Стоики понимали *природу* как могучую, «демиургическую» силу, «творческий огонь», «силу, устрояющую живое», «художницу». См. Stoicorum veterum fragmenta, ed. I. Arnim, v. I-IV. Lipsiae, 1921—1924 (II fr. 599, I fr. 171, II fr. 1133, I fr. 172).— *175*.

[34] «Илиада», I 1.— *175*.

[35] «Одиссея», I 1, III 1.— *175*.

[36] «Одиссея», IV 762.— *176*.

[37] «Илиада», XI 218, XXIV 486.— *176*.

[38] «Илиада», XXI 20, XXII 467.— *176*.

[39] «Одиссея», XXII 17.—*176*.

[40] «Илиада», II 89, XIX 103.— *176*.

[41] «Илиада», I 459, IV 125.— *176*.

[42] «Одиссея», VI 115 сл.— *176*.

[43] «Одиссея», XIV 425.— *176*.

[44] «Одиссея», III 449.— *176*.

[45] *Прямым* залогом древние грамматики называли — активный, производные — пассивный и «средний» т. е. медиальный.— *177*.

[46] Как в именах, «прямым» считался только именительный, а все остальные, косвенные, были в буквальном смысле «падежами», т. е. падением, склонением отклонением от «прямого», так и в глаголах наклонения, указывающие «душевные намерения, т. е. к чему наклонна душа» (Георгий Херобоск, II 4), мыслились аналогом «падежам».— *178*.

[47] Здесь обычное для древних смешение «звука» и «буквы», которые иначе назывались «элементами» (stoicheion).— *178*.

[48] Фукидид, III 53.— *179*.

[49] О *Демосфене* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 9, кн. II, прим. 75. Демосфен. О венке (XVIII), 119.—*179*.

[50] Там же, 179.— *179*.

[51] Демосфен, IX 17.— *179*.

[52] Здесь имеется в виду надгробное слово, произнесенное Аспазией, которую Сократ считал своей наставницей в риторике, и повторенное теперь Сократом перед Менексеном («Менексен», 236 d—249 d).— *180*.

[53] *Эсхин* (IV в. до н. э.) — афинский оратор и политик, постоянный противник Демосфена, содействовавший македонской партии.

Эсхин. Против Ктесифонта, 202.— *180.*

[54] *Софокл* (496—406/405 гг. до н. э.) — знаменитый греческий трагик. Одно время, в 442 г. после представления своей «Антигоны», исполнял обязанности стратега, однако неудачно.

Здесь Софокл, фр. 754, 1 из трагедии неизвестного названия.— *180.*

[55] Демосфен, XX 2.— *180.*

[56] *Антифонт Рамнунтский* — знаменитый аттический оратор и политик. Способствовал свержению демократии, но в 411 г. был обвинен в государственной измене и казнен.

Ктесий Книдский (V—IV вв. до н. э.) — придворный врач царя Артаксеркса и историк Персии.

Ксенофонт (V—IV вв, до н. э.) — древнегреческий писатель, философ, историк, ученик Сократа, автор так называемых сократических сочинений («Воспоминания о Сократе, или Меморабилии», «Апология», «Пир», «Домострой, или Экономик»). Древние высоко ставили мастерство речей Ксенофонта.— *181.*

[57] Со времени перипатетика Феофраста (его книга «О стиле» до нас не дошла) древние признавали основные четыре достоинства речи. Это — чистота, ясность, соответствие говоримому и говорящему и красота, которая включала приятность (сладость) и величавость. Еще в риторике Теодекта было требование делать изложение «не только величественно, но и приятно» (Квинтилиан, IV 2, 63), а «приятность и величественность» стиля выделял Аристотель («Риторика», III 12, 1414 а 20).

Античность знала три основные гармонии (лады): лидийскую, фригийскую и дорийскую, которые дополнялись еще тремя ладами — эолийской, ионийской и миксолидийской. Греки особенно выделяли этическую сторону разных типов гармонии (благородная сдержанность дорийской, экстатичность фригийской, жалобный характер лидийской), что способствовало воспитательному значению музыки.

О ритмических формах у греческих авторов см.: Аристотель. Риторика, кн. III, прим. 7. Следует отметить также, что ритм был характерен не только для стиля, но и для прозы, особенно ораторской. Цицерон пишет: «Все, что ощущается слухом как некоторая мера, даже если это еще не стих... называется ритмом, а по-гречески rhythmos». Поэтому, продолжает Цицерон, кажется, что речь Платона и Демосфена, далекая от стихотворной, «обладает такой стремительностью и блистает такими красотами, что ее с большим основанием можно назвать поэзией, нежели речь комических поэтов» («Оратор», 20, 61).— *181.*

[58] См. сб.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960—1961 (вст. ст. и подбор текстов А. Ф. Лосева).— *183.*

[59] Еврипид. Орест, 140—143,— *183.*

[60] Древнейшее греческое ударение в разговорной речи было музыкальным, но к V в. до н. э. оно стало силовым, динамическим, экспираторным. Греки различали острое (/), тяжелое, или тупое (\), и облеченное (~) ударения, некогда отражавшие разную степень высоты тона или голоса. См. Тронский И. М. Древнегреческое ударение. М.—Л., 1962.— *183.*

[61] *Долготы* и *краткости* разговорной речи уже к V в. до н. э. почти не чувствовались, но литературный язык строго следовал традиции, учитывая ее при постановке ударений.— *183.*

[62] Греческая поэзия декламационная (речитатив) и песенная исполнялись всегда с музыкальным аккомпанементом. В свою очередь, чистой музыки без словесного сопровождения не существовало почти до конца античности. Техника музыкального исполнения со всем его ритмическим разнообразием воздействовала на естественную долготу и краткость слогов, взаимно их заменяя, вопреки общепринятым нормам языка, что сохраняется и поныне при чтении древней поэзии.— *183.*

[63] Классификация букв (звуков) на гласные и согласные и то, что мы теперь называем сонантами (полугласными) m, l, n, r, куда присоединялось s (т. е. все те звуки, которыми в греческом языке заканчивается закрытый слог или слово), в связи с их ролью в слоге, была разработана к V в. до н. э. Платон в «Кратиле»,

опираясь на своих предшественников, дает буквам приблизительную акустическую характеристику. У него есть гласные, безгласные и беззвучные и те, «которые не назовешь ни беззвучными, ни безгласными» (424 c, d). Звуки в классификации Платона выражают всякое движение (r), «все тонкое, что могло бы проходить через вещи» (i), сотрясение («дышащие» звуки — ph, ps, s, dz), скованность (d, t), гладкость (l), округлость (о) (426 c—427 c).

Среди трудов Демокрита был один — «О благозвучных и неблагозвучных буквах». «Шероховатость» и «гладкость», «твердость» и «мягкость», по мнению эпикурейца Лукреция, зависит от «грубости» «первичных телец», т. е. атомов, или их «гладкости» («О природе вещей», IV 551 сл., I 823—827, 908—914), а также от сочетания атомов. Итак, заключает Лукреций: «голос телесен» (IV 541).— *184.*

[64] *Фигуры* — риторические конструкции, создающие и усиливающие выразительную речь путем изменения именно ее структуры. В трактате Цицерона «Оратор» дается перечисление главнейших фигур (гл. 39). Пояснения к нему см.: Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 448—449.— *184.*

[65] *Горгий Леонтинский* (см.: Аристотель. Риторика кн. III, прим. 6) заложил основы всей античной риторики, разработав сложную систему тропов и фигур, получивших название «горгиевых». Будучи учеником Эмпедокла, Горгий усвоил через его посредство важнейшие принципы философии элеатов, в частности Парменида, учителя Эмпедокла. Горгий признавал неизменное бытие, отличное от изменчивого чувственного мира. Но так как мышление тоже изменчиво, отражая чувственный мир, то и бытие непознаваемо. Отсюда — в мысли нет ничего твердого и надежного. Поэтому риторика, которая ничего не может знать о предмете речи, оперируя изменчивыми категориями мышления, становится искусством словесной игры. Однако ею можно пользоваться в чисто практических целях, чему учили софисты. Горгий утверждал, что «искусство убеждает людей много выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами по доброй воле, а не по принуждению» (Платон. Филеб, 58 a).—*184.*

[66] *Аристоксен* из Тарента (IV—III вв. до н. э.) — ученик Аристотеля, философ и музыкант. Фрагменты Аристоксена по гармонии и ритму см. в изд.: Aristoxenos von Tarent, v. R. Westphal. Leipzig, 1883; Die harmonischen Fragmente des Aristoxenus, griechisch und deutsch, v. P. Marquard. Berlin, 1868.— *186.*

[67] Аристотель делит звуки на гласные (звук, получаемый без прикладывания языка: а — ā), полугласные (звук, получаемый при прикладывании языка: s, r); безгласные (отсутствие самостоятельного звука при прикладывании языка, а только в соединении со звуками, имеющими «звуковую силу», например, g, d). Эти элементы «различаются в зависимости от формы рта, от места их образования густым и тонким придыханием, долготой и краткостью и, кроме того, острым, тяжелым и средним ударением» («Поэтика», 20, 1456 b 22—34).— *186.*

[68] Разделение на 24 буквы было традиционным еще с V в. до н. э., когда в 403 г. в Афинах был введен ионийский алфавит. Стоики также принимали 24 элемента (stoicheion) слова, т. е. буквы.— *186.*

[69] *Пиндар* (V в. до н. э.) — знаменитый греческий лирик, родом из Фив, создатель хоровых песен — эпиникиев в честь победителей на общегреческих играх.

Пиндар, фр. 70 b. Имеется в виду дорийское s, произносившееся близко к шипящему звуку. «Сан» в классическом греческом алфавите сохранило только цифровое значение (90).— *187.*

[70] «Илиада», XVII 265.— *189.*

[71] «Одиссея», IX 415 (перевод В. А. Жуковского, редакция М. Л. Гаспарова).— *190.*

[72] «Илиада», XXII 220—221.— *190.*

[73] Там же, 476, XVIII 225.— *190.*

[74] «Одиссея», V 402—405.— *190.*

[75] См. Платон. Собр. соч. в трех томах, т. 1. М., 1968.— *190.*

[76] «Одиссея», XVII 36—37, VI 162—163, XI 281—282 (перевод В. А. Жуковского, редакция М. Л. Гаспарова).— *191.*

[77] «Одиссея», VI 137.— *191.*
[78] «Илиада», XI 36—37.— *191.*
[79] «Илиада», IV 452—453.— *191.*
[80] «Илиада», XXI 240—242.— *191.*
[81] «Одиссея», IX 289—290.— *192.*

[82] *Феофраст* (Теофраст) из Эреса (IV—III вв. до н. э.) — философ-перипатетик, сначала близкий к Платону, затем ученик Аристотеля, преподавал в Афинах. Ему принадлежат сочинение «Характеры», где анализируется 30 видов человеческих характеров, а также недошедшее сочинение «О слоге, или О стиле».— *192.*

[83] «Илиада», II 494—501. Цитата Дионисия в заключительной строке несколько отличается от известного нам текста.— *192.*

[84] Первоначально *пиррихием* назывался военный танец с быстрыми прыжками. Изображается схематически V V; фр. неизвестного трагика. 136 N.—Sn.— *193.*

[85] *Спондей* — —; adesp., фр. 137 N.—Sn.— *193.*
[86] *Ямб* V—; adesp., фр. 138.— *193.*
[87] *Трохей* — V; Архилох, фр. 67 а.— *193.*
[88] *Трибрахий* V V V; adesp., фр. 22 Diehl.— *193.*
[89] *Молосс* — — —, adesp., фр. 23 Diehl, 139 N.—Sn.— *193.*
[90] *Амфибрахий* V — V, adesp., фр. 24 Diehl, 140 N.—Sn.— *194.*
[91] *Анапест* V V —, Еврипид. Ипполит, 201.— *194.*

[92] *Дактиль* — V V. Шестистопный дактиль с усеченной последней стопой — гексаметр. «Одиссея», IX 39 (перевод В. А. Жуковского, редакция М. Л. Гаспарова).— *194.*

[93] V V — / V V — / V V — / V V —, adesp., фр. 26 Diehl, 141 N.—Sn.— *194.*
[94] *Кретик* — V —, adesp., фр. 142.— *194.*
[95] *Бакхий* — — V, adesp., фр. 25 Diehl, 143 N.—Sn.— *194.*

[96] Имеется в виду антибакхий, или *гипобакхий* V — —, adesp., фр. 27 Diehl, 144 N.—Sn.

Ср. деление ритмов у Дионисия и Аристотеля («Риторика», III 8).— *194.*

[97] Фукидид, II 35.— *195.*

[98] См. выше, прим. 52. Цицерон сообщает, что эта речь Платона к афинскому народу, восхвалявшая павших в сражении, имела такой успех, что «с тех пор произносится в этот день ежегодно» («Оратор», 44, 151).— *196.*

[99] «Илиада», XXIII 382.— *196.*
[100] Демосфен, XVIII 1 (перевод С. И. Радцига).— *196.*
[101] *Пеон* бывает четырех видов: — V V V, V — V V, V V — V, V V V —.— *197.*

[102] *Александр* Македонский (IV в. до н. э.), историю которого приписывают Гегесию. Стиль его, видимо, не внушал уважения. От его острот по поводу гибели храма Артемиды Эфесской в ночь рождения Александра, пишет Плутарх, «веет таким холодом, что он мог бы заморозить пламя пожара, уничтожившего храм» («Александр», гл. III).— *197.*

[103] Гегесий, фр. 5, 142 (FgH, II Teil B, 1. Lief).— *198.*
[104] «Илиада», XXII 395—411.— *198.*

[105] *Строфа, антистрофа* и *эпод* («припев») — традиционное строение песни как сольной, так и хоровой.

О тональностях см. сб. «Античная музыкальная эстетика».— *199.*

[106] Об *Алкее* (создатель так называемой алкеевой строфы) см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 55.

О *Сафо* см.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 90.— *199.*

[107] О *Стесихоре*, см.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 48.— *199.*

[108] *Дифирамб* — хоровая торжественная песнь в честь бога Диониса. Слово «дифирамб» — негреческого происхождения. Известно, что бог Дионис сам именовался Дифирамбом. В классическое время содержание дифирамба не ограничивалось кругом Диониса, сохраняя, однако, героический сюжет. До нас дошел полностью один дифирамб поэта V в. до н. э. Вакхилида (XVIII). Со времени Меланиппида с о-ва Мелос началось падение дифирамба (445 г. до н. э.), было уничтожено строгое антистрофическое деление и нарушены законы ритма.— *199.*

[109] *Филоксен* из Киферы (V в. до н. э.) — автор дифирамбов, ученик Меланиппида, находившийся одно время при дворе сиракузского тирана Дионисия Старшего и осмеявший его в пародийном дифирамбе «Киклоп».

Тимофей из Милета (IV в. до н. э.) — дифирамбист, автор обширной хоровой песни «Персы», фр. 6 a, b, c, d, e.

Телест из Селинунта (IV в. до н. э.) — дифирамбист, превративший дифирамб в музыкальный мим, который исполнял уже не хор, а отдельные певцы и музыканты.— *199.*

[110] Об *Исократе,* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 7, кн. II, прим. 90.— *200.*

[111] «Одиссея», XI 593—596.— *201.*

[112] Примеры, приведенные здесь Дионисием, указывают на поразительную устойчивость античных общежизненных интуиций во всех сферах духовной деятельности человека и неразрывность эстетических и этических категорий.

Так же как «голос» для эпикурейца Лукреция был «телесен» (IV 541), как телесны были «идеи» и сущности Платона («Гиппий Больший», 301 b). Ксенофонт мог говорить о «теле добродетели» (sōma... aretēs, «Кинегетик», XII 19), у Гомера «красота» в виде материальной текучести проливалась Афиной на Одиссея («Одиссея», XXIII 156), а личность человека понималась вообще как тело — sōma (см.: Тахо-Годи А. А. О древнегреческом понимании личности на материале термина sōma.— В кн.: Вопросы классической филологии, III—IV. М., 1971); также наполнены были бытийным содержанием метры и ритмы. Дактило-спондеи выражали «важность» и «величавость», трохей — «ужас» и «страшность», ямб — «ярость» и «неукротимость», пеоны — «энтузиастичность» и т. д., и т. д. Под воздействием ритма и гармонии души становятся «более чуткими, соразмерными, гармоничными», а их обладатели «пригодными для речей и для деятельности», ибо «вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии» (Платон. Протагор, 326 b). Поэтому нет ничего удивительного, что Дионисий видит в метре и ритме нечто живое, одушевленное, физическое («тяжесть», «быстрота», «трудность», «напряжение»), глубоко осмысленное поэтом. Вспомним, что еще ученик Горгия Ликимний (V в. до н. э.) говорил: «Красота слова заключается в самом звуке или в его назначении, точно так же и безобразие» (Аристотель. Риторика, III 2, 1405 b 6—8).— *202.*

[113] Три типа соединения, для которых Дионисий не может еще дать названия, есть не что иное, как одно из первых оформлений разных типов стиля, получивших впоследствии еще большую дифференциацию и разработку (Деметрий, Квинтилиан, Гермоген). Дионисий цитирует Пиндара (фр. 213).— *203.*

[114] О *пафосе* и *этосе* см.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 31.— *204.*

[115] *Антимах Колофонский* (V—IV вв. до н. э.) — автор эпической поэмы «Фиваида», основатель ученой поэзии, предшественник александрийских поэтов, очень ими ценимый.

Об *Эмпедокле* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 88. Дионисий называет его «физиком» (phýsis «природа»), так как он, как и другие досократики, за основу мира брал стихии природы. См. также: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 14.— *204.*

[116] Дифирамб посвящен Дионису, сыну Зевса и Семелы, дочери Кадма, именуемому «Бромием» и «Эрибоем» («шумным», «сильнокричащим»), так как оргии в его честь носили экстатический характер.— *205.*

[117] *Оры* — богини времен года и упорядоченности природы. Они открывают и запирают небесные ворота («Илиада», V 749—751). У Гесиода («Теогония», 901—903) они — дочери Зевса и Фемиды: Эвномия (законность), Дике (право), Эйрена (мир).— *205.*

[118] Пиндар, фр. 75.— *205.*

[119] Фукидид, I 1, 1—2, 2.— *207.*

[120] Там же, 22, 4.— *208.*

[121] *Анакреонт* (VI в. до н. э.) из Теоса — древнегреческий поэт. Темы его песен — легкая, изящная любовь, сопровождающая поэта до старости.

О *Симониде* Кеосском, см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 39.

Эфор (V—IV вв. до н. э.) — древнегреческий критик, ученик оратора Исократа, автор всеобщей истории народов, ставшей главным источником для авторов александрийской эпохи. Фрагменты Эфора см. в изд.: FgH, II Teil A, 70.

Феопомп (IV в. до н. э.) — древнегреческий историк, ученик оратора Исократа, автор истории Греции, македонского царя Филиппа и его эпохи. Вводил много мифологических подробностей и отличался предвзятостью изложения. Фрагменты Феопомпа см. в изд.: FgH, II Teil B, 1 Lief., 115.— *209*.

122 *Пейфо* — богиня убеждения.— *210*.

123 Сафо, фр. 1 (перевод В. В. Вересаева, редакция М. Л. Гаспарова).— *210*.

124 Исократ. Ареопагитик, VII 1.— *211*.

125 То, что Дионисий называет *серединой* (mesotēs), есть не что иное, как чувство меры, характерное для всей греческой классики. «Мера — наилучшее» — изречение одного из семи мудрецов, Клеобула. Аристотель в «Никомаховой этике» говорит о том, что страсти человеческие должны быть «умеренны» и «не противиться разуму». Ведь «умеренный человек стремится к тому, к чему следует, и как, и когда следует стремиться, а этого требует разум». Отсюда цель умеренности и разума — «прекрасное» (III 15, 1119 b 10—17).— *212*.

126 «Илиада», XXI 196 (слова об Океане).— *212*.

127 *Демокрит* из Абдеры (V в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ-материалист, основатель атомистического учения.— *212*.

128 *Эпикур* (IV—III вв. до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ, материалист, основатель эпикурейской школы. Учил о чувственном познании действительности, атомистическом строении материи, следуя за Демокритом. Проповедовал воздержанность и простоту жизни, соединенную с так называемой атараксией, «невозмутимостью» мудреца в окружающем мире. Его сочинения см. в изд.: Epicurea, ed. H. Usener. Lipsiae, 1881, p. 90, 3.— *212*.

129 Демосфен. Против Аристократа (XXIII), 1.— *213*.

130 Аристотель. Риторика, III 8.— *214*.

131 *Аристофан* (V—IV вв. до н. э.) — острополитический комедиограф. В его творчестве сочетались реальные факты, непомерная фантастика, фольклорная игра, вплоть до неприличия, гиперболизация, богатейшая символика как воплощение актуальных идей, поборником которых он был.

Здесь цитата из «Облаков», 961.— *214*.

132 Фр. неизвестного автора, 18 Diehl.— *214*.

133 Сафо, фр. 130.— *215*.

134 Аристофан. Облака, 962.— *215*.

135 Еврипид, фр. 229 из недошедшей трагедии «Архелай».— *215*.

136 Демосфен, XVIII 1.— *216*.

137 Фр. неизвестного автора, 25.— *216*.

138 Имеется в виду Афина Итония, названная так по городу в Фессалии.— *216*.

139 Вакхилид, фр. 15.— *216*.

140 Исократ, IV («Панегирик»).— *216*.

141 Платон умер в возрасте 81 года.— *217*.

142 После смерти Платона были найдены также восковые дощечки, т. е. текст в рабочем виде, с его капитальным последним сочинением «Законы», опубликованным учеником Платона Филиппом Опунтским (Диоген Лаэртский, III 37).— *217*.

143 «Одиссея», XIV 1 (пер. В. В. Вересаева).— *219*.

144 Дионисий анализирует гомеровские стихи («Одиссея», XIV 1—7).— *220*.

145 Еврипид, фр. 696 из недошедшей трагедии «Телеф». Герой трагедии — аркадский Телеф, сын Геракла и Авги, тайно его родившей, приходит из Мизии (М. Азия) на родину в Пелопоннес, чтобы излечиться от раны, нанесенной ему Ахиллом.— *220*.

146 *Илифия* — богиня родов. У Гомера несколько Илифий, дочерей Зевса и Геры («Илиада», XI 269—272).— *220*.

147 Симонид Кеосский, фр. 13. *Даная* — дочь царя Акрисия, брошена отцом в море вместе с тайно рожденным ею от Зевса сыном Персеем. Ларец с матерью и сыном прибило к о-ву Сериф, царь которого Полидект, желая овладеть Данаей, потребовал у юного Персея добыть голову Медузы Горгоны.— *221*.

148 «Илиада», XI 514 (слова о Махаоне, лучшем враче, сыне бога Асклепия).— *221*.

ПИСЬМО К ПОМПЕЮ

Перевод сделан по изд.: Dionysius of Halicarnassus. The three literary letters, greek text with engl. transl by W. R. Roberts. Cambridge, 1901. Перевод, помещенный в ЖМНП (1838, ч. 19, с. 586—614), устарел. Для настоящего издания перевод сверен Т. В. Васильевой.

I

[1] Письмо Дионисия обращено к *Гнею Помпею* Гемину, греку, возможно, вольноотпущеннику или клиенту Помпея Великого, получившему имя по своему бывшему господину. Адресат Дионисия был, судя по всему, безоговорочным почитателем Платона, несогласный с критическими замечаниями Дионисия, переданными ему их общим другом, тоже греком, Зеноном.

О литературных связях Дионисия см: Roberts W. R. The literary circle of Dionysios of Halicarnassus.— In.: «Classical Revie», 1900, XIV, p. 439—442.— *222*.

[2] *Зоил* (III в. до н. э.) — греческий ритор из Амфиполя, известный своими язвительными придирками к Гомеру. Носил прозвище «Бич Гомера».

Элиан в «Пестрых рассказах» описывает его наружность и передает, что, когда Зоила спросили, почему он всех хулит, тот ответил: «Потому, что не могу, как мне того хочется, причинить им зло» (XI 10).— *222*.

[3] В диалоге Платона «Федр» одну речь «О любви» молодого, но уже известного оратора Лисия (231 a—234 e) читают Сократ и юноша Федр, сидя под платаном у реки Илис. Затем Сократ произносит свои две речи (237 a—241 d, 244 a—257 b), в которых дается определение любви, раскрывается ее польза, неистовство и роль в становлении души на путях блага.— *223*.

[4] Перечисляется целый ряд известных софистов и риторов, теоретиков красноречия и учителей практической мудрости.

Парменид (VI—V вв. до н. э.) из Элеи (ю. Италия) — древнегреческий философ, один из основателей школы элеатов. Ему принадлежит поэма «О природе».

Горгий Леонтинский (см. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 65) и его ученик *Пол* Агригентский — действующие лица диалога Платона «Горгий» (см. Платон. Соч., т. 1).

Гиппий из Элиды (V в. до н. э.) — знаток естественных наук, астрономии, геометрии, музыки — герой диалога «Гиппий больший» (см. Платон. Соч., т. 1).

Протагор из Абдеры (V в. до н. э.) — «самый неискренний, но самый острый из софистов» (Авл Геллий. Аттические ночи, IV 10), был обвинен в вольнодумстве, а книги его были сожжены в Афинах,— герой диалога «Протагор» (Платон. Соч., т. 1).

Продик с о-ва Кеос (V в. до н. э.) обладал в отличие от других софистов большим моральным пафосом. Ксенофонт приписывает ему аллегорию о Геракле на распутье («Воспоминания о Сократе», II 1, 21—34). Занимался философией языка. О нем Платон упоминает в «Апологии Сократа» (19 e), в «Протагоре» (314 c).

О *Феодоре* из Византия (V—IV вв. до н. э.) — риторе, учителе Лисия Платон вспоминает в «Федре» (261 c, см.: Платон. Соч., т. 2).

Фрасимах из Халкедона (V—IV вв. до н. э.) — софист, преподавал в Афинах риторику. Он упоминается среди действующих лиц «Государства» (Платон. Соч., т. 3, ч. 1). Был известен упрямством и самоуверенностью. Кончил жизнь самоубийством (85 B 7).

Далее Дионисий обвиняет Платона в тщеславии. Однако решительная критика Платоном софистов была основана на противоположности идейных и философских основ Платона, ученика Сократа, с его диалектическим исследованием истины и веры в высшее благо и незыблемость вечных идей, и софистов с их отсутствием положительных принципов, релятивизмом, часто бессодержательным спором (эристикой) и умением извлекать выгоду из человеческих слабостей.— *224*.

[5] Платон, критикуя Гомера, Гесиода («Государство», II 377 a—III 394 b) и трагиков, а также, изгоняя не только Гомера, но вообще всех поэтов из своего идеального государства (III 398 a), полагает, что искусство, подражающее действительности, которая сама является только несовершенным отблеском вечных идей, недостойно воспитывает граждан. Он оставляет место только безыскусственному дифирамбу (394 c), мужественной дорийской гармонии и тем ритмам, которые «несут с собою благообразие», ибо мусическое искусство «всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает» (401 d e).— *224*.

[6] *Аристотель* критиковал, видимо, не Платона (он его даже не называет), а платоновское учение об идеях, воспринятое «философами идей», скорее всего мегарской школой, доведшей идеи до полной абстракции и изоляции от мира вещей («Метафизика», I 9; XIII 4, 5). Сам Платон в «Пармениде» (130 a—135 c) уже критикует разрыв идей и вещей и формулирует те аргументы, с которыми потом выступил Аристотель против будто бы присущего Платону дуализма. Сам Аристотель в учении о Нусе — Уме, перводвигателе и «форме форм», управляющем всем материальным миром, близок к Платону, у которого высшее абсолютное благо охватывает все бытие. В. И. Ленин высоко ценил аристотелевскую критику платоновского учения об идеях, одновременно указывая на непоследовательность Аристотеля, путаницу и противоречивость его философии (см. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 255, 326, 330).

Кефисодор (V—IV вв. до н. э.) — оратор, ученик Исократа, который порицал также Аристотеля (Атеней. Софокл за пиршественным столом, II 60 e).

О *Феопомпе* см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 12. Об его критике сообщает Атеней (XI 508 c).

Гипподам — личность не установлена.

Деметрий Фалерский (IV в. до н. э.) — ученик Феофраста, философ-перипатетик, оратор, ученый и государственный деятель. От его сочинений ничего не дошло, кроме заглавий. Приписываемый ему трактат «О стиле» на самом деле относится к I в. н. э.— *224*.

II

[7] Имеется в виду сочинение Дионисия «Об удивительной силе речи Демосфена» (гл. V—VII).— *224*.

[8] Деметрий Фалерский, фр. 170 (Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar, hrg. v. F. Wehrli, Hf. IV. Basel-Stuttgart, 1968).

Имеется в виду темный, непонятный для непосвященных язык.— *225*.

[9] Еврипид, фр. 484, из недошедшей трагедии «Меланиппа мудрая».— *225*.

[10] См. Платон. Федр, 238 d. Дионисий ошибается, полагая, что Платон называет устами Сократа его речь дифирамбом из-за обилия красот. По Платону, дифирамб безыскусен («Государство», III 394 c), так как его в древности создавали люди, воодушевленные вдохновением, «охваченные нимфами» (238 d) или музами (см. у Гесихия Александрийского объяснение слова nympholeptos), помогающими творить поэту в его безумном наитии.— *225*.

[11] Платон. Федр; см. выше, прим. 3. В этом пассаже своего трактата о Демосфене Дионисий цитирует Платона («Федр», 227 a, 237 a, 238 b, 238 d).— *226*.

[12] В противовес Дионисию Аристотель в «Риторике» прямо пишет, что возвышенные и необычные выражения «люди говорят в состоянии энтузиазма и выслушивают их люди, очевидно, под влиянием такого же настроения. Поэтому такие выражения пригодны для поэзии, так как поэзия есть нечто боговдохновенное». Это выражение, замечает Аристотель, можно также употреблять «с оттенком иронии, как это делал Горгий и каковы примеры этого в «Федре» («Риторика», III 7, 1408 b, 16—20).— *226*.

III

[13] Имеется в виду не дошедшее до нас сочинение Дионисия «О подражании» в трех книгах, посвященное Деметрию Фалерскому.— *226*.

[14] *Филист* (V—IV вв. до н. э.) из Сиракуз — родственник сиракузских тиранов

Дионисия Старшего и Младшего. Будучи в изгнании, написал историю Сицилии. Филиста считали подражателем Фукидида (Цицерон. Об ораторе, II 13, 57).— *227.*

[15] Геродот, I 1.— *227.*

[16] *Фукидид* — автор истории Пелопоннесской войны, втянувшей в борьбу все греческие полисы, разорившей Грецию и способствовавшей падению самостоятельности греческих городов, попавших под влияние македонских царей.— *227.*

[17] Фукидид, I 23.— *227.*

[18] *Гелланик* из Митилен (V в. до н. э.) — греческий историк-логограф, автор генеалогических историй Трои и исторических сочинений («История Персии»).

Харон Лампсакский (V в. до н. э.), греческий историк-логограф, тоже автор истории Персии.— *227.*

[19] События на о-ве *Керкира* (Коркира) были поводом Пелопоннесской войны. Керкира вступила в конфликт с Коринфом и обратилась за помощью к Афинам.

Греко-персидская война, в которой греки одержали победу над Ксерксом, длилась приблизительно с 500 до 450 г., хотя решительная победа при Саламине была одержана греками еще в 480 г. до н. э.— *228.*

[20] *Мегарцы* принесли жалобу на притеснение афинян и обратились за помощью к Спарте и Коринфу.— *228.*

[21] *Киноссема* (букв. «могила собаки») — оконечность фракийского Херсонеса, где, по преданию, была погребена троянская царица Гекуба, превращенная в собаку и бросившаяся в море (Еврипид. Гекуба).— *228.*

[22] *Фила* — крепость на границе Афин и Беотии. Отсюда Фрасибул, глава демократов, выступил против олигархии Тридцати тиранов в Афинах и изгнал их (Ксенофонт. Греческая история, II 4, 2—24).— *228.*

[23] Пиндар. Немейские оды, VII 52.— *228.*

[24] *Одрисы* — могущественное племя во Фракии, которое не мог покорить даже персидский царь Дарий. Только в I в. н. э. государство одрисов окончательно было присоединено к Риму. См. Фукидид, II 96 сл, VI 2—5.— *228.*

[25] *Крез* — царь Лидии (М. Азия), славившийся своим царством. Ему был дан двусмысленный оракул, следуя которому он потерял свое царство (Геродот, I 55).

Кир Старший — персидский царь (VI в. до н. э.), сын перса Камбиса и Манданы, дочери лидийского царя Астиага (см. Геродот, I 107—130).

Геродот, кн. II (Египет), IV (Скифия, Ливия).— *229.*

[26] *Ксеркс* после поражения его войск при Саламине (480 г. до н. э.) вернулся в Персию.— *229.*

[27] Фукидид, будучи во главе афинского флота, прибыл слишком поздно, чтобы защитить Амфиполь, был обвинен в предательстве и отправлен в изгнание (V 26), где прожил 20 лет, вернувшись только в 404 г.— *229.*

[28] Далее в рукописи пропуск, так называемая лакуна. Здесь, очевидно, шел разговор о ясности (saphēneia).— *229.*

[29] *Цецилий* Калактийский, современник и друг Дионисия, поборник аттического возрождения в эпоху Августа. О нем см.: «American journal of philology», XVIII 3, p. 302—312.— *230.*

IV

[30] Ксенофонт. Киропедия.

Кир Младший (V в. до н. э.) — младший сын персидского царя Дария и Парисатиды, претендовавший на престол и убитый во время похода против своего брата Артаксеркса. В войсках греческих наемников Кира находился Ксенофонт, описавший этот поход и отступление греков после битвы при Кунаксе в «Анабасисе».— *230.*

[31] «Греческая история» Ксенофонта в семи книгах является непосредственным продолжением истории Фукидида. Она так и начинается: «Через несколько дней после этого...» (I 1, 1).— *230.*

V

[32] Цицерон в письме к брату Квинту дает такую характеристику Филисту: «Этот выдающийся сицилиец часто повторяется, он остер, сжато пишет, почти крошечный Фукидид».— *231*.

[33] Филист, фр. 5 (FgH III, Teil B, 556).— *231*.

VI

[34] Царь Филипп Македонский.— *232*.

[35] Имеются в виду мифические цари Минос, Радамант и (по некоторым версиям) Эак.— *232*.

[36] В трактате «Об ораторе» (II 23, 94) Цицерон пишет, что «все эти феопомпы, эфоры, филисты, навкраты и многие другие при всем различии их дарований и стремлений были сходны между собою и со своим учителем», имея в виду Исократа.— *233*.

[37] Цицерон пишет, что «Феопомпа упрекали за то, что он слишком ревностно избегал зияющих звуков» («Оратор», 44, 151). Зияние — hiatus — столкновение гласных в конце предыдущего и начале следующего слова. Древние избегали зияния, и конечный гласный перед словом, начинающимся с гласного, опускался, т. е. элидировался.— *233*.

ДЕМЕТРИЙ

(ок. I в. н. э.)

Сочинение «О стиле» приписывается некоему Деметрию, которого отождествляли обычно с известным перипатетиком Деметрием Фалерским. Хотя такое отождествление ныне является анахронизмом, но перипатетическая окраска трактата здесь явно налицо. По всему видно, что автор хорошо знает третью книгу «Риторики» Аристотеля («О стиле») и сочинение Феофраста «О стиле», сохранившееся только во фрагментах. Но также ясно, что автор этот поздний. Он оперирует письмами Аристотеля, которые относятся обычно к позднему времени, и упоминает писателей-перипатетиков (181), используя подобное обозначение аристотелевской школы, принятое во времена Цицерона. Перипатетизм Деметрия, как это характерно для эллинистическо-римского периода с его эклектизмом, подразумевает, может быть, и стоические моменты (172, ср. Диоген Лаэртский, VII 1, 2, где имеется в виду стоик Зенон Тирский).

Деметрий, как и Дионисий Галикарнасский, основывается на метрическом строении прозы и ее чисто словесной форме, хотя его интересует форма в более широком смысле — вместе с идейным содержанием. Главным в его учении является теория четырех стилей, подтверждаемая огромным количеством примеров, что делает изложение весьма выпуклым и значительным, несмотря на краткость и скупость формулировок. В этом разделении на четыре стиля Деметрий продолжает позднеантичную традицию, которая не мыслится без четкой классификации форм. Однако здесь же автор и отступает от этой традиции, вводя четыре стиля вместо обычных трех. Цицерон говорит о трех родах, или стилях: «точном, чтобы убеждать, умеренном, чтобы услаждать, мощном, чтобы увлекать» («Оратор», 21). Дионисий Галикарнасский учил (146) о строгом, гладком, или цветистом, и общем стилях, или характерах.

Деметрий вводит дифференциацию на простой, или скудный, стиль (ischnos); величественный, или торжественный (megalorprepēs); изящный, или гладкий (glaphyros), и, наконец, мощный, или сильный (deinos). Этот последний, возможно, восходит к представлению о знаменитом ораторе Демосфене как мастере речи, сильной, возбуждаю-

щей в слушателях какой-то почти священный ужас, нечто страшное и великое в духе Платона («Лахет», 198 b) и Аристотеля («Никомахова этика», III 9, 1115 а 24—26), а не к обыденному пониманию «хорошо, умело, ловко, мастерски говорить» (deinos legein). Этим своим разделением на четыре стиля, а также явным пиететом перед Демосфеном автор сочинения «О стиле» тоже подтверждает поздний характер своего произведения (ср. преклонение Дионисия Галикарнасского и восторги поздних перипатетиков при обращении к Демосфену).

Деметрий выступает в своем трактате типичным эллинистическим автором со страстью к классификации, детализации, риторической технике, метрическому анализу речи.

У Деметрия можно наблюдать не только учение об отдельно существующих четырех стилях речи, но и об их сочетании, которое, как и у Дионисия, имело для чего существенное значение (36—37). Так, изящный стиль речи может соединяться с простым и возвышенным; мощный соединяется с тем и другим, и только возвышенный не вступает в соединение с простым, или скудным, так как оба они исключают друг друга. Оказывается, в этом соединении есть определенная логика, и, вполне естественно, Деметрий отвергает подчинение изящного стиля простому, а мощного — возвышенному, так как изящный стиль содержит в себе нечто миниатюрное и тонкое, а мощный — великолепное и величественное. Эти четыре стиля, собственно говоря, равноценны эстетическим категориям возвышенного, простоты, гладкости (изящества) и силы (мощности). Определяя величавость, он находит ее не только в конструкции, т. е. в форме, но и в словесном составе, а главное, в мыслях, т. е. в содержании. Отсюда — рассуждения о пеонических стопах, о сочетаниях слов, необязательно благозвучных и гладких, о разнообразии и необычности словарного состава. Красота возвышенного стиля зачастую рождается именно из слов суровых, неблагозвучных, необычных, из их инверсии, бессоюзия, неожиданного расположения. Украшения речи Деметрий сравнивает с архитектурным орнаментом и красочными элементами одежды (108), признавая обороты, которые служат или только выражению мысли, или только украшению (106).

Сравнивая возвышенный стиль Деметрия и строгий род соединения слов у Дионисия (148—149), можно сделать вывод об их несовпадении. Первый подчеркивает нечто величавое и торжественное, а второй — суровую неприступность, нагроможденность и даже неотесанность каменных глыб. Деметрий выдвигает на первый план мысль, или содержание, и соответствующий ей риторический коррелат (38), т. е. поэтические и чисто технические формы объединяются здесь новой, стоящей над ними эстетической категорией; свои характеристики он мыслит чрезвычайно конкретно и неформалистично.

Примечательно также, что Деметрий прекрасно чувствует, как каждый стиль речи может перейти в свою противоположность. Так, например, возвышенный стиль может стать ходульным вследствие преувеличения мысли и ее несоответствия действительности (114—115). Оказывается, что ходульность и ее самая излюбленная фигура — гипербола основаны на невероятности, невозможности, т. е. не соответствуют действительности. Вспомним также, какую роль играет в эстетических категориях преувеличение, переходящее в свою противоположность и создающее новую категорию. Так, например, ужасное, крайне преувеличенное и гиперболизированное, переходит в свою противоположность — смешное — и оформляется в новую эстетическую категорию, которую мы бы назвали гротеском. Так и возвышенное у Деметрия становится ходульным.

Изящная речь, по Деметрию, не мыслится без эстетической категории — шутки, которая может быть не только тонкой, изящной, но и страшной (128—135).

Изящество, прелесть или приятность речи основаны на содержании и словесном способе выражения (136), расположении слов и фигур, причем так же, как и в стиле возвышенном, прелесть обусловлена именно необычным применением слов к данному предмету (145). Хотя приятное не лишено шутливости, но по сути своей смешное и приятное отличаются друг от друга самим предметом, т. е. содержанием (163) и формой слов (164). Красивое и смешное — несовместимы, поэтому изящество и прелесть всегда «требуют меры» (165). Однако красота в словесной форме может уничтожить

смешное и перевести его в свою противоположность — восхищение. Таким образом, словесная форма существенно влияет на эстетическую наполненность содержания.

В определении изящного стиля явно чувствуется его этическая нагрузка. Это стиль, выражающий веселость (charientismos, 128), радостность, дружественность (hilaros, 132). Он создает нечто милое (eycharis), прелестное (charites, 133), шутливое, утонченно острое (asteia, 131) и близкое к насмешке, даже комедийное.

Такая градация от безобидного веселья к насмешке вполне эстетически оправдана. Достаточно вспомнить у Гомера ослепление Полифема со всеми «шутками» Одиссея или милую прелесть танца Навсикаи, вызывающую добрую улыбку (128—130). Здесь, таким образом, с одной стороны, явная дифференциация, а с другой — близкая связь и незаметный переход одной категории в другую.

Дионисий также рассуждает на тему изящного стиля, выделяя в нем нечто ровное, гладкое, прелестное. У Деметрия изящное включает два несхожих момента — веселое-смешное и милое-прелестное. Эллинистическая утонченность здесь налицо. В изяществе Деметрия есть что-то кокетливое, в его прелести (charis) присутствует момент субъективной выразительности, а в смешном и веселом — момент субъективного ощущения.

Для простого, или скудного, стиля характерна точность, простота, ясность, убедительность, наглядность и привычность слова (190—222). В этом стиле нет осудительного смысла. Он прост и безыскусен, но вместе с тем ему грозит вырождение в «сухой» стиль, как изящный может выродиться в безвкусный. Простой стиль хорош в эпистолярном жанре, так как письмо есть своеобразный диалог между двумя, когда высказывается только одна сторона, но подразумевается и второй собеседник и его реакция (223). Простота письма не исключает изящества (235), а предполагает его, будучи непосредственной и естественной речью.

В мощном стиле (240—301) Деметрий также выделяет содержательную и формальную стороны, потому что важна сильная тема и мощная, стремительная, отрывочная структура речи, создающая ощущение неровного пути из-за того, что слова соединяются с усилием. Краткость и умолчание тоже заключают некоторую силу, так как неясность и недосказанность производят сильное впечатление на слушателей. Однако они не должны вырождаться в небрежность и беспредметную разрозненность.

В этой классификации Деметрий вполне учитывает неполную обособленность стилей и признает, что полная «несовместимость» существует только между двумя из них, а именно между возвышенным и простым. Все же остальные могут объединяться, сочетаться, смешиваться. Если идти по этому пути, то можно выделить тогда два основных стиля, близких к двум главным стилям Дионисия: противоположность торжественности и серьезности, с одной стороны, и игривой кокетливости — с другой. Эту антитезу Дионисия Деметрий детализирует еще с помощью одного разделения, учитывая степень содержательности обоих стилей. Выдвигая внешнюю формально-выразительную структуру, мы получаем в серьезном стиле мощность и силу, а в кокетливом — безыскусственную простоту. Выдвигая же внутреннее содержательно-смысловое наполнение, мы получаем для серьезного стиля — величие, для кокетливого — изящество, нечто милое. В серьезном стиле внутреннее величие внешне выражено как мощь, а в кокетливом внутреннее искусство внешне выражено как наивность и простота. Таким образом, детализация Деметрия может быть продумана нами более логично и последовательно.

Эстетическая позиция Деметрия выражена во взглядах на искусство как на систему сознательных форм, данных вместе со своим внутренним содержанием. Деметрий продолжает здесь Дионисия и ощущает эти формы еще более глубоко и судит о них во многих отношениях детальнее и обстоятельнее. Он прекрасно чувствует напевность языка, но делает упор не на смысловой его глубине, а использует внешне звуковую, музыкально-словесную сторону.

На примере Деметрия и Дионисия видно, как эллинистическо-римская эстетика тонко и мудро ощущает музыку слова и стилевую выразительность классической греческой литературы. Изобилие живых иллюстраций, примеров, удачно выбранных текстов, стихотворных и прозаических, умеряет некоторую суховатость и краткость формулировок Деметрия, вводя читателя в реальную атмосферу античной прикладной эстетики позднего времени.

О СТИЛЕ

Перевод сделан по изд.: D e m e t r i u s. On style, greek text with an engl. transl. by W. R. Roberts.— In.: Aristotle the poetics. Longinus on the sublime. Demetrius on style. London, 1960 (Loeb classical library). Названия разделов принадлежат переводчику. Перевод на русский язык публикуется впервые. Для настоящего издания перевод сверен О. В. Смыкой.

1 О *колонах см.:* Д и о н и с и й Галикарнасский. О соединении слов, прим. 11; ср. А р и с т о т е л ь. Риторика, III 9.— *237.*

2 *Гекатей* Милетский (VI—V вв. до н. э.) — первый древнегреческий историк-логограф. Ему принадлежат описание Европы, Азии и Ливии, а также генеалогические сочинения. Фрагменты его сочинений см. в изд.: FgH, Teil I A, 1.— *237.*

3 О *Ксенофонте* см.: Д и о н и с и й Галикарнасский. О соединении слов, прим. 56, а также: о н ж е. Письмо к Помпею, прим. 30. Здесь «Анабасис», I 1.— *237.*

4 Афоризм знаменитого врача Гиппократа (I 1). Сам Гиппократ под искусством понимал медицину.— *238.*

5 П л а т о н. Политик, 269 с.— *238.*

6 Архилох, фр. 81 (перевод Г. Церетели).

Строка из следующего контекста:

Мой Керкид, тебе скажу я сказочку про палку,
больно бьющую.— *238.*

7 Там же, фр. 88.— *238.*

8 Об *Анакреонте,* см.: Д и о н и с и й Галикарнасский. О соединении слов, прим. 121; здесь фр. 27 (перевод Г. Церетели).— *238.*

9 К с е н о ф о н т. Анабасис, IV 4, 3. Цитаты Деметрия часто отличаются от традиционного греческого текста, нам известного.— *238.*

10 Ср. 114—127, а также: А р и с т о т е л ь. Риторика, III 3.— *238.*

11 «Илиада», IX 502*.— *238.*

12 У Гомера читаем о «многочтимых старцах», сидящих над воротами Трои, в башне, когда мимо них проходила Елена:

Старость мешала в войне принимать им участие, но были
Красноречивы они и подобны цикадам, что, сидя
В ветках деревьев, приятнейшим голосом лес оглашают,
(«Илиада», III 150—152).— *238.*

13 Спартанцы напоминали царю Филиппу Македонскому, что тираны, потерявшие власть, теперь зарабатывают на жизнь гроши, как учителя. Здесь имеется в виду тиран сиракузский Дионисий Младший, который потерял власть в 343 г. и вынужден был жить в Коринфе в бедности.— *238.*

14 *Апофтегмы* и *гномы* — изречения, меткие мысли.— *239.*

15 О *периоде* см.: Д и о н и с и й Галикарнасский. О соединении слов, прим. 11.— *239.*

16 Д е м о с ф е н. Против Лептина (XX), 1.— *239.*

17 А р и с т о т е л ь. Риторика, III 9, 1409 b 35—1409 b 1. Аристотель считал, что стиль, выраженный в периодах, «приятен и понятен... потому что представляет собой противоположность речи незаконченной... Понятна такая речь потому, что она легко запоминается, а это происходит от того, что периодическая речь имеет число» (1409 b 1—7).— *239.*

18 *Период* — букв. «обход», «окружность».— *239.*

19 Об *Исократе* см.: А р и с т о т е л ь. Риторика, кн. I, прим. 7, кн. II, прим. 91. О *Горгии* см.: Д и о н и с и й Галикарнасский. О соединении слов, прим. 65.

Алкидамант (см. А р и с т о т е л ь. Риторика, кн. I, прим. 89) — автор сочинения об ораторском искусстве, на котором воспитывались Демосфен и Эсхин.— *239.*

* Цитаты из «Илиады» и «Одиссеи» приводятся в переводе В. В. Вересаева.

[20] См. выше, прим. 2.— *239*.

[21] *Фидий* — знаменитый греческий скульптор V в. до н. э., изваявший статую Афины Паллады для афинского Парфенона.— *240*.

[22] Геродот, I 1.— *240*.

[23] Автор этих слов неизвестен.— *240*.

[24] Автор этих слов неизвестен.— *240*.

[25] См. выше, прим. 3.— *240*.

[26] См. выше, прим. 15.— *241*.

[27] Платон. Государство (начало):

«Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богам...» (I 327 a).— *241*.

[28] Исократ. Панегирик (IV), 58.— *241*.

[29] Исократ. Елена (X), 17.— *241*.

[30] Об *Эпихарме* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 45. Здесь фр. 147 Kaibel.— *241*.

[31] «Илиада», IX 526 (из рассказа о войне этолийцев и куретов).— *242*.

[32] Исократ, IV 1.— *242*.

[33] Фукидид, I 5. Под «этим делом» подразумевается пиратство, которое было истреблено царем Крита Миносом (I 4).— *242*.

[34] Автор этих слов неизвестен.— *242*.

[35] О *Феопомпе* см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 121.— *242*.

[36] Феопомп, фр. 225 c (FgH, Teil II B, 1).— *242*.

[37] Аристотель, фр. 74, 75 (Aristotelis fragmenta, ed. V. Rose. Lipsiae, 1886).—*242*.

[38] Ксенофонт. Греческая история, VII 2, 9, где говорится, что «женщины плакали от счастья», встречая победителей.— *242*.

[39] Аристотель, фр. 619, 1582 b 20, 21 Rose.— *242*.

[40] Демосфен. Против Аристократа (XXIII), 99.— *243*.

[41] Аристотель. Риторика, III 9, 1409 b 16 сл. Цитата Деметрия несколько отличается от известного нам текста Аристотеля.— *243*.

[42] *Архедем* из Тарса (II в. до н. э.) — ритор, сочинения которого Деметрий, видимо, использовал в своем трактате.— *243*.

[43] О стилях ср.: Аристотель. Риторика III; Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, 145—189 (типы соединений: «строгий»; «гладкий, или цветистый»; «общий, или средний»).— *244*.

[44] Аристотель. Риторика, III 8, 1409 a 12—21.— *244*.

[45] О четырех видах пеона см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 101.— *244*.

[46] Фукидид, II 48, 1 («болезнь появилась в Эфиопии»).— *244*.

[47] Аристотель. Риторика, III 8.— *245*.

[48] О *Феофрасте* см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 82; здесь фр. 93 (Theophrasti opera, ex rec. F. Wimmer, t. III. Lipsiae, 1862).— *245*.

[49] Имеется в виду героический гексаметр, где может происходить замена дактилической стопы (— V V) спондем (— —).— *245*.

[50] Фукидид, I 1.— *245*.

[51] Геродот, I 1.— *245*.

[52] Фукидид, II 102, 2 (перевод С. Жебелева).— *246*.

[53] «Бóльший Аякс Теламоний все время старался ударить Гектора медною пикой» («Илиада», XVI 358).— *246*.

[54] Фукидид, II 49 1. С. Жебелев переводит именно так: «Все были согласны в том, что год этот в отношении прочих болезней был самый здоровый».— *246*.

[55] Платон. Государство, III 411 a b.— *247*.

[56] «Одиссея», IX 190.— *247*.

[57] Об *Антифонте* см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 56; здесь фр. 50.— *247*.

[58] «Илиада», II 497 (перевод О. В. Смыки).— *247*.

Ср. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, 102—103.

[59] Платон. Федр, 246 e.— *247*.

[60] «Илиада», XIV 433.— *247.*

[61] «Одиссея», V 203 (слова нимфы Калипсо, расстающейся с Одиссеем).— *248.*

[62] *Праксифан* (IV—III вв. до н. э.) с Родоса (или Лесбоса) — философ-перипатетик, ученик Феофраста, занимался теорией, грамматикой, писал трактаты «О поэтах» и «О стихах».— *248.*

[63] См. «Одиссея», XXI 226, «Илиада», XXIII 154.— *248.*

[64] Еврипид, фр. 515, из недошедшей трагедии «Мелеагр».— *248.*

[65] «Одиссея», XII 73 — об утесах Сциллы и Харибды (перевод О. В. Смыки).— *248.*

[66] «Илиада», II 671—674.

Нирей из Симы — сын Аглаи и Харопа.— *249.*

[67] Автор неизвестен.— *249.*

[68] «Илиада», XIII 799 (перевод О. В. Смыки).— *249.*

[69] Фукидид, IV 12, 1 (о спартанском полководце Брасиде).— *249.*

[70] Эмиль Орт, первый переводчик Деметрия на немецкий язык (D e m e t r i o s Vom Stil. Saarbruecken, 1923), в своей статье в журнале «Philologische Wochenschrift» (1925, XXVII, S. 778—783) полагает, что здесь имеется в виду историк Геродор Гераклейский (VI—V вв. до н. э.), из «Аргонавтики» которого взята данная цитата. Однако в своем переводе Э. Орт буквально следует Деметрию и переводит «Геродот». У Геродота (I 203 сл.) есть описание Кавказа вблизи Каспийского моря, но о змеях там ничего не говорится.— *249.*

[71] О *зиянии* см.: Д и о н и с и й Галикарнасский. Письмо к Помпею, прим. 37.— *249.*

[72] «Эак» — сын Зевса и нимфы Эгины, судит мертвых в Аиде.— *250.*

[73] «Снег».— *250.*

[74] «Ээа» — жительница о-ва Эя, волшебница Кирка; «Эвий» — эпитет Вакха — Диониса.— *250.*

[75] «Солнце». Неслитная, т. е. гомеровская, форма.— *250.*

[76] «Гора». Неслитная эпическая форма в родительном падеже множественного числа.— *250.*

[77] «Все молодое — прекрасно». Автор неизвестен.— *250.*

[78] Еще немецкий поэт Геснер в XVIII в. издал похвалу семи греческим гласным, имея в виду Деметрия (G e s n e r J. M. Theologoymena de laude Dei per VII Vocales ad Demetrium Phalereum. Göttingen, 1746).— *250.*

[79] «Одиссея», XI 595 (о Сизифе, который в Аиде «в гору камень толкал»).—*250.*

[80] Фукидид, VI 1 (речь идет о Сицилии, которая «разъединена от материка»).—*250.*

[81] Фукидид, I 24. Речь идет об основании Эпидамна:

«Город основали керкиряне, вождем же колоний был...» Имеется в виду Фалий коринфянин, потомок Геракла.— *250.*

[82] «Заря».— *250.*

[83] Винительный падеж от местоимения «какая».— *250.*

[84] *Никий* (IV в. до н. э.) — художник из Афин, писал энкаустикой, главным образом, батальные сцены. Известно его изображение загробного мира по одиннадцатой песне Гомера.— *251.*

[85] «Илиада», II 824, XX 59 и мн. др.— *251.*

[86] Д е м о с ф е н. О венке (XVIII), 136.— *251.*

[87] А р и с т о т е л ь. Риторика, III 11, 1411 b 25—1412 a 4.— *252.*

[88] «Илиада», IV 126.— *252.*

[89] «Илиада», XIII 799 (перевод О. В. Смыки).— *252.*

[90] Там же, 339.— *252.*

[91] «Илиада», XXI 388 (перевод О. В. Смыки).

Ср. у Гесиода: «широкое ахнуло небо» («Теогония», 679), «страшно земля зазвучала и небо широкое сверху» (там же, 840).— *252.*

[92] К с е н о ф о н т. Анабасис, I 8, 18 (описание битвы при Кунаксе, где был убит Кир Младший).— *252.*

[93] Феогнид, фр. 1 N.—Sn. из недошедшей трагедии. Ср. А р и с т о т е л ь. Риторика, III 11, 1413 a 1.— *253.*

[94] *Парабола* — развернутое уподобление.— *253.*

[95] Ксенофонт. Киропедия, I 4, 21.— *253.*

[96] Автор неизвестен.— *253.*

[97] Фр. неизвестного автора, 128 Bergk=962 Page (Poetae melici Graeci, ed. D. L. Page. Oxford, 1962), у Диля отсутствует.— *253.*

[98] Ксенофонт. Анабасис, I 5, 2.— *254.*

[99] «Одиссея», IX 394: «Так зашипел его глаз вкруг оливковой этой дубины» (о выжженном Одиссеем глазе киклопа).— *254.*

[100] «Илиада», XVI 161 (о волках, которые «узкими там языками лакают с поверхности воду»).— *254.*

[101] *Кинедия* — сексуальное извращение.— *254.*

[102] Аристотель. История животных, II 1, 497 b 28; X 1, 610 a 27.— *254.*

[103] Предполагают, что под этим автором имеется в виду историк Страбон (I в. до н. э.— I в. н. э.), который однажды употребляет редкое слово scaphitēs (XVII 1, 48), образованное от греч. scaphē «челнок», «нечто выдолбленное».— *254.*

[104] «Одинокий» (avtitēs), фр. 618, 1582 b, 11 Rose.— *254.*

[105] Ксенофонт. Анабасис, V 2, 14.— *254.*

[106] Ср. подобный пример у Аристотеля («Риторика», II 21, 1395 a 2, III 11, 1412 a 23), где эти слова приписываются поэту Стесихору. См.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 58.— *254.*

[107] Клеобулина. фр. 1; ср.: Аристотель. Риторика, III 2, 1405 a 35.— *255.*

[108] См. выше, прим. 13.— *255.*

[109] Ксенофонт. Анабасис, I 8, 20.— *255.*

[110] Там же, 10.— *255*

[111] «Илиада», XVI 358; см. выше, 48.— *255.*

[112] Заключительное высказывание, концовка, как бы подводящая итог предшествующим строкам.— *255.*

[113] Сафо, фр. 117 (из свадебных песен, эпиталамиев; перевод В. Вересаева).—*256.*

[114] «Одиссея», XVI 288—294 (разговор Одиссея и Телемаха о спрятанных оружии и доспехах).— *256.*

[115] Так называемая латиклава у римских сенаторов.— *256.*

[116] «Илиада», XII 113 (о троянском герое Асии, сыне Гиртака).— *256.*

[117] Возможно, Деметрий имеет здесь в виду Геродота, который приводит речь грека Демарата к персидскому царю Ксерксу. В этой речи, прославляющей храбрость спартанцев, есть слова о том, что, будучи свободны, они свободны, однако не во всех отношениях: «Над ними есть владыка закон» (VII 104). Эти слова созвучны знаменитой строке Пиндара о законе-царе (nomos basileys), см. «Олимпийские оды», VII 33.— *256.*

[118] «Одиссея», XIX 172 (перевод О. В. Смыки).— *256.*

[119] Фукидид, IV 64, 3.— *257.*

[120] Софокл, фр. 554, из недошедшей трагедии «Триптолем».— *257.*

[121] Автор неизвестен.— *257.*

[122] См.: Аристотель. Риторика, III 3.— *257.*

[123] Возможно, это слова Горгия, который, по Аристотелю («Риторика», III 3, 1406 b 9), говорил о делах «бледных и кровавых».— *257.*

[124] «Я прихожу в эту нашу землю, которая вся по справедливости наша». Автор фрагмента неизвестен.— *257.*

[125] О *Поликрате* см.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 114.

В греческом тексте пропущено имя, возможно, какого-нибудь традиционного отрицательного персонажа.— *258.*

[126] См. выше, прим. 9.— *258.*

[127] Автор неизвестен.— *258.*

[128] *Истр* — современный Дунай.— *258.*

[129] Ср. Платон. Законы: «Начало — половина дела, и мы всегда воздаем прекрасному началу хвалу» (VI 753 e).— *258.*

[130] «Илиада», X 437, IV 443.— *258.*

[131] Автор неизвестен.— *259.*

[132] Софрон, фр. 108, 34 Kaibel.— *259.*
[133] Сафо, фр. 138.— *259.*
[134] *Софрон* (V в. до н. э.) — автор комических сценок, дорийских мимов.
Лисий, сын Кефала (V—IV вв. до н. э.) — уроженец Сиракуз, знаменитый оратор и логограф. В речах, которые он писал своему заказчику, стремился передать его характер, манеру говорить и настроение, чтобы воздействовать на судей.
Здесь фр. 1, р. 253 Müller (Oratores attici, fragmenta oratorum atticorum, graece cum transl. ref. a C. Mullero, v. II. Parisiis, 1858).— *259.*
[135] «Одиссея», VI 105 сл. (о богине Артемиде, с которой Одиссей сравнивает царевну Навсикаю); VI 108.— *259.*
[136] «Одиссея», IX 369—370. Одиссей назвал себя киклопу «Никто» (oytis).— *259.*
[137] Ксенофонт. Анабасис, VI 1, 13.— *260.*
[138] *Гиппонакт* из Эфеса (VI—V вв. до н. э.) греческий поэт-ямбограф, известный своим остроумием и демократизмом, создатель так называемого холиямба, хромого ямба V —/V —/V —/V —/V —/— V̄, когда в ямбическом триметре последняя стопа заменяется трохеем (хореем) или спондеем (— —).— *260.*
[139] Красота *Эроса*, бога любви, противопоставляется *Эриниям*, богиням мести, страшным старухам со змеями и бичами в руках и *Гигантам*, нижняя часть тела которых была змеиной.— *260.*
[140] «Одиссея», XIX 518—519. Соловей по-гречески aēdon (букв. «поющий»). В соловья была превращена дочь царя Пандарея из-за убийства своего сына Итила.— *260.*
[141] Ксенофонт. Киропедия, XI 2, 15.— *260.*
[142] Ксенофонт. Анабасис, III 1, 31.— *261.*
[143] Автор неизвестен.— *261.*
[144] Ксенофонт. Анабасис, I 2, 27.— *261.*
[145] Сафо, фр. 131 (перевод В. Вересаева).— *261.*
[146] Сафо, фр. 120.— *262.*
[147] Алкей, фр. 94 Diel=39 Bergk.— *262.*
[148] Фр. неизвестного автора, 126 Bergk=963 Page. У Диля отсутствует.— *262.*
[149] Аристотель, фр. 618, 1582 b 12, 14 Rose.— *262.*
[150] Автор неизвестен.— *262.*
[151] Сафо, фр. 115.— *262.*
[152] Софрон, фр. 32.— *263.*
[153] Сафо, фр. 123.— *263.*
[154] Автор неизвестен.— *263.*
[155] Аристофан. Облака, 401.— *263.*
[156] Фр. неизвестного автора, III Bergk, р. 742. У Диля отсутствует.— *263.*
[157] Софрон, фр. 52.— *263.*
[158] Софрон, фр. 24.— *263.*
[159] «Одиссея», IX 369.— *263.*
[160] Аристофан. Облака, 149, 179.— *263.*
[161] *Булий* — ритор или судья, который славился пустотой своих речей.
Софрон, фр. 109.— *264.*
[162] Менандр. Мессениянка, II фр. 268—273 Koerte (Menandri quae supersunt, ed. A. Koerte, t. I—II. Lipsiae, 1957—1959).— *264.*
[163] См. выше, прим. 39.— *264.*
[164] Ксенофонт. Анабасис, VII 3, 15 сл.— *264.*
[165] Софрон, фр. 68, 110.— *264.*
[166] Аристотель. История животных, IX 32, 619 а 18.— *264.*
[167] Автор неизвестен.— *264.*
[168] Аристофан. Ахарняне, 86.— *265.*
[169] Автор неизвестен.— *265.*
[170] См. выше, прим. 132.— *265.*
[171] См. выше, прим. 133.— *265.*
[172] *Ир* — нищий в «Одиссее» (XVIII) Гомера. *Терсит* — самый безобразный из греков («Илиада», II).— *265.*
[173] См. выше, прим. 140.— *265.*

[174] См. выше, прим. 104.— *265.*

[175] *Кратет* из Фив (IV вв. до н. э.) — кинический философ и писатель, ученик Диогена.— *265.*

[176] Игра слов, основанная на созвучии имен: *Ойней* греч. Oineös и *вино* (oinos), *Пелей* греч. Pēleos и *лужа* (pēlos). Ср. Афиней, IX 383 c.— *266.*

[177] Аристотель ссылается на ритора Ликимния, говорившего, что «красота слова заключается в самом звуке или в его назначении, точно так же и безобразие» («Риторика», III 2, 1405 b 6—8).— *266.*

[178] Вместо Dēmosthēnē Socratē (вин. пад. ед. ч.).— *266*

[179] Аякс — сын Теламона, герой «Илиады» Гомера.— *266.*

[180] «Пожрал».— *266.*

[181] «Гром». Bronta — дорийская форма, brontē — ионийско-аттическая.— *266.*

[182] *Дикеарх* (IV в. до н. э.) — философ-перипатетик, ученик Аристотеля. Автор истории Греции и, возможно, сочинений о мусических состязаниях. Здесь фр. 39 Wehrli.— *267.*

[183] Платон. Государство, III 411 a: «...о которых мы только что говорили».— *267.*

[184] Там же: «... он проводит всю жизнь, то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопений...»— *267.*

[185] Там же, 411 b: «...если есть в нем яростный дух, он на первых порах смягчается, наподобие того как становится ковким железо...» — *267.*

[186] Там же, 399 d: «У тебя остается лира... в городе».— *267.*

[187] Там же: «В сельских местностях у пастухов были бы в ходу какие-нибудь свирели».— *267.*

[188] Автор неизвестен.— *268.*

[189] Автор неизвестен. Имя матери Александра Македонского — Олимпиада.— *268.*

[190] Сотадов стих, см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов. прим. 23.

Здесь фр. 6: «Иссушенный жаром, закройся».— *268.*

[191] «Ясень свой пелионский на правом плече колебал он» («Илиада», XXII 133—об Ахилле).

Деметрий видит безвкусицу уже в перестановке слов Сотадом (фр. 4) «ясень пелионский» вместо «пелионский ясень». Однако в русском переводе первый вариант лучше укладывается в гекзаметр.— *268.*

[192] Лисий. Об убийстве Эратосфена, 9.— *268.*

[193] Философа Гераклита именовали Темным из-за его языка, насыщенного мифами, символами, метафорами, наподобие иератической речи мистерий, доступных только посвященным. Отсутствие союзов (asyndeton), о котором говорит Деметрий, вообще характерно для ранней греческой прозы, например, для первых историков-логографов. Ср. Аристотель, III 5, 1407 b 14—18.— *268.*

[194] *Менандр* и *Филемон* (IV—III вв. до н. э.) — знаменитые драматурги, создатели новоаттической бытовой комедии.

От Менандра, кроме фрагментов, дошла единственная его юношеская комедия «Dyscolos» («Брюзга» или «Ненавистник»), найденная в 1956 г. и опубликованная В. Мартеном. От Филемона дошли только фрагменты.— *269.*

[195] Менандр, фр. 685 Koerte.— *269.*

[196] Еврипид. Ион, 161 сл. *Ион* — сын афинской царевны Креусы и Аполлона, подброшенный своей матерью и воспитанный прислужником в храме.— *269.*

[197] Автор неизвестен. Близкий к этому пассаж есть в речи «В ответ на письмо Филиппа» (XI 1).— *269.*

[198] О *Филисте* см.: Дионисий Галикарнасский. Письмо к Помпею, прим. 14.— *269.*

[199] Ксенофонт. Анабасис, I 2, 21.— *269.*

[200] Фукидид, I 24.— *269.*

[201] «Илиада», VI 152.— *269.*

[202] Фукидид, II 102; см. также 45.— *270.*

[203] «Новая», бытовая комедия Филемона и Менандра (III в. до н. э.) в противоположность «древней», политической комедии Аристофана (V в. до н. э.).— *270.*

[204] Платон. Государство, I 1.— *270.*

[205] «Мы сидели на скамьях в Ликее, где распорядители игр устраивают состязания».

Эсхин из Сфетта — сократик (не путать с оратором!), фр. 2, 1 Dittmar (Aischines von Sphettos. Untersuchungen und Fragmente, von H. Dittmar. Berlin, 1912).— *270.*

[206] См. выше, прим. 77.— *270.*

[207] «Солнце».— *270.*

[208] Из родника черноводного путь пролагает теченью
И очищает лопатой канаву от всякого сора;
В ров набегает вода, по дну за собой увлекая
Мелкие камни, журчит и бежит по наклонному ложу
Быстрым потоком, того обогнав, кто ее направляет.
Так Ахиллеса все время волна настигала потока.
(«Илиада», XXI 257—263).— *271.*

[209] И вынеслись быстро
Перед другими вперед кобылицы лихие Евмела,
Тросовы следом за ними неслись жеребцы Диомеда,—
Очень за этими близко бежали, совсем недалеко,
Так что, казалось, хотели вскочить в колесницу к Евмелу.
Спину и шею ему согревали горячим дыханьем
И, положив на него свои головы, сзади летели.
(«Илиада», XXIII 375—381).— *271.*

[210] См. выше, прим. 34.— *271.*

[211] О *Ктесии* см.: Дионисий Галикарнасский. О соединении слов, прим. 56.— *271.*

[212] Ктесий, фр. 8 а (FgH, Teil III C).— *271.*

[213] Там же, фр. 24.

Кир Младший, победив своего брата, царя Артаксеркса, погиб в битве при Кунаксе (Ксенофонт. Анабасис, I 8), о чем и сообщают его матери, царице Парисатиде, вдове Дария.— *272.*

[214] Автор неизвестен.— *272.*

[215] Платон. Протагор, 312 а.— *272.*

[216] «По полу мозг заструился» («Одиссея», IX 290 — о киклопе, уничтожившем товарищей Одиссея).— *272.*

[217] Вся строка полностью звучит так: «Много и кверху и книзу и вправо и влево ходили». («Илиада», XXIII 116, о рубке леса для погребального костра Патроклу).— *272.*

[218] «Илиада», XVI, 161 (о волках, а не о собаках).— *272.*

[219] Феофраст, фр. 96 Wimmer.— *273.*

[220] *Артемон* из Магнесии (годы жизни неизвестны, возможно, III в.) считался собирателем писем Аристотеля, существование которых бралось под сомнение. Симплиций (пролегомены к «Категориям» Аристотеля пишет (р. 2), что видел это собрание писем. Возможно, однако, что автором этого собрания был сам Артемон, о котором говорил Атеней (XII 515 е).— *273.*

[221] Аристотель, фр. 625, 1583 b 19.

Антипатр — полководец и один из преемников Александра Македонского, бывший одно время после смерти царя правителем государства (Диодор Сицилийский, XVIII 25—39). Имеется в виду письмо изгнанного Аристотеля.— *223.*

[222] Платон. Эвтидем, 271 а.— *273.*

[223] Имеется в виду скорее всего седьмое письмо Платона. См. Платон. Соч. в трех томах, т. 3, ч. 2.

Имеется в виду письмо полководца Никия афинянам о ходе Сицилийской кампании (Фукидид, VII 11—15).—*274.*

[224] Аристотель, фр. 620, 1582 b 39.— *274.*

[225] Аристотель, фр. 609, 1580 b 37.— *274.*

[226] Аристотель был наставником юного *Александра* Македонского.

О *Дионе* см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 81.— *274.*

[227] Автор неизвестен.— *275.*

[228] *Феодор из Гадары* в Палестине (I в. н. э.) — ритор, учитель римского императора Тиберия во время его изгнания на о. Родос.— *275.*

[229] Автор неизвестен.

Фаларид из Агригента (VI в. до н. э.) — сицилийский тиран, известный своей жестокостью.— *275.*

[230] См. выше, прим. 4.— *275.*

[231] Неизвестный автор несколько ошибается. *Аристид* участвовал в сражении при Саламине. Геродот (VIII 95) рассказывает, что он очистил от персов о-в Пситалея. Правда, это был бой конницы Аристида на суше, а не на море.— *275.*

[232] Автор неизвестен.— *275.*

[233] Феопомп, фр. 290 (FgH, Teil II B, 1).— *275.*

[234] См. выше, прим. 13.— *275.*

[235] См. выше, прим. 106.— *276.*

[236] Демосфен, XX 1: «Согласился я помогать им, насколько это в силах моих».— *276.*

[237] Демосфен, XX 2: «...[он лишил] вас дара — вам иметь возможность [преимущества]».— *276.*

[238] См. выше, прим. 36.— *276.*

[239] См. выше, прим. 40.— *276.*

[240] Антисфен, фр. 12 Decleva Caizzi (Antiphontis tetralogiae , ed. F. Decleva Caizzi. Milano, 1969).— *276.*

[241] Демосфен, XVIII 265.— *277.*

[242] Там же, 3.— *277.*

[243] «В ужас троянцы пришли, как увидели пестрого змея» («Илиада», XII 208 — о знамении Зевса).— *277.*

[244] Деметрий только переставляет два слова: «змея пестрого».— *277.*

[245] Деметрий исправляет: «Все бы он написал» на «Все написал бы он».— *277.*

[246] Деметрий исправляет: «не прошел мимо» на «мимо не прошел».— *277.*

[247] «Илиада», II 497. Порядок слов в этих примерах меняет не смысл, а звучание фразы, делая ее более благозвучной.— *278.*

[248] Автор неизвестен.— *278.*

[249] Киник *Кратет* (фр. 6, 1 D) пародирует известные стихи Гомера: «Есть такая страна посреди винноцветного моря» («Одиссея», XIX 172).— *278.*

[250] О *Диогене* см.: Аристотель. Риторика, кн. III, прим. 81.

Калокагатия — идеальное сочетание внешней и внутренней красоты человека. См. Лосев А. Ф. Классическая калокагатия и ее типы.— В сб.: Вопросы эстетики, № 3. М., 1950.— *278.*

[251] См. выше, прим. 134.— *278.*

[252] См. выше, прим. 136.— *278.*

[253] Демосфен. Третья Филиппика (IX), 26.— *278.*

[254] Автор неизвестен.— *278.*

[255] Платон. Менексен, 246 d.— *279.*

[256] Эсхин. Против Кресифонта, 133.— *279.*

[257] Там же, 202.— *279.*

[258] Ср. Демосфен. О преступном посольстве (XIX), 314.— *279.*

[259] Демосфен, XVIII 179.— *279.*

[260] Там же, 136.— *279.*

[261] Там же, 188.— *280.*

[262] Ксенофонт. Киропедия, I 4, 21.— *280.*

[263] Демосфен, XIX 255.— *280.*

[264] Демосфен, XVIII 71.— *280.*

[265] Там же.— *280.*

[266] Демосфен, XIX 259.—*280.*

[267] О *Демаде* см. Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 120.— *281.*

[268] Демад, фр. 7 Müller.— *281.*

[269] Там же.— *281.*

[270] Там же.— *281.*

[271] Платон. Федон, 59 a.

Об *Аристиппе* см.: Аристотель. Риторика, кн. II, прим. 91. *Клеомброт*, по преданию, бросился в море, прочитав диалог «Федон» Платона, где рассматривается вопрос о бессмертии души. Об этом 23-я эпиграмма Каллимаха (см. Греческая эпиграмма. М., 1960, с. 98).— *282.*

[272] О *Деметрии* Фалерском см.: Дионисий Галикарнасский. Письмо к Помпею, прим. 6; здесь фр. 7 Müller = 183 Wehrli.— *282.*

[273] Платон. Письма, VII 349 b.— *282.*

[274] Эсхин (сократик), фр. 40—48 Dittmar.— *282.*

[275] *Гелон* и *Гиерон* (V в. до н. э.) — сицилийские тираны, как *Фаларид* (VI в. до н. э.) и *Дионисий* (IV в. до н. э.). Гелон славился своими победами над Карфагеном, великодушием и заботой о государстве. Гиерон жестоко и деспотично утвердил власть, но в дальнейшем поддерживал мир, заботился о науках и искусстве.— *283.*

[276] Царь Филипп Македонский.— *283.*

[277] *Гермий* из Вифинии (IV в. до н. э.) после смерти тирана Эвбула стал владыкой Атарнея. Был другом Аристотеля, женатого на его племяннице Пифии и посвятившего гимн во славу Гермия. При его дворе бывали Ксенократ и другие платоники. Погиб в борьбе с персидским царем Артаксерксом.— *283.*

[278] *Клеон* (V в. до н. э.) — вождь радикальной партии в Афинах эпохи Пелопоннесской войны (конец V в. до н. э.), осмеян Аристофаном во «Всадниках» как льстец Демоса — Народа.

О Клеофонте см.: Аристотель. Риторика, кн. I, прим. 98.— *283.*

[279] Сократическая беседа славилась своей естественностью и непринужденностью в отличие от упорно проводимого и часто сухого морализма Ксенофонта (см., например, его «Воспоминания о Сократе»).— *284.*

[280] Демосфен, XVIII 18.

«Когда началась война с фокейцами, я не имел к тому отношения, так как не принимал тогда участия в жизни государства».— *284.*

[281] Автор неизвестен.— *284.*

[282] *Клитарх* (IV—III вв. до н. э.) — один из историков Александра Македонского. Славился напыщенным стилем.— *285.*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* Указатели составлены И. И. Лебедевой.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ

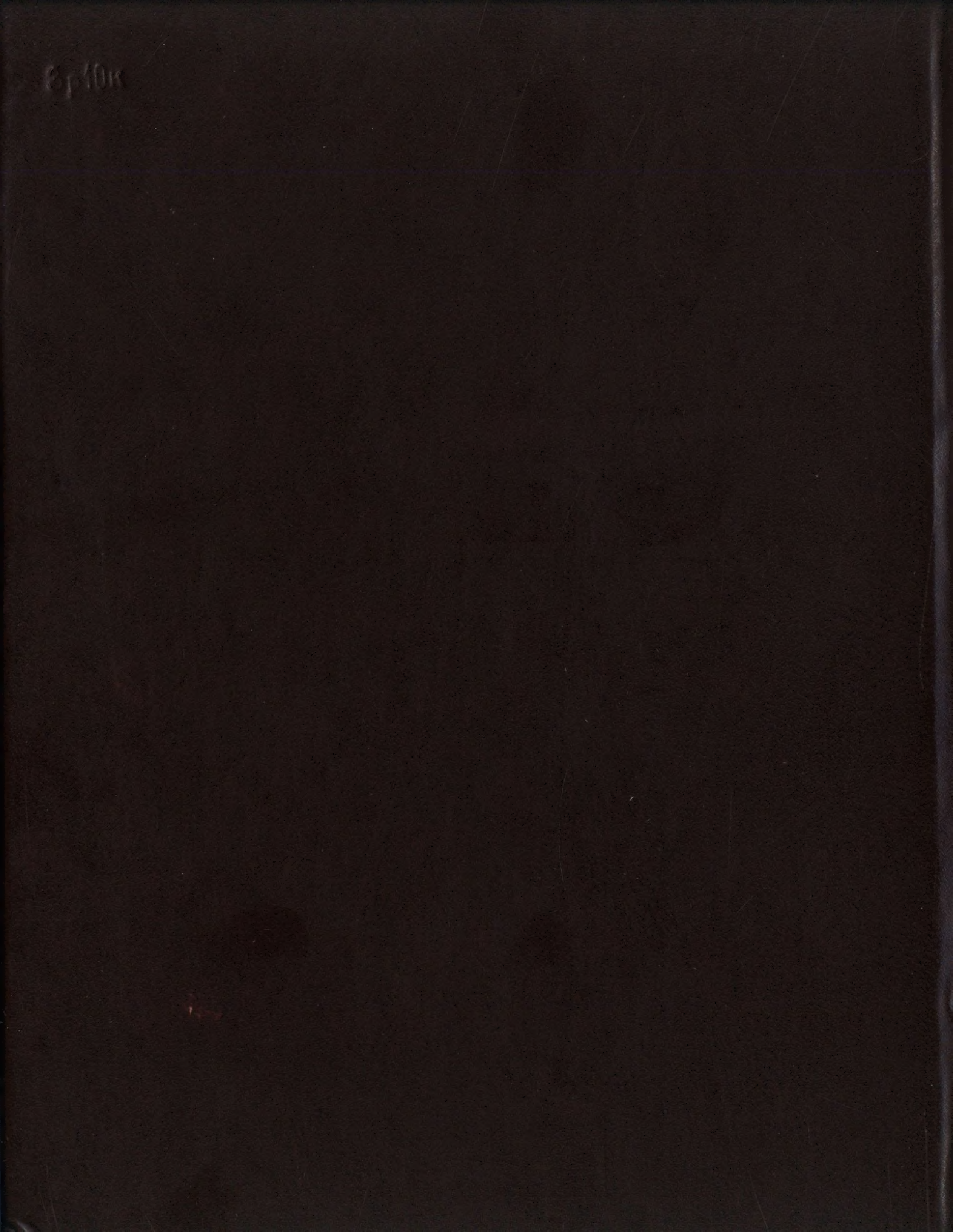
Зав. редакцией *М. Д. Потапова*
Редактор *И. И. Лебедева*
Художник *Ю. А. Боярский*
Художественный редактор *Л. В. Мухина*
Технический редактор *З. С. Кондрашова*
Корректор *И. А. Большакова*

Тематический план 1977 г. № 113. ИБ № 320

Сдано в набор 27.04.77. Подписано к печати 17.05.78. Л-77265.
Формат 70×90 1/16 Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная.
Офсетная печать. Физ. печ. л. 22,0. Усл. печ. л. 25,7.
Уч.-изд. л. 27,38. Тираж 71 300. Заказ 637.
Цена 3 р. 10 к. Изд. № 33.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
МОСКВА, К-9, ул. ГЕРЦЕНА, 5/7.
ПОЛИГРАФКОМБИНАТ ГОСКОМИЗДАТА МССР,
г. КИШИНЕВ, ул. Т. ЧОРБЫ, 32.






АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ